

Ф. РАХЛИК

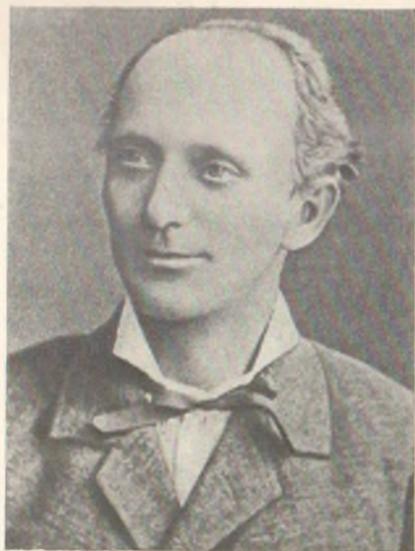
782И

Р27

# ИНДРЖИХ МОШНА

СЕРИЯ «ЖИЗНЬ В ИСКУССТВЕ»





ФРАНТИШЕК РАХЛИК

**ИНДРЖИХ МОШНА**

František Rachlík  
KOMEDIE PLNÁ LÁSKY  
Československý spisovatel,  
Praha, 1959

Перевод с чешского  
Н. А. АРОСЕВОЙ  
Редакция, послесловие  
и комментарии  
Л. П. СОЛНЦЕВОЙ

80105-079  
P \_\_\_\_\_ 276-73  
025(01)-74

© Перевод на русский язык. «Искусство», 1974 г.

...Артисты испокон веков держались столь смело и свободно — а их к тому поощряло гордое, но справедливое сознание, что они как бы избраны вызывать к жизни прекрасные образы на утешение и радость человечеству, будить сердца и потрясать души, преображая наши безрадостные земные пределы в более светлые и возвышенные,— они держались столь свободно, что это их вольное, однако достойное всех художников положение в тесноте общественной жизни сделалось бельмом на глазу для людей с иссохшею душою. И в недоброжелательстве своем не видели эти люди тот трудный каменистый путь, по которому бредет артист...

*Иозеф Каэтан Тыл,*  
журнал «Кветы», 1845 г.

## ПРОЛОГ

Мы — в Праге 1851 года.

Стоял туманный вечер конца октября. Моросил дождь. На мокрой мостовой и в лужах отражались огни Сословного театра \*, портал которого, украшенный надписью «Patriae et Musis»<sup>1</sup>, терялся в туманной мгле, поглощающей звуки.

Однако перед театром дарило оживление.

Подкатывали к подъезду коляски аристократов, обладателей наследственных мест в ложах; экипажи сановников и видных мужей города; спешили сюда принарядившиеся горожане. Исполненные важности окрики чопорных кучеров заглушали говор, ведущийся на немецком языке. Яркий свет канделябров, мигающие отсветы экипажных фонарей озаряли богатые вечерние мантильи дам, склонившихся в поклоне кавалеров, похожих на пышногрудых голубей, пожилых господ, одетых с нарочито небрежной или тщательной элегантностью à la dernière mode<sup>2</sup>, и ловких камердинеров, которые, поспешно прыгнув с козел, почтительно раскрывали зонтики над головами своих хозяев.

У наружных дверей стояли два швейцара в белых перчатках — с таким благородным видом, которому мог бы позавидовать сам епископ, благословляющий паству; они придерживали двери. По их поведению можно было достаточно точно определить положение каждого входящего.

Из вестибюля лился ослепительный свет и сдержанный гул — тот особый гул, который так дурманит входящего. Мелькание причесок, манишек, цветов, улыбок, кивков, поклонов... Восклицания, упоминание имен известных или высокопоставленных особ, короткий, внезапно вскипающий смех, и общая неразбериха, и мелкие, в большинстве своем очаровательные недоразумения... Все совершается поспешно, но гладко, несколько взволнованно — и вместе с тем так уверенно, что сердце радуется.

Эту атмосферу, исполненную внимательности и уверенности, способны создать лишь традиции хорошего — «в полном смысле хорошего» — общества.

Был, правда, будний день, но давали премьеру итальянской оперы — по слухам, прелестной — «Итальянка в Алжире» Россиши. И было естественной светской обязанностью прослушать то, что, правда, не совсем поймешь (пели на итальянском языке), но о чем долго будут говорить в салонах аристократов и в приемных высших

<sup>1</sup> Родине и музам (латин.).

<sup>2</sup> По последней моде (франц.).

чиновников. Короче, побывать на таком представлении было признаком хорошего тона. Это знал — или должен был знать — всякий, кто хоть чего-то стоил в Праге.

Знала это и пани Бёмова, не сомневаясь, что и сама она тоже чего-то стоит в Праге.

Но кто же, вы спросите, эта пани Бёмова?

Пани Бёмова была супругой владельца меднолитейной мастерской. Супругой, правда, всего лишь ремесленника... вернее, уже хозяина, то есть человека, которому больше нет надобности самому пачкать руки у станка, за которого это делают несколько подмастерьев и учеников. Сам же он только добывает заказы, ведет переговоры с оптовыми покупателями, бегаёт по ведомствам, то и дело заворачивая в трактирчик...

Меднолитейное дело — *Gelbgießerei* — относилось к числу черных ремесел, но ремесло это было доброе, честное и в ту пору находилось в расцвете. Подсвечники, ступки, дверные скобы, утюги, кронштейны для гардин, бляхи для лошадиной сбруи, кованые украшения всех видов — для мебели, для экипажей, для лестниц и мундиров, которые тоже являли собой своего рода лестницу, — например, лестницу в общество, какое собралось в Сословном театре на спектакле «Итальянка в Алжире». Короче, медники, или «гельбгиссеры», поставляли изделия, блестящие как золото и придающие блеск всему — будь то кухня, дворец, мундир или лошадь. Эти изделия создавали иллюзию благосостояния и обладали при этом удивительным свойством: латунь у бедняков так и выглядела латунью, зато у богачей она казалась золотом.

Пан Бём был, что называется, человек неказистый: росту, скорее, малого, широкоплеч, почти без шеи, красен лицом, и имел он реденькие рыжеватые усы да маленькие быстрые глазки — быстрые, несмотря на то, что левое веко у него немного опускалось. Тот, кто делает точную работу и должен постоянно мерить на глаз, привыкает щуриться, и со временем этот прищур остается у него навсегда.

Пан Бём начал дело в тридцатых годах, вернувшись из Вены с несколькими гульденами в кармане, и хотя женился он не на богатой, но двадцать лет спустя стал уже владельцем двухэтажного дома по Водичковой улице, в котором весь первый этаж занимает довольно крупная мастерская. Пан Бём был бездетен. Трудился он, ни о чем не думая, и дело росло как-то само собой. Командовала в доме пани Бёмова. Это она сделала супруга «предпринимателем». А мастерской ведал бедный родственник пани Бёмовой, некий Алоиз Плачек. Бедный родственник? Вообще-то он приходился пани Бёмовой родным братом, но об этом не принято было говорить.

После бурных пражских событий 1848 года\* все, слава богу, успокоилось, патристические страсти как будто улеглись, и люди более или менее обеспеченные могли начать жить. Отчего же не позволить себе радости?

Вот почему сегодня, хотя и был будний день, чета Бёмов собиралась в театр. Собиралась-то пани Бёмова, ну и пану Бёму пришлось собираться. Они впервые отправлялись в театр в будни. Это-то и было самым волнующим: не каждый мог себе такое позволить! Это так аристократично... Пан Бём, правда, предпочел бы завернуть к Шенфлоку на кружечку шива или поиграть с Плачеком в «мельницу» на щелчки, но пани Бёмова твердо знала, что если они хотя бы подняться по лестнице, ведущей к небу, то должны попытаться ступить хотя бы на первую ступеньку и шагнуть, шагнуть, как бы ни болели ноги.

Пани Бёмова заканчивала перед трюмо свой туалет. Это была статная сорокалетняя женщина с мясистыми губами и твердым подбородком, крупная и решительная и, можно сказать, по-своему миловидная, полная жизни. Не один подмастерье поглядывал ей вслед, обуреваемый грешными мыслями, когда ей случалось проходить по мастерской.

Зажав во рту шпильку, которыми она скрепляла высокую прическу, пани Бёмова уголком губ разговаривала с мужем, глядя на его отражение в зеркале.

Прекрасный тройной подсвечник — шедевр пана Бёма в пору его рабочей жизни — стоял на комод, ярко освещая пани, которая, надо признаться, дышала с большим трудом, до невозможности затянутая высоким новым корсетом. Да, это был настоящий подвиг — как со стороны пани Бёмовой, так и со стороны корсета.

Пан Бём в тугом высоком воротничке, но еще без галстука сидел за столом, неторопливо уплетал сосиски. У него было свое мнение касательно идеи жены — отправиться в театр в будни, но он этого мнения не высказывал, как, впрочем, и в большинстве других случаев. У него был вид человека, утратившего надежду. Вдобавок его душил проклятый воротник.

— Не испачкай манишку! Взял бы закрыл ее чем! И вообще мог бы потерпеть, пока вернемся,— заметила пани Бёмова.

— А чего мне терпеть,— пробормотал с набитым ртом пан Бём.

— Люди тонких манер едят после театра, чтоб от них не разило сосисками, соусом, луком, и вообще они едят, как птички!

— А я медник,— проворчал пан Бём, скорее, про себя.

— Медник?! Ты владеец известной мастерской, ты цеховой старшина! Ты поставщик наместника! И вообще вывеску пора переделывать! — решительно объявила пани.

— Эх, лучше бы спать лечь... В будни — и вдруг театр... — по-

пробовал порассуждать пан Бём, но то было всего лишь тактическое отступление.

— Вот и главное! По воскресеньям в театр кто угодно ходит. Еще не хватает, чтоб мы ходили на чешские дневные «форштелюнг»<sup>1</sup> Там ведь все больше разный сброд набивается — патриоты, чехачеки<sup>2</sup>...

— А мы кто?

— Aber, Anton, мы все-таки prager Bürger!<sup>3</sup>

Тем, что она лишь после долгих просьб, по случаю достала два билета в партер, — этим пани Бёмова, конечно, хвастать не стала.

— И куда этот мальчишка с пивом запропастился? — поспешил пан Бём переменить тему.

— Сидеть еще рядом с каким-нибудь чумазым подмастерьем или студентом с невытой шеей! — гнула свое пани Бёмова, натягивая через голову шелковое темно-коричневое платье с пышными воланами и кружевным воротничком.

Дверь скрипнула, и на пороге появилась маленькая фигурка. Это был четырнадцатилетний, тщедушный для своего возраста мальчик с веселыми живыми глазами и ямочками на щеках; из-под его лохматых, разделенных пробором волос торчали большие оттопыренные уши. В руке он держал кувшин с пивом.

Ученик Индра, как и Алоиз Плачек, доводился родственником хозяевам — и, как Алоиз Плачек, родственником близким, но бедным. Мать Индры и пани Бёмова были сестрами, в девичестве Плачековыми. Следовательно, родство самое близкое, однако нет хлеба горше, чем служить у родных, особенно когда вечно подчеркивают оказанную милость. За все благодари вдесятеро, постоянно восхваляй благодетелей, руки им целуй — вот чего требовала тетушка Бёмова, бесконечно внимательная к себе и не скупящаяся на попреки, от которых каждый кусок вставал поперек горла ее племяннику.

Мальчика отдали дяде в учење, хотя к медному литью, к черному ремеслу он был так же пригоден, как «дохлый воробей к рождественскому столу», по выражению дядюшки Бёма. Индра хотел учиться; после долгих размышлений отец определил его в реальное училище немецких пиаристов\*, что на Панской улице; в училище в том царили строгие порядки. К сожалению, то обстоятельство, что преподавание велось на немецком языке, а главное, какая-то непонятная для господ патеров строптивость Индры оборвала академическую карьеру одаренного и сообразительного подростка. И попал он в учење к дяде, собственно, в наказание. А чтоб наказание было полным, о том позаботилась тетушка Бёмова.

<sup>1</sup> От нем. «Vorstellung» — представление.

<sup>2</sup> Презрительное название чешских патриотов.

<sup>3</sup> Но, Антон... пражские мещане! (нем.).

Индра вежливо поставил кувшин на стол перед дядей. Тот, не утруждаясь налить в кружку, отхлебнул прямо из сосуда и с довольным видом вытер свои рыжеватые усы.

— И вообще, что нынче играют-то? — спросил он пустую тарелку.

— Да итальянку какую-то, что ли, и будто очень комиш<sup>1</sup>, мне пани Rentamtskalkulatorin<sup>2</sup> сказывала...

— Дают «Итальянку в Аликире» Россини, тетушка, — с готовностью вставил малыш Индра.

— А тебя не спрашивают! — отрезала тетка. — И марш впиз, да подмети всюду как следует! И тотчас — спать!

— А можно мне тоже пойти... тетушка? — робко спросил мальчик.

— Что-о?! В будни — по театрам?! Нет, ты посмотри, Антон, как ков наглец! Ему в пять подыматься, из постели хоть лошаадьми тащи, ленивца такого, а он — в театр!

— Тетя права, Индра, не выспишься, — примирительно сказал пан Бём.

— Порть, порть бездельника! Вот тебе и благодарность за то, что посадили себе на шею бедного родственника! Марш!

Этим категорическим возгласом Бёмова отпустила Индру.

Тот повесил голову, пожелал доброй ночи и пошел к двери, но по дороге молниеносно показал тетке в зеркало язык — и исчез.

Тетка, видно, что-то заметила и резко обернулась.

— Um Gotteswillen<sup>3</sup>, мальчишка, кажется, мне язык показал!

Когда Индра, убравшись из комнаты хозяев, влетел в кухню, — дядя его, Плачек, заканчивал ужин. Дядя Плачек, человек холостой, жил у Бёмов на полном содержании и спал в маленькой каморке под крышей вместе с Индрой.

Родители Индры жили недалеко от Водичковой улицы, но, по обычаям того времени, ученик обязан был жить в семье мастера. Во-первых, чтоб его не баловали дома, чтоб привыкал к чужим людям, а во-вторых, чтоб он с самого начала усвоил правило: чей хлеб ешь, того и песню пой; но главное — для того, чтоб ученик не воровал, не носил домой краденое. Обыски в вещах учеников были обычным делом.

В те времена мальчиков отдавали в учење на два или на четыре года. В первом случае мастеру следовало платить — за науку, за

<sup>1</sup> От нем. «komisch» — комично.

<sup>2</sup> Супруга калькулятора пенсионного ведомства (нем.).

<sup>3</sup> Господи твоя воля (нем.).

содержание. Но какая семья могла себе позволить платить за мальчика? И в большинстве случаев отдавали сыновей на четыре года — «год за год». Иначе говоря, за два года учёния и содержания ученик обязан был еще два года бесплатно работать на мастера.

Вот и Индре пришлось закабалиться на четыре года. Отец его, кузнец Йозеф Мошна, никогда не зарабатывал столько, чтобы откладывать. Работал он по разным кузницам, и много приходилось бедняге гнуть спину, чтобы прокормить кроме Индры еще четыре вечно голодных рта. Вот почему он молча принял весть об исключении сына из реального училища — кто знает, сумел ли бы тот и вообще-то закончить образование... А что тогда?

Итак, хотя до родного дома было меньше десяти минут ходу, Индра жил у мастера, то есть у дяди. Доводясь хозяевам родственником, он был поселен вместе с другим родственником — дядей Плачком — на чердаке.

Дядя Плачек был человеком добрым, как и вторая его сестра, мать Индры. Только Катенька, то есть пани Бёмова, не удалась, вернее, слишком уж удалась. В те поры Плачку шел сороковой год, и, по понятиям того времени, он был уже старым ворчуном. Был он пысок, как и сестра его Бёмова, черноволос, с такими длинными усами, что мог вполне закладывать их за уши. Индру он любил — тот был мальчиком с открытым сердцем, и вдобавок их объединял удел бедных родственников. В мастерской Плачек был защитником Индры, но против хозяйки не помогала никакая защита.

Индра тоже был привязан к дяде, который стал любимым поверенным всех его радостей и горестей, и прежде всего страстной любви к театру.

Алоиз Плачек в свое время повидал свет и был весьма начитан. Как и племянник, он питал безграничную любовь к чешскому театру — любовь, в которой выражалось национальное самосознание в предмартовскую эпоху\*. Он даже несколько раз выступал как любитель на сцене театра Каэтана\*\*, что на Малой Стране,— конечно, из одного лишь энтузиазма.

Когда Индра вбежал в кухню, Плачек поднял голову от тарелки:

— Вот неудача-то! Слышал — наши идут в театр!

— Боже мой, дядя, что же мне делать? Сегодня я должен быть там во что бы то ни стало! А тетя велела подмести и убрать мастерскую...

— Ну, это-то пустяки, это я за тебя...

— Дядя, миленький мой!

— Ну ладно, но как же ты появишься в театре, когда там будут наши?

— А я вперед них...

— Так ведь не успеешь загримироваться...

— Артист должен быть готов в два счета, я успею!  
— Коли они тебя узнают — аминь!  
— Не узнают — я играю арапчика! Никто не узнает!  
— Послушай меня, Индржинек... Пропусти разок! Одним арапчиком больше или меньше — незаметно...

— Нельзя, дяди, тыче ведь премьера, и если я не приду — меня больше никогда не возьмут в статисты, даже на чешские представления. А я этого не переживу!

— Я бы на твоём месте не ходил. Тети узнает, и вообще ты уже опоздал!

— Дядя, да ведь умру я, честное слово умру! Я должен быть там! Пожалуйста, дядя, милый, золотой, помогите мне!

— Ах ты, вот беда! Ну что мне с тобой делать? Тетка мне голову оторвет, тебя с места прогонят, а тогда и твоя мама мне голову оторвет!

Дядя Плачек так разволновался, что чуть было не стукнул кулаком по столу, да вовремя удержался: как бы не услышали хозяева в комнате через стенку. Он встал, махнул рукой и приглушённым голосом решительно произнес:

— Ну, хватит дурить! Никуда ты не пойдешь, и точка!

Однако при виде Индры, такого несчастного и уже со слезами на глазах, дядя смягчился. Тем же тоном, не успев погасить порыва, он добавил:

— И вообще, давай щетку! Черт возьми, на старости лет изволь мастерскую подметать!

Индра кинулся к дяде, ухватил его за концы длинных усов и влепил ему жаркий поцелуй.

— Дядюшка, миленький, вот увидите, все будет хорошо!

Плачек хотел было поставить еще условие, но тут заскрипели двери, и в кухню вплыли разряженные Бёмы.

— Скорее, опоздаем, скорее! Алоиз, оставляем дом на тебя! — крикнула на ходу пани Бёмова, подталкивая мужа к выходу. — Мальчишка пусть подметет еще, а ты иди спать! Антон, погоди, у тебя подбородок в масле, господи! — накинулась она на Бёма и, в спешке схватив тряпку, которой вытирали плитку, вытерла мужу подбородок и выкатилась вон.

Плачек и Индра не успели даже попрощаться с хозяевами.

Как только дверь за ними захлопнулась, Индра, притворявшийся, что клюет носом, моментально вскочил, сорвал с вешалки пальтишко, шапку — и был таков.

— Святой Иосиф, защитник малых детей, не отступись! — вздохнул только Алоиз Плачек.

Индра осторожно выглянул на улицу и, увидев, что дядя с теткой повернули за угол Вацлавской площади, пустился во всю прыть за ними. Но потом изменил направление и окольным путем выскочил к заднему подъезду Сословного театра.

Когда чета Бёмов ввалилась в вестибюль, капельдинеры только начали приглашать публику занять места.

К счастью, как это обычно для всякой премьеры, особенно когда ожидают высокопоставленных зрителей, начало задерживалось. Помощник режиссера уже несколько раз поднимал было руку, чтоб дать знак рабочим у занавеса, но, заглянув в глазок и убедившись, что публика еще не расселась, безнадежно опускал ее.

Кавалеры еще кокетливо стояли в рядах или, опершись на барьер оркестровой ямы, обводили взглядом ложи и раскланивались. Дамы в ответ слегка наклоняли головы.

Музыканты в темных фраках и белых накрахмаленных манишках настраивали инструменты, и эти нестройные звуки вызывали у публики особое настроение.

Ложи — словно в цветах. Из белой пены кружев выставлялись ослепительные плечи, какие могло сформировать только благоденствие. Сверкание лорнетов, сверкание драгоценных камней — капли росы на цветах...

На полупустой галерке стояли у барьера слуги и еще какие-то личности, видимо из полиции. На премьеры дирекция не продавала места на галерке, а отводила их для слуг важных зрителей — зачем пускать туда неизвестно кого...

В эту атмосферу спокойного, пожалуй, даже игривого ожидания — ибо пусть премьеры, но публика сегодня принадлежала к тем кругам общества, которые не так легко взволновать и удивить, — в эту атмосферу окунулись, войдя в зал, слегка вспотевшие пан Бём с супругой.

Пан Бём чувствовал себя не в своей тарелке — он не знал, как ступить, с кем здороваться.

Пани Бёмова, подталкивая мужа впереди себя, поминутно дергала его за полы:

— Смотри, вон стоит такой-то... А это ведь тот-то... Поздоровайся! Поклонись! Да сними ты хоть шляпу-то... Господи, Антон!.. Guten Tag, Herr... Respekt zu melden, Frau...<sup>1</sup>

Пани Бёмова расточала улыбки во все стороны, но никто не обращал на нее внимания. После всех неуклюжих поклонов и извинений они наконец добрались до своих мест, и пани Бёмова блаженно раскинулась в кресле, важно озираясь. Пан Бём сидел как деревянный, неподвижно уставившись на занавес.

<sup>1</sup> Добрый день, господин... Мое почтение, госпожа... (нем.).

Наконец зазвучали сладостные звуки увертюры, все стихло, и представление началось.

Пан Бём довольно долго высидел в таком оцепенении, но против природы не попрешь... Картины Востока, сладостная музыка, голоса, ничуть не уступающие ангельским, постепенно одолевали его. В глазах поплыл туман, ангелы возносились к небу, дурманно-сладко благоухала дама впереди него — все это вызвало в нем сначала представление некоего облака, кудрявого, как баранчик, а потом — раскрытой, со вышитыми перинами постели.

Между тем действие развивалось — или, вернее сказать, запутывалось. На сцене появился владетельный князь — то ли алжирский, то ли еще какой — в сопровождении, конечно, своего двора. Все пели и представляли что нужно, как вдруг придворные расступились, и вперед выбежал арапчонок.

Публика подумала было, что арапчонок принес какую-то важную весть — он запыхался и обливался потом. Но ничего такого не произошло. В ответ на вопросительный взгляд князя арапчонок находчиво поклонился, перевел дух и, словно спохватившись, поспешно скрылся в толпе. Вот и все. Может, это режиссерская находка? Ладно...

Пани Бёмова, как, впрочем, и другие зрители, обратила внимание на этого мальчика с зачерненным лицом. И вдруг молнией ударила фантастическая мысль: этот запыхавшийся арапчонок — пусть совсем черный, а может, именно потому, что черный, — до странности похож на Индру!

«Не может быть! Однако как этот мальчишка вылетел на сцену... а его испуганный поклон — ну Индра, и только! Господи твоя воля, неужели он? Или это обман зрения? В театре ведь все возможно...».

Тут пани Бёмова разозлилась на себя, зачем не взяла напрокат бинокль. И она с волнением искала глазами этого чумазого шпингале-та, но он, как нарочно, все время держался где-то сзади.

Пан Бём начал упорно клониться к ее плечу. Она наградила его мощным толчком и одновременно дернула за рукав.

— Господи, да не дрыхни ты, Антоц, глянь-ка, там сзади, на этого черномазого парнишку! — прошипела она ему на ухо.

— А? Что? — с отсутствующим видом спросил пан Бём и, если б супруга решительно не удержала его, начал бы аплодировать, вообразив, что его разбудили к антракту.

— Видишь того черномазого?

— Какого черномазого? — в полном отчаянии спросил пан Бём, с трудом понимавший, где сам-то находится.

— Вылитый Индра! Видишь?

— Какой Индра? — Пан Бём очень старался понять, в чем дело.

— Тсс! — зашипела сзади.

— Да этот арапчонок — наш Индра... — только и прошептала растерянно пани Бёмова.

Тем временем двор алжирского князя с великим достоинством удалился со сцены, и действие шло вперед как по маслу. К счастью, в последующих сценах никаких арапчат уже не было...

\* \* \*

Из служебного выхода Сословного театра выскочила тшедушная мальчишеская фигурка и что было мочи помчалась по улицам. Это Индра возвращался после «работы» статистом, зажав в кулаке два гривенника. Помощник режиссера, выдавая ему плату, заявил, что если он опоздает и в следующий раз, получит вместо гонорара пару подзатыльников.

Индра дернул колокольчик у двери; пикто не шел открывать, и он стал дергать колокольчик так, что чуть не оторвал ручку.

«Да куда же запропастился этот дядя Алоиз, неужели уснул?» — с отчаянием подумал мальчик.

Наконец раздалась шага. Индра перевел дух.

— Проклятый мальчишка, я тут помираю со страху за тебя! — такими словами встретил его Плачек.

— Вот видите, дядя, все и обошлось! Вы даже не знаете, как сегодня было интересно!

— Подожди ты со своими рассказами, беги скорее ложись, как бы проверить не зашли!

Поднявшись в свою каморку, Индра разделся со сказочной быстротой и нырнул под одеяло.

— Ну и гонка была! Видели бы вы, дядя, как быстро я смыл грим и переделся! Артисту, знаете, иногда приходится... — начал было рассказывать Индра, как вдруг дядя вскочил с постели:

— Господи, да хорошо ли ты умылся?

— Кажется, хорошо, — неуверенно ответил мальчик.

— А если тетка тебе в лицо посветит?

— Тогда я скажу, что плохо отмылся после мастерской, — находчиво возразил Индра.

— Ну, парень, ты уже врешь, как артист! — вздохнул старый подмастерье.

Снизу донесся звук отпираемой двери.

— Наши пришли! Тинь! — приглушенно воскликнул Плачек.

Оба насторожили слух.

Шаги — хозяйева поднимаются на второй этаж. Слышно, как тяжело пыхтит тетка в своем новом корсете. По дороге она все бранилась, но нельзя было разобрать, из-за чего. Пап Бём бурчал что-то в ответ.

Потом пыхтенъе и шаги послышались уже на деревянной лестнице, ведущей к чердаку. Все-таки идет проверять! Черномазый мальчишка не выходил у нее из головы.

Индра громко, почти вызывающе захрапел. Старый Плачек перекрестился.

— Спите? — раздался за дверью генеральский окрик Бёмовой.

— Кто о та-ам? — как бы пробужденный от глубокого сна, пропихнул Индра и тотчас захрапел снова.

— Сним! — довольно неуверенно отозвался Плачек, которого изрядно беспокоила проделка любимого племянничка.

— А мальчишка как?

— Храпит всюю, Катенька, слышишь? Спокойной ночи! — добавил Плачек для верности.

Бёмова, помедлив за дверью, что-то сердито проворчала.

Потом шаги и пыхтенъе удалились.

А у Плачека было ощущение, словно это удалилась беда. Он глубоко перевел дух.

Индра свистнул носом, почмокал губами и словно со сна пробормотал:

— С нами крестная сила...

— Ах, озорник, — добродушно проворчал Плачек, повернулся на другой бок и счастливый, словно выиграл главный приз лотереи, с облегчением закрыл глаза.

\* \* \*

Мир — как шар, и трудно очень  
на ногах на нем держаться.  
Кто башки разбить не хочет —  
должен ручками цепляться.

*И.-К. Тыл, «Волянец из Стракониц»*

Мастерская на Водичковой улице, собственность пана Бёма, была довольно просторным помещением со сводчатым потолком, с пристройками во дворе, появившимися по мере расширения дела.

В те времена такая меднолитейная мастерская, как, пожалуй, и другие более или менее крупные пражские мастерские, всегда была полна копоти, резкого запаха аммиака и испарений от медеплавильных печей и сосудов с растворами. Человек двенадцать работало там — у двух печей, большой и малой, у различных тисков, станков, где они обдирали, точили, полировали изделия. Шум, шипение, скрип, визг напильников, грохот — все это превращало темную сводчатую «гельбгиссерай», наполненную дымом и испарениями, в какую-то адскую кузницу, где законченные люди сосредоточенно склонялись над работой.

Ученик Мошна стоял у верстака на ящике — он был так мал, что без подставки не дотянулся бы до тисков. Мальчик усердно выпрямлял проволоку. Временами он прерывал эту утомительно-однообразную работу и, сунув руку в карман кожаного, слишком большого фартука, вытаскивал растрепанную книжечку; прочитав что-то и подумав немного, он прятал ее в карман и продолжал свое дело.

У соседнего станка работал заместитель пана Бёма, дядя Плачек.

Рабочие в кожаных фартуках, залатанных и пропаленных, в грязных потных рубахах, усталые, плохо выспавшиеся, возились каждый со своим делом, теряясь в полумраке мастерской.

И все же в этой душевной, закопченной, смрадной мастерской разносилась песня — пел подмастерье Франц, а припев подхватывали остальные.

Сколько ни на есть цехов —  
плотников и столяров,  
пастухов или портных,  
офицеров, рядовых,  
мясников с ножом в руке,  
бледных пекарей в муке —  
всем им далеко до нас!

Наше дело — высший класс!  
Потому что мы, ребята,  
делаем из меди золото.

Сколько ни на есть цехов —  
трубочистов, поваров,  
тощих писарей плешивых,  
толстых патеров ленивых,  
школяров с пустой башкой,  
богачей с тугой мошной —  
всем им далеко до нас!

Наше дело — высший класс!  
Потому что мы, ребята,  
делаем из меди золото.

— А я вчера был в «Голубой щуке», знаете, притончик у Бахманна, — сказал вдруг немного мечтательно молодой рабочий с волнистым чубом на лбу, Йозеф Калоус. — И была там одна такая длинноногая, елки-моталки, ляжки — что твои бутылки, мамзель Додо швать; она плясала танец такой, ну, как его... капкан, что ли, только наоборот... — Калоус даже языком прищелкнул.

— Это как — наоборот? — спросил его сосед, не поднимая головы.

— Ну, наоборот — на руках, значит, и, черти в пекле, юбки у нее так и мотались вокруг головы, а ляжки, говорю, что твои бутылки...

Маленький Мошна тотчас поднял лохматую голову:

— А, канкан! — воскликнул он. — Знаю!

— Ну и пострел, откуда ты знаешь? Да еще если наоборот? — удивился Калоус.

— А что особенного — видел на афишах, — заявил Мошна.

— Нет, все-таки как же это — наоборот? — не мог понять сосед Калоуса.

— Я покажу! — вызвался Индра и в один миг вспрыгнул на верстак, сделал мостик, с мостика стал на руки и, пасвистывая мотив, пошел приплясывать вверх ногами. Фартук свесился ему на голову и от резких поворотов закружился вокруг головы. Из кармана выпало несколько затрепанных страничек.

Вся мастерская прервала работу и столпилась перед Индрой. Плавильщики от печей кричали:

— Разойдитесь малость, мы тоже видеть хотим!

Индра плясал, перенося тяжесть тела с одной руки на другую.

Мастерская смеялась; кое-кто начал ладонями отбивать такт.

Такая приятная передышка в этом душном аду...

А Индра забыл обо всем на свете. Он сделал сальто и слова стал па руки.

Вдруг мастерская стихла — вернее, зашумела обычным своим шумом. Все разбежались по местам, и только Индра, как заведенный, кружился на своем верстаке.

В мастерскую ворвалась Бёмова...

Кто-то, словно падая в пропасть и зовя на помощь, испуганно крикнул:

— Господи, хозяйка!..

Бедный Индра не успел даже свалиться с верстака — тетка схватила его могучими руками, и на злополучную кудрявую голову маленького акробата посыпались подзатыльники...

— Ах ты дармоед, комедиант, бездельник бессовестный, я тебе покажу как работать! Изверг! — Поток ругани и ударов излился на обалдевшего мальчика.

Из кармана Индры выпала растрепанная книжечка, его сокро-вище...

Разъяренная Бёмова коршуном кинулась на нее. Индра хотел было спасти свою драгоценность и чуть не бросился на хозяйку — да куда! Разве с бурей поспоришь!

— Эт-то что такое? — задыхаясь от бешенства, произнесла хозяйка.

Бросив беглый взгляд на странички, она безмерно удивилась:

— Видали? Нет, вы посмотрите на этого бездельника — чешская комедиантская книжонка, и он, негодяй, таскает это в мастерскую! Ну погоди, дармоед, это тебе дорого обойдется!

Свернув листки, хозяйка принялась хлестать ими Индру по голове.

— Ишь, голь перекатная, с голоду еле ноги волочит, а туда же — комедии играть! — кричала она на всю мастерскую.

Вдруг новая мысль осенила разъяренную фурию. Она вперила страшный взор в лицо плачущего мальчика:

— Да конечно же это ты, verfluchter Kerl! Арабчонок!

Никто, кроме дяди Плачека, не понял, в чем дело. Индра, весь в саже и копоти, размазанных слезами, действительно был черен как мавр.

— Ну, все мы, пожалуй, смахиваем на арапов... — негромко бросил Йозеф Калоус.

— Стало быть, негодный мальчишка, ты ходишь в театры комедиянствовать? Признавайся, ты вчера представлял арапчонка? — наседала на Индру тетка.

Тот чуть было не сознался, но тут — совсем как *deus ex machina*<sup>2</sup> в античной трагедии — к нему пришел на помощь дядя Плачек. Обычно тихий и скромный, он вдруг восстал.

— Кати! — воскликнул он, хотя ему и приказано было на людях называть сестру «пани хозяйка». — Кати, черт возьми, перестань мучить мальчишку! Если б он где-нибудь шатался, так, какого беса, уж я-то бы об этом знал!

Пани Бёмова осеклась. Этого она не ожидала. Вот как, Алоиз — и так накричал на нее?! Велико было ее желание наброситься и на брата, но она только отшвырнула обрывки книжонки и, пробормотав, что кое-кому это дорого обойдется, выкатилась из мастерской.

Плачек стоял, репителью выпрямившись. Он весь дрожал. Страх за Индру, грубость сестры и ложь, с помощью которой пришлось спасти мальчишку — иначе эта ведьма избила бы его до полусмерти, — от всего этого Плачека прямо трясло. Ну и жизнь, пропади она пропадом!

В мастерской все молчали, лишь приглушенно шумели машины.

Отвернувшись наконец от двери, за которой исчезла сестра, Плачек глубоко вдохнул, подошел к Индре и сказал — скорее, про себя:

— Она и на мать покрикивала — раз как-то пришлось мне ее стукнуть по одному месту, только так с ней и справишься...

Индра, всхлипывая, собирал с полу помятые, порванные странички. Плачек стал ему помогать. Он поднял титульный лист и, не вставая с колен, далеко отставив бумагу от глаз, прочитал:

— «Бедный фокусник», драма в пяти действиях Йозефа Каэтанна Тыла \*... — Он задумался, вдохнул и добавил: — Гм, действительно

<sup>1</sup> Проклятый (нем.).

<sup>2</sup> Бог из машины (латин.).

но, тяжкая жизнь, Индра, у этих... бедных фокусников, а только — понимаешь, парень? — на работе и впрямь нечего заниматься посторонними делами...

Рабочно, выйди из углов, окружили их.

— Это верно, посторонним делам не место на работе, — заговорил Калоус, почесывая в затылке, — только ведь и учеников так избивать не годится!

— Кабы она нас, бешеная баба, не боялась — и нас бы колотила, — проворчал кто-то.

Всем было отлично известно, что Плачек — брат хозяйки, но его хорошо знали, он был своим человеком для них, а не для Бёмов: при нем всегда говорили открыто. И теперь посыпались разные замечания и соображения. Тут Калоус вдруг поднял голову, словно его осенила небывалая мысль, и воскликнул:

— А что, ребята, утешим-ка мы Индру! В воскресенье в Сословном дадут чешское представление. Возьмем Индру и пойдем с ним, в знак солидарности, — все вместе пойдем в театр, в чешский! И пусть Бёмова хоть лопнет от злости!

— А что будут играть? — спросил Франц.

— «Вольтерра из Стракониц»\*! — ответил Индра, тронутый участием рабочих. — И я, господа, с вашего позволения, играю в этой пьесе! Мне бы очень, очень хотелось, чтобы вы все посмотрели!

Все удивились.

— Врешь, поди? — спросил Франц.

— Да честное слово! Правда, дядюшка?

— Я что, ты меня в это дело не впутывай, — проворчал Плачек: слова Индры лишний раз напомнили, что он покривил душой, выручая племянника.

— Кого же ты там играешь, вольтерра? — заинтересовался Калоус.

— Ну что вы, его играет сам пан Тыл. А я представляю всего лишь арапчонка — я ведь статист, по два гривенника за выход...

— Как же так — ты и там в роли арапчонка? — удивился Плачек, забыв, что он якобы ничего не знает.

— Ага! В «Вольтерре» есть двор турецкого султана, вот я там и арапчонок.

— Ты что ж, только и умеешь играть, что чумазых? — засмеялся Франц.

— Да я не виноват, такое уж совпадение, — растерянно объяснил Индра. — Только в «Вольтерре» арапчонок — наш, чешский, а в опере я представлял итальянского.

— А какая разница? Смотри, стукну я тебя, коли будешь вздор городить! — рассердился Калоус.

— Да нет, пан Йозеф, вы не поверите, а разница большая, — совершенно серьезно возразил Индра.

— Может, ты по роли что-то говоришь, из чего понятно, какой ты арап — чешский или итальянский? — не сдавался Калоус.

— Нет, роль немая, ведь я говорил вам, что я только статист...

— Тогда как же это узнать, если ты — черный и все время молчишь? — наседал Калоус.

— А вот как, пан Йозеф. — Индра улыбнулся, но тотчас снова стал серьезным. — Молчать по-итальянски, когда ты ни словечка — все равно не понимаешь, — плевое дело. А вот по-чешски молчать — ну до чего же трудно! Язык так и чешется, и все время надо за собой следить, как бы чего не ляпнуть!

Все расхохотались. Один из рабочих, рыжий, как шафран, по имени Доминик Козилек, захлебываясь от смеха, выкрикнул:

— Оно и впрямь молчать по-чешски порой ох как трудно!

— Ну, как бы там ни было, а мы на «Волынщика из Стракониц» пойдем обязательно, хотя бы ты там и не играл, — подумав, сказал Калоус. — А уж коли ты играешь — так тем более! Правда, ребята?

— Ох, спасибо вам большое, только, ради бога, никому не говорите, а то как тетупка узнает — выгонит меня! — заикаясь от радости, воскликнул Индра. — И никогда я не забуду, что вы так ко мне...

Он не договорил — у него перехватило горло.

— По-моему, ты болтаешь лишнее, — одернул его Плачек. — Ведь это и так понятно! А теперь, ребята, — мягко обратился он к товарищам, — по местам, за работу!

\* \* \*

Косые лучи осеннего солнца падали через слуховое окошко в чердачную каморку. На сундуке под окошком, тщательно причесанный, в чистой рубашке, с папкой в руке сидел Индра. Он ждал дядю Плачека, который трудился перед осколком зеркала, повязывая себе галстук, и с важностью говорил:

— Ясное дело, свой, чешский театр — настоящий, такой, чтоб все как следует.. но... как бы это сказать? Дело-то хорошее, да ведь никто нам его не преподнесет, и с неба он сам не свалится! Спасибо скажи, что нас хоть по воскресным дням пускают в Сословный...

Из груди задумавшегося Индры вырвался вздох.

— Ах, дядя, вы и не знаете, как я рад! А как вы думаете, другие придут?

Плачек, только сейчас сумевший кое-как зачихнуть галстук под воротничок, удивленно поднял голову:

— Раз сказали — придут! И вообще надо бы им завести привычку ходить на чешские представления. Там ведь, черти в пекле, по-

нашему играют! — Потом, нахмурившись, он добавил: — Да только что поделавешь, бедность одолела... И такие все какие-то затурканные...

Дядя задумался. Помолчав, он перевел взгляд па окошко и сказал:

— Знаешь, в молодости бродил я немало по белу свету, но в какой бы стране ни бывал, повсюду театры играют на родном языке...

— Значит, надо построить собственный театр! — горячо подхватил Индра. — Он нам так нужен, так нужен!

Плачек грустно усмехнулся:

— Только вот ведь что — те, кто мог бы себе это позволить, они... Эх, да что говорить...

— Это вы про Бёмов? — вполголоса спросил Индра.

— Хотя бы и про них. У таких, видишь ли... как бы это сказать... сердца у таких нету! — Старый подмастерье разгорячился. — Взять, к примеру, твою тетку. Она ведь, черти в пекле, сестрой мне доводится, родной сестрой! А семья наша какая? Отец ремесленник, зато настоящей чех...

Плачек только рукой махнул — ему не хватало слов. Потом мягко проговорил:

— Ну, не стоит думать об этом. Сейчас мы идем на «Волынщика из Стракониц», и нечего портить праздничное настроение. Волынщик этот — да ты и сам лучше меня знаешь, — тоже по свету бродил, искал славу, богатство искал, а под конец понял, где да в чем настоящее счастье! Это — и сказка и не сказка...

Тут Индра встал — лучи солнца легли на его причесанные волосы — и порывисто раскинул руки:

— Как бы я хотел, дядя, стать настоящим артистом! Играть, петь — вот хотя бы как тогда, в нашей мастерской! Играть для нас — для медников, литейщиков, портных, жестянщиков, для всех цехов, сколько их ни на есть — для «плотников и столяров, пастухов или портных»... — И Индра невольно перешел на любимую песенку медников.

Старый Плачек с удовольствием смотрел на мальчика, который пел с таким жаром. Но потом он сделался серьезен.

— Хорошо поешь, Индра, очень хорошо — только быть артистом... да еще чешским — это, думается мне, горький хлеб...

— Да ведь вы же сами говорили, что если нам самим за это не взяться — с неба не свалится!

Воскресными днями, когда в Сословном театре из милости разрешали ставить чешские спектакли, можно было увидеть совсем иную картину, чем та, когда на немецкие представления съезжается

пражская знать. Ни экипажей, ни мундиров, — если не считать комиссара полиции, — ни разряженных господ. Спешили тогда к театру только простые горожане в своих праздничных костюмах — ремесленники, оживленно жестикулирующие студенты, добропорядочные семьи, подмастерья, солдаты, служанки — в общем, мелкий люд.

По всем ним уже издали можно было видеть, что идут они в театр. У них были совсем другие, чем в будни, лица. И глаза сосредоточеннее, яснее. И осанка другая.

Хотя было только половина четвертого, все торопились. Спектакли начинались точно, порой даже раньше назначенного времени, потому что, как бы ни был длин спектакль, кончатся он должен был ровно в шесть. Немецкая дирекция театра не прощала ни минуты затяжки и беспощадно заставляла опускать занавес хотя бы и в середине действия.

Да, на чешские представления в Сословном театре отпускалось в те времена не больше двух часов, включая и антракты для перемены декораций. Отсюда — сокращения в тексте и спешка к концу последнего действия, порой в ущерб смыслу.

У входа в театр никто не задерживался. Не было ни кружков, ни группок беседующих, ни поклонов, ни кокетливых смешков. Люди устремлялись к одной цели: в театр. Все остальное было едва ли не кощунством.

Люди эти сжимали в руках жалкие гривенники. Барышня в каске злобно отрывала билеты, с отвращением пересчитывая медяки, иногда еще влажные от потных ладоней. Ей было от чего злиться: если б не эти чешские представления, поехала бы она куда-нибудь за город с кавалером вместе того, чтоб возиться здесь с этой «тоже мне публикой».

Рабочие Бёма, вымытые, в чистых сюртуках, при галстуках, наминавших букеты цветов, явились вовремя. Хотели было купить билеты в партер, но потом, узнав стоимость билетов, помножив ее на число пришедших, убедились, что сумма получится изрядная.

— Да за эти денежки свинью купишь, — заявил Доминик Коулик.

— Действительно, дороговато, черти в пекле, — проворчал Плачек, присоединяясь к товарищам.

По длинной лестнице они поднялись на галерку — как и большинство подобных им зрителей.

Зрительный зал во время чешских представлений выглядел совсем не так, как на немецких. Ложи пустовали — мало кто из аристократов или высших чиновников, владельцев абонементов, приходил на полулюбительские наивные чешские спектакли. Поэтому ложи оставались неосвещенными, что подчеркивало угрюмую пустоту. Лишь в директорской ложе горел свет.

В партере было мало публики. Во втором ряду безучастно сидел полицейский комиссар, худой и неподвижный, словно он был набит опилками.

Бёмовские ребята пробилась к барьеру галерки, где буквально яблоку негде было упасть. Вот где собиралась благодарнейшая в мире публика!

Ходил слух, что чешские артисты держатся на сцене как-то топорно, слишком задирают головы — еще бы, ведь играли они главным образом для тех, на галерке!

Но самый жалкий вид был, пожалуй, у оркестра. В оркестровой яме сидело всего-навсего человек восемь музыкантов, одетых как попало. Вообще оркестр составляли те, кто приходил играть из энтузиазма — немецкие оркестранты, за редким исключением, в чешских спектаклях не участвовали. Ни бюджет театра, ни договоры музыкантов этого не предусматривали. Поэтому ставились по возможности драмы, украшенные пением или несложным аккомпанементом. Чешской оперы — если не говорить о трогательных усилиях Франтишека Яна ШкROUPа\* — не существовало. Без инструмента нет и исполнителя! И все-таки в чешских спектаклях артисты пели, и простые эти песни, несомненно, звучали для галерки так же сладостно, как для других итальянские арии.

Плачек, по мнению всех, настоящий театрал, объяснял что мог своим товарищам и отвечал на их бесчисленные вопросы. А товарищи расспрашивали его главным образом об актерах. Они очень удивились, узнав, что знаменитый комик Кашка\*\* был портным, Йозеф Каэтан Тыл — фурьером<sup>1</sup>, Крумловский\*\*\* — недоучившимся студентом, Лапил\*\*\*\* — точнее, Розплапил — колбасником, а Шимановский\*\*\*\*\* — плотником. Иными словами, большинство были ремесленниками, обычными людьми, как и сами рабочие Бёма...

— Значит, наш Индра, хоть и медник, тоже может стать актером? — задумчиво произнес Козилек, словно найдя решение какой-то трудной задачи.

— Верно, а мне это и в голову не пришло! — радостно воскликнул Франц.

— Знаете, теперь мне наш театр как-то больше правится, — и Козилек взъерошил свои рыжие патлы.

— А сколько может заработать артист в неделю? — спросил Калоус.

На это Плачек ответить не мог.

— Не много, правда?

— Ну почему? Уж если они бросили ремесло, а кто даже учесть... — начал рассуждать кто-то.

---

<sup>1</sup> Военный квартиррьер.

— Нет, вряд ли у них большие заработки,— заявил Калоус.— Знаю я одного, ходит в наш трактир, так у него вечно обтрепанные штаны, и пьет он только пиво.

— Да, думаю, что не много,— помолчав, подтвердил Плачек.

— Так чего же их несет на сцену? — с недоумением спросил Франц.

— Ну, об этом спроси нашего Индру,— улыбнулся Плачек.

В директорской ложе появился тщательно одетый человек лет сорока, с волнистыми волосами над высоким лбом и с чуть презрительной улыбкой.

— Кто это? — спросили Плачека товарищи.

— Это Йозеф Иржи Колар \*!

— Колар? Знаменитый артист? Разве он нынче не играет? — разочарованно протянул Калоус.

Плачек неохотно ответил:

— Он вообще редко играет, а последнее время и вовсе перестал участвовать в чешских спектаклях!

— Почему?

— Не знаю. Слышал только, что он вроде повздорил с Тылом,— рассеянно ответил Плачек.— Где нужда, там и ссоры...

— И чего не поделили...— задумчиво пробормотал Козилек.

В это время раздались звуки жалкой музыки — хоть музыканты и старались вовсю. Публика тотчас стихла.

Поднялся занавес, и представление началось.

Спектакль на чешском языке проходил в этом прекрасном, блистающем золотом театре как некое богослужение — и так же воспринимался. Словно вместо непонятого латинского текста звучала у алтаря родная молитва. Словно в роскошный пиршественный зал, где обычно слышалась лишь чужая речь господ, сошлись к столу простые люди — женщины в канифасовых юбках, мужчины в суконных сюртуках, — чтобы под звуки деревенских сопелей и скрипок вкусить хлеб Завета своего. И не смущала никого простота яств, ибо это были их яства. Каждый в глубине души гордился тем, что вот слушает родную речь в столь удивительном месте. Ах, и честь и горе! Честь — в том, что все-таки отвоевали себе это право; горе — что право правом, а делалось это из милости...

Действие на сцене очаровывало души благодарных и восторженных зрителей, потому что говорило как бы от их имени. Ведь здесь, несмотря на все несовершенство, не только играли — здесь и мечтали и демонстрировали — здесь сражались. Сцена и зрительный зал были словно душа и тело единого живого существа.

«Вольничик из Стракониц», как и все чешские спектакли, шел в декорациях, собранных с бору по сосенке. Дирекция театра, выдавая из складского старья «что-нибудь для чехов», совершенно не

считалась с изображаемой эпохой или стилем постановки. Однако старые рваные кулисы, кое-как починенные добровольцами из актеров, будили в благодарных зрителях порой более богатые впечатления, чем роскошные декорации немецких спектаклей — в «сливках» пражского общества.

То же самое относилось и к костюмам. Чешским актерам приходилось довольствоваться обносками с плеча немецких коллег. Но трудолюбивые руки чешских актрис чинили, перешивали и украшали эти обноски, приводя их в такой вид, чтоб не стыдно было показаться в свете рампы. Выдающийся чешский артист Ян Кашка, в прошлом портной, целыми днями перекраивал, подгонял и обновлял театральный хлам, превращая его в гардеробы князей и королей...

Так был обставлен и «Волынщик из Страколиц». Любовь к рождающемуся в бедности, гонимому чешскому театру делала с глазами зрителей то, что делает она с глазами всех влюбленных: они видели только прекрасное.

С каждым актом спектакль все больше завоевывал сердца зрителей. Рабочие Бёма постепенно и забыли, что заставило их сегодня прийти в театр. Сказка Тыла обволокла их души давно забытыми грезами, а в сердцах пробудила чувства, о которых они и понятия не имели. Все, что происходило на сцене, было для них родным. Страстные мечты Шванды, слезы любящей Доротки, тихая песня старого Калафуны...

Лишь во втором действии, после того как Воцилек пропел свою песенку: «Ах, снаружи много блеска, а внутри один лишь дым», — вспомнили они свою мастерскую и вместе с нею Индру Мошну.

— Да где же наш Индра? — спросил в антракте Козилек.

— Как знать, может, шутку над нами подшутил, озорник этакий... — проворчал Калоус.

— Не беспокойтесь, явится, когда будет сцена в турецком дворце, — со спокойной уверенностью знатока возразил Плачек.

И действительно, когда действие перенеслось во дворец принцессы Зюлейки, у трона ее, скрестив руки на груди, стоял нах с зачерненным лицом, в тюрбане, с большими золотыми кольцами в ушах; и наши медники с радостью узнали в нем своего маленького товарища.

— Он! Гляньте-ка! Наш Индра!

— Да как стоит, сморчок этакий! — подталкивали друг друга медники, преисполненные чувства гордости.

Доминик Козилек стал даже озиаться по сторонам, снедаемый желанием намекнуть соседям, что и мы-де не лыком шиты — вон на сцене, в ярком свете рампы, стоит один из нас, медников, да еще простой ученик...

А Мошна порой взглядывал на галерку и легонько кивал им.

— Ребята, это он нам! — чуть во все горло не крикнул Франц и замахал Индре руками.

Действие шло своим чередом. Музыка волынщика Шванды расселила принцессу Зюлейку, и она ушла в сопровождении своих придворных; удалился и черный паж, чтобы возвестить королю, что принцесса берет Шванду в мужья.

А медники наши от души желали Шванде успеха и счастья и досадовали, что на дороге его стала Доротка со старым Калафупой; потом их вдруг охватило беспокойство: неужели Шванда и впрямь отретется от Доротки ради принцессы?

Весь этот узел разрубило появление принца Аламира с его оруженосцами: они разогнали турецкий двор и схватили Шванду.

Индра вернулся на сцену несколько ранее; в качестве посланного короля Аленороса он нес на подушке королевские дары. Когда же на сцену ворвался свирепый Аламир, Индра так растерянно заметался по сцене, с такими душераздирающими криками, что публика покатилась со смеху, невзирая на печальное обстоятельство — пленение злополучного Шванды.

— Куда, им нашего парнишку не словить! — крикнул Козилек.

А Индра, поспешно расставив золотые дары по карманам своих турецких шальвар, забился под трон принцессы и выглядывал оттуда до тех пор, пока оруженосцы Аламира не увели Шванду.

— Гляньте, гляньте, ну прямо будто хозяйка за ним гоняется! — все толкал товарищей Козилек.

— И пасть под верстак, то есть под трон! — захохотал Франц, не умевший говорить тихо.

Потом появилась темница, в которую бросили Шванду. В зрительном зале воцарилась глубокая сочувственная тишина.

Следующая сцена изображала пещеру в горах, где отверженная Росава, мать Шванды, молила Лесану, властительницу лесных духов, смилостивиться над сыном. Лесана спасает блудного сына, но за это накладывает на Росаву заклятие: отныне и навеки должна Росава жить среди диких лесных женок...

На радость диких женок, насмехающихся над ее несчастьем, Росава отвечает глубокой верой в человеческую любовь, которую ей довелось познать:

Но любовь всего превыше!  
Ваша месть и ваши козни  
не посеют в людях розни,  
если в них живет любовь!  
Даже лестью не возьмете,  
даже силой не согнете,  
если в нас живет любовь!  
Стихии на помощь зовите — напрасно!  
Могуществу ада любовь не подвластна!

И не успела отзвучать торжествующая отповедь Росавы, как публика разразилась бурными аплодисментами.

— Именно то, что мы все думаем! — восторженно воскликнул Калоус.

Много раз поднимали занавес. Вызывали артистов, всех и поодиночке, но больше всего публика требовала Йозефа Каэтана Тыла. Наконец он показался на авансцене: изможденное лицо, глубоко запавшие глаза, в которых отразились все его бессонные ночи. Тыл улыбался и слегка кланялся. Кто-то крикнул:

— До свиданья, Каэтан!

Тыл посмотрел в сторону, откуда раздался возглас, грустно кивнул головой и прошептал что-то — может быть, тоже «до свиданья».

— Почему — «до свиданья»? — спросил Калоус.

— Выжили Тыла! — чуть не крикнул Плачек. — Уволили...

— Куда же он теперь?

Плачек только пожал плечами и глубоко вздохнул.

— Не могут отнять у нас наши спектакли — так стараются рассорить и разогнать чешских артистов... Тыл не склонил головы — вот и должен уходить...

Калоус, расстроенный, все смотрел на сцену, — артисты еще выходили кланяться. И вдруг среди них показался мальчик в тюрбане — он быстро поклонился и, прежде чем кто-либо успел опомниться, исчез за кулисами. Только наши медники поняли, что это Индра благодарил товарищей за то, что те дружно явились в театр. Они стали усиленно хлопать в надежде, что им удастся еще раз вызвать маленького Мошну. Но беднягу уже схватил помощник режиссера.

— Ты как смел выходить?! — крикнул он, замахиваясь на Индру.

В это время со сцены возвращался Тыл, и на его вопросительный взгляд помощник режиссера злобно пояснил:

— Видали наглеца — тоже кланяться выходил!

— А почему бы ему и не выйти — он тоже играл, не правда ли? — сказал Тыл и погладил мальчика по щеке.

Получив неожиданно ласку вместо подзатыльника, Индра затрепетал от счастья — как щенок, который почувствовал тепло человеческого прикосновения. Как хотел он поцеловать эту тонкую погладившую его руку! Но Тыл уже скрылся во мраке кулис.

А Индра запомнил на всю жизнь: белая тонкая рука, запах грима и фигура, исчезающая в темных кулисах...

Ему вдруг стало невыразимо грустно, хотя он не знал, в чем дело, не знал, какие печальные времена переживает чешский театр. Лишь позже, когда Йозеф Каэтан Тыл навсегда покинул Прагу, чтобы начать тяжелую жизнь бродячего артиста, Индра понял горькую участь этого великого человека.

Между тем началось третье действие — последнее странствие Шванды.

И вот все закончилось, и спасенный вольтничек обрел наконец твердое место в жизни. Верная любовь победила.

Индра уже разгримировывался, когда — в который раз — произошел тягостный инцидент.

Действие еще только подходило к концу. Пляска диких женок и масок, бурная музыка, потом мгновенная тьма — и рой духов, обступивших покосившуюся от времени виселицу, а под нею злополучный Шванда... В эту минуту звонкий голос Доротки должен был разрушить злые чары.

Но действие было прервано.

Пробило шесть. Директор, следивший за временем с часами в руке, приказал опустить занавес. Артисты, словно пробудившись от сна, недоуменно озирались.

— Господа, извольте очистить сцену и проветрить зал! — крикнул директор.

Артисты, столпившись вокруг Тыла, подобно испуганным цыплятам, с горечью смотрели, как рабочие бросились на сцену разбирать декорации «Вольтничка».

Разочарование публики было не меньшим. Дело даже не в том, что оборвали сказку. Нет, это был грубый удар, унижительный пинок ногой...

В подобных случаях возмущенная чешская публика нередко протестовала против прекращения спектаклей, а директор театра Гофман только того и ждал, чтобы получить право чуть не силой выдворить зрителей. После чешских спектаклей он демонстративно приказывал открывать в артистических уборных окна — чтоб выветрить чешский дух...

Однако назло театральной дирекции люди чаще всего расходились спокойно, с достоинством. И теперь старый Плачек объяснил своим возмущенным товарищам:

— Это они нас провоцируют! Они только того и хотят, чтобы мы на их грубость ответили беспорядками, — им нужен повод вызвать полицию и вообще прекратить чешские спектакли. Но господин Гофман этого не дождется!

Все-таки несколько молодых людей начали что-то возмущенно выкрикивать. Наши медники, естественно, собрались поддержать их; Плачек стал их удерживать. Ребята никак не хотели взять в толк, что такой произвол возможен.

— Да где мы находимся? Мы в родной стране и платим налоги!

— Это за наши-то денежки!

Полицейский комиссар стоял с видом оскорбленной богини справедливости. Театральные служители довольно грубо выпроваживали

артолей. В дверях появилось несколько полицейских мундиров. На всякий случай.

Тут Козилек не выдержал и крикнул комиссару:

— Эй, ты, важный, смотри не лопни! Чего озираешься, это я тебе, тебе говорю, сморчок несчастный!

Комиссар, погрозив в сторону галерки, бросился к выходу. В сердцах он забыл прихватить с собой подкрепление.

Плачек, взяв Козилека под руку, быстро вывел его в коридор. Толпа, спускавшаяся с галерки, сердито шумела. Среди этой толпы им было спокойнее.

Комиссар ждал внизу. Суется, он искал глазами того, кто осмелился кричать ему обидные слова, и был так нетерпелив, что стал подниматься по лестнице навстречу толпе, толкаясь и мешая людям. Опять поднялся ропот, но комиссар вошел в раж... Увидев медников, он стал пробираться к ним.

— *Wer hat es von der Galerie geschrien?*<sup>1</sup> — срывающимся от злости голосом крикнул он.

— А мы тебя не понимаем, парень, — спокойно отозвался Калоус. — С нами надо потише, да по-чешски!

Комиссар обвел глазами могучие фигуры медников, но, оправившись от удивления, гаркнул:

— Кто критшать з галери, а?!

Медники окружили его плотной стеной: их было девять, Плачек десятый. И тогда стало видно, что комиссар — худенький молодой человек с пенсне на носу. Медники, в большинстве ребята здоровенные, с руками как оглобли, еще теснее стянули круг и смотрели на комиссара, как на пойманного сверчка.

— Что угодно, пан комиссар?

— Мы честные граждане, а вы занимайтесь-ка своим делом, — заявил Калоус.

— А не то в зубы получишь, — тихо добавил Франц на ухо комиссару, но, когда тот круто к нему повернулся, скроил вежливую улыбку.

— Не задерживайте нас, пан комиссар, вы ведь знаете, в шесть часов театр надо очистить! — воскликнул Плачек. — Пошли, ребята!

Комиссар, бледный, задыхался от злости. Рабочие со смехом отошли, а Франц добавил:

— До свиданья, вашбродь! Да скажите спасибо, что так кончилось.

Индра ждал своих на улице. Увидев его, товарищи бросились к нему с шуточными приветствиями:

— Поздравляем, маэстро!

<sup>1</sup> Кто это кричал с галереи? (нем.).

- О, как вы великолепно играли!
- Дозвольте пожать ручку!
- Где же ваш экипаж, ваша милость?
- Сигару не угодно?

Индра был счастлив, что товарищи пусть в шутку, но почтили его. И он принимал их поздравления с такой же шутливой благо-склонностью; потом, как бы спохватившись, опечалился.

— Вас выгнали? — тихо спросил он.

— Э, ничего! Пусть подавятся своим театром. Мы построим собствен- ный, да побольше! — вскричал Калоус.

— Большое вам спасибо, дядя, — обратился Индра к Плачеку. — Только простите, что мы не закончили спектакль... Мы... Это не наша вина.

— Знаю, малыш, — горько усмехнулся Плачек. — Но когда-ни- будь и мы им... Да оно и лучше так! — перебил он сам себя. — При- мирения быть не может! Хоть знаем, с кем дело имеем!

Индра удивленно посмотрел на него. Такая мысль никогда еще не приходила ему в голову...

Прощаясь — ему еще надо было зайти к родителям, — Индра сказал дяде:

— А вы знаете, что пап Тыл уходит?

И он невольно прикоснулся рукой к щеке, словно хотел вызвать ощущение ласки Тыла.

— Знаю, — сурово ответил Плачек.

— Но он еще вернется, вот увидите! — чуть ли не крикнул Индра.

\* \* \*

В тот воскресный день семейство Мошны почтили визитом ред- кие, неожиданные гости.

Когда к беднякам заходят ненароком богатые родственники, в сердце всегда остается горечь...

В низенькой и не слишком просторной комнате наемной квар- тире на первом этаже, с окнами на серый, вечно захламленный дворик, сидели дядюшка Бём с тетушкой Бёмовой. Сидели они как пришли — в полном параде: тетка в пышной шляпе, дядя в пальто, скрещенными руками он опирался на свою трость.

Мамаша Мошнива прямо-таки испугалась сестры и зятя. Она не виделась с ними с тех самых пор, как Бём купил дом на Водичковой улице. Переговоры об учении Индры вел с Бёмом отец Мошна.

Хозяйка поспешила надеть чистый передник, поскорее вытер- ла стол и набросила на него чистую скатерть.

— Да ты не хлопочи! Мы бы и не зашли, если б не дело, — грубо отнеслась к сестре Бёмова.

Старого Мошну — кузнеца, вечно меняющего место работы, вечно озабоченного тем, как добыть для семьи самонужнейшее, шушлого, сутулого от работы человека с лицом, обрамленным седеющими бакенбардами, так взволновало нежданное посещение, что у него даже погасла трубочка.

Бёмовая немедленно приступила к делу. Нет, она решительно не желает держать в доме такого изверга, каким несомненно является их ученик и, к сожалению, племянник Индра!

— Госноди, да что же он натворил? — всплеснула руками мамаша Мошнова.

— Уж не... уж не украл ли чего? — в страхе прошептал отец.

— Ну нет, — сильно прищуривая левый глаз, ответил Бём. — Дело еще не так плохо...

— Молчи, это куда хуже! — прикрикнула на него жена. — Мальчишка комедиантом стал, в театрах играет!

Пани Мошнова от удивления разинула рот. Вот оно, то, чего она больше всего боялась, — Кати дозналась о работе мальчишка в театре...

— Я в этом не разбираюсь, — с облегчением пробормотал отец.

Тогда Бёмовая обстоятельно растолковала суть вопроса, до того сгустив краски, что вывод — будто мальчишка, повинный в склонности к театру, непременно вырастет бродягой и бездельником и закончит свои дни на виселице, — прозвучал вполне правдоподобно.

А дядя Бём сидел да помалкивал. Он знал — жене надо перекипеть, мальчишке зададут трешку, а там видно будет. Поэтому он только головой качал. Он предпочел бы сидеть сейчас где-нибудь за кружечкой пива да покуривать добрую сигару. От такой заманчивой мысли он невольно потянулся к портсигару.

— Нечего тебе курить, здесь и так дышать нечем! — осадила его Бёмовая.

Супруг и это проглотил, только молча кивнул. Мамаша Мошнова обвела горестным взглядом свою комнату, заставленную мебелью.

Вот в эту-то милую семейную атмосферу, словно камень в воду, упал главный виновник — злодей Индра.

Он бежал домой за утешением и поддержкой. Радовался, что расскажет дома обо всем, снимет тяжесть с сердца, изольет печаль свою, потом расскажет, как вся мастерская ходила на сегодняшнее представление только ради того, чтоб увидеть его, Индру, на сцене, и как все потом его поздравляли, и какой дядя Плачек славный и добрый человек... Индра знал, что все это порадует мать. И еще он отдаст ей те несколько гривенников, которые заработал в театре. Он представлял себе и отца — тот немного поворчит, но потом разговорится и начнет что-нибудь объяснять, и глаза у него разгорятся, и скажет он Индре, конечно, что-нибудь похожее на слова дяди Плачека — такие твердые слова, на которые можно опереться. О выво-

лочке же, которую он получил от тетки за канкан, он, конечно, рассказывать не станет — все уже прошло, так зачем огорчать стариков?

И па́ тебе: Бёмы тут как тут, сидят у них в комнате, принесла нечистая сила! Все пропало!

Побледнев как мел, Индра застыл на пороге.

Взрослые тоже глядели на него сначала как на потустороннее явление. Потом тетка надулась и, резко отвернув голову, вперила нос в стену, на которой висели пожелтевшие гравюры с изображением Жижки \* и Гуса \*\*.

Опомнившись, Индра пробормотал приветствие и подбежал к тетке — руку целовать. Но тетка отдернула руку.

Первым собрался с духом отец:

— Вот и ладно, что пришел, — хорошенькие вещи мы про тебя узнали!

Индра собрался было что-то возразить, но отец закричал:

— Дядя и тетюшка не хотят больше тебя держать! Кем вырастешь? Недоучкой! Мужлана никто никуда не примет!

Слово «мужлан» странным образом отскочило от маленького Индры, который теперь, растерянно теребя шапку, казался еще ниже ростом. Мамаша Мошнова начала всхлипывать.

— Комедиантом вырастет! Бродягой! — крикнула тетюшка Бёмова.

И тут что-то — чего никто, да, пожалуй, и сам Индра в себе не подозревал — подвинуло мальчика воскликнуть:

— Разве комедианты — не люди?!

И снова перед его внутренним взором мелькнула фигура Тыла, исчезающая в сумраке кулис.

— Вот, нате вам! — Тетка со злостью шлепнула ладонью по столу. — Нет, мне такого не надо! Не справлюсь!

Дядя Бём взглянул на свою мощную половину и пробормотал:

— Но, Кати...

Мамаша Мошнова робко принялась просить за сынишку и все старалась убедить его:

— Ты ведь справишься, Индржишек, правда? Правда, Индржишек, ты будешь слушать дядю? Попроси прощения у тетюшки, а то ведь и впрямь, что из тебя получится...

Плач матери тяжело лег на душу отца; голос его окреп:

— Слушай, Антон, пеужели ты, черт возьми, подложишь мне такую свинью? Может, попробуешь еще, Антон...

Тетка, показывая на Индру, который стоял понурившись и упорно рассматривал носки своих ботинок, крикнула:

— Да вы гляньте на него! Мятежник! Бунтовать хочет! Да еще родной тетке язык показывает!

«Мятежник», сломленный слезами матери, скорее, однако, походил на мокрого цыпленка.

Тут вмешался дядя Бём. С него было достаточно. Если вначале, поддавшись вечным попрекам и намекам супруги, он было согласился, что лучше всего отказаться от мальчика, — зачем кормить каких-то там родственников! — то теперь, увидев, как все это тяжело, он решил вмешаться. В самом деле, выгнать племянника значило испортить ему жизнь. Ученик, которого выгнали с места, считался по тогдашнему строгому цеховому уставу черной овцой. Тем более если его выгнали родственники! Нет, так не годится. Старый Бём был, в сущности, человеком добрым и верил вдобавок, что на том свете за все воздастся. Редко восставал он против своей шумной и решительной половины, но уж если это делал, то добивался своего. Это знала и Кати.

Он встал, прошелся по комнате и, остановившись возле Индры, сказал, словно все решено:

— Тетя простит тебя, Индра. Но ты должен здесь, при родителях, обещать, что будешь добронравным и послушным мальчиком.

Бём облегченно вздохнул и обвел глазами комнату. Смеркалось. Было очень тихо, только часы, казалось, тикали громче обычного.

— Ну вот, а теперь поди поцелуй тете руку! — обернувшись к жене, Бём продолжал тем же тоном: — Что ж, Кати, все-таки он — твоя кровь. Так что уж как бы этого... того...

— Катенька, богом тебя прошу — довольно ведь мы унижены! — сказала мать, уже без слез, и подтолкнула сына к сестре.

Отец же буркнул:

— Он будет у вас честно работать. А то куда мне его теперь... Спасибо, Антон.

Индра, подталкиваемый матерью, подошел сначала к дядиной руке. Слегка растроганный, дядя хотел было погладить мальчика, но взгляд жены остановил его: это уж слишком!

Наконец, после новых обещаний, заверений и речей, тетка, успешная «перестирать» все старое семейное бельишко, милостиво протянула руку провинившемуся.

— А в театр ни шагу! — приказала она. — И квяжки свои комедиантские сожги! Не то и впрямь удерешь, не дай бог, к цыганам! А ты, Йозеф, еще поддерживаешь его! Сначала всякие там патриотические кружки, а потом вот до чего доходит!

Старый Мошна собрался было возразить, но мать Индржиха поспешила замять разговор. Пришлось ей проглотить еще одну горькую пилюлю... Кончилось-то дело сравнительно хорошо, но горечь — горечь останется...

Родственники ушли. Смерклось. Все молчали. Мать зажгла масляную лампу.

— Тетка права — все это от книжек, — произнесла она, нарушив молчание.

— Кому мешают книги? И почему рабочий не может быть начитан? — возразил старый Мошна.

— А видишь, к чему это приводит! Одни неприятности...

— Побольше сознательности, голубушка! Мы ведь хотим, чтоб народ наш сделался образованнее, чтоб не прозябать нам в таком подчиненном положении, — пустился в объяснения кузнец.

— Правда ваша, батюшка! — с жаром подхватил Индржих.

— А ты молчи! Твое дело слушаться! Сначала окончи учение, настоящим человеком стань! Тогда и будет от тебя польза народу, а не от всяких там комедий... или еще чего... Книжки же отдай мне, — прикрикнул отец на успокоившегося было мальчика.

— Вы их сожжете? — ужаснулся Индра.

— Да разве я варвар какой? Дурачок! А вот найдет их у тебя тетка — и вылетишь вон! Дома — дома, пожалуйста, можетшь читать их, — уже мягче добавил Мошна.

Некоторое время царил тишина. Индра спрятал лицо в ладони. В памяти возникали мелодии спектакля «Вольничик из Стракониц» и звучало горькое «до свидания» Тыла.

Отец подошел, погладил Индру по голове:

— Вот походишь по свету, вернешься настоящим человеком — тогда делай что хочешь. Тогда уж... впрочем, тебе твое сердце подскажет... Но теперь обещай мне, что сдержишь слово и не станешь затруднять жизнь нам с матерью — она у нас и так пелегка...

Индра прощентал в ладони:

— Обещаю, батюшка...

В тот вечер, вернувшись от родителей, сидел маленький Мошна в каморке на чердаке — сидел, очень грустный, при свете огарка. Дядя Плачек еще не приходил. Наверно, закатился с товарищами куда-нибудь в пивную — скорее всего, к Шенфлоку. И может, именно в эту минуту они поднимают кружки за здоровье Индры. А он сидит тут, переживая, вероятно, самый тяжелый момент в своей жизни — по крайней мере момент этот казался мальчику самым тяжелым.

Если б можно было своими глазами увидеть, какой произойдет переполох, да если б мог он сделать как-нибудь так, чтоб это не коснулось матери с отцом, — взял бы да и покончил с собой. Сколько раз видел он на сцене прекрасную кончину героя, который после длинного и замысловатого монолога, полного громозвучных и по возможности непоэтичных слов, вонзает кинжал в свое сердце или бросается в бездну с крутого утеса... На сцене, однако, умирать сравнительно легко — надо только знать, куда падать, чтоб не расшибиться да не

разорвать штаны — а вот в настоящей жизни, да без публики, да без поклонов, — дело другое. Хотя эффект — эффект, конечно, будет, это уж верно! И нашлось бы, кому его оплакивать...

Или пойти лучше поискать своих, излить им душу, потолковать с ними, а там по-мужски посмеяться над незадачей? Но — ученикам запрещено ходить в пивные... Вот проклятая жизнь!

Э, да что там! Все горести и беды надо избегать самому — никто не поможет развязать даже самый крошечный узелочек в твоей жизни. Зато он по крайней мере все как следует обдумает.

Начнем сначала: батюшке он обещал закончить учение на медника. Это — еще три долгих года. О господи! Но — ладно. Потом ему предстоит поработать в других местах, узнать мир, и... и что дальше?

Горечь и чувство безнадежности опять стали закрадываться в душу Индры, но тут в памяти его четко всплыла сценка в Сословном театре: Тыл, Йозеф Каэтан Тыл, выброшенный на улицу с несколькими верными последователями... Каково же ему-то? А он не сдастся! Нет! Нельзя поддаваться отчаянию, разгримироваться и бежать из театра прежде, чем опущен занавес, — пусть жестокие люди порой нарочно опускают его, не дожидаясь конца спектакля. В том-то и дело — злые люди всегда опускают занавес над самыми прекрасными мечтами...

Индра опять опечалился, состроил трагическую мину и попробовал выжать слезы. Это ему плохо удавалось. Он отыскал дядино зеркальце, попробовал перед ним. Ни слезинки! Да что же это? Самый тяжелый момент в его жизни, рухнули планы, сердце заходится — а ничего! Он долго щипал себя за нос, и довольно чувствительно, так что нос покраснел, словно с мороза. Вот бы сейчас немного луку... Индра с трудом удержался, чтоб не показать самому себе язык.

«Ох, и работка с этими самыми тяжелыми моментами!» — подумал Индра — и вспомнил о своих книжках. Вот что ему поможет!

Поставив стул на стол, он залез на него, едва не стукнувшись головой о потолок. Забравшись так высоко, он вдруг захотел побалансировать на одной ножке, но сообразил, что это как-то не подходит к «самому тяжелому моменту в жизни». Поэтому он опять сделался серьезным и вытащил из-за потолочной балки спрятанные книжки — драгоценные свои пьесы. А то еще тетка найдет и сожжет их. Она как пить дать устроит обыск и перевернет вверх дном всю каморку.

Индра слез, положил книжки перед собой на стол и снова задумался. Тетке он эти книги не отдаст — это решено, он спрячет их у отца.

Начал перелистывать — в памяти всплывали реплики, стихи, мелодии... Вот изорванная брошюрка — «Бедный фокусник». Индра перелистывал, просматривал странички, начал читать вслух — спа-

чала совсем тихо, потом вполголоса, а там увлекся и с мальчишеским задором, с неуклюжим трогательным пафосом принялся декламировать роль бедного фокусника Зикмунда:

— «Я верю, верю тебе... Но себе нанерекор надевать маску шута, ради куска хлеба, какой и собаке-то бросают только шутки ради, развлекать бессердечную толпу — и это когда в груди все кипит, а сердце готово разорваться... О, золотой якорь утешения!..»

Мальчик замолк, восхищенный собой. Текст удивительно отвечал его настроению. И произнес он эти слова с такой же силой, с какой мог бы их прочитать по меньшей мере Йозеф Иржи Колар...

В углу стоял зонтик дяди Плачека — при виде его лицо Индры мгновенно озарилось. Он вскочил, взял зонтик, взмахнул им, как мечом, — да ведь это и был меч! — и громким голосом произнес слова, которые не раз слышал на репетициях «Эдипа» из уст Франтишека Крумловского. Индра не понимал толком смысла слов, но звучали они еще трагичнее, чем роль бедного фокусника, — они были какие-то роковые, эти слова, что опять-таки прекрасно гармонировало с «самым тяжелым моментом в жизни»:

— О Афиа, владычица! По велению Лоция  
явился я — прими же с милостью грешника,  
уже от проклятья свободного, с руками,  
уже от крови чистыми.... В храм твой явился я,  
к образу твоему, здесь и останусь,  
ожидая, когда окончится суд!  
Таково преступленье мое...

Индра взмахнул зонтиком, как бы пронзая кого-то — возможно, тетку Бёмову, — и весь замер, совершив такое ужасное деяние. Потом вздохнул и изрек просьбу Эдипа:

Ныне свидетельствуй и дознание веди,  
Аполлон! По праву ль убил я ее...

Дело явно касалось особы женского пола, и тетушка Бёмова вполне могла быть упомянутой жертвой. Потом Индра опустил меч, который вновь превратился в зонтик, и, захваченный порывом, воскликнул:

— Все равно я буду артистом!

Мошна сдержал слово, данное отцу и себе, — закончил учение у дяди Бёма, выдержал экзамен на подмастерья и, став «настоящим человеком», отправился в люди испытать свои силы.

Но в вещичках своих он унес театральные книжки, а в сердце единственную любовь свою — к театру. Она осталась непоколебленной, только пряталась все это время под слоем искусно полированной бронзы, блестящей, как золото, — она, сама чистое золото!

Индра очутился в Вене и работал там у многих мастеров, показав себя искусным и способным медником.

К ремеслу своему он относился серьезно и гордился им. Но это была для него суровая школа — тем суровее, чем жарче разгоралась его любовь к театру. Школа дисциплины, точности, выдержки.

Работая, Индра не переставал читать и вглядываться в жизнь. Люди, люди — вот что его интересовало. Он мог часами смотреть и слушать — в трактире, на рынке, у цирюльника, везде. И потом опять читал, читал все, что попадалось.

На свете нет случайностей!

Не было случайностью и то, что в Вене Индра поселился у актера и певца Клипгера из театра Франца-Иосифа\*.

Господин Клипгер ввел его в круг актеров-профессионалов и за кулисы. Это было все равно что пустить рыбу в воду. Мошна сделался статистом в театре Франца-Иосифа и там же получил первую свою роль с текстом.

Так Мошна познакомился с большим театром, с театром большого мира и больших артистов. Он узнал Бургтеатр\*\* и его актеров — Бекмана, Лёве, Ла Роша, Крастля\*\*\* и других — цвет австрийских артистов. В театре Карла играла во времена Мошны знаменитая триоца — Нестрой\*\*\*\*, Шольц\*\*\*\*\* и Гройман\*\*\*\*\*. Шольц в особенности запомнился Индре на всю жизнь.

Вернувшись через четыре года в Прагу, Мошна не оставил еще своего ремесла. Отбыв военную службу, он пошел не в театр, а снова к дяде Бёму, у которого проработал подмастерьем целый год. Понятно, все свободное время его принадлежало театру.

Тем временем в Праге обстановка изменилась. В августе 1859 года пал недоброй славой «полицейский Габсбургов», министр внутренних дел Александр Вах, и с ним — полицей-директор Кемпен. Чехия вздохнула свободнее. Однако лишь октябрьский декрет\*\*\*\*\*, изданный годом позже, предоставил чехам некоторые политические свободы; вместе с тем чехи решительно заявили и свои требования в области культуры. Создание национального театра стало частью политической программы чешского народа.

Чешские спектакли по-прежнему шли по воскресным и праздничным дням в Сословном театре, но уже и крупный Новоместский театр \* отвел им несколько вечеров.

Помимо того в Праге появлялись любительские общества, игравшие в различных помещениях. Самой заметной была труппа, выступавшая в Коширже, а позднее на Смихове<sup>1</sup>, в трактуре «У золотого ангела». Собственно, эти общества и кружки и были единственной школой чешских актеров.

В трактуре «У золотого ангела» появлялась иногда бродячая чешская труппа Йозефа Алоиза Прокопа \*\*.

Среди любителей Прокоп умел находить актеров для своей все время распадающейся, а некогда знаменитой труппы. Именно на Смихове, «У золотого ангела», поймал он в свои сети и молодого подмастерья медных дел Индржиха Мошну. Вернее, еще не поймал — это случилось позднее.

Здесь Мошна впервые выступил в чешском спектакле, правда, еще не как профессиональный актер. Сыграл он тогда роль офицера Альфреда в комедии «Три дня в жизни картежника». В Вене он наблюдал целую галерею офицерских типов и хорошо сыграл своего офицера, сумев вдохнуть в образ венское обаяние. Директор Прокоп похвалил его.

Однако в то время репутация труппы Прокопа уже была неважной. И решил Мошна постучаться сразу к мастеру из мастеров — в Новоместский театр, к самому Йозефу Иржи Колару, к этому богу на чешском актерском небосводе, попасть к которому помог ему Павел Шванда из Семчиц \*\*\*. Колар принял отважного просителя, выслушал, испытал его и дал на пробу роль Косинского в «Разбойниках» Шиллера.

Мошна понравился, но не был принят.

Колар дал ему такой совет:

— Поймите меня, mein junger Hidalgo<sup>1</sup>, — сказал он своим, только ему, Колару, свойственным величавым тоном. — Двери нашего театра для вас не закрыты, наоборот, я осмеливаюсь утверждать, что когда-нибудь вы войдете в них желанным коллегой, но — теперь-то и началось это «но», — по пути к этим дверям вы должны проложить трудом и искусством!

Великий артист особенно подчеркнул слова «труд» и «искусство».

В то время Мошна был еще очень зеленым, неопытным новичком.

— Если хочешь быть артистом, — говорил ему позднее старый Кашка, — то надо стать им со всеми потрохами, целиком, на славу и на несчастье! Искусство — это не отдельные визиты из другой,

<sup>1</sup> Предместья Праги (прим. пер.).

<sup>2</sup> Мой юный идалго (нем.).

обеспеченной жизни. Нельзя заниматься портняжным ремеслом и иногда вырваться поиграть на театре. Можно так: играть, играть, а между делом иногда шить кому-нибудь штаны. Искусство — это река, в которую надо броситься с головой, а не бегать по ее берегам, чтобы изредка сунуть палец в воду!

И наш Мошна бросился в эту «реку» — он, хороший, более того, отличный медник, которому предлагали весьма выгодную работу!

Не вышло в Праге — выйдет в провинции! К сожалению, не остается ничего другого, кроме труппы Прокопа.

Лошадь обьезжают, актер должен пообтесаться на подмостках — таков закон. Играть, играть и снова играть — играть до изнеможения. Только на подмостках, только перед публикой, в живом общении с нею рождается актер.

У Мошны не было школы. В свою тетрадь он переписал статью Тыла, опубликованную в журнале «Кветы» за 1845 год. Там Тыл между прочим утверждал:

«Никакая школа не научит художника самому главному. К главному его приведет только врожденная способность. Стало быть, актера невозможно слепить из праха школьной премудрости. Многое уже сделаете вы, дав ему верное направление. Человека делает только жизнь — школа на это не способна; актера же делает только театр, театр со всеми его страданиями и радостями, с дикими раздорами за кулисами, с завистью из-за куска хлеба, с оправданным и неоправданным честолюбием, с его расточительностью и нищенством, с поэтическим, возвышающим душу благословением — и с унижительным проклятием в обычной жизни — с овациями и свистом...»

Тем временем труппа Прокопа снялась с якоря и, покинув Прагу, отправилась в свой нелегкий путь по чешской провинции.

Мошна догнал ее в Находе.

\* \* \*

Шли шестидесятые годы.

Находский замок — громадные, мощные серо-желтые стены верхнего замка с высокой массивной башней — смотрел со своей высоты, поверх половодья расцветшей сирени и светлой зелени лип, на Большую площадь, с утра заставленную крестьянскими телегами, возками, двуколками: был базарный день.

К повозкам, стоявшим перед трактиром «Белый барашек», подкатила распатанная бричка. Из-под ее полотняного верха, мокрого от ранней росы, нетерпеливо выглядывал молодой человек.

— Ну вот вы и на месте, парень, — пробурчал худой старик, слезая с передка брички с помощью пожилого неуклюжего крестьянина.

Молодой человек прыгнул на землю, потянулся, улыбнувшись

обоим крестьянам той бесхитростной улыбкой, которую тщетно силится усвоить торговцы и которая с первого взгляда завоевывает доверие и дружеское расположение.

Приехавший стряхнул сено со своего сюртука, сдвинул на затылок широкополую черную шляпу и веселым взглядом окинул шумную, пеструю площадь. Потом он с восхищением посмотрел вверх, на замок, над которым белой чередой плыли по весеннему небу облака.

— Как хорош мир! Правда? — всей грудью вздохнул он и еще раз улыбнулся крестьянам.

— Для кого как, — проворчал старик, пытливym взглядом окинув юного оптимиста, словно проверяя, не ошибся ли в человеке, которого бесплатно, за одну лишь улыбку, посадил в свою повозку еще за Чешской Скалицей.

«Ходят тут всякие — поди разберись в них...»

Молодой человек снял с повозки свои вещи — мешок и корзинку. Неуклюжий пожилой крестьянин ослабил постромки и бросил лошади оханку сена.

— Зайти, что ли, тоже перекусить, — сказал он, наблюдая, с каким аппетитом лошадь принялась хрупать сено.

— А ты заплатишь? — воскликнул старик.

— Ну и жмот же вы, — добродушно отозвался неуклюжий. — Целый трактир купите, а на грошиках жметесь!

— А у тебя лишние есть? Декретами без пожа режут! Барщину-то отменили, да податями вконец измаяли!

А молодой человек, держа вещички в обеих руках, уже стоял перед большой доской, поставленной у входа в трактир, и с интересом читал такую надпись:

ВСЕМ ПАТРИОТАМ — ЖИТЕЛЯМ СЛАВНОГО  
ГОРОДА НАХОДА!

Сим извещаем, что с высокого соизволения властей в городе дает гастроли Первая чешская театральная труппа директора Прокопа.

Сегодня будет показана драма  
Фридриха Шиллера

«РАЗБОЙНИКИ»

*трагедия в пяти актах,  
в главной роли знаменитый трагик  
ФРАНТИШЕК КРУМЛОВСКИЙ.*

Приглашаем всех любителей искусства  
посетить наш спектакль!

Жители Находа! Вся Чехия смотрит на наше —  
а также и на ваше выступление!

Молодой человек залпом прочитал пышное воззвание папа Проккопа, и в душе его невольно шевельнулась гордость.

«Вот как — вся Чехия смотрит!»

Поставив вещи на землю, он еще раз отряхнул сюртук, поправил шейный платок.

— Глянь-ка, тятя! — раздался за его спиной сухой голос старика. — Вот это новости!

— «Раз-бой-ни-ки»... — прочитал по складам второй крестьянин и захохотал. — Видали как, дяденька! Разбойники! Что-нибудь, поди, про венских господ...

Старик только сплюнул и толкнул локтем молодого человека:

— Ну, чего смотришь, парень? Неужто интересно? Дуракам закон не писан... Ни к чему это все.

Молодой человек недоумевающе посмотрел на старика, еще раз улыбнулся и показал на доску, словно что-то объясняя:

— Вот я и приехал жив-здоров! Еще раз большое вам спасибо, дедушка, и бог вам за это заплатит!

Он поклонился обоим крестьянам и, ловко локтем открыв дверь, нетерпеливо вошел в трактир.

Старик посмотрел ему вслед, потом перевел взгляд на доску.

— Видишь, брат! — накинулся он на своего помощника. — Ты все говорил, студент это, а он, видно, из этих, как их — из комедиантов. Загляни-ка в повозку, все ли на месте!

В трактире «Белый барашек» шумно, как всегда в базарный день. Крестьяне в расстегнутых овчинах, работники в ватных куртках — многие как приехали, еще с кнутами в руках — грузно сидели на стульях и лавках. Перед одними стояли пивные кружки, перед другими четвертинки хлебной — все забежали сюда, как говорится, на минутку. Среди посетителей можно было угадать мелких людейшек, ремесленников, различных посредников и прочих мастеров потреть руки.

В соседнем, довольно просторном светлом помещении сидели на своих привычных местах крестьяне побогаче — уже по одному их виду можно было определить, что и земли-то у них побольше; сидели они с господскими управляющими, с приказчиками и, конечно же, с горожанами почище, для которых субботний базар тоже открывал разные выгодные возможности.

Напротив открытой двери из распивочной в этот светлый зал была другая дверь, высокая и закрытая; за ней, видимо, находился зал для танцев и представлений, как это обычно бывает в хороших городских трактирах. Из-за той закрытой двери глухо доносились голоса. Когда они начинали звучать громче, почти все посетители

оглядывались в ту сторону, словно им мешал шум, но тут же продолжали разговоры.

Трактирщик, низенький, с красноватым неподвижным лицом и колочими глазками, обслуживал оба помещения без суеты, быстро и внимательно — казалось, он одновременно находится в распивочной и в кухне, в светлом зале и у стойки. Он был из тех, у кого дело спорится. Он даже успевал поболтать с гостями, записать тех, кто расплатится в следующий базарный день, или тех, кто принес кое-что для кухни через черный ход. Короче, настоящий трактирщик! Именно таких позже, когда стали устраивать ссудные кассы, избирали в правления, а то и в председатели. Вся округа ходила у них в должниках. Сынки их учились в Праге на благотворительные средства, а выучившись, открывали адвокатские конторы, и их в свою очередь избирали — только уже в правления банков и акционерных обществ.

Наш юноша старался пробиться к трактирщику, который, видно, уже издали оценил его, потому что заставил себя ждать.

— Да вы садитесь, парень! — услышал он за спиной сухой голос привезшего его старика, который вместе со своим помощником без лишних слов втиснулся на лавку за столом возле двери, туда, где, казалось, не было уже ни одного места.

Юноша, благодарно взглянув на знакомые лица, присел с краю, поставив вещи у ног.

— Гавличка Боровского \* на них нету! — говорил какой-то мелкий горожанин в потрепанном фрачишке одобрительно кивавшим крестьянам. — Уж тот бы написал как следует имперскому правительству!

— Врешь, баринок! — осадил его наш старичок, закуривая трубку. — Подати платить пужно!

— Если нам, чехам, не дадут самостоятельного управления, чешские пиколы и так далее, ничего им платить не станем! — решительно заявил гладко выбритый молодой крестьянин. — Прошли времена, когда на нас воду возили!

Наш юноша так и ел глазами все это колоритное общество, живо поворачиваясь по сторонам, кивал головой, словно то, что говорилось, касалось непосредственно его самого, и за всем этим едва ли не забыл, зачем он сюда попал.

В это время трактирщик пошел кружки с пивом в танцевальный зал. Дверь за собой он оставил открытой, и в распивочной явственно стал слышен голос:

«...Не слушай их, мститель небесный! Чем выповат я, да и ты, если непосланные тобою мор, голод, потопы равно губят и праведника и злодея?»<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Ф. Ш и л е р, Разбойники. Здесь и далее — перевод Н. Мап.

Монолог Карла Моора отчетливо донесся теперь из танцевального зала, необъяснимым образом перекрыв шум трактира.

Юноша наш так и вздрогнул. Привстав, он внимательно вслушался. Пригихли и все вокруг.

— Карл Моор... — прошептал Мошна, не отводя глаз от высокой двери.

— Правильно! Мор на них и чума, черт возьми их всех и гром разрази! — пробормотал старик с трубкой.

Трактирщик вскоре вернулся, довольно бесцеремонно захлопнув за собой дверь. Юноша, словно только теперь вспомнив, зачем он приехал, встрепенулся и подозвал трактирщика. Тот, услышав о цели его приезда, кивнул головой в сторону закрытой двери и больше не обращал на него внимания.

Молодой человек вернулся к столу, подхватил свою корзинку с мешком и, словно зачарованный, забыв попрощаться с соседями по столу, пошел к таинственной двери.

Он очутился в довольно просторном зрительном зале, куда через верхние незанавешенные окна падало мало света. В глубине зала была сцена, от которой до самой двери тянулись ряды скамей; на скамьях вразброс сидело несколько человек. Несколько фигур маячило на сцене, и среди них выделялся высокий, статный мужчина лет под пятьдесят, вида довольно потрепанного; на его широком лице сияли большие темно-синие глаза.

Первая чешская, некогда знаменитая, провинциальная труппа Йозефа Алоиза Прокопа ретировала «Разбойников» перед вечерним спектаклем. Когда юноша вошел, актер, сразу привлечший к себе его внимание, заканчивал монолог Карла Моора из второго действия.

Юноша, словно замороженный, не спускал глаз со сцены. Он шел спотыкаясь, натыкаясь на скамьи, и все смотрел, смотрел...

Если бы все новички были менее восторженны и более проницательны, меньше было бы разбитых иллюзий, зато же и целей достигалось бы меньше.

Если бы наш юноша пригляделся внимательнее, он увидел бы, что Карл Моор ходит в латаных штанах, в сюртуке с продранными локтями и что лицо его с огромными, лучистыми синими глазами бледно и истощено. Он увидел бы, что актрисы, ожидающие на скамьях своего выхода, одеты в мятые, шитые-перешитые платья, что, сидя здесь, они своими руками чинят какую-то ветошь, что одна из них озабоченно склонилась над корзинкой, в которой хныкал младенец, завернутый в тряпье. Он увидел бы, как актеры с внешностью светских львов, на лицах которых смешалось выражение цинизма и робости, обрезают «бахрому» на концах брюк; что вместо рубашек, которые они берегут для вечернего выступления, на них надеты прямо на голое тело жилеты, что один из них необычайно терпеливо чи-

пит разбитый башмак, а другой повик в дремоте тяжелой головой. Он ощутил бы холод нетопленного зала — весенние утра ведь так сыры и прохладны... Все это он увидел бы и ощутил, если б был проныцателен и мудр. Но он шел по дороге лавров и славы, по стезе волнующих перевоплощений — от нищих к богам — и потому ничего этого заметить не мог.

Глаза всех, в том числе и репетировавших на сцене, постепенно обратились к этому ничего, кроме сцены, не видящему юноше с мешком и корзинкой в руках, который натыкался на скамьи, продвигаясь словно вслепую.

Некоторые, как это ни странно, засмеялись.

Актер на сцене замолчал, махнул рукой и, наклонившись, взял стоявшую у его ног кружку пива; осушив ее залпом, он крикнул: — Что смеетесь, профаны?!

Все разом стихли.

— Думаете, я для себя репетирую? Для вас я репетирую, жалкие люди!

Юноша ничего не понимал. Он так бы и остался торчать посреди зала как потерянный, если б не взял его под свое покровительство старый актер, со щеткой в руке стоящий недалеко от двери; на голове этого актера красовалась высокая испанская шляпа весьма поношенного вида.

— Что вам надо? Здесь идет репетиция, — тихо сказал он Мошне.

— Мне бы пана директора Прокопа... Я — новенький... — так же тихо пролепетал юноша и, словно желая достать какие-нибудь рекомендации, нервно повел плечами и поднял к нагрудному карману руку, занятую корзинкой.

— А, новенький, знаю, — улыбнулся старый актер и ласково подтолкнул новичка к боковой двери, все время оглядываясь на сцену — не рассердило ли его действие сурового актера.

— Это Крумловский, знаете ли, — шепотом объяснил он на ухо Мошне, который по-прежнему не мог оторвать глаз от сцены. — Вы должны были слышать, он был ведь первым актером у Тыла! Иногда вот играет с нами...

— Крумловский?! — удивленно спросил Мошна — он знал Крумловского еще по Сословному театру.

— К сожалению, стал бродягой — и от нас, конечно, опять сбежит...

В маленькой боковой комнатке, среди груды театрального реквизита и хлама, сидел сам Йозеф Алоиз Прокоп, основатель Первой передвижной чешской труппы.

Прокоп в ту пору был человеком пятидесяти двух лет, с широким одутловатым лицом, на котором виднелись маленькие жидкие

усики, пожелтевшие оттого, что Прокоп имел обыкновение докуривать сигары до самого конца. Высокий лоб, переходящий в лысину до самого затылка, длинные пряди черных волос, прикрывающих уши, багровый от пьянства цвет лица и опухшие воспаленные веки делали его неприятным на вид стариком — хотя в свое время это был интересный мужчина, остроумный и образованный, одаренный актер и прекрасный певец. Он объездил, пожалуй, все столицы Европы, волнуя сердца своим мужественным баритоном. С благословения Тыла и всей патриотической Праги двенадцать лет назад, в расцвете сил, пустился Прокоп гастролировать по чешской провинции. И вот — необъяснимым образом успех довел этого привыкшего к лаврам, искушенного гражданина мира до пьянства и небрежения к себе. Медленно, но верно опускался он вместе со всеми своими артистами до уровня обыкновенной бродячей труппы, едва переползающей из одного городка в другой. До сих пор еще поддерживали Прокопа остатки былой славы, но это было скорее спасительным для него состраданием к убожеству, чем восхищением его искусством.

Когда Мошна вошел, Прокоп писал что-то в толстой потрепанной тетради, сидя за расшатанным столиком, который со скрипом покачивался в такт движению его руки. Он даже не поднял головы.

— Извините, пожалуйста, я — Индржих Мошна, — робко произнес молодой человек, не решаясь опустить свои вещи на пол.

— А, предатель Мошна! — взревел Прокоп столь внезапно, что Индра от испуга чуть не упал. — Негодяй, в Праге он презрел Прокопа! — С каждым новым упреком голос директора все повышался. — Гордец, воображивший, будто Прага падет ниц перед его искусством! Неблагодарный, отвергший отеческую руку директора Первой чешской труппы, патриота и пионера чешской Талии! А когда это личтожество, — он ткнул пальцем в перепуганного Мошну, — когда его выпырнули отовсюду, когда перед ним захлопнули все двери, как закрывают их перед назойливой собачонкой, — тогда он, сокрушенный, приполз к Прокопу, к простому бродяге Прокопу, рассчитывая, что на худой конец сойдет и бедняга Прокоп, что он будет вне себя от радости, когда его милость пан подмастерье медных дел спизойдет до того, чтобы лицедействовать у него на подмостках! Ага, Йозеф Иржи Колар дал тебе пинка в зад, так ты приполз ко мне? Так или нет? — гремел Прокоп на сжавшегося в ужасе Мошну.

А тот едва дышал. Всего он мог ожидать, только не такого приема. Опустив на пол вещи, он несколько раз пытался вставить какие-то бессвязные возражения, но всякий раз Прокоп пресекал эти попытки:

— Молчать, когда я говорю!

Тираду свою Прокоп закончил ударом кулака по столу, который от этого перекосялся; Мошна, бледный как стена, схватил свои вещи,

готовый немедленно скрыться, но тут Прокоп вскочил и удержал его за плечо:

— Ах, вот ты как? Бежать? Молокосос! Не на того напал, неблагодарный! Ты останешься здесь!

Мошна прижался к стене, выставив перед собой как щит свои пожитки; он открыл рот, чтобы позвать на помощь, но из перехваченного испугом горла не исходило ни звука.

Прокоп оглядел его с ног до головы и усмехнулся мефистофелевской улыбкой:

— Ну и довольно с тебя...

С этими словами он повернулся, спокойно уселся за стол и как ни в чем не бывало снова занялся бухгалтерской книгой, бормоча какие-то цифры.

Долгое время стояла тишина, которую Мошна не отважился нарушить и даже пошевелиться; потом, словно из могилы, раздался голос Прокопа:

— Дисциплина и почтительность к директору — вот основа порядка в приличном театре!

Он изрек это, не поднимая головы и продолжая что-то считать и записывать в книгу. Снова прошло несколько тягостных минут молчания, и Прокоп заговорил, на сей раз тоном милосердного судьи:

— Но Прокоп милостив к мерзавцам! Принимаю тебя на милость свою, — на колени! Благодари! Пока будешь три месяца работать *gratis*<sup>1</sup>, зато и денег за обучение я с тебя не потребую. Спать будешь здесь и слушаться беспрекословно, не то плохо тебе придется, ох как плохо! Питание же твое, хотя ты того и не заслуживаешь, я, так и быть, оплачу!

Вдруг, словно его осенила гениальная мысль, Прокоп улыбнулся, поднял голову и спросил:

— Рисовать умеешь?

— Вот этого, простите, не умею, — тихо ответил вконец раздавленный Мошна.

Странный прием до того сбил Индру с толку, что он никак не мог опаматоваться. Ему казалось, что он попал в страшную комедию и должен играть в ней, но ни за что не может вспомнить ни единого слова роли. Он не знал еще Прокопа и понятия не имел, что тот бывает трезвым лишь в совершенно исключительных случаях.

— Не умеешь — научишься! Вот там горшки с краской, олифа и кисти, и ты подправишь мне лес так, чтоб был как новый! — Прокоп встал, подошел к Мошне и разразился громовым хохотом. — Театр! Театр!! Театр!!!

---

<sup>1</sup> Бесплатно (*латин.*).

Выкрикнув трижды это слово, каждый раз все более оглушительно, он снова захохотал. Потом открыл дверь и крикнул в зал:

— Гронек!

На зов явился тот старый актер, который ласково обошелся с Мошной; он все еще держал в руке щетку — видимо, только что подметал в зале. Мошна устремил на него перепуганный взгляд, как на спасителя. Однако при директоре Гронек не осмеливался даже перемигнуться с новичком.

— Милый друг, — обратился Прокоп к Гронеку таким нежным тоном, что Мошна от изумления раскрыл рот, — милый друг, дай ему, пожалуйста, какой-нибудь фартук или что там, а то как бы наш любимчик не испачкал костюмчик — ему в нем придется играть салонные роли — и деликатненько покажи ему, где у нас лес, который надо подправить. Наш Мошничка, — тут Прокоп сладко улыбнулся Индре, — был до того любезен, что сам предложил свои услуги. Он ведь рожден для живописи и долго не мог решить, стать ли ему художником или актером. Он сам вызвался перемалевать и подправить все, что нам нужно, а начнет он с этого бедного леса. Я уговаривал его отдохнуть с дороги и немного оглядеться, но он ни в какую, — придется исполнить его желание. Я глубоко тронут, — дрожащим голосом прибавил старый пьяный озорник, — а мы все должны брать с него пример: вот настоящий энтузиаст!

Закончив эту тираду, Прокоп вытащил носовой платок, вытер совершенно сухие глаза и шумно высморкался.

Так завершилась аудиенция и церемония приема Мошной. Смятение в его душе было велико. Ведь пока он выступал статистом, пока играл от случая к случаю, он словно еще стоял на том берегу. А теперь он стал солдатом. И с него довольно грубо сорвали штатское платье, а вместе с ним — иллюзию о мире волшебной музыки — Талии. Волшебной? Нет, самой изменчивой!.. Самой коварной!..

Ах, снаружи много блеска,  
а внутри один лишь дым...

\* \* \*

За сценой был натянут старый холст с перспективой леса — дикie заросли, бурелом, валуны... На ступеньках паткой стремянки сидел грустный Индра, в рваном рыцарском камзоле, в старом переднике и с кистью в руке.

— Да ты начинай, не смущайся, — подбадривал разочарованного и совершенно несчастного Индру Гронек, который уже обращался к нему на «ты». — Да, парень, у нас все делают всё. Я, например, — хотя я в данный момент здравствующий граф фон Моор, только что подметал зал.

— Но я не умею, — возразил подавленный Мошна.

— А чего тут уметь, мажь себе да мажь, куда кисть поведет. Я сейчас на минутку на сцену схожу, потом приду помогу тебе.

Индра вздохнул, обмакнул кисть в горшок с краской и принялся за работу.

Тем временем репетиция на сцене продолжалась. До Мошны долетали голоса разбойников и бряцание оружия. Его так и подмывало божать туда, но он взял себя в руки и принялся малевать дубы и скалы — «куда кисть поведет».

А на сцене наступил выход Косинского — персонажа, сыгранного Мошной недавно в Праге. Это уж было выше его сил. Он слез со стремянки и прислушался.

Косинского, молодого студента, играла, вероятно, в силу необходимости какая-то актриса. И она читала свою роль, словно птичка щелкала:

«Мужей ищу я, которые прямо смотрят в лицо смерти, опасность превращают в прирученную змею, а свободу ценят выше чести и жизни...»

Птичий голосок долетал до Индры...

Не выпуская кисти из руки, он начал вживаться в роль. Окружающий мир исчезал, декорация превращалась в подлинную чащобу чешских лесов, где разыгрывалась трагедия разбойника Моора.

«Ты нашел тех, кого искал!...» — донеслась реплика Швейцера.

«Похоже на то! И вскоре надеюсь сказать, что нашел братьев... — тихонько шептал Мошна ответ Косинского. — Но тогда укажите мне... вашего атамана, славного графа Моора...».

Мошна, с кистью в руке, весь забрызганный краской, в порванном камзоле, подпоясанный женским передником, теперь приблизился к сцене, откуда раздался голос самого Карла Моора — Крумловского:

«А знаком ли вам атаман?»

Тут Мошна перестал владеть собой; размахивая кистью, он ворвался на сцену, отстранил актрису и, ко всеобщему изумлению, взволнованный, весь уже под гипнозом роли Косинского, с жаром продолжил:

«Это ты! Какое лицо... Я всегда мечтал увидеть того человека с презрительным взглядом, который сидел на развалинах Карфагена...»

Актер, исполнявший роль Швейцера и разинув рот смотревший на Мошну, вернее, на странное, заляпанное краской существо с кистью в руке, машинально подал реплику:

«Вот это хват!...»

Крумловский же, пораженный появлением Мошны, перестал играть и обычным тоном произнес:

— Да и впрямь хват...

Все присутствующие разразились гомерическим хохотом, приняв импровизацию Крумловского за славную шутку.

Мошна очнулся. Рука его с кистью опустилась — он готов был заплакать, убежать... Но Крумловский выпрямился и прикрикнул на смеющихся товарищей:

— Тихо, профаны! — Потом, взяв за руку растерянного Мошну, обнял его. — Вот вам пусть несколько размалеванный, но Косинский, ниспосланный нам небом! Кто ты, юноша? — спросил он, поднимая голову Индры за подбородок.

— Актер... Простите... — заикаясь, выдавил из себя тот.

Из-за кулис вышел Гронек и стал объяснять:

— Это новый член нашей группы, Франтишек. Он теперь малюет лес! — И Гронек с отечески ласковым видом повернулся к Индре.

Крумловский окинул ласковым взглядом смущенного и грязного юношу и продолжил реплику Карла Моора:

«Еще один жалобщик на господа бога!.. А знаешь ли, что ты ветреный мальчик и шутишь, как неразумная девчонка, таким важным поступком? Здесь, — Крумловский размахисто повел вокруг рукой, — тебе не придется играть в мяч или кегли, как ты воображаешь».

Мошна, хоть и сбитый с толку, все же подхватил текст «Разбойников»:

«Я знаю, что ты хочешь сказать. Мне двадцать четыре года, но я видал, как сверкают шпаги, и слышал, как жужжат пули над головой».

— Bravo, малыш! — бурно вскричал Крумловский. — Ты победил, артист! — И, обернувшись ко всем, проговорил с презрением: — Кто из вас выдержал бы такой экзамен?

В это время в зрительный зал вошел директор Прокоп и с удивлением посмотрел на сцену.

— Что здесь происходит?

Крумловский усмехнулся и ответил:

— Ничего особенного — пустяк: появился артист, сударь, артист с сердцем! У нас есть Косинский, настоящий Косинский!

— Кто? Уж не этот ли замарашка? — все еще удивленный, спросил Прокоп и, вообразив, что Крумловский шутит, крикнул Мошне: — Ты как сюда попал?

— Но вы сами приняли меня, ваша милость, — еле выговорил Мошна.

— Кого? — недоуменно спросил Прокоп: он не узнал переодетого и перемазанного Мошну.

— И велели мне подправить лес...

Тут только Прокоп понял и закатился громким смехом.

— Ах да, пан Мошна! О, ради бога, простите, ваше благородие! — Он низко поклонился и, указав на Мошну широким жестом, продол-

жал: — Позвольте представить вам, уважаемые, это пан Индржих Мошна, один из величайших «интриганов», каких я когда-либо встречал от Лондона и до Москвы!

Все поняли, что теперь уж Прокон в самом деле шутит, и, не обращая внимания на Крумловского, громко захохотали.

После репетиции на сцене остались только Мошна и Крумловский.

— Поди-ка сюда, малыш, — сказал Крумловский, подумав немного, и мягко остановил за руку Мошну, который, хоть и без всякой охоты, собрался вернуться к своему лесу. — Теперь мы здесь одни, и я немного повожусь с тобой.

С этими словами он взял брошенную кем-то шляпу с перьями, надел на голову Индре и приказал:

— Ну-ка, марш на сцену!

Сам он спустился в зрительный зал.

Мошна (шляпа съехала ему на самые уши) по приказанию Крумловского снова сыграл всю сцену Косинского. Крумловский сосредоточенно слушал до реплики:

«Итак, знайте, я богемский дворянин. Ранняя смерть отца сделала меня владельцем немалой дворянской вотчины. Места это были райские...»

— Стоп! — вдруг прервал он Мошну. — Какие места ты сейчас представлял себе?

— Места? Как это — какие места? — не понял Индра.

— Но ведь, черт возьми, когда играешь что-то, должен же ты это представлять себе! Так какие же райские места ты видел, произнося эти слова?

Мошна подумал немного и смущенно, запинаясь, ответил:

— Я понял, что вы имеете в виду... Когда я искал работу, закончив учение, случилось мне проходить через Седлчанскую долину, вдоль речки Мاستик — там такие чудесные лужайки, все в цветах...

— Отлично! — воскликнул Крумловский. — Это то, что нужно — воображение, воображение! Не просто декламировать, размахивая руками, как тебя учили!.. Ну, продолжай!

«Места это были райские, — гораздо сосредоточеннее повторил Мошна, — ибо там обитал ангел — девушка, украшенная всеми прелестями цветущей юности...»

— Стоп! — Опять махнул рукой Крумловский. — Была у тебя когда-нибудь девочка?

— Нет... А впрочем, да... Простите, то есть... — скромно потупив глаза, пробормотал Индра.

— Ну, была или не была — это не важно, но знаешь, Индра, ты это производишь как-то, господи, без пафоса, что ли, как в обычной жизни...

— Я, если чего не вижу, пан Крумловский, не умею сыграть, понимаете? — тихо пояснил Мошна.

— Понимаю, как не понять! Это и есть настоящее! — радостно воскликнул Крумловский. — Подматривать у самой жизни — этому учил Тыл, но все это нужно еще переплавить вот здесь, — он ударил себя в грудь, — и бросить на сцену с жестом, с пафосом. Театр — не мелочная лавка, не болтовня в трактире. Театр — это жизнь, и все же — надо играть! Понимаешь — играть! Погоди, сделаем-ка вот что... — Крумловский тяжело поднялся с места, захваченный какой-то мыслью. — Я сыграю сейчас кусочек из роли Моора, а ты повторишь — тогда увидим!

И Крумловский — казалось, он был уже слегка под хмельком, — взобрался на сцену. Там он постоял в задумчивости и спросил Мошну:

— Предводителем разбойников ты ведь тоже не бывал, правда?

— Нет, что вы...

— Я тоже, — сказал, словно сплюнул, Крумловский. — Но разбойников и всяких подонков перевидал достаточно. А что такое унижение, нищета, разочарование — это ты уже, пожалуй, немного познал, правда?

От этого настойчивого вопроса затрепетала душа Индры, а Крумловский, не ожидая ответа, начал играть — и как играть! Он нашел нужное ему равновесие и заиграл во всю силу.

В пустом зале гремел его голос — поистине голос предводителя, покидающего свою дружину. То было искусство старой, еще романтической школы, но, как во всяком большом искусстве, в нем была правда и жизнь. Крумловский играл:

«Станьте все вокруг меня и выслушайте завещание умирающего предводителя вашего! — Он раскинул руки так, словно подавал их на прощанье своим товарищам. — Вы были верны мне — беспримерно верны. Если б вас спаяла добродетель, как спаял вас грех, — вы стали бы героями и человечество с гордостью называло бы ваши имена...»

Индра, сидя в зрительном зале, смотрел как зачарованный. В душе его отзывалось каждое слово, каждое движение старого артиста, который теперь с глубочайшей убедительностью словно рассказывал единственному зрителю о собственной загубленной жизни и не воплощенной гениальности.

«Идите, отдавайте способности свои народу! Боритесь за права человека! С этим благословением я, недостойный, отпускаю вас...».

Угасли слова — рука поникла. Крумловский провел ладонью по лицу, словно стирая выражение, с которым он закончил монолог.

Весь в плену этого прекрасного исполнения, Мошна поднялся на сцену и поцеловал руку Крумловского. Тот отдернул ее словно ужасенный и зло сказал:

— Брось! Теперь — ты...

— Я? — растерянно отозвался Мошна. — Да я не смогу... Не умою... не выйдет — и не хочу! Так играть... такая игра не по силам мне...

— Начинай! — взревел Крумловский. — Ты — предводитель разбойников и процаешься с ними... с лесами... навсегда, понял — навсегда!

Мошна отшвырнул шляпу, побродил немного по сцене, потом взял себя в руки и, все время, помня, как играл Крумловский, начал: «Не размышляйте там, где Моор действует!..»

И он стал играть сцену, только что сыгранную старым товарищем Тыла. Он говорил слова роли, но совершенно иначе, гораздо проще и простодушнее. Ему не хватало приемов опытного актера, но, захваченный искренностью Крумловского, он эту искренность проявлял по-своему. И так как был он намного меньше ростом и жесты его были куда филиграннее, то все его выступление не могло не прозвучать комично — хотя бы уже потому, что он стремился приблизиться к мастерскому исполнению Крумловского.

Тот внимательно слушал и в конце концов, помолчав, рассмеялся:

— Тыл порадовался бы тебе! Но Тыл-артист, не Тыл-драматург! Ведь ты, такой-сякой, играешь совершенно иначе, как-то странно, черт возьми, по-новому... Зато как смешно твое комедианство! Но меня ты с толку не собьешь, нет, никто меня не собьет с толку! Ты все умеешь подсмотреть: и жизнь, и игру, ты как воробей — но ость в тебе что-то... Что-то, черт, что же это такое? Я такого еще не видел.

Крумловский опять разразился смехом, которого Мошна не мог понять. Это был ужасный, необузданный какой-то смех, он совершенно уничтожил Индру. В горьком смятении, он только развел руками. Но этот жест отчаяния еще пуще рассмешил Крумловского, и он еще раз громко воскликнул:

— Никто меня не собьет, даже ты, воробей! Никто!

\* \* \*

Так Индржих Мошна, подмастерье цеха медного литья, стал наконец артистом — настоящим артистом.

В то время, когда у Прокопа появился Мошна, труппа его все больше приходила в упадок. Невзгоды, ежедневные будничные заботы наваливались на энтузиаста, фантазера Прокопа. Он расцветал

буйным цветом, когда светило солнце, но совершенно не умел переносить ненастье. При удаче он пил и радовался, что вот все хорошо, при неудаче опять-таки пил, поносил судьбу, бунтовал, грозился и в то же время мечтал, лгал самому себе о новых успехах, о новой славе. Дело дошло до того, что Прокоп редко бывал трезв. С невероятной закономерностью пропивал он все, чем владел. С трудом выбиралась труппа из одного местечка в другое. Долги, невыполненные обязательства, обман, ложь и мелкое мошенничество ползли за нею следом. Многие артисты ушли от Прокопа, но другие держались его, не зная, куда податься. По большей части это были люди сломленные, которые, подобно азартным игрокам, все ставили и ставили на проигрышные карты.

Мошна, как новичок, должен был суфлировать, малевать декорации, писать и разносить приглашительные билеты, подметать зал, чистить лампы, играть в оркестре, служить капельдинером... А наградой за все это были нищета, грубость и голод. Зато каждый вечер он имел право перевоплощаться и играть, играть, там, на подмостках, которые были жизнью, целым миром.

И Мошна играл, играл все, что ему давали, безропотно, с какой-то яростной покорностью. Глаза и уши он держал открытыми. Следил за всем, что его окружало. Он не делал заметок, ничего не записывал, не разбирал ролей и впечатлений от игры актеров. Он сам, все его существо, вся душа его были живой записной книжкой. Для него оставалось неизблемым «то, чего не вижу, не могу играть», хотя многие его коллеги, переиная у немецких трупп приемы старой романтической школы, утверждали обратное: «Играть обыкновенную жизнь? Смешно! Кто придет смотреть на нее? Только искусственному, только возвышенному место в театре!» Часто Мошна в уме соглашался с ними. Это противоречие мучило его, но он ничего не мог поделать со своей природой.

У молодого Мошны было то, что бывает врожденным свойством настоящего артиста, или то, что приходится добывать тяжелым и долгим трудом: легкость характера, радостность, обаяние. Когда Мошна появлялся на подмостках, все невольно улыбались. Еще новичком умел он завоевывать сердца зрителей одним своим проходом по сцене.

Позднее, когда он играл уже в Пльзени, другой бывший сподвижник Тыла, образованный артист Франтишек Покорный \*, как-то сказал ему:

— В тебе есть нечто комедиантское, что люди любят, и это — драгоценнейшее достояние актера. Но будь осторожен, Индра! Нельзя это достояние растратить, как это часто случается, нельзя заменить его на мелкую монету дешевого успеха — и нельзя полагаться только на обаяние. То, что приятно, что так ценно и естественно, как аромат или цвет, — у глупого человека, у лентяя или спесивца сделает-

он отталкивающим и невыносимым. Ты — ни то, ни другое. И говорю и тебе все это в предостережение.

Была у Мошны и своя тайная боль: он жаждал играть характеры богатырские, героев, рыцарей. Он, маленький, тщедушный, мечтал о трагических ролях. Мечтал изображать удивительные, невыразимо прекрасные взлеты души. Размахивать мечом, пылать священным огнем, поражая партнеров и зрителей грозным взглядом...

Об этой мечте он никому не говорил, ни с кем не делился этой страстью. Но, оставаясь наедине с собой, он вышгмал Эсхила или Шекспира и превращался в Ореста, в Прометея или в Гамлета, Ромео, Отелло...

Когда ему выпадала роль, в которой он хоть немного мог дать полю этим своим наклоностям, тогда — трепещите, о небеса! Но чаще всего партнеры ему говорили потом:

— Слушай, чего ты так на нас орал? От земли не видать, а кидаешься как полоумный!

Может, это и было то самое неирризнание, которое — удел всякого гения?

Но пусть даже так — когда-нибудь он всем покажет, и все сложит головы перед великим трагиком...

А пока гораздо больший успех имел нанн Мошна в ролях слуг, разных чудаков и комических влюбленных. Но и об этом успехе ему никто не говорил. Он не пренебрегал и такими ролями, работал над ними как можно лучше, радовался успеху в них — но это не было его настоящим. Настоящее — оно еще будет, и Мошна верил, что оно придет и увенчает лаврами великого трагического актера Индржиха Мошну.

Однако все это были мечты, а пока шла мелкая работа, насущный хлеб, который он съедал в смиренности.

Спал он за сценой. Постилал где-нибудь в уголке постель из театральных тряпок, укрывался потрепанной королевской мапией из «горностая». Хуже было с едой. Прокоп плохо платил трактирщику, приберегая кредит для крыжовичной или горькой с ромом. Только из опаски лишиться этих благ он платил время от времени какую-то сумму, но все-таки долги разрастались, как плесень. Спектакли посещались неважно. Крумловский, имя которого в какой-то мере привлекало публику, вдруг исчез — не попровавшись. На него нашла очередная «полоса», и он ушел бродить где-то в окрестностях Находа. Ко всему этому Прокопу пришлось оставить в залог в предыдущем городке, где они играли, чуть ли не половину театрального гардероба. Чем сложнее становилось положение, тем больше пил директор.

Плату актерам он выплачивал — вернее, со скрипом выжимал из себя — по грошам. Монета в четверть золотого приобретала ценность невероятную.

Мошна, бережливый с малых лет, имел кое-какие сбережения еще со времен, когда работал подмастерьем, но эти деньги он хранил про черный день. Впрочем, разве этот день не настал? Он добавлял из них на еду, потому что не мог не есть, и, хотя, по уговору, кормить его должен был Прокоп, Индра не решался даже заикнуться об этом грозному директору; порой ему приходилось довольствоваться тарелкой похлебки, которую он буквально выклянчивал на кухне трактира, прежде чем остатки выплеснут свиньям.

В эту-то пору, когда некоторые члены труппы сбежали, прихватив с собой и кое-что из театрального инвентаря взамен невыплаченного гонорара, Прокоп решил играть «на паях» — договор давал ему на это право в случае нужды.

Играть «на паях» — крайняя мера. Делалось это так: после каждого представления кассу приносили за кулисы, и после вычета сумм на необходимые расходы директор делил остаток на пай, по числу актеров. Однако Прокоп изменил бы самому себе, если бы и при такой системе не сумел основательно прижать подчиненных.

Став в угрюмую позу человека, который пожертвовал всем ради славы театра, он клал руку на помятый жестяной ящик и говорил:

— Я как директор имею право на один пай и как актер (хотя не играл он уже годами) — еще на один. Один пай за лицензию, еще один на библиотеку (он не покупал даже газет), один за гардероб и один на оплату переездов — итого шесть паев. Актеры и актрисы получают по одному паю, а начинающие, — тут он устремлял взор на беднягу Мошну, — не получают ничего, поскольку расходы на них только обременяют бюджет.

А в бюджет паян директор, конечно же, включал все возможные и невозможные расходы, как то: починка кулис (Мошна), изготовление афиш (Мошна), капельдинер (Мошна), доставка приглашенных билетов (Мошна), оркестр (любители и Мошна), уборка зала (Гронек и Мошна) и так далее, за каковые услуги он, однако, обычно не платил ничего. В бюджет входило также питание начинающих (Мошна), причем на это была выделена такая сумма, которой хватило бы даже для роскошного стола какого-нибудь каноника. Но горе всем этим поработанным и затуркашным Мошням или Гронекам, если они осмеливались настаивать на своих правах! Тогда так и сыпались слова, вроде «неблагодарная чернь», «негодяи, лишённые патристических чувств, неспособные приносить жертвы высокому искусству», и прочие, долженствующие запугать несчастных.

Одним словом, Мошне жилось плохо, но всякий раз, подобно цирковой лошади, почуявшей манеж, он взбадривался, едва загорались огни рампы и раздавался звонок. А как часто, когда все стихало в театре и актеры расходились, корчился он на своем убогом ложе, с трудом подавляя рыдания!

Каждое утро вставал он с твердым решением бросить все, вернуться к своему ремеслу, покинуть, да, покинуть театр, зажить спокойной жизнью среди обыкновенных людей, у которых есть крыша над головой, а в полдень — тарелка супу.

«Но разве у всех есть крыша над головой? И разве ты один сегодня не наелся досыта?»

Наход как место гастролей уже начал приедаться — и не только директору Прокопу. Невысокие сборы, куча обязательств и обещаний — все это стало выходить за рамки иллюзий о том, что все хорошо, даже у людей легкомысленных. Надо было переменить место, расцвести в ином саду, начать снова — в общем, прочь отсюда!

Труппа Прокопа выбралась из Находа в довольно бедственном состоянии, но все же выбралась. Ко всеобщему удивлению, трактирщик милостиво отпустил Прокона с товарищами, хотя столбец их долги, записанный на стенке, доходил уже чуть ли не до полу.

Прокоп был поражен. Он боялся, что придется оставить «Белому барашку» в залог остатки театрального инвентаря, а все обошлось довольно гладко, даже без всяких слов и криков, надо было только выполнить «какую-то» смешную формальность. Пан ресторатор, как возвышенно именовал трактирщика Прокоп, переписал долги со стены на аккуратную бумажку, прибавив к сумме еще мелочь под рубрикой «разное» (обслуживание, проветривание и тому подобное), да еще накинул два процента в месяц за полгода вперед. Так первоначальная сумма долга играючи возросла на треть, и эту самую бумажку с итоговой цифрой уважаемый пан директор Йозеф Алоиз Прокоп подписал полным именем и проставил дату.

Они расстались, как два необыкновенно учтивых человека.

— Видите, можно обойтись и без скандала, — говорил Прокоп удивленным актерам. — Первая чешская труппа еще пользуется кредитом у порядочных людей! — гордо добавил он и отправился выпить за Наход и за новое место гастролей.

После этого труппа двинулась в путь — поближе к Праге, словно озябший человек, жмущийся к печке. Недели на две останавливались в Яромержи, несколько представлений с небольшим успехом дали в Новом Быджове. И вот в конце лета бросили якорь в хорошей гавани — в королевском городе Нимбурк-на-Лабе.

\* \* \*

Нимбурк всегда был одним из лучших мест для гастролей. В ту пору городок насчитывал неполных три тысячи жителей. Весь он закутался в сады и лежал в долине Лабы, как на столе блюдо, полное зелени и цветов. Башня старинного готического костела святого Илии

напоминала забытого на часах караульного в острокопечном шлеме — древний страж, смотрящий скорее по привычке, чем от бдительности куда-то далеко за старые валы и полуразвалившиеся крепостные стены.

Монотонный шум лабской плотины убаюкивал городок, и вечера приходили с полабских равнин, словно тихие пряхи, что сидели когда-то в сводчатых покоях потемневших от времени каменных домов, фундаменты которых тысячу лет назад заложили странствующие голландские торговцы.

В этом городке, где все было таким старинным, хорошо прижились мукомольное дело, производство круп, вековые сплетни, а также театральные представления.

Йозеф Каэтан Тыл провел здесь несколько спокойных недель во время своего турне по чешской провинции, и здесь он написал одну из любимейших своих пьес. Божена Немцова\* прожила здесь почти два года, вызвав возмущение нимбургских дам своим рассказом «За чашкой кофе».

Энтузиасты из студентов уже с пятидесятых годов устраивали здесь ежегодные представления. У них был тут любительский кружок и даже собственное театральное помещение — здание бывшего доминиканского монастыря, стены которого в свое время слышали фуги и токкаты Богуслава Матея Черногорского\*\*, знаменитого падре Боэмиуса.

Да, в городке был свой театр, куда не доносился звон бокалов и кружек. В театре этом, правда, не было потолка — на балки перекрытия просто положили доски, сквозь щели которых виднелась дырявая черепичная крыша, — зато здесь имелась галерея и сцена с кулисами, расписанными пражским театральным художником Мадоу-реком\*\*\*.

Занавес был бархатный. Следует признать, что дождь проникал в зрительный зал, но сидевшие на местах, над которыми текло, имели право приносить с собою зонтики и в случае пужды открывать их — сидящим сзади роптать не позволялось.

Прокоп был счастлив, что Нимбург как раз был свободен. Он радостно рассчитывал, что здесь, на этом хорошо устроенном острове, обитаемом добрыми туземцами, он, подобно потерпевшему кораблекрушение, восстановит растроченные силы. Здесь поднимется дух всей труппы и заполнятся опустевшие карманы.

По традиции жители Нимбурга любезно разобрали членов труппы по домам — больше просто ради чести и славы, и лишь в редких случаях за очень небольшую плату.

Сам Прокоп обосновался у источника своей страсти — в трактире Гамтака, который роковым образом стоял напротив театра.

Мошна с Гропеком, как «часть инвентаря», расположились в самом театре. Мул, привыкший к тяжелой поклаже, отдыхает в сбруе. Распрягите его — он упадет и, может быть, не встанет больше.

Актеры прибыли в Нимбург в весьма бедственном состоянии. Прокоп все еще играл «па паях», и труппа медленно, по вершине нищета. Мошна перестал понимать, для чего он, собственно, пошел в актеры. Рутинная каждодневная работа и недостаток в самом необходимом подвигли вокруг него стену тупой и непроницаемой безнадежности. Три месяца испытательного срока давно минули, но он не осмеливался пойти к директору и потребовать жалованье или по крайней мере пай.

Но новое место — новые надежды.

Уже первые шаги — обход домов с приглашением на спектакль — дали средства, чтобы хоть уплатить крестьянам, привезшим труппу на двух подводах из Нового Биджова; возчики ждали уплаты полтора дня, окончившись, подобно карательному отряду, в трактире Гамтака. Ждали они с крестьянским терпением и преспокойно ели, а главное, пили за счет — и за здоровье — пана директора. Таким образом стоимость переезда возросла примерно в четыре раза (две пары лошадей простанали все это время, а они тоже жрали и пили). Прокоп, правда, проклял прожорливых крестьян и их лошадей до десятого колена, но делать было нечего.

Из этих же денег директор уделил немного самым недовольным и напился у Гамтака в честь Нимбурка, который, по его словам, был землей обетованной.

Расклеили афиши, а на площади прислонили к колонне, воздвигнутой некогда в память страшного мора, доску с воззванием посетить спектакли, в котором опять-таки утверждалось, что сам святой покровитель Чехии лично смотрит, как-то нимбургцы отнесутся к Первой чешской труппе Прокопа.

Распаковали ящики и корзины.

Дамы принялись приводить в порядок гардероб, а господа, засучив рукава, при помощи местных любителей взялись за сцену и зрительный зал. Старый Гропек чуть не подрался с одним любителем из-за щетки и, как всегда и везде, собственноручно подмел зал.

Схранпл — суфлер, помощник режиссера и заведующий труппой в одном лице, — толстый Схранпл, смахивающий на чернокнижника, вытащил из ящика со всякими чудесами «бурю», «дождь», «ветер», «молнии» и старую сковороду для бенгальских огней.

Все было готово. Расположение созвездий было, по-видимому, благоприятным для всех странствующих и путешествующих, ибо в это самое время мореплаватели открыли пять новых островов, люди пересекли на воздушном шаре Ла-Манш, начали прорывать Суэцкий

канал, а в Нимбурке, к радости бродяг и нищих, начали истреблять бездомных собак.

Прокоп незамедлительно поверил, что начались дни новой славы. Всякий раз перед представлением он обращался к публике с речью, начинающейся так: «Высокоблагородные отцы города и горожане...», а первую свою приветственную речь он завершил, пропев мощным баритоном «Где родина моя», как делывал еще в те времена, когда Первая чешская труппа действительно была первой.

В таких-то благоприятных условиях каждый вечер поднимался бархатный пурпурный занавес нимбуркского театрала, и в стенах бывшего доминиканского монастыря звучали тексты чешского и мирового репертуара — тексты, выпренность которых мы нынче, увы, не принимаем. Наши рациональные души уже не в состоянии взволновать такие слова, как: «Ха, вероломный убийца!» или «О гнусный соблазнитель!» — точно так же как не могут уже вдохновить нас все призывы, начинающиеся словами «Поднимайтесь же!».

Но в те поры эти фразы отдавались набатным колоколом в сердцах мирных горожан, у которых лояльное «сопротивление» императорской власти («и почему только этот молодой император Франц-Иосиф не желает короноваться чешским королем?») приятно волновало гладь мыслей, способствуя лучшему пищеварению и укрепляя намерение граждан скрывать подлинные размеры облагаемых налогами доходов, — ибо патриотические спектакли влекли за собой и «патриотические» поступки.

Там, где некогда невыспавшиеся монахи бормотали свои молитвы, где ежедневно вино и хлеб преосуществлялись в кровь и тело господне, — звучали речи королей, палачей, рыцарей и печальных дев, недоедавшие актеры цели куплеты и разыгрывали фарсы и преосуществляли тело и кровь свою в вино и хлеб поэзии, насыщая ими сытых господ горожан.

А чего стоили названия пьес! «Последняя работа палача», «Страдание бедной женщины», «Гибель рода Пржемысла», «Кровавый суд», «Бржетислав и Итка, или Если б за морем была», «Разбойники» и так далее — одни названия так приятно щекочут сердце... Или смешные до упаду: «Был сапожник — стал доктор», «Невзгоды пана Пилюльки», «Что ни шаг, то озорство», «Гусары и детский чулочек», «Две кровати в одной комнате»...

— Ах, пани советница, это вы должны посмотреть!

Сборы были приличные, долги таяли как весенний снег, и настал день, когда Прокоп объявил:

— С завтрашнего дня, если будет сбор, начну выплачивать жалаваие, ибо нога труппы стала наконец на твердую почву!

Все виделось в весьма розовом свете, и даже одно событие, темное на первый взгляд, обернулось самой светлой стороной, подняв дух

всех членов труппы, которые начали чувствовать, что недаром прожили жизнь. Однако судьба — увы! — жирной чертой перечеркнула эти мечтания. Безжалостная Немезида, — являющаяся, как во всякой трагедии, тогда, когда ее меньше всего ожидают, чтобы править свой кровавый суд, — следя за Прокопом еще от Находа, настигла его в Нимбурке.

За два дня перед событием, которое промчится над дырявым кораблем Прокопа подобно губельному урагану, давали пьесу Тыла «Марьяпка, мать полка, или Женское сердце».

Спектакль дошел уже до того места, где внебрачный сын Марьянки, Войтишек, встречается со своим не знакомым ему отцом, которого он считает давно умершим, — когда за кулисами разнеслась весть, что в зрительном зале видели Крумловского.

— Кто впустил его?! — прошипел Прокоп. — Я поклялся священной памятью наших покойных будителей\*, что не пуцую этого мерзавца в театр!

За кулисами прокатилась волна тревоги — так бывает, когда на мирной лужайке, на которой невинно пасутся зайчики, кролики и куропатки, вдруг появляется страшный волк. Актеры на сцене начали запинаться. Пан Схранил от волнения уронил книгу, по которой суфлировал, и листы ее разлетелись во все стороны. У молодого Фалтиса, игравшего роль Войтишека, задрожали колени, хотя он понятия не имел, в чем дело, а Мошна — по роли Килиан — ворвался в одной рубашке на открытую сцену, громко крикнул: «Он здесь!» — и снова исчез.

Прокоп срочно вызвал для совета пана Скрживанека, прирожденного «интригана».

Почему он вызвал именно Скрживанека?

Да потому, что, как сказано, пан Скрживанек был прирожденный интриган и, предаваясь этой склонности и в жизни, был бичом в руке Прокопа. Он все умел, все делал, играл любые роли, от слуг до любовников, от рыцарей до старых отцов. Ненавидя Прокопа, он переносил ему, однако, все возможные и невозможные дразги актерской среды, а когда наставали скверные времена и все двери перед труппой закрывались, умел принести директору даже бутылку горькой с ромом. Он ревновал к каждому самонаименованному чужому успеху и помогал всему, хвалил все, что было таким же мелкотравчатым и подлым, как он сам. Короче — характер с изъязцем, способности — с изъязцем, образованность — с изъязцем. Умного можно перехитрить, глупого обмануть, но от пакостника такого сорта лучше зарыться поглубже в землю. К сожалению, именно такие легко, как плесень, проникают во все мало проветриваемые места, и потом трудненько бывает выжить их оттуда.

— Что скажете, Скрживанек, потребует этот старый негодяй денег и устроит скандал? — озабоченно спросил Прокоп своего «личного» интригана.

— Может быть, — загадочно изрек этот мастер перевоплощений.

— Или захочет получить ангажемент?

— Может быть... Хотя... — Тут Скрживанек так высоко поднял брови, что даже выдавший виды Прокоп испугался.

— Хотя — что?

— А вот что, пап директор, — медленно процедил Скрживанек, изобразив на физиономии интриганскую улыбку, — надо предложить ему то, что он хочет предложить вам!

— Что он мне хочет предложить — но, господи, у него ведь нет оснований! В последний раз он сбежал как жулик, бросив меня в беде!

— А он хочет подняться — хочет еще сыграть. В Нимбурке же его любят!

— Любят?

— На этом можно неплохо заработать. Приглашительные записки... Специальные афиши... Великий трагик... Несколько гастролей...

— Но он потребует денег!

— Ну и дать ему что-нибудь... мелочь, золотой — да присмотреть, чтоб не запил, — был лаконичный совет Скрживанека.

— Черт меня побери, Скрживанек, а ведь это мысль! Приведите его.

— Со мной он не пойдет, — загадочно усмехнулся Скрживанек, после чего состроил трагическую мину. — Меня он не любит: разные натуры — трезвость — необузданность... И все же я его люблю. Художник всегда чувствует художника! Пошлите за ним Мошну. Он клюнет на этого лживого мальчишку, вот увидите!

Взволнованному Мошне пришлось накинуть сюртук и пойти за Крумловским, который стоял в заднем ряду галереи, следя за представлением. Увидев старого трагика, прислонившегося к столбу, Мошна оторопел: Крумловский выглядел настоящим бродягой. Заросший, печесанный, в разбитых сапогах, грязном засаленном платке на шее, в руках — котомка, за спиной — неразлучная скрипочка в истертом кожаном футляре... Он загорел, и на его темном плохо вымытом лице еще ярче светились большие синие глаза. Заметив Индру, он улыбнулся и сказал:

— Тебя ведь за мной послали, правда?

Мошна только кивнул.

— Боятся, да? Но они не знают благородства идальго Крумловского. Проходил я тут мимо, чу и зашел. Немного света, немного аплодисментов... Трудно цеть, мальчи, когда наступает зима... — Он про-

бормотал еще что-то неразборчивое и добавил: — Пойди скажи этому вору Прокопу, что я приду! А вообще-то — какой он вор, просто пьяница... Жизнь и его подкосила... Ступай!

Перед концом спектакля Крумловский появился в уборной. Он пошел с шумом, опираясь на свою оббитую суковатую палку, молча сел на скамейку под окном и вытянул ноги.

Все, хотя и взволнованные, притворялись, будто занимаются делом. Словно вошел кто-то из своих — просто вернулся со сцены, где только что играл роль бродяги или короля Лира.

— Ну-с, добрый вечер, котятки! — поздоровался Крумловский. — Прочь заботы, прочь печаль, завтра новый день встречай, день, когда нам счастье улыбнется!»! — пропел он и разразился смехом.

Все расхохотались. Камень свалился с души, и всем вдруг стало хорошо. Никто не мог понять, почему еще минуту назад сжимались у них сердца, почему этот потрепанный, грязный и, в сущности, жалкий человек одним появлением своим пробудил в них угрызения совести. Теперь все смеялись, но были настороже: вдруг этот старый затравленный волк оскалит клыки?..

Подошел Гронец, похлопал по плечу старого друга.

— Я дам тебе одежду, Франтишек, и постелю тебе здесь, а завтра ты сыграешь с нами — угадай, что?

Крумловский обжег взглядом Гронца и проворчал:

— Это тебя Алоиз подучил? С «Бржетислава» мне уж не спрашивать, по-твоему?

— Конечно же, «Бржетислава»! Долго еще не будет на чешской сцене лучшего Бржетислава\*, чем Крумловский! — горячо воскликнул Гронец, обводя взглядом актеров, которые усердно закивали.

Крумловский тоже посмотрел на всех и злобно рассмеялся. Все снова съежились. Осекся и Гронец, однако добавил:

— Директор распорядился разослать приглашения...

— Ладно, ладно, — буркнул Крумловский, потом громко крикнул: — Где же этот старый бездельник, что же пойдет он поклониться первому своему актеру?!

— Он зовет тебя к себе, знаешь ведь Лойзика — он, может, сует тебе золотой, чтоб не обидно было...

— Скряга... — проворчал Крумловский и еще вальяжнее развалился на скамье.

Прокоп явился сам. Скрживанек успел донести ему, что все пока идет хорошо.

Великий патриот и бывший камерный певец стал на пороге. Устремив взгляд на Крумловского, он растерянно моргнул и раскрыл объятия.

Воцарилась тишина. Сейчас Крумловский или плюнет и уйдет, или...

Крумловский встал; с минуту сверлил он взглядом широкое, одуловатое лицо Прокопа, на котором отразилась вся история проклятой актерской жизни.

— Франтишек... — прошептал Прокоп с необычной лаской.

— Лойза! Ты же знаешь — я не устою, старый ты комедиант! — вскричал Крумловский и пал ему на грудь.

Скрживанек, наблюдавший эту сцену с сардонической усмешкой, наклонился к Гронеку и процедил:

— Ох, лицедеи! Через минуту лаяться начнут...

Зато остальные вздохнули облегченно: вернулся блудный сын!

Когда Крумловский сел, Мошна робко приблизился к нему и — не удержался: тихонько погладил его по темной, жилистой руке, опиравшейся на палку.

Все вышли, с Крумловским остались только Гронек и Мошна.

Крумловский, обнажившись до пояса, мылся в тазу. Гронек точил ему бритву на рыцарском ремне.

Мошна сбегал к Гамтаку за колбасой, луком и кувшином нимбургского пива — Крумловский дал ему золотой. Видно, Прокоп, обнимая старого товарища, тайком сунул ему монету.

Индра вернулся, когда Крумловский уже кончал бриться. По мере того как бритва снимала клочья мокрых волос, открывалось его мужественное, все еще красивое, выразительное лицо. Вот он вытерся, встал и сладко потянулся. Несмотря на все лишения, несмотря на пятьдесят лет — то была все еще стройная, рослая фигура Бржетислава, чешского Ахилла.

Вскоре все трое сидели за поздним ужином. Неверный свет масляной лампы выхватывал из мрака то сверкающий меч, то панцирь. Развешанные вокруг костюмы, весь этот артистический хлам придавали уборной некий таинственный, сказочный вид. Словно корабль старого храма превратился в настоящий корабль — в судно пиратов и мечтателей, плывущее ночью над спящим городком. Шум лабской плотины, один нарушавший ночную тишь, невольно гипнотизировал мысль, погружая ее в меланхолические воспоминания.

Крумловский выпил пива и через верхние окна засмотрелся в ночное небо. Быть может, он старался прочесть в магических очертаниях созвездий, когда же она была, та роковая минута, когда жизнь подбросила ему фальшивые карты...

Настала ли эта минута давно, когда он, актер во цвете сил, познакомился с молодой очаровательной актрисой Эммой Стренг?.. Или когда, затерявшись в мире, потерял он ее вместе с ее изменой? — Ах, если б мог он пережить эту измену!.. Или минута эта настала много лет спустя, когда он встретил в Сословном театре прекрасную и знаменитую Эмму Стренг? Тогда он впервые напился до немоты... Или тогда была эта роковая минута, когда он получил ангажемент в

Сословном театре, но ревнивый актер Лёве напоил его до того, что он опоздал на спектакль? Или когда его вместе с Тылом выжили из Праги? Или после столкновения с неким сановником, когда актера арестовали за оскорбление властей? Или когда распалась бродячая труппа Тыла — последнее, что имел Тыл, последняя его возможность жить? Или та минута настала, когда Крумловский вместе с несколькими верными товарищами видел кончину Тыла?..

Сто раз падал он и сто раз поднимался — всякий раз все с большим трудом, всякий раз беднее иллюзией...

Вот теперь в Праге строят чешский театр — строят каменное здание, хотя создать национальный театр. Вспомнят ли о Брже-цлаве, Жижке, Вильгельме Телле, Миклоше Зрини, Роберте Дьяволе, Собеславе, Бенёвском, Прокопе Голом — вспомнят ли о Франтишке Крумловском?..

Мошна и Гронек с удивлением слушали горячечные слова старого актера — сначала неясные, тихие, но постепенно становившиеся все четче, все грознее — обвинительный акт личности перед беспощадным судилищем святой инквизиции посредственности.

— Странная она, чешская наша земля! Принимает в лоно свое Мах\*, Челаковских\*\*, Августинов Сметан\*\*\*, Тылов, Гавличек — и нет у нее для них ничего, кроме терновых венцов!

Он схватился за голову, словно сиюсь вспомнить что-то, и вот потекли из его уст горькие стихи шекспировского сонета:

Я жить устал. О смерть, мне отдых дай!  
Ужасно зреть, что честный в нищете,  
Что пышно возвеличен негодяй,  
Что вера подчинилась клевете,  
Что золотом купить возможно честь,  
Что грубо девственность развращена,  
Что совершенству стыд не перенести,  
Что сила примененья лишена,  
Что власть искусству затыкает рот,  
Что глупость верх над мастерством взяла,  
Что правда недомыслием слывет,  
Что пленное Добро — прислужник Зла;  
Давно б ушел я от земных скорбей,  
Но стало б тяжело любви моей<sup>1</sup>.

Замолк Крумловский. Шум плотины стал слышнее. Испытывая потребность нарушить эту щемящую тишину, Крумловский вынул из своего потрепанного мешка старую скрипочку, по играть не стал. Провел лишь пальцами по струнам, прислушался, как замирает звук, и отложил инструмент, виновато улыбувшись мальчишеской улыбкой.

<sup>1</sup> В. Шекспир, 66-й сонет. Перевод В. Рогова.

И — снова тишина, лишь шум плотины доносится до потемневшей комнаты.

Усталый бродяга положил на стол руки и уронил на них голову.

Немного погодя тихо поднялся Гронек и, взяв старый плащ безумного короля Лира, прикрыл Крумловского.

\* \* \*

Развешанные утром театральные афиши гласили:

«БРЖЕТИСЛАВ И ИТКА»  
Героическая пьеса из чешской истории.  
В главной роли  
ФРАНТИШЕК КРУМЛОВСКИЙ

Вечером театр был переполнен.

За кулисами царило праздничное настроение. Пан Скриживанек, игравший Отто, советника германского императора Конрада, даже почистил свои рыцарские сапоги. Крумловский был серьезен.

Из кассы, куда то и дело посылали кого-нибудь на разведку, приходили невероятные вести. Публика буквально с бою брала билеты. Жена Прокопа, сидевшая в кассе, продала все места. Из трактира Гамтака все время приносили стулья, чтоб хоть как-нибудь приставить в зале. На галерею уже перестали пускать публику, опасаясь, что рухнет не только галерея, но и ветхий потолок. Сбор намного превысил сотню золотых.

Никто из актеров не ужинал. Во-первых, еще и не на что было поесть как следует, во-вторых, от волнения, а главное, потому, что всем хотелось как следует поужинать после представления.

Мошна мечтал получить сегодня свой первый заработок. Может, дадут двадцать золотых, может, тридцать,— но даже и десять было бы неплохо. В конце концов, на пять-то он твердо может рассчитывать, однако не повредят и два золотых... Все зависит от того, насколько расщедрится «страшный директор».

Тем временем на сцене бурно развивалось действие. Крумловский превзошел самого себя. Напрасны были все козни императорского двора. Любовь не запрешь даже десятью цепями! Их все рассечет огромным мечом Бржетислав, чешский Ахилл.

Шумно было и у Гамтака. Там жарили бифштексы, чистили картошку, томили яблоки, а для пана директора охлаждали в ведерке со льдом несколько бутылок белого мельницкого.

Старая Прокошиха (дворянка по рождению, в девичестве фон Корф, чем необычайно гордился Прокоп) сидела в кассе, вся сияя. В карман, пришитый к нижней юбке и специально предназначенный

для этой цели, она успела сузуть несколько пятерок ассигнациями, о которых не знал даже сам директор.

В толчее перед кассой никто не обратил внимания на трех господ, один из которых, одетый по-дорожному, весьма приличного вида, с пенсне на носу, стоял, по-видимому, безучастно, в сторонке. Двое других были хорошо знакомы жителям Нимбурка. Однако почему бы чиновнику суда Марешеку и судебному исполнителю пану Хмелику не насладиться знаменитой героической пьесой из чешской истории? Все трое стояли поодаль, не смешиваясь с толпой,— стояли молча, разглядывая публику.

Когда спектакль начался и люди, не доставшие билетов, постепенно разошлись, директор Прокоп спустился в кассу, чтобы торжественно вывести оттуда свою почтенную супругу, урожденную фон Корф, а главное, чтобы забрать выручку и произвести то чародейство, которое называют распределением сбора. Он шел туда сегодня как вельможа, ибо улов был хорош и выплата ожидалась более чем щедрая. Он спускался сияющий, как солнце,— но немного погоды бледный, покрытый холодным потом, неверными шагами возвратился в свою каморку.

А в кассе кричала пани Прокопова — кричала так, словно ее убивают. Затем воцарилась тишина, и видно было, как от театра идут прочь те три человека, которые столь невинно околачивались у кассы.

— Какой удар, какой удар! — горевал уничтоженный Прокоп. — И кто бы подумал, о гнусный негодяй! А каким прикидывался любезным!

Вдруг он вскочил, выбежал из своего кабинета и помчался к кассе, к жене. Ее он встретил на лестнице, растрепанную, хмурую, с выпученными глазами и задыхающуюся. Схватив жену за руку, он втащил ее в свое убежище.

— Ради бога, никому ни слова, или спектакль сорван! Слышишь, старая ведьма! — кричал он, словно обезумев и сам себе затыкая рот. — Конфискация, конфискация! У меня, патриота и чешского будителя, друга Тыла, Палацкого \* — у меня конфискация, словно у какого-нибудь лавочника! Почему ты не позвала на помощь, зачем отдала им такую полную кассу?! Несчастная! По какому праву?! По какому праву?! Ох этот находский мерзавец, этот Шейлок с лицом гнуснейшего из лицемеров! Выманил мою подпись и теперь подал в суд! И его право признано, и ему выдан головой самоотверженный адепт просвещения, Йозеф Алоиз Прокоп! — неистовствовал директор, мечась по тесному кабинету. — Весь сбор, и какой сбор, такую богатую выручку — конфисковали, ограбили! Почему ты, старая дура, не позвала народ, не подняла его на защиту чешского искусства от пиратов и грабителей!

— Это еще не все,— хрипло воскликнула пани Прокопова, с едким злорадством подбавляя масла в огонь.— Они забрали только сто восемь золотых и шестьдесят пять крейцеров, а исполнительный лист выдан на двести восемьдесят золотых!

Прокоп задохнулся.

— Как? Я ведь остался должен этому негодяю трактирщику в Находе всего восемьдесят!

— А проценты, а судебные издержки, а гонорары адвокатам? И вообще кто знает, что ты ему там подмахнул, старый осел! — Теперь урожденная фон Корф принялась изливать на злополучную голову мужа всю накопившуюся злость, ибо, соединившись с этим человеком, она не только отдала ему свою молодость и честолюбивые замыслы, но и отказалась от дворянства.— Только и знаешь винище хлестать! Меня погубил, и всех нас погубишь! Что ты теперь скажешь людям? Из-за каких-то несчастных двухсот восьмидесяти золотых все идет к чертям! Да ведь люди разбегутся, а тебя еще арестуют!

— Как — меня, к ногам которого складывала венки вся Европа? Меня, который пожертвовал всем, чтобы нести свет в забытые богом чешские деревеньки? Меня?! — гордо поднял голову Прокоп, бия себя в грудь.— Но я знаю, что мне делать! — тут он картинно взмахнул руками.— Я всем покажу! Я покажу им, как умирает герой! Покончу разом!

— Да с чем ты собрался покончить, дуралей? — совершенно трезвым тоном, ухмыляясь, спросила пани Прокопова.

— С чем? Настоящий мужчина, сражаясь на горящем бастионе, всегда оставляет последнюю пулю для себя! — И, бросившись к своему распатанному столику, который он возил с собой по привычке, начал лихорадочно рыться в ящиках.

— Ха, вот он! Вот последнее мое утешение! — вскричал пан директор, сжимая в руке револьвер такой формы и величины, что за него не покраснел бы и знаменитый пандур Тренк\*.

Ужасные слова неистовствующего супруга оставили пани Прокопову совершенно невозмутимой. Нагнувшись, она принялась перебирать свои нижние юбки.

Увидев, что единственный зритель его кончины столь равнодушен, Прокоп взревел:

— Что ты вытворяешь, бесстыдница, над трупом своего бесценного супруга?!

Прокопиха тем временем вытащила из потайного кармана нижней юбки четыре пятерки и бросила их на стол:

— Вот возьми, заткнись хоть ненадолго глотки нашим. Придется им продержаться еще два дня в ожидании жалованья.

— Как это два дня? — взмахнул пистолетом Прокоп.

— Да ведь сказала же я тебе, тупица, что эти судейские завтра опить притащутся! Касса арестована до тех пор, пока не наберется эта жуткая сумма — триста золотых! Этот адвокат — из самой Праги, у него на руках исполнительный лист, и он в любую минуту может обобрать нас до нитки! Возьмись-ка за ум! Если мы удержим Крумловского, то за три спектакля избавимся от судейских. И будь спокоен, за мной не уследят, я у них из-под носа всегда что-нибудь да уткну. А этому Крумловскому отдай сегодня хоть пятерку, чтоб удержат его; пусть играет, а то еще сбежит. Нимбурк по нему с ума сходит. Слышишь! — прошипела Прокопиха, мгновенно все продумав и рассчитав. — А остальным разделишь остаток после спектаклей!

— А нам что останется? — в отчаянии спросил Прокоп.

— Не беспокойся, с голоду не помрем. Только об этом, конечно, приходится думать мне самой! Без меня ты бы давно очутился в какой-нибудь канаве! Ну, ступай, да улести как-нибудь этого бродягу Крумловского, в нем все наше спасение!

А Крумловский принимал на сцене неслыханные овации. Невозможно было закрыть занавес. Публика все вызывала и вызывала его, снова и снова разражаясь рукоплесканиями и кликами.

Настроение за кулисами было более чем праздничным. Только пани Скрживанек ходил с видом Иуды Искариотского: он все знал. Знал, что судебные исполнители конфисковали сбор в пользу находского трактирщика, знал, что им чуть ли не неделю придется играть, чтобы покрыть долг. И хотя сам он был потерпевшей стороной, но заранее предвкушал удовольствие видеть, как это ошеломляющее известие подкосит его коллег. Вот будет крик, вот зрелище! А этого жадного мальчишку, этого плюгавого Мошну, пожалуй, хватит удар...

Как только кончился спектакль, в гримерную, где собрались радостные актеры, проскользнул Прокоп — воплощение несчастья. Он тяжело оперся на стол, вытер платком бледное, вспотевшее лицо, набрал воздуха в легкие и сдавленным голосом заговорил:

— Увы, друзья мои верные, я должен сказать вам чрезвычайно прискорбную вещь. Слушайте меня все и будьте мужественны!

Последние слова Прокоп выкрикнул каким-то надтреснутым голосом. Из-за занавески, отделявшей женскую гримерную от мужской, выглянуло несколько полуодетых актрис.

— Да что случилось?

Актеры перестали разгримировываться и переодеваться. Все обернулись к принципалу. Только теперь заметили они трагическое выражение его лица и дрожь в голосе.

Прокоп, непрерывно манипулируя платком около своих покрасневших от пьянства глаз — будто вытирая слезы, — сообщил им

роковое известие; по этому никто не желал поверить — слишком все было невероятно!

Тогда Прокоп разрыдался по-настоящему, что безмерно удивило его самого, и, вынув из кармана три пятерки, отдал их Гронеку, чтобы тот разделил деньги между самыми нуждающимися.

Моше сперва все это показалось неуместной шуткой. Потом он вдруг взорвался — стянув с головы парик, он швырнул его на пол и крикнул:

— Опять мне голодным ходить! Опять доплачивать из своих последних! Будь проклят театр, проклят, проклят! Убегу я, убегу, не останусь!

Крумловский же, не моргнув глазом, продолжал спокойно снимать грим, словно произошло нечто обычное, хорошо знакомое. За занавеской плакали женщины.

Крумловский встал и, поглощенный какой-то мыслью, вопросительно огляделся. Прокоп подбежал к нему:

— Не надо! Франтишек, не уходи! Заклинаю тебя всем, что тебе дорого, — не уходи!

— А мне, Алоиз, уже ничто не дорого, кроме алкоголя, и все заклятья давно потеряли силу надо мной, — каким-то ржавым голосом ответил Крумловский, собирая свои вещи.

Но Прокоп бросился на него и всей тяжестью своего грузного тела оттеснил Крумловского сначала к двери и потом — в свой кабинет. Действовал он так порывисто и решительно, что Крумловский не успел воспротивиться.

Когда оба исчезли, Скрживанек рассмеялся:

— На каждого из нас придется по десять крейцеров, и пусть меня повесят, если теперь там директор не сунет в пасть Крумловскому по меньшей мере пятерку. Только ничего у пана Прокопа не выйдет! Насколько я знаю Крумловского, он эту пятерку примет, сегодня же прошьет ее, а завтра наострит лыжи!

Между тем Прокоп лихорадочно старался объяснить Крумловскому положение; он делал все возможное, чтобы растрогать актера, увлечь его, уговорить. Заклинал его всем на свете не покидать труппу, сыграть еще хоть несколько спектаклей, пока не будет выплачен долг, — и все совал, совал ему в карман смятую пятерку.

В течение всей этой душераздирающей сцены Крумловский не произнес ни слова. Потом он взял пятерку, повертел ее и процедил:

— Накинь!

Прокоп клялся, что у него ничего больше нет, в отчаянии ссылаясь на свою жену, которая притаилась в углу.

— Накинь! — тихо повторил Крумловский.

Это было сказано так зло и решительно, что Прокопиха без единого слова встала, выудила из своих юбок еще два золотых и протиснула их Прокопу.

Крумловский усмехнулся. Прокоп сунул ему в руку обе монеты, лепеча что-то о милосердии божием. Старый актер, не поблагодарив, сунул деньги в карман и вышел, щуря глаза, словно усиленно вспоминая что-то.

Прокоп, разинув рот, смотрел ему вслед, не понимая, на что тот решился. Когда за Крумловским захлопнулась дверь, он схватился за голову, упал на стул и так застыл.

Немного погодя Прокопиха поднялась, снова пошарила в своих юбках и вытащила золотой. Она долго держала его в руке, прежде чем подойти к мужу и положить монету перед ним на стол.

А Крумловский вернулся в гримерную. При виде растерянных, павших духом товарищей он воскликнул:

— Ну что, котятки? Славные коленца откалывает жизнь, а? Хорошо бы всякий раз падать на задницу, а то ведь обычно тебя — башкой об землю! Ну ничего, завтра будет еще день! Не горюйте — вы так хорошо играли! Приведите себя в порядок да отправляйтесь ужинать к Гамтаку — там все уже ждут. Директор посылает вам семь золотых, на них вы наедитесь до отвала. А на полный желудок и жизнь предстанет в ином свете! Гронек, — Крумловский передал ему пятерку и два золотых, — возьми-ка это, ты будешь платить.

Проблеск радости озарил комнату. Хоть что-то! Торопливо одевшись, все поспешили выйти.

Крумловский улегся на скамейку под окном, со странной улыбкой наблюдая суету своих товарищей. Мошну он задержал:

— Ты останься!

Индра испуганно взглянул на Крумловского, но тот буркнул:

— Успеешь! Твою долю не съедят.

С этими словами он снова вытянулся на скамье, устремив взгляд в потолок.

Когда они остались одни, Крумловский, все так же глядя в потолок, спросил:

— Что это ты здесь выкрикивал, малыш?

Мошна молчал.

— «Беда величайшая — в беде беду проклинать», — медленно процитировал старый актер. — Запомни эти слова бессмертного нашего певца «Дочери Славы» \*. Ты тут проклинал театр, сынок, — театр! Наш театр! Театр, без которого мы — ничто, ничто, только безмозглые паяцы! Вина ли театра, что грязные свиньи роются в нем рылом? Театр — дело священное! Священное — понимаешь? Все то, о чем грезил человек, он приблизил... воплотил... сыграл на подмостках, где возможно все — даже счастье!

Мошна хотел что-то сказать, но Крумловский его остановил:

— Молчи, не говори ничего! Какой-нибудь Скрживанек может ругаться, какой-нибудь Прокоп — плакать, но мы — мы должны играть! Понимаешь — играть!

Стало тихо. Мошна вздохнул. Минута эта стала ему почему-то вдруг бесконечно дорога. Все горести, лишения, бедность — все вдруг отлетело куда-то далеко. Крумловский, великий Крумловский сказал — «мы»! И это было для него, начинающего, высочайшим признанием. Мы!

Крумловский встал, потянулся и захохотал:

— Ах, все это комедия, к тому же плохо написанная. Написанная для позеров, которые сами себе посылают букеты цветов! Не смотри на меня так удивленно, Индра, и пойдем ужинать!

Трогательным и жалким было зрелище, когда актеры уничтожали свой импровизированный «торжественный ужин» у Гамтака.

А Крумловскому сегодня надо было напиться. Триумф на сцене, потом инцидент с Прокопом и все, что было с этим связано, глубоко взволновало душу неисправимого алкоголика; он, правда, старался совладать со своей страстью, но силы его были на исходе. Хоть рюмку! Ему необходимо было залить, утопить того червя, который с безжалостным упорством глодал его изнутри. Крумловский был теперь бледен. Он ничего не ел, не мог есть. Во рту у него было сухо, и легкая дрожь постепенно охватила все его тело. Хоть рюмку!!

Мошна, следивший за Крумловским через стол, перестал есть. Он интуитивно чувствовал, что другу его сейчас очень трудно. Он знал, что Крумловский все деньги отдал за актерский ужин, не оставив себе ни гроша. И Мошна хотел ему помочь, но боялся, как бы ненароком не обидеть его. С собой у Индры не было ничего, кроме тех нескольких крейцеров, которые достались ему на сегодняшний пай. Он заказал бы рюмку для Крумловского, — но вдруг этот сумасшедший, поступков которого никогда нельзя предвидеть, швырнет эту рюмку ему в голову?

Крумловский бормотал себе что-то под нос, кидая вокруг яростные взгляды.

Мошна вдруг поднялся и побежал в театр. Там он долго стоял в задумчивости над своим сундучком, где лежали последние несколько золотых из его сбережений. Сначала он хотел отдать Крумловскому все, но потом вздохнул, взял с тяжелым сердцем два золотых, спрятал их в кармашек жилета, остальные же положил на место.

Тем временем Крумловский уже ругал всех и вся; в бешенстве он швырнул на пол пивную кружку; большинство актеров разбежа-

дось, и пан Гамтак начал раздумывать, не послать ли ему за полицией.

Тут прибежал Мошна и молча положил деньги перед Крумловским. Тот сначала возмущенно отвернулся и отстранил монеты, но потом принял. Взяв Мошну за подбородок, он произнес:

— Ах ты, крот этакий! И где ты их выкопал? Все-то ты считаешь, суслик!

— Да, считаю, пан Крумловский, я с детства считаю, — осмелился возразить Мошна. — Нет, не хочу я терпеть нищету! Не хочу погибнуть где-нибудь от голода. Я играть хочу, а не перебиваться с хлеба на воду. Не хочу поддаваться, потому что все силы должен отдать театру, а не нужде!

Крумловский осекся; с минуту он смотрел в лицо бледного Мошны, потом улыбнулся.

— Что ж, это тоже точка зрения, и не самая плохая. Вон ведь пес на цепи — ему каждый день дают жрать за то, что он сторожит и лает, — так почему бы и чешскому артисту не добиваться своей миски!

Он хлопнул Мошну по плечу и встал, прибавив:

— Деньги я верну! И награда тебе будет королевской. Но здесь, в этой жалкой харчевне, я не останусь и минуты!

Подхватив свою неразлучную скрипочку, он вышел, хлопнув дверью.

Как только Крумловский удалился, незаметно встал и Скрживанек, доедавший в углу свой ужин. Но Скрживанек из трактира не ушел — он проследовал в конец коридора, к комнате, которую снимал здесь Прокоп.

— Все складывалось хорошо, — доложил Скрживанек принципалу, который уже сидел в своем засаленном халате. — Ужин утихомирил актеров, а Крумловский без денег напиток не мог. Прекрасно! А кто все испортил? Кто же, как не этот мальчишка Мошна! Он дал Крумловскому два золотых. Крумловский ушел, теперь он пахнется, и — кончен бал. Завтра не сможет играть. И как знать, может, он вообще удрал? Ох уж этот мне крысенок Мошна!

Прокоп вскочил с криком:

— Остановить его, воротить! Заприте все городские ворота, обыщите все городские трактиры!

— Я знаю, как нужно действовать, — спокойно отозвался на крики принципала Скрживанек. — Пусть его приведет Мошна. Ведь именно он причина несчастья!

— Где этот изменник? Приведите его сюда, я задушу его собственными руками, я его в землю втопчу! — взревел Прокоп.

Скрживанек привел Мошну, и директор, метавшийся по комнате, как умалишенный, накинудся на него еще с порога:

— Если ты, жалкий предатель, не приведешь мне тотчас Крумловского в таком состоянии, чтобы он мог завтра играть, я выкину тебя сей же час, упрячу тебя за решетку, убью!

Мошна очутился на улице — без шляпы, без пальто, совершенно не зная, что делать.

Стояла одна из тех прекрасных ночей, какие бывают в конце лета. На башне святого Илии протрубил ночной сторож. Город спал. Шаги запоздалого прохожего отдавались гулким эхом и снова терялись в ночной тишине.

Куда идти, что делать? Крумловский, конечно, закатился в какой-нибудь трактир — но в какой? В это время уже везде закрывали. Мошна пустился наугад. Он пересек Малые и Большие валы, и тут-то, в самом конце, там, где город уже рассыпался на маленькие домики с садами, увидел на углу огонек. Это был постоянный двор «У есеницкой ратуши».

В распивочной сидело несколько человек, но Крумловского там не было. Мошна стал расспрашивать, куда бы он мог податься в такую пору, и один из гостей, уже хмельной, с красным лицом, судя по одежде мясник, объяснил ему, что в это время веселье может быть разве только в трактире «На току» в Драгельском предместье.

— Там, брат, и девки есть — во какие! — мясник показал рукой, какие там есть девки, и причмокнул, заливаясь смехом. — Коли у тебя, приятель, денжата водятся, я тебя туда свожу, рот разинешь!

Мошна подумал, что при нем всего несколько крейцеров — довольно слабое оснащение для ночных походов по кабакам.

— А коли нету, — продолжал парень, — то я сам тебя приглашаю — знай наших нимбургских! Эй, пан трактирщик, палейте-ка этому красавчику за мой счет, а вернее сказать, за счет той коровы, что я нынче продал, налейте ему стопочку хлебной, да и мне тоже, чтоб было ему с кем чокнуться! А потом к девкам пойдем! Вот посмотришь, миленький, лакомые кусочки, да какие!

Мошна хотел уйти, но кто же тогда проводит его в Драгельское предместье? И вообще рюмка хлебной для куражу не повредит... Он принял угощение и отхлебнул глоток.

— Да ты пей до дна, а то пьешь, как барышня! Опрокинем еще по одной, а то путь в Драгелице далекий и нам надо туда явиться во всей красе! Эй, пан трактирщик, еще две! У коровы-то ведь два рога, верно?

Вторая стопка очутилась перед Мошной, у которого уже от первой разлилось по телу приятное тепло.

Мясник плепнул ладонью по столу, и Мошна при виде этой чудовищной лапы выпил поскорее и вторую порцию.

— Ну, тронулись, приятель! Только хватим на прощанье еще по одной, а то лучше сразу по две, — у коровы-то ведь четыре ноги! Давайте, пан трактирщик, каждому еще по две — и айда в Драгелице!

Мошна понял, что мясник, восхищенный самим собой, его так просто не отпустит, и его бросило в жар. Послали искать Крумловского — а он, скорее всего, явится один, да еще пьяный в стельку...

В конце концов хозяин трактира, хоть и был сух как щепка, на диво умело вытолкал нашего мясника, послав за ним вдогонку и Мошну.

Наконец, горлая и философствуя о грустных коровьих глазах, самых прекрасных глазах на свете, оба — артист и мясник — дотащились до окраины.

В кабак «На току» они попали во втором часу ночи. Если бы Мошна был один, его бы не впустили. Но мясник заколотил в дверь кулаком так, что стены задрожали, и хозяин кабака, видимо, решил, что лучше пусть уж он скандалит в зале, чем терпеть, чтоб штукатурка валилась гостям на голову. Впрочем, мясник, кажется, был здесь своим человеком, потому что все его шумно приветствовали.

Строго говоря, ничего особенного в этом хваленем значном месте не было. Кабак как кабак. Только занавески были там красные, да на стенах — ужасающие цветные гравюры, изображавшие, насколько можно было разобрать, купающуюся Сусанну, Самсона и Далилу, Олоферна и Юдифь и прочие библейские мотивы, в которых главную роль играли пышногрудые красавицы. Да еще отличало это место от других ему подобных то, что к обычным кабацким запахам дыма, мужского пота, выдохшегося пива и плохо мытых полов примешивался запах пачули и розовой пудры официанток. Все это испарялось, образуя некую желтоватую дымку, мягко окутывавшую фигуры людей, — словно на потемневших полотнах старых мастеров.

Пьяненький Мошна с трудом отличал людей от мебели. Между столами мелькали официантки или что-то в этом роде, а за стойкой возвышался здоровенный дитина со светлыми, как пахла, волосами и детски невинным выражением глаз; он паливал в грязноватые рюмки ром — с улыбкой, которой мог бы позавидовать епископ, благословляющий паству.

В дальнем углу, среди мечтательных пьяниц, словно на острове чудаков, сидел Крумловский. Рубашка расстегнута, волосы взъерошены, глаза прикрыты — он пел что-то своим чуть гортанным, трогющим за душу голосом. Пел и подыгрывал себе на скрипочке, щипля ее струны, как у гитары.

Мошна доплелся до его стола и молча уставился на Крумловского; его слегка патаало.

Мясник велел подать всем по чаше пунша за его счет. Была ведь еще и шкура у покойной коровы...

Через некоторое время Крумловский обратился к Мошне:

— Садись и смотри на меня нормально, дурак, а то я испугаюсь! — сухо сказал он.

— А я, маэстро, за вами пришел... то есть, ну да, пришел... — на одном дыхании выговорил Индра.

— Это по какому же праву?

— По праву невинного преследуемого, маэстро, — ответил Индра, не зная, засмеяться ему или горько заплакать. — Если я вас не приведу, директор меня выгонит... то есть... ну да, выгонит.

Крумловский расхохотался.

— Этим он сослужит тебе, дурачок, величайшую службу!

— Да, но он еще сказал, что убьет меня...

— Возможно. И ты будешь не первым!

— Вот видите... А Скрживанек держал пари, что я вас не приведу. Он сказал, что вы забрали деньги и сбежали! Те деньги, за ужин.

Крумловский покраснел и отложил было скрипку, но потом только плюнул.

— Садись-ка, и пусть тебе нальют! На скрипке играешь?

Мошна сел и кивнул:

— Играю, только у меня никогда не было своей. Была только губная гармоника, но тогда я не мог петь.

— Оно и впрямь трудновато — если б тебе это удалось, твое существование было бы обеспечено, — серьезно проговорил Крумловский, протягивая ему скрипку.

— А домой мы не пойдём? — спросил Индра, икнув.

— Нет!

— Но ведь завтра...

— Завтра! Золотой мой птенчик, да кто же думает о завтрашнем дне? Ну, играй!

Мошна взял скрипку, провел рукой по струнам, настроил ее и заиграл. Скрипка оказалась прекрасным старым инструментом с нежным бархатистым звуком. Мошна не был первоклассным скрипачом, но он вкладывал в игру всю душу — по крайней мере так ему казалось после четырех стопок хлебной. Сначала он импровизировал что-то, потом заиграл старую моравскую «Как наша харчевня».

Крумловский залпом опрокинул бокал, обнял девуцу, которая принесла ему пунш, и запел:

Как наша харчевня  
высоко стояла,  
дикая гусыня  
над ней пролетала...  
Хей-я-я! Хей-я-я!

В конце куплета он так стиснул девуцу, что та едва перевела дух.

— Пусти, раздавишь, срамник! — тихонько пискнула она, однако не отстранилась.

Крумловский запел теперь с глубоким чувством:

Коли жив остался,  
когда воевали,  
значит, жив останусь —  
война миновала!  
Хей-я-я! Хей-я-я!

Лицо старого актера сияло, и при каждом «хей-я-я» он швырял рюмки об стену.

Огромный кабатчик с детской улыбкой послал на стол Крумловского новые рюмки и попросил гостей, которым осколки попали за ворот, не очень шуметь. Он все время любовно смотрел на Крумловского, который сразу завоевал его сердце — главным образом потому, что, едва войдя, Крумловский обратился к этому здоровенному детину на ты:

— Смотри, лавочник, вот у меня два золотых. Возьми их и наливай, пока не выйдут, а выйдут — смилуйся над странником и продолжай наливать. За эти лишние рюмки ты попадешь в рай!

Начиная третий куплет, Крумловский понизил голос, прикрыл глаза — так он делал всегда, когда его одолевали чувства, — и тихонько пропел:

Коли жив остался  
в тальянских долинах, —  
значит, жив останусь  
на груди любимой!  
Хей-я-я...

Второе «хей-я-я» он только прошептал — словно эхо отозвалось.

Девушка теперь сама прижалась к нему:

— Ох, пропадешь, старый! Не останешься жив! — приблизив лицо, она заглянула ему в глаза. — Где я видела твои глаза?

— Может, был у вас дома старый пес? — резким своим, неприятным смехом разразился Крумловский и отстранил девицу. — Принеси лучше еще бокалы! А то вот товарищ мой привел с собой рыцаря, который пропивает сейчас все свои лены...

Той ночью в «На току» дым стоял коромыслом...

Вышло над Нимбурком солнышко, похожее на смеющегося мальчишку, на заре искупавшегося в Лабе.

От Драгельского предместья к городу брели, шатаясь, две фигуры. То маленькая подпирала большую, то большая тащила маленькую. Возле кладбища, подчиняясь странному повороту мыслей, оба

спустились на лужайку к реке. Уселись там на кучку сена и стали смотреть, как бежит вода.

Лаба струилась в камышах и вербах, чистая, еще свободная, сверкая меж отлогих берегов.

Одурманенные головы успокаивались, воспаленные глаза вбирали мир, какой только может предстать тихим утром.

— Сегодня будем играть, Индржишек, не беспокойся — и прекрасно будем играть! Вот сыграем этот мироедский долг — и после зажжем новые солнца над новыми местами! Я дал слово этому старому, подновленному кораблю, что приведу его в гавань. Но он все равно потонет... Пусть ворует, пусть изворачивается — потонет все равно! — Крумловский бросил в воду ветку и стал следить, как она сначала покружилась у берега, потом тихонько выплыла на простор реки. — Когда тебе перевалило за пятьдесят — поешь уж тише, и больше про себя поешь — и плачешь больше про себя... — добавил старый актер.

Мошна положил голову на колени Крумловского, который прикрыл его полой своего плаща. И словно во сне, когда все как бы убегает вдаль, слушал он слова старого мастера.

— Помни одно, Индржишек: каждый вечер играй так, словно ты поставил всю жизнь на одну карту. Вот когда вкладываешь в роль больше, чем обязан, — только тогда творишь!

Слова Крумловского постепенно убаюкивали Мошну, а старый актер, у которого приятно шумело в голове, все перебирал четки своих дум:

— Говорят, я неудачник. Но кто и что обо мне знает! Я — король, я всемогущ! Даже убить себя могу, если захочу! Одно мне заказано: менять любовь на ненависть! Падает занавес, ты выходишь на улицу и смешиваешься с толпой. И кто из этой толпы знает, что это — ты, от одного взгляда которого они замирали? Толкнут тебя да еще проворчат: потише, дядя, не толкайся! Кто знает, что среди них король и господин? Ах, зачем судьба дала мне жажду великой веры — и не дала для нее сил? И ничего другого не остается, как проходить своим путем в одиночестве — подобно зверю...

А Лаба все струилась меж пологих берегов, благоухающих аромом, и уносила смятенные слова засыпающего бродяги, уносила их, как опавшие листья, — так... просто так.

К полудню Крумловский и Мошна явились в театр. Они проснулись поздно на пахучем сене, с солнцем в глазах, и река струилась у их ног. Покрытые росой, они разделлись и бросились в воду. И теперь, выкупанные, с влажными волосами, они предстали пред паном директором, который глазам своим не поверил. Вот они стоят перед ним, свежие и трезвые, как младенцы, — невероятно! Нет, все-таки подлец этот Скрживанек!

— Выставить доски с афишами и знамена! — гаркнул Прокоп. — Звонить во все колокола! Сегодня опять выступает знаменитый трагик Крумловский! «Король Вацлав и его палач!»

И снова вечером театр был полон, и снова приходили господа судейские, и снова под самым их носом Прокопиха утаила несколько питерок. Долг сильно уменьшился — осталось выплатить около восьмидесяти золотых.

Тот вечер опять принадлежал Крумловскому. Играл он Вацлава Четвертого, — и играл, как истинный король!

После спектакля за кулисы явился почной знакомец мясник и обрадовался, как дитя, узнав своих собутыльников. Мясник принес с собой корзину колбас и круги шпика, роздал все и хохотал от души, глядя, как их расхватывают.

— Разрази меня гром, это надо обмыты! — кричал он и тотчас предложил подождать своих новых друзей. — Слушай, паренек! — орал он Мошне. — Мы ведь совсем забыли, что у коровы-то самое важное осталось — четыре сиськи! А это — четыре бутылки хлебной!

Прокоп хотел было сунуть Крумловскому еще пятерку, но тот отказался:

— Отдай людям, а мне дашь завтра после спектакля двадцать волотых, и будем квиты. Завтра добрая половина сбора пойдет в твой карман.

— Но ты не уйдешь, правда, Франтишек? — сокрушенно вопрошал Прокоп.

— Спроси у звезд, Алоиз, а меня оставь в покое! Пока я играю — чего же тебе еще?

После спектакля опять отправились в кабак. Мошна начал было отговариваться, но Прокоп отвел его в сторонку и, выпучив на него глаза, чтоб придать себе грозный вид, приказал:

— Сторожи его! Ты мне за него отвечаешь!

Мошна пошел, однако на сей раз все вышло куда хуже. Крумловский пил без счета, к утру свалился под стол — тем и кончились все песни и шуточки.

Лишь к вечеру, когда он кое-как проспался, можно было с ним разговаривать. А в тот вечер давали пьесу Тыла «Кровавый суд, или Кутногорские рудокопы»\*.

Крумловский играл Бенеша, главного управляющего монетным двором в Кутных Горах, Мошна — «интригана» Рекордата, податного писаря.

Эту роль он выпросил через Крумловского; тот замолвил за него словечко перед Прокопом, которому в свою очередь пришлось попросить Скрживанека уступить роль Мошне. Крумловский знал тайную мечту Индры — играть героев, любовников, интриганов, преступников, короче, трагические роли.

Перед вечером — до начала спектакля оставалось еще много времени — в уборной было пусто; лишь изредка появлялись Гронек и Схранил и тотчас тихо, как мышки, исчезали в сумраке кулис. Вечернее солнце отбрасывало длинные тени, от которых тишина становилась как бы еще тише.

За длинным столом сидели друг против друга Мошна и Крумловский, повторявший свою роль по истрепанной тетрадке. Мошна довольно долго ерзал на месте и вздыхал, пока не попросил разрешения высказать, почему ему так хочется играть трагические и героические роли. Крумловский поднял глаза от текста и пристально уставился на Индру. Спокойно выслушав его, он произнес одно слово:

— Почему?

— Потому что ведь только на трагических ролях может вырасти артист, так ведь? — ответил Мошна и с жаром заговорил, к каким выводам привели его долгие размышления обо всем, что он читал или видел в венских и пражских театрах. Порой Индра начинал жестикулировать и громко декламировать отрывки из знаменитых ролей. Под пытливым взглядом Крумловского, однако, все доводы его рушились, становились все менее убедительными, и кончил бедный юноша тем, что просто развел руками.

Крумловский слегка усмехнулся, но тотчас же снова стал серьезным. Ему припомнилось впечатление, которое произвел на него этот восторженный человек, когда они впервые встретились в Находе, впечатление, в котором он, старый опытный актер, долго сам не мог разобраться. Безошибочным чутьем он угадал в Мошне большой артистический талант — но какой? Во всяком случае, он актер не на героические роли — маленькая, тщедушная фигурка Мошны не подходила для них. И потом особая, непостижимая простота его игры, в которой по тогдашним представлениям не было ничего героического или трагического... А для комика Мошна казался Крумловскому слишком страстным, слишком чувствительным, слишком мало в нем было для этого легкости.

— Что ж, сегодня тебе представится случай, — сказал Крумловский после долгого молчания. — Будешь играть иптригана, а это уж самое что ни на есть трагическое амплуа. Только ты не очень мудри, играй с величайшим отращением, какое ты только можешь питать к такому подлецу, как Рекордат!

И Мошна вошел в роль негодяя Рекордата со всем опытом и чувством, какими только обладал. Он играл, забыв обо всем на свете. Ходил он крадучись, смотрел коварно, косо, исподлобья, говорил скрипучим голосом и демонически похихатывал в сторону.

В перерывах он крутился возле Крумловского, надеясь услышать оценку своей игры; может быть, Крумловский хоть по плечу его похлопает, бросит мимоходом: «Отлично держишься, Индра!», или: «Никогда бы не подумал», или еще что-нибудь в этом роде; а может, он просто взглянет на него по-особенному и кивнет ободряюще... Но Крумловский либо вообще не обращал внимания на Рекордата, либо, если взгляд его случайно падал на Мошпу, странно улыбался. Ну ничего, после спектакля Мошна все равно с ним поговорит. А пока роль ему удавалась — во всяком случае, он так чувствовал — на диво хорошо.

Больше всего сцен у Индры было именно с Крумловским, который в роли Бенеша совершенно затмевал его и игрой и мощной фигурой, так что Индра вынужден был увиваться вокруг него и прыгать как воробышек. Зато и аплодировали ему и Крумловскому одновременно, что еще пуще подхлестывало молодого актера; он старался вовсю. Ему только странным показалось, что несколько раз — например, после сцены с Онеком Каменецким, гетманом Подебрадским, где у Рекордата был довольно длинный монолог, заканчивающийся словами: «Мир не стоит того, чтоб его падить; чего ни кость — все гниет заживо...» — в зрительном зале послышался смех — да, смех, в ту самую минуту, когда Индра воображал, что заледенил кровь в жилах зрителей... Наверно, какие-нибудь безобразники или невежды — кто же может еще смеяться в таких местах?!

Наконец наступил самый волнующий момент: Бенешу является дух казненного вождя восставших рудокопов, Опата, и Бенеш зовет Рекордата на помощь. Тот вбегает и становится свидетелем смерти свиреного управляющего.

Сцена эта была очень важна для Мошпы, — да и не удивительно, ибо она в самом деле составляла, как говорится, гвоздь спектакля. Мошна — Рекордат играл ее с самого начала с предчувствием, что «этому извергу — конец», и сразу, выбежав из-за кулис, начал льстиво увиваться вокруг шатающегося Бенеша, дьявольски ухмыляться, после чего коварнейшим тоном воскликнул: «Вы звали, вапа милость? Я не ослышался?»

Бенеш — Крумловский посмотрел на него, лицо его дрогнуло, и он, словно теряя сознание, закрылся рукой, потому что, даже умирая, даже мучимый угрызениями совести, он едва не расхохотался. Произнес очередную реплику, он покачнулся и со словами «О горе мне! То призрак приходил за мной!..» — пал бездыханным.

Тут Мошна — Рекордат, помня, что это кульминация роли, отскочил от трупа, потом с ужасным выражением на лице снова приблизился к нему, чтобы тотчас снова отскочить, словно его ужалили, с криком, в котором прозвучали адские потки: «Ха, что же это? Оцепенеье? Обморок? Смерть?!!»

Слово «смерть» было произнесено зловеще и глухо. Затем Мошна захохотал, кошечно, леденящим смехом, так, чтоб у зрителей застыла кровь, и, склонившись, прошипел в мертвое лицо злодея: «Счастливейший путь! Покойся в братстве мертвых — я тебя будить не стану!»

С этими словами Мошна поставил ногу на живот мертвого Бенеша — примерно так, словно давил муху.

Злодей же Бенеш, хоть и мертвый, вдруг задергался, живот его затрясся. Может быть, это была агония.

«Теперь, тиран, ногами попирают тебя — ха-ха!» — продолжал Мошна, и это «ха-ха», конечно, опять звучало дьявольски; упоенный собой, он взмахнул руками и еще раз придавил ногой живот покойного управляющего.

Тут «мертвый» процедил уголком губ:

— Ради бога, перестань, Индра, а то я лопну со смеху!

Мошна наклонился, словно желая убедиться, что Бенеш действительно мертв, снова отпрянул и тотчас опять нагнулся над телом... Он корчился, и озирался настороженно, и гнусавил, воображая, что именно так следует передавать зловещее настроение этой сцены. Так он закончил свою тираду над Бенешем, поверженным самими небесами.

К удивлению Мошны, в публике, на миг действительно окаменевшей от ужаса, вдруг снова — о проклятье! — раздался смех. К счастью, этот смех заглушили аплодисменты.

Крумловский после этой сцены вышел кланяться, таща за руку Мошну, который из скромности не хотел выходить; обоих вызывали много раз. Мошна не забывал хранить на лице все то же выражение коварства, словно не мог освободиться из-под гипноза роли, — в то время как только что «умерший» Бенеш — Крумловский улыбался, и благодарная публика неистово ему аплодировала. Никогда, пожалуй, эту трагическую сцену не принимали так весело.

— Черт возьми, маэстро, можете вы мне объяснить, что это сегодня со зрителями? Ведь они хохочут, словно смотрели комедию!

Тут Крумловский сам неудержимо засмеялся.

— Знаешь, милый, я думал, что и впрямь помру во время этой сцены, а тут ты еще давишь мне на живот! Я уж хотел обратиться за кулисы и помирать там!

— Но почему? — вскричал Мошна.

— Почему? Да ты такое вытворял — животики надорвешь! — заливаясь смехом, объяснил Крумловский.

У Мошны мелькнула мысль, что старый актер спятил.

— Разве я играл для смеха? — обиженно произнес он, чувствуя, как неизведанное горькое ощущение, что его не понимают, сдавливает ему горло.

Крумловский посмотрел на несчастного Индру, но и тут не мог удержаться от нового приступа смеха.

— Прости меня, Индрикишек, но как взгляну на тебя — не могу, смех так и душит! Ведь ты волшебник, миленький, ты как Шванди-вольничик! Что ни сделаешь, все хохочут!

— Значит, я смешон? — хотел крикнуть Мошна, но голос его сорвался.

— Да нет, ну что ты, зачем — но, черт возьми... Как бы тебе сказать — ты...

— Паяц! — в отчаянии закончил Мошна.

— Нет-нет, не то! Но знаешь, кто ты? Прирожденный комик!

— Комик?.. — с ужасом и недоумением пролепетал Мошна.

— Ну конечно! Комик от природы! — воскликнул смеющийся Крумловский, довольный, что нашел решение, казалось, очень трудной, а на деле простой загадки.

Мошна упал с небес. Этого он не ожидал. Его охватила внезапная злость на Крумловского, и он с трудом удержался, чтобы не кинуть ему в лицо злые слова. Комик? Так вот во имя чего оставил он свое доброе и надежное ремесло, вот для чего пустился по неверному пути бродячего актера, — он, всю жизнь мечтавший о театре, — чтобы оказаться... всего лишь комиком! Несерьезное амплуа, роли, которые играли только те... кого он не мог сейчас и вспомнить. Ведь всякий раз, представляя себя на вершине актерской славы, он видел себя с мечом в руке или пусть с более коротким предметом — ну, хоть с кинжалом или пистолетом, а то и с пузырьком яда, все равно — и слышал собственный голос, бросающий грозные слова в замерший зал. Пусть смеются профаны, это не смутит великого артиста! Но теперь его друг, человек, которому он верил, как Священному писанию, называет его комиком, да еще хохочет, хохочет, как те, в зале...

Однако Крумловский уже не смеялся. Он смотрел на Мошну и, казалось, понимал своего теперь столь расстроенного приятеля. Он встал, положил ему руку на плечо — чувствовал, что должен помочь юноше.

— Комик? — вопросительно произнес он и немного подумал. — Для настоящего артиста — это ты поймешь, когда станешь им до мозга костей, — не бывает амплуа, не бывает малых и больших ролей, есть только плохие и хорошие артисты. В великом искусстве, где-то там, над судьбами человека, как бы ни был он смешон или трагичен — комик и трагик стоят плечом к плечу! И когда-нибудь, когда ты будешь стоять перед смеющейся публикой, властитель ее, — вспомни о старом Крумловском! Научись хорошо петь, танцевать, научись владеть своим телом, как акробат, и не забывай: чем глубже сумеешь ты погрузиться в свои чувства и мысли, тем выше станет

твой юмор. Так-то, малыш! — воскликнул старый актер, уже повернувшись к зеркалу и снимая грим. Мошна, разинув рот, следил в зеркале за изменяющимся выражением лица Крумловского; а тот еще добавил: — Я всегда играл самого себя, играл собой, своими чувствами! А надо было стоять над ними, не путать жизнь с игрой! Я мог бы смеяться над всем, что смешно, и зло, и подло, и помогать бы смехом разоблачать человеческое ничтожество — а себя спасти! — Теперь он обернулся к Мошне и, взяв зеркальце, сунул ему в руку. — Возьми этот блестящий осколок и дай людям заглянуть в него! Сова, зеркало и бубенцы — вот герб шутов и философов...

Мошна, погруженный в мысли, с минуту глядел на свою угрюмую физиономию, отражавшуюся в стекле. Но постепенно черты его лица смягчились, он улыбнулся и даже, в каком-то освобождающем порыве, удивившем его самого, показал сам себе язык. У него было чувство, словно что-то тяжелое, неуклюжее свалилось с его души. Он вздохнул. Ему стало легче, однако убежден, окончательно убежден он все еще не был. Ладно, он будет играть все, станет даже комиком, но цель — та, великая цель, где-то там, в конце пути, — эта цель осталась...

Примерная давно опустела. Актеры получили наконец более или менее приличный аванс, и большинство сидело уже у Гамтака.

Мошна чувствовал усталость, как после тяжелой борьбы. Он сидел напротив Крумловского, подперев голову ладонями.

Крумловский снял театральный костюм, встал, но, вместо того чтобы одеться в платье, которое дал ему Гронек, когда он вернулся в труппу, вытащил из-под скамейки свои старые рваные штаны и залатанный сюртук. Тихонько надел он все это и натянул стоптанные сапоги. Потом, вздохнув, сел на прежнее место и долго смотрел на задумавшегося юношу. Он даже руку протянул, как бы желая погладить его по голове, но тотчас отдернул ее.

— Знаешь, Индра, сегодня не пойдём никуда. Нынче пятница, «На току» закрыто. На вот тебе золотой, сбегай принеси что-нибудь от Гамтака. Посидим с тобой немного, а потом... — он не договорил.

Мошна поднял голову и молча протянул руку за монетой. Он не заметил, что Крумловский одет в старое платье.

— Что принести?

— Что хочешь — как обычно...

Мошна поднялся и тихо промолвил:

— Мне столько хочется сказать вам, маэстро...

— Вот вернешься, малыш, и все скажешь, — довольно нетерпеливо и с некоторой даже опаской перебил его Крумловский.

Мошна вздохнул и исчез за дверью.

Когда он вернулся с кувшином пива, с хлебом и колбасой, комната была пуста.

Он стал как вкопанный. Тишина опустевшего театра пала на него непривычно тяжело. Он положил принесенное на стол и вопросительно поднял глаза на лампу, мигающую под потолком. И вдруг, осененный внезапной догадкой, бросился к другому концу стола — там, в потертом кожаном футляре, лежала скрипка Крумловского, — а когда Индра уходил, ее там не было. Индра коснулся ее и тут только заметил клочок бумаги, на котором было написано:

«Скрипка твоя — это за те два золотых, что я у тебя занял; мне она не нужна более. Будь здоров! Ухожу, как хотел. К.»

Словно во сне посмотрел Мошна в угол, где рядом с котомкой Крумловского всегда стояла его суковатая палка. Угол был пуст. Индра выбежал из театра и крикнул в ночь:

— Крумловский! Крумловский!

После ухода Крумловского Мошна не долго пробыл в труппе Прокопа. Сменив несколько хороших мест, Прокоп вынужден был снова странствовать в глухой провинции, по маленьким городкам, потому что в больших городах труппе его, в том состоянии, в каком она была, невозможно стало выступать. Прокоп уже не мог конкурировать не только с другими антрепризами, но и с любительскими кружками.

В те времена по Чехии и Моравии кочевало уже несколько хороших коллективов, привлекавших актеров из немецких трупп и из распадающихся чешских — таких, например, как обветшавшая труппа Прокопа.

Мошна ушел от Прокопа чуть не с боем. Старый пьяница никак не желал отпускать его, он считал Индру едва ли не своей собственностью и не понимал, как это всегда терпеливый и послушный Мошничка, безропотно исполнявший в театре любую работу, мог вдруг взбунтоваться. Но Мошна знал, что у Прокопа он погибнет как актер, что каждый день, проведенный здесь, означает новую и новую потерю.

Ангажемент он получил в труппе Штандеры \* — в то время, пожалуй, лучшей из всех.

И здесь ему больше всего приходилось играть выходцев из народа — роли, которые значатся в последних строках театральных афиш и которые никто не хотел, не хочет и не захочет играть. Именно они по странному стечению обстоятельств всегда доставались Мошне, просто преследовали его. В конце концов он начал находить в них вкус, как в терпком вине. И, не желая того признавать, начал даже их любить, любить странной грубоватой любовью. Он раскрывал в них себя и ловил себя на том, что именно ради них просиживает целыми днями в трактирах, простаивает на рынках, на ярмарках, в лавках мясников, на площадях, наблюдая их на богомолье и храмовых праздниках, на свадьбах и похоронах, а в последнее время, когда всюду стали прокладывать железные дороги, и на вокзалах. Он слушал и смотрел. Вступал в разговоры, расспрашивал до бесконечности, что-то объяснял, переругивался.

«Чего я не вижу, того не могу сыграть» действовало по-прежнему. Прототипы его ролей были здесь перед ним как на ладони, без всяких прикрас.

Все свободное время Мошна проводил за этим на первый взгляд бесцельным занятием, глаза и ничего не делая. Но душа его была открыта, и ничто не пропадало для нее даром.

Ежедневно Мошна с великим усердием занимался и другими

упражнениями. Он ходил на руках, балансировал на спинке стула, делал гимнастику, «укрепляя плоть и дух», как того требовали правила Сокольского общества \*, танцевал и пел. Впрочем, пел он всегда. А вечерами, подобно Далибору \*\*, играл на скришке Крумловского — играл для себя и для всех, кто желал его слушать. На прогулках он декламировал целые поэмы. Каждую минутку свою он превращал в разменную монету репетиций и упражнений, накапливая так собственный актерский фонд.

И каждый вечер Мошна играл. И всякий раз ему чудилось, что где-то там, в сумраке зала, затерялась единственная пара глаз, следящих только за ним, — глаз Крумловского. Глаз мудрых, бдительных, дружеских и беспощадных.

Актер всегда играет для определенного человека. Как долго играл Мошна только для Крумловского! Слышал голос его — голос своего учителя. Мысленно разговаривал с ним, спрашивал совета... Крумловский сделался актерской совестью Мошны. А Крумловский в это время проживал где-то на потерянных путях последние остатки редкого своего таланта, мастерства, человечности...

Мошна получал у Штандеры постоянное жалованье. Сначала двадцать, потом тридцать, а там и тридцать пять золотых в месяц. Он жил упорядоченно и спокойно. И казалось ему, что он счастлив. Он нередко повторял:

— Если хочешь достать головой до звезд, надо, чтобы ноги были обуты в прочную, сухую обувь...

Однако Мошна не расставался с давней своей мечтой — играть героев, в ролях которых потрясал публику Крумловский. Мечта эта пряталась где-то глубоко в душе молодого артиста, и беспокойными ночами, просыпаясь, он слышал свой голос, произносящий монологи Эдипа, Отелло, Тристана или Ромео...

В начале 1863 года Пльзеньский муниципальный совет постановил сдать в аренду на два года городской театр директору-немцу Иоганну Веседтке-Вальбургу с условием, что немецкие спектакли будут чередоваться с чешскими.

Но этому постановлению видно было, что даже вполне онемеченная Пльзень не устояла перед патриотическим движением.

За несколько лет до этого в Пльзени снесли средневековые городские стены. Город вздохнул, и в узеньких улочках старинного «бурга» повеяло свежим ветром.

Долго спорили о том, каким должен стать этот город: ярмарочным или курортным центром, пока совершенно неприметное и невинное событие не определило его судьбу — на месте маленького трактира в 1842 году построили небольшой, но вполне приличный пивова-

ренный заводик. Заводик этот проявил чудесную жизнеспособность: он рос и рос, и город утонул в пиве — примерно так же, как французский город Коньяк утонул в своем выдержанном спиртном напитке. Таким образом, не торговым или курортным городом стала Пльзень, а знаменитым городом пивоваров. По мере того как росли дивиденды держателей пивоваренных акций, росло и их высокомерие. Город охватила строительная лихорадка. Сносили старые дома, дворы, сараи — строили красивые двухэтажные особняки, разбивали парки, возводили просторные школьные здания и, конечно же, казармы, но между прочим нашли место и время для строительства небольшого театра. До сего дня гордится Пльзень тем, что она была из первых городов провинции с собственным каменным зданием постоянного театра.

Когда в 1863 году директор Вальбург получил в аренду городской театр с условием ставить чешские спектакли, он начал набирать чешских актеров — до сих пор у него играли только немцы. Вместе с другими он принял Мошну.

Правда, Индру манила Прага. Она манила его не как театральный чешский город — им она только становилась, — а как родина. Где бы ни был пражанин, куда бы ни бросила его судьба, в конце концов он всегда возвращается в родной город.

Поэтому, прежде чем обосноваться в Пльзени, Мошна опять, как два года назад, попытался отвоевать для себя местечко в Праге, — и опять на подмостках Новоместского театра.

В 1862 году он приехал в родной город и добился бенефиса. На сей раз он выступил в комедийной роли. Раз все считают его комиком — может, это и есть та цель, через которую можно проникнуть в Прагу?

И вот в воскресенье 20 июля 1862 года Мошна выступил в пьесе «Ошибка» Ф. Кайзера — в пьесе с музыкой и пением, как было тогда в обычае.

Мошна играл Войтеха, играл как мог хорошо — но не так, как бы хотел, а значит, и не так, как должен бы играть.

В те времена от комика ждали, чтобы он вставлял в свои роли какую-нибудь современную песенку — этакий маленький сюрприз для публики. В ту пору никого не удивляло, если, например, персонаж из шекспировской комедии «Много шума из ничего» ни с того ни с сего запевал песенку о пражской конке или о пражских белошвейках или если граф Жодле в «Смешных жеманницах» Мольера исполнял куплет о том, как пекарь на Малой Стране, «выпекая кренделя, сам выводит кренделя». Режиссер спектаклей всегда оставлял место для остроумных (а порой и пошлых) шуток уважаемого господина комика.

Мошна, у которого в запасе было немало песенок и куплетов, не решился, однако, во время дебюта пустить в ход столь «само собой

разумеющийся» прием — для него это вовсе не было чем-то «само собой разумеющимся». Мошна был еще слишком целомудренным провинциалом и относился к игре с уважением.

Пражская критика это тотчас подметила и не замедлила поставить это ему в укор. Хочешь быть комиком в Праге — делай, что от тебя ждут!

Молодой в ту пору Ян Неруда\*, театральный рецензент журнала «Глас», довольно подробно разобрал игру Мошны. По существу, вся статья была посвящена его исполнению.

Неруда упрекал Мошну в том, что тот, играя комическую роль, не оставил в нее никакой песенки, не обогатив таким образом спектакль понием. Другими словами, рецензент пришел к выводу — раз актер не пел в комической роли, значит, он и вовсе не умеет петь. Игра Мошны казалась ему слишком трезвой, в ней было «мало разнообразия». В конце статьи Неруда писал, что, может быть, и хорошо было бы ангажировать пана Мошну, но, пожалуй, лишь на небольшие роли, ибо бесполезно сразу определять истинное место каждому исполнителю.

Не удивительно, что игра Мошны рядом с царившим еще тогда пафосом в трагедии и буффонадой в комедии казалась «бесцветной и однообразной».

Несомненно, однако, что в первой же своей статье о дебютанте Мошне Неруда увидел, что «возможности его значительны».

Все это очень хорошо, но Мошну после «Ошибки» в театр не пригласили. И оказалось, что ошибки не сделали, ибо те полтора года, которые он провел еще вне Праги, пошли ему только на пользу.

Индра не стал отчаиваться. В душе он твердо знал, что рано или поздно в Прагу попадет, хотя бы ждать пришлось двадцать лет. И он принял ангажемент в Пльзень, где встретился с превосходным мастером театра Франтишком Покорным, тоже некогда начинавшим у Прокопа.

Покорный ушел от Прокопа в 1852 году в трушну Тыла. С Тылом странствовал он по Чехии три года — последние три года Тыла, трудные и полные невзгод. Он был одним из лучших молодых актеров школы Тыла и самым удачным исполнителем ролей Шванды-вольничика, Пражского кутилы, Антонина в «Дочери поджигателя», Иркика в «Найденыше», Войтишека в «Пани Марьянке» и других. Франтишек Покорный был всего на четыре года старше Мошны, но принадлежал еще к будительскому поколению Тыла. То был человек образованный, хороший режиссер — именно такой и нужен был Мошне.

Режиссер тогда был скорее организатор, чем человек, определяющий стиль, направление и композицию спектакля. Однако Покорный был уже режиссером немножко в нашем смысле слова. Мошна пришелся ему по сердцу, и он стал доверять ему тыловские роли —

роли, которые сам получал из рук драматурга; таким образом Мошна стал как бы прямым наследником традиций и школы Тыла. Покорный тоже нашел в Мошне бесспорный комедийный талант, но говорил:

— Чешский актер любого амплуа должен переиграть весь основной репертуар, не минуя ролей, подходящих ему по возрасту. На этих ролях он и покажет — действительно ли он хороший актер или просто комедиант, космополит без роду и племени.

В Пльзени Мошна встретил нескольких актеров, с которыми судьба связала его на всю жизнь. Это были прежде всего Якуб Сейферт\* и Индржишка Славинская\*\*.

Тем временем в Праге произошло историческое событие. 18 ноября 1862 года открылся Королевский чешский Временный театр\*\*\* — первый этап в создании большого Национального театра.

Среди актеров, особенно провинциальных, началось волнение — было известно, что ищут и будут искать артистов для нового театра, чтобы пополнить старую гвардию Тыла — основной костяк Временного театра; нужно было создать большой и полный ансамбль, способный достойно представлять чешскую Талию — на сей раз вполне официально.

Мечты Мошны о Праге, вместо того чтобы оживиться с открытием Временного театра, наоборот, были подавлены мыслью, что теперь в Прагу хлынут все, кому не лень, и о нем, исполнителе «малых ролей», вряд ли вспомнят.

Старый опытный театральный зубр Вальбург предоставил руководство чешскими спектаклями Франтишкеу Покорному, а сам занимался только немецким репертуаром. Это позволило пробуждающейся Пльзени увидеть за два года сорок семь чешских пьес, главным образом Тыла и Клицперы\*\*\*\*, и переводные пьесы Шекспира, Мольера, Шиллера и многих других.

\* \* \*

Первый, кто с трогательной сердечностью встретил Мошну в Пльзени, — а у Мошны от испуга душа в пятки ушла, — был пан Скрживанек, «интриган» из труппы Прокопа.

— Я взволнован до слез, старый товарищ! — обнял он Индру. — О, Прокоп — невысказанный человек! А Схранил умер — замерз на дороге, трагедия, трагедия! Печальные похороны — денег не было даже на то, чтоб окропить покойника святой водой. Гронек в больнице Милосердных братьев — ему конец! Я ушел — Прокоп в белой горячке, — так и сыпал пан Скрживанек новости, не выпуская Мошну из объятий; он отстранил его немного, чтобы тут же снова взять за плечи. — А наш Мошничка, наш милый шут, все такой же красавчик!

Ничего — подынешься... В Праге тебе отказали, я слышал. Не важно! Пльзень — хорошее место, — он окинул Мошну взглядом знатока, — даже слишком хорошее!

Новости пана Скрживанека поразили Мошну, и ему было противно, что, говоря о смерти старого помощника режиссера и мастера театральных чудес Схранила или о последнем приюте доброго старика Гронска, или произнося ядовитые слова в адрес самого Мошны, Скрживанек все время сладко улыбался. Индра довольно резко вырвался, однако Скрживанек вцепился в его руку и горячо пожал ее.

— Ну что ты, что ты, неприятные воспоминания? Я всегда был тебе добрым приятелем! Сколькo раз заступался перед Прокопом! Ну, кто старое помянет... Приветствую тебя, старый друг! — и он снова обнял Мошну.

А тот хотел бы расспросить Скрживанека о многом. Ведь речь шла о людях, которых Мошна любил, но при виде желтого и злобного лица «интригана» Индра ни о чем не стал его спрашивать. Он не выносил манеры Скрживанека говорить отрывочными, короткими фразами. А тот все трещал.

— Здесь уютно, но я не останусь! Прага, Прага ждет! Временный набирает актеров. Мой дядя каноник знаком с Ригером. Я подумываю... А Ригер — молодец! Показал этим нетерпеливым, как надо создавать театр! За четыре месяца под крышу подвел. Европа поражена — я тоже!

— А из-за Временного не отдалится ли строительство настоящего, большого театра? — не удержался от вопроса Мошна.

Как и все чешские актеры той поры, он с глубокой заинтересованностью следил за борьбой мнений: что лучше — дожидаться решения о большом или довольствоваться пока Временным театром.

Доктор Франтишек Ладислав Ригер, человек в расцвете сил, вождь правого крыла чешской буржуазии, исполнял кроме многих других функций еще и обязанность интенданта чешского театра в Праге. Он добился осуществления своего плана вопреки максимальным требованиям молодых энтузиастов: создать пока Временный театр и лишь потом, когда нация наберет силы и ее культурная подготовка станет выше, построить и большой театр.

— Ничего не отдалится! — воскликнул пан Скрживанек в ответ на сомнения Мошны. — Ригер осторожен, а молодые головы горячи. Чем долго ждать, лучше хоть что-то. Собственно, большой и начинается с временного! Так чего же им надо? Впоследствии здание Временного станет частью Большого. Умно, дельно, символично! У меня связи — дядя каноник — большой театр через двадцать лет!

— Через двадцать лет?! Но это ужасно! — воскликнул Мошна.

— Временный — тоже изрядный.

— Это как понимать? — недоумевая, спросил Мошна.

— Я сам подумываю о Праге. Но рано еще — дядя каноник — осмрительность! — Пан Скрживанек лукаво поднял брови. — Теперешний директор Томе уйдет. Новое руководство — легкий репертуар, иностранные комедии, — а не то и Временный прикроют!

— Как прикроют? — уже с возмущением воскликнул Мошна.

— Публики мало, — засмеялся Скрживанек. — Перед Сословным — ряды экипажей, давка — элита... Перед Временным — одна коляска, несколько ремесленников, студентов... Не выдержать! Голодранцы мы! — и пан Скрживанек плюнул.

Мошна готов был ударить Скрживанека. Хуже всего то — и это доводило Мошну до ярости, — что человек этот отчасти прав. Действительно шли разговоры, что Временный слабо посещают, хотя спектакли идут по воскресеньям, а в будни — через день; что в репертуаре нет подходящих чешских пьес, нет хороших актеров, нет даже приличного реквизита, и тому подобное.

И Мошна, покраснев как рак, задыхаясь, выпалил:

— Знаете что, пан Скрживанек, лучше нам с вами не разговаривать вообще, а уж если придется, то будьте так добры обращаться ко мне на вы. Всего хорошего!

Слухи о театральных делах в Праге доходили до Пльзени, словно порывы холодного ветра. Мошна чувствовал: все, что делается в Праге, касается и его, как всякого истинного патриота. Известия из Праги всегда волновали его.

— Дивлюсь я этому Мошне — дурачок какой-то, — сказал однажды Скрживанек в примерной. — Так переживать то, что никогда его не коснется! Прага и он — чехуха! Я вот и то жду. Дядя писал, Ригер сказал ему: во Временный — преждевременно!

— Главное, что в Праге играют, да еще в собственном театре! — бросил Мошна Сейферту, который воскликнул:

— И будут играть впредь!

Сейферт, как все молодые энтузиасты того времени, вместе с Мошной горячо ратовал за большой чешский театр, за достойное помещение для него, за его славу. Как все молодое поколение прогрессивных патриотов, представляемое Галеком\*, Нерудой, Чижеком, Сабиной\*\* и другими, они верили, что ничто уже не остановит тот размах, с каким в Праге, а после нее и по всей стране, началась развиваться культурная жизнь. Что значили для них временные затруднения? В Праге тогда ходили по домам, предлагали абонементы во Временный, куда чехи действительно только еще учились ходить.

— Сопляк! Держат из милости, а он еще голос подымает! — презрительно процедил сквозь зубы Скрживанек по адресу Сейферта, обращаясь к своим соседям; с каким-то там Сейфертом он вообще не

считал нужным разговаривать. Кто такой Сейферт в сравнении с паном Скрживанеком, опытным актером,— семнадцатилетний молоко-сос... Да вдобавок простой суфлер, и то по милости пана Покорного.

А Якуб Сейферт действительно сначала был суфлером. Он бежал из дому в театр и умолял принять его на какую угодно работу. По образованию он был типограф. Как и Мошна, он начал учиться в немецком реальном училище пиаристов, и ему предстояло сделаться свищеником, но театр, в котором он буквально вырос (отец его служил техником в Сословном театре), стал его судьбой. Еще типографским учеником он играл в студенческих кружках — и вот очутился в Пльзени, суфлером в театре Вальбурга.

Сейферт был красивым юношей, с пышными золотистыми волосами и с томным взглядом голубых как небо глаз; но под этой внешней красотой Покорный вскоре угадал в нем и большой артистический талант, вернее, горячую любовь к театру, которую ничто не могло поколебать.

И Покорный недолго держал Сейферта в суфлерской будке; впрочем, даже сидя в этой будке, Якуб больше играл, чем суфлировал.

Покорный в прямом смысле слова вытащил его из будки. Случилось это на репетиции «Деборы»<sup>\*</sup>; режиссер вынужден был отобрать роль Йозефа у пана Скрживанека, который с богоравным видом ловил подсказку суфлера; тогда-то и отдал Покорный эту роль Сейферту.

Скрживанек, естественно, распустил слух, что мальчишка нарочно плохо ему подсказывал и что вообще Покорный покровительствует всяким «голоштанникам» в ущерб опытным актерам, и пошел жаловаться Вальбургу.

Вальбург лаконично ответил:

— Hauptsache<sup>1</sup>, — роль вы не знали? Или знали? Не знали. И чем Сейферту играть за вас в будке, пусть играет прямо на сцене. Вы же, пан Скрживанек, если так хорошо знаете, как надо суфлировать, сели бы сами в будку да и показали!

В суфлерскую будку Сейферт не вернул. Лучше всего ему давались роли любовников, и вскоре в Пльзени не осталось ни одной девицы или дамы, у которой бы при появлении на сцене Сейферта не екало сердце.

— Единственно, о чем я жалею,— говорил Сейферт Мошне,— это о том, что не видеть мне так хорошо, как из будки, очаровательные ножки нашей Индржишки, когда она так мило встряхивает на сцене своими юбками!

Этот Якуб Сейферт, этот Куба, был прирожденным любовником, и страсти и признания на сцене вовсе не были для него притворством.

<sup>1</sup> Главное (нем.).

Всей душой он влюблялся во всех хорошеньких девушек. Он читывал Мошне любовные записочки, которые получал дюжинами вместе с цветами, галстуками, сувенирами и домашним печеньем. Тут все было в порядке. Хуже обстояло дело с Индржишкой.

Индржишка — Индржишка Славинская, из дворянского рода Риттер из Риттерсберга, тоже пражанка, получила в Пльзени первое крещение. Как и Сейферт, она играла преимущественно любовные роли — таким образом, и утром на репетициях и вечером на спектаклях она частенько оказывалась в объятиях Кубы. Правда, изредка — особенно в комедиях — любовников играл Мошна, и тогда с Индржишкой обнимался он.

Индржишка была немного старше Сейферта. Красивая девушка с глазами, как ясная лазурь, она очень хорошо пела, петь ее научил отец, преподаватель музыки. Она была образованна и серьезна, и какое-то облачко меланхолии всегда окружало ее. Воспитанная в Варшаве, где жил ее отец, она вынесла оттуда своеобразную мягкость выговора. Риттерсберги были дворянами древнего чешского рода и патриотами еще со времен ее деда, Яна из Риттерсберга, тоже музыканта и страстного собирателя чешских народных песен. Индржишка отказалась от дворянской фамилии, тем более что звучала она на немецкий лад, и приняла девичью фамилию матери — Славинская, что весьма отвечало в ту пору патриотическим настроениям.

Не только характер, но и иная, более глубокая и надежная защита делали Индржишку недоступной для ухаживания вечно влюбленного Кубы.

А наш милый красавчик подозревал, что именно Мошна — причина холодности партнерши, которая на сцене пылала на диво страстной любовью, зато в обычной жизни оставалась только доброй и милой приятельницей; такое поведение красивых девушек всегда нервнует поклонников, особенно если они неотразимы, как Адонисы.

Однажды в конце лета Мошна пошел с Индржишкой погулять на кладбище святого Николая и остановился там возле могилы Тыла.

Мошна нередко хаживал сюда один, и вид простой могилы несчастного Тыла всегда глубоко трогал его.

— Я его помню, — задумчиво сказала своим мягким голосом Индржишка. — Я была совсем маленькой, когда он к нам приходил. Пламенный человек, полный кипучей энергии... Сперва я его боялась, а позже очень полюбила. Он был прекрасным рассказчиком и всегда говорил с жаром. Никогда не забыть мне встреч с ним. А однажды он привел к нам человека, который потом стал для меня самым дорогим...

Мошна слушал молча, не перебивая Индржишку расспросами; она же, казалось, просто вспоминала вслух прошлое.

— У нас бывало весело. Папа играл на спинете, а все пели с подъемом, с настроением... Йозеф, бывало, выпимал блокпот и молча

делал прелестные эскизы. У меня хранится несколько его рисунков — они всегда напоминают мне о доме... об отце...

— Какой Йозеф? Манес? \* — сам не зная почему догадался Мошна и тотчас осекся.

Индришка, словно проснувшись, подняла голову:

— Манес? Я ведь фамилии не называла...

Когда они возвращались, их догнал посыльный с почты и вручил Славинской большой запечатанный конверт. Адрес на нем был написан мелким энергичным почерком.

Индришка рассеянно взглянула на Мошну и вдруг залилась жарким румянцем.

Мошна улыбнулся, она же робко покачала головой, словно просила его не шутить. Прижав конверт к груди, она поспешно распечаталась.

Мошна долго задумчиво смотрел ей вслед.

Йозефу Манесу было в ту пору сорок два года, а Славинской — неполных двадцать.

Сейферт и Мошна жили у одной вдовы на Школьной улице, недалеко от Бранки. Комнатка у них была очень уютная, и жили они дружно. Старший и более опытный, Мошна умел приспособиться к юпоше — в нем самом сохранилось еще много мальчишеского, и он прекрасно понимал Якуба. А тот привязался к Мошне, как к старшему брату.

Мошна держался с ним умно, лишь изредка позволяя себе давать советы. «С этим парнишкой не состаришься», — сказал он как-то Славинской, когда она пожаловалась на «страстность» своего партнера по сцене.

Оба молодых актера вели бесконечные разговоры о жизни и об искусстве. Мошна рассказывал Кубе о Вене, о людях, с которыми ему довелось встречаться, о Крумловском и честно делился с ним своим опытом — делился по-братски, бескорыстно, да еще так, что Куба никогда не чувствовал в нем ментора.

Сейферт имел обыкновение разговаривать уже при погашенных свечах, до тех пор, пока Мошна не засыпал.

Так лежали они однажды в темноте, и вдруг Сейферт спросил про Индришку. Он, видно, давно готовил этот вопрос.

— Сознайся, Индра, ты ведь строишь куры Индришке?

— И не думаю! Да оно и ни к чему.

— Но ведь не деревянная же она! Играет — горит так, что солома вспыхнет, а потом — ничего.

— Что — ничего?

— Ну ничего!

- Не всем же влюбляться в тебя, правда?
- Не всем, конечно, но если б ты знал, как она пылает порой, когда произносит любовные монологи,— ты бы тоже непременно...
- Что?
- Как — что! Непременно бы сам зажегся, хоть ты и не солома!
- Это верно, я не солома.
- Но ты с ней иногда ходишь на прогулки... и вообще немножко за ней ухаживаешь, сознайся!
- Не признаюсь.
- Почему?
- Да потому, что не в чем.
- Рассказывай!
- Да разве на свете только двое мужчин — ты да я?
- Значит, у нее есть кто-то другой?
- Не знаю... А почему бы и нет? Она молода, красива...
- Правда — почему бы не быть другому? Но знаешь, на сцене она иногда так захватывает...
- Видно, думает в это время о другом.
- Довольно глупое ощущение — изображать для кого-то совсем другого человека...
- А ведь мы, актеры, только и делаем, что изображаем кого-то другого...

Некоторое время оба молчали, потом Якуб снова заговорил:

- Кто бы это мог быть? Кто-нибудь из наших?
- Не знаю, и отстань от меня, спи! Одно тебе могу сказать: с некоторых пор я уважаю ее больше кого-либо и не допущу, чтобы всякие молокососы болтали о ней как о предмете, на котором им можно испытывать свои чары,— заявил Мошна, положив конец разговору; он повернулся к стене и демонстративно захрапел.

А жизнь в Пльзени текла от спектакля к спектаклю ровно и размеренно. Вальбург был человеком опытным и разумным. Он следил за порядком и одинаково заботился о немецких и о чешских актерах, не вынося никаких сслок. Он любил молодежь и искренне старался помогать ей.

Молодая троица — Мошна, Славинская, Сейферт — держалась немного особняком, хотя сам Мошна старался сдружиться с новыми коллегами — таково уж было свойство его общительного нрава.

В комедийных ролях он имел все больший успех. Он хорошо слышал, как при его появлении на сцене по залу проносился шумок:

— Мошна, Мошна...

И блаженное чувство разливалось у него в груди — ага, все-таки он что-нибудь да значит! И он играл от всего сердца, и смех публики

не приводил его больше в отчаяние. Он стал принимать его как самую желанную награду.

Давали «Дон Жуан, или Каменный гость» Мольера. Главные роли исполняли старшие, солидные артисты.

Весь спектакль был окрашен в трагические тона — особенно сцены с отцом Дон Жуана, доном Луисом, а тем более с командором — Каменным гостем, которого играл Скрживанек. Этот драматический тон в значительной мере нарушал Мошна в роли Сганареля, озорного слуги Дои Жуана.

Итак, представление проходило на серьезной ноте, хотя и противоречившей юмористическому духу Мольера, — и публика тоже серьезно воспринимала трагедию соблазителя. Мошна — Сганарель составлял исключение...

Подошла сцена с памятником командора.

Скрживанек, обсыпанный мукой, изображал свой собственный памятник, и естественно, не имел права даже глазом моргнуть. Выглядеть настоящим изваянием — дело актерской техники, самообладания, более того — дело чести.

А Мошна — Сганарель захватил на сцену прутик и, показывая Дон Жуану статую командора, пощекотал Скриживанека под носом.

К чести пана Скрживанека да будет сказано, что он не шелохнулся, хотя глаза его метали молнии.

«Ну что, статуя? Я тебя убью, если ты не скажешь!»<sup>1</sup> — крикнул Сганарелю Дон Жуан.

«Статуя сделала мне знак», — ответил Сганарель и снова легонько пощекотал статую под белым от муки носом.

Вероятно, эта мука, по несомненно и прутик, к кончику которого Мошна прикрепил еще маленькую кисточку, были виной того, что статуя громко чихнула.

«Слава богу! — вскричал тогда Сганарель. — Значит, я правду сказал!»

Публика, до сих пор серьезная и молчаливая, разразилась неудержимым хохотом.

«Ладно еще, не упал, не разбился! Что бы мы тогда делали!» — подбавил жару Мошна.

Публика начала рукоплескать, топтать ногами, помирая со смеху. И когда опустился занавес, поднялся дружный вопль: «Бис! Бис!!»

Мошна выходил раз пятнадцать.

В антракте пан Скрживанек неистовствовал. Он метался по гримерной как разъяренный тигр, рыча:

— Хватит! Я убью его, убью! Где директор? Тысячу золотых штрафа этому негодяю! Он или я!

<sup>1</sup> Ж.-Б. Мольер, Дон Жуан, или Каменный гость. Перевод А. Федорова.

Все в ужасе расступались перед Скрживанеком. Но ему этого было мало, и он продолжал буйствовать:

— Держите меня, а то я его разорву!

Два актера в самом деле подбежали, схватили его за плечи.

Мошна, вытащив свою шпажонку, стал в позицию:

— Пустите, пустите, я его в решето превращу!

Стоило нечеловеческих усилий утихомирить Скрживанека и уговорить его доиграть. Явился сам директор Вальбург и вынужден был обещать Скрживанеку внеочередной бенефис, главную роль, цветы и вообще все то, чем успокаивают взбешенных артистов.

Мошна отделался выговором и штрафом в пять золотых, что для бережливого Индры было тяжелым наказанием.

— Ну и пусть, хотя бы мне это стоило в два раза дороже! — торжественно заявил Мошна, платя штраф. — Зато я отомстил старому подлецу!

— Зайдете ко мне после спектакля, Мошна! Штрафом дело для вас не кончится. А теперь — на сцену! — строго проговорил Вальбург, с трудом подавляя улыбку.

Спектакль благополучно доиграли. Только в заключительной сцене, когда Каменный гость приходит на ужин к Дон Жуану, публика, вместо того чтобы оцепенеть от ужаса, опять неудержимо расхохоталась. Скрживанек хотел бежать со сцены, и Дон Жуан едва удержал его.

— Я осмеян! — кричал злополучный Скрживанек за кулисами, срывая с себя белые одежды.

А публика надсаживалась, как в лесу, вызывая Мошну и статую командора. Однако статуя выходить не пожелала.

— Ты приобрел смертельного врага, — сказал Мошне Сейферт.

— Этого я и хотел, — строго ответил Индра. — Если твой враг — подлец, то это делает тебе честь.

— Слушайте, Мошна, — начал Вальбург, когда Индра явился к нему после спектакля. — Таких вещей больше не смейте делать у меня в театре, поняли, а то у нас не театр будет, а цирк.

— Да, пан директор.

— Погодите! Вы откололи такой номер, за который вас следовало бы выгнать!

— Да, пан директор!

— Погодите! Я должен, однако, признать, что никогда еще «Дон Жуан» не имел такого успеха, как с этим чиханием!

— Да, пан директор!

— Дайте же мне, черт возьми, договорить! Так как я имею обыкновение награждать актеров, создавших спектаклю успех, то вам от



Вид Праги



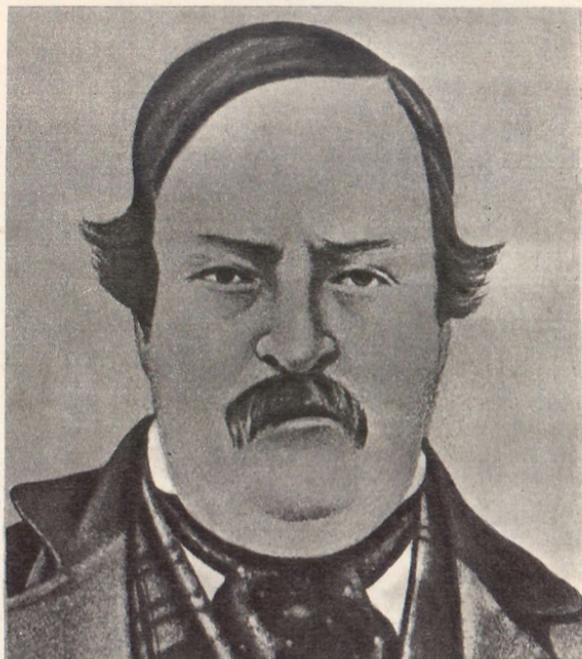
Словный театр



Йозеф Каэган Тыл



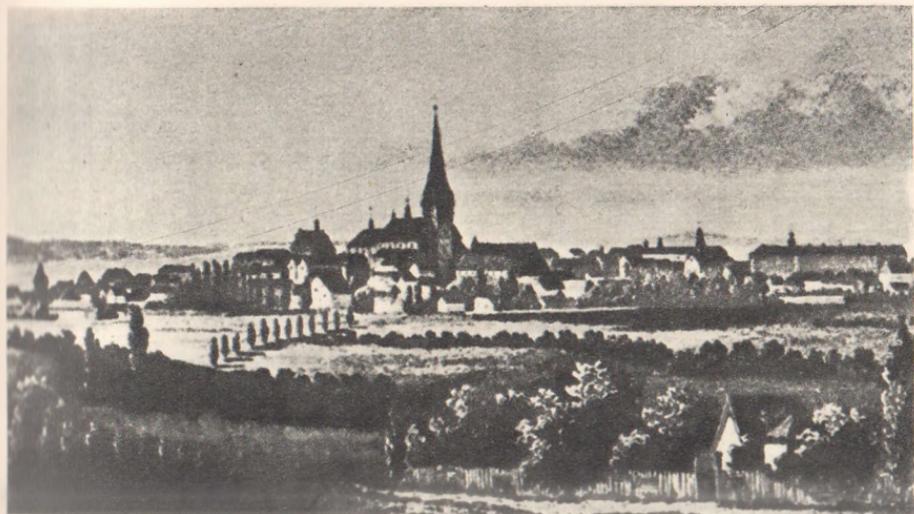
В. Шольц, К. Тройман, И. Н. Нестрой



Йозеф Алоиз Прокоп



Франтишек Крумловский



Вид города Пльзени



Здание театра в Пльзени



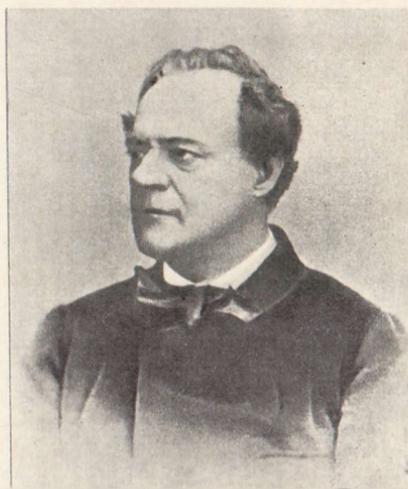
Инджих Мошна. 1859 г.



Павел Шванда из Семчиц



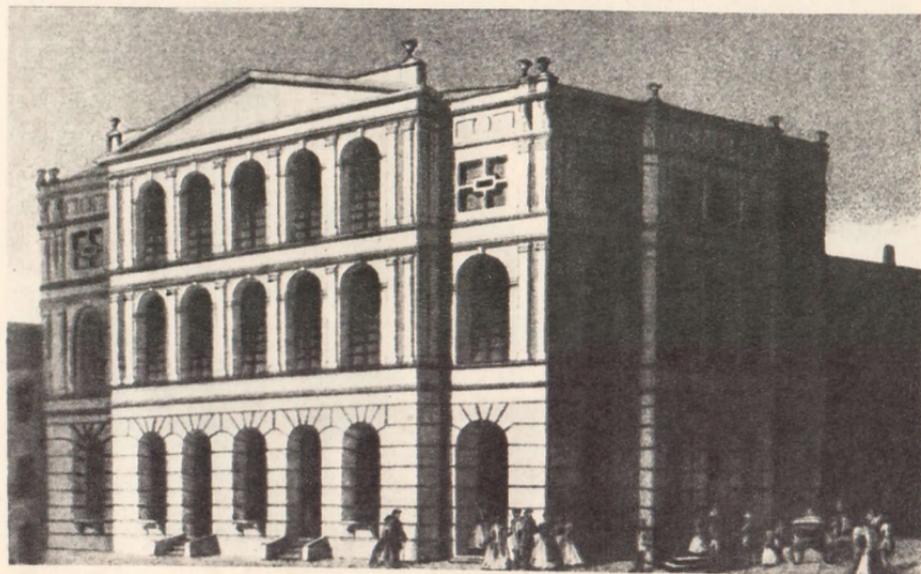
Нкуб Сейферт



Йозеф Иржи Колар



Франтишек Лигерт



Здание Временного театра



Каспарило (справа). «Волшебная ножка» К. Кремье



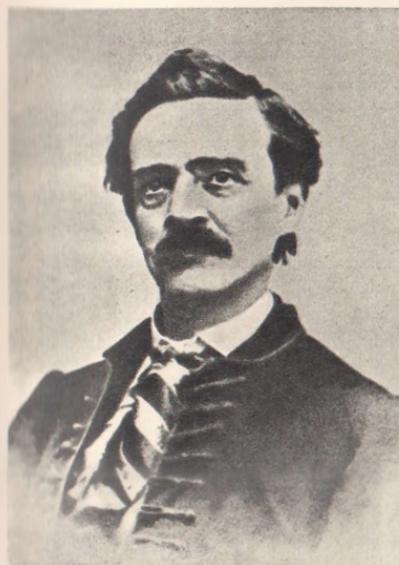
Капуста. «Атака» Уилкса



Габриоло. «Принцесса Трапезундская» Ж. Оффенбаха



Приципал. «Продавная невеста» Б. Сметаны



Карел Сабина



Бедржих Сметана



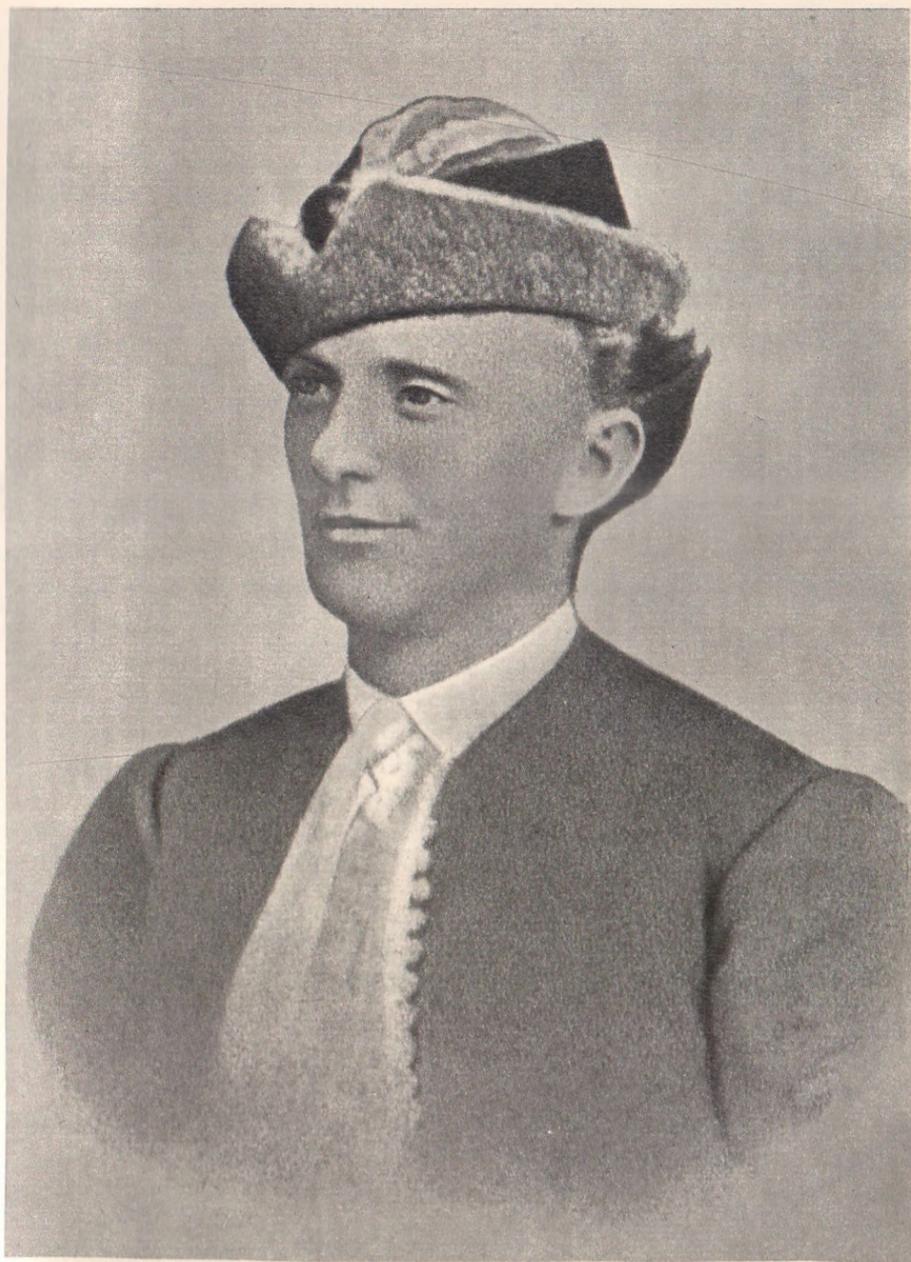
Ян Неруда



Йозефина Едличкова



Театр Арена на Градбах



Ивдржих Мошна



**Сбор средств на строительство  
Национального театра**



**Магдалена Гинкова**

меня особая премия — пять золотых, с тем, конечно, что больше вы мне таких шуток выкидывать не будете, не то я и впрямь должен буду вас уволить. Адье!

Было дождливое октябрьское утро. Дождь моросил — мелкий, навойливый, пустяк как будто, а в минуту промачивал насквозь.

В такие дни директор Вальбург приказывал затопить печку в складе — просторном помещении, которое служило репетиционным залом и клубом одновременно. Здесь сходились актеры и актрисы, повторяли роли, делились воспоминаниями, варили кофе, играли в карты, ругали театральное руководство и решали проблемы культурной жизни как в Чехии и Моравии, так и в целой Австро-Венгрии.

За расписным крестьянским столом сидели Сейферт со Славинской; он обрушивал на нее страстные излияния Бассанио из «Венецианского купца», она же, как и подобало Порции, покорно выслушивала их.

Несколько актеров играли в карты на большом барабане, словно императорские ландскнехты в военном лагере.

Пан Скрживанек, изображая глубокую работу мысли, покоился в резном готическом кресле.

Мошна перед высоким зеркалом, стоя на одной ноге, пытался закинуть другую ногу за шею, приговаривая:

— А вот же не зацепить мне ногой за шею — или зацепить? Не зацепить! А вдруг? — Тут ему в самом деле удался этот акробатический трюк, но он потерял равновесие и свалился, подняв тучу пыли.

— Господи, Индра, ты когда-нибудь убьешься — вскрикнула испуганная Индржишка.

Сейферт, который как раз в эту минуту обращался к ней со словами:

Синьора,  
вы слов меня лишили, только кровь,  
текущая во мне, вам отвечает,—

вскочил, возмущенный:

— И это, называется, взрослый человек!

— Слушай, Куба, не читай проповедей, лучше помоги мне вернуть ногу на ее истинное место, — деловито попросил Мошна.

Проснулся пан Скрживанек и, увидев Мошну на полу, проворчал:

— Безобразие...

Подняв и опустив брови, он закрыл глаза и снова задремал.

В эту, можно сказать, идиллическую атмосферу ворвался режиссер Покорный и сообщил, что сегодня посмотреть «Венецианского

купца» придут господа из Праги — новый директор Временного театра Лигерт и художественный руководитель Шванда из Семчип.

С минуту актеры смотрели на Покорного, как на вестника богов. Поняв же, что может значить для них такое посещение, они окружили Покорного и засыпали его вопросами, на большую часть которых никто не мог бы ответить.

— Думаю, мы это заслужили, — серьезно произнес Покорный, когда ему дали возможность заговорить. — Труппа Временного театра нуждается в пополнении. И то, что господа руководители театра лично отправились в провинцию поискать достойных, — правильный и ответственный поступок. Не исключено, что они могут ангажировать и кого-нибудь из нас.

— А что говорит Вальбург?

— Что ему говорить? Без одного-двух актеров он всегда обойдется, и потом для него это честь — пражские гости приехали к нему к первому из провинциальных директоров.

Тучная главная героиня что-то пискнула, накинула плащ и убежала под дождь. Спешила, видно, гладить костюмы и лицо.

Многие бросились искать тексты ролей «Венецианского купца».

Мошна выслушал новость спокойно и невозмутимо продолжал свои упражнения перед зеркалом.

Сейферт без всяких околичностей схватил Индржишку и чмокнул ее в обе щеки:

— Индржишка, а что, если и нас?

Та покраснела, как всегда, когда волновалась, и грустно ответила:

— Куда нам, Куба, мы ведь только начинающие. И потом меня в Праге уже знают. Меня там смотрели, и я провалилась — просто стыд! Вот если б я была Манетипской...

Окончательно проснувшийся Скрживанек тоже был взволнован. Он откашлялся, издал какой-то немыслимый звук, подошел к зеркалу, оттолкнув Мошну, и принялся строить трагические мины.

У глазка в занавесе бесцеремонно толкались актеры, рассматривая зрительный зал. Гости еще не пришли. Два места в середине первого ряда не были заняты, хотя кассирша со вчерашнего вечера определенно говорила, что сам пан директор Вальбург взял два билета в первый ряд — наверно, для пражских господ.

В мужской и женской гримерной дым стоял коромыслом. Куда девались покой и порядок! Никто не упоминал о гостях из Праги, зато каждый только о них и думал. Даже тех, кому никогда и в голову не приходило, что их могут ангажировать в Прагу, охватила лихорадка состязания.

В тесных уборных, где не могли поместиться все исполнители, так что приходилось гримироваться по очереди, сегодня была страшная давка.

— Да вы меня с места спихнете, невежа! Не видите, я еще не готов?

— Мой выход раньше вашего, пан коллега!

— Да роль-то у вас какая?!

— Твоя-то больно важна, голубчик!

— Думаешь, если размалоешь свою кривую рожу, то и впечатление произведешь?

— У кого это кривая рожа?

— Кривая-то рожа лучше, чем ноги колесом!

— Позвольте, коллега, вы взяли мои штаны!

— Где директор? Я не позволю так с собой обращаться!

Прага и лавры так и плясали у всех перед глазами. Те же, перед чьими глазами они не плясали, не собирались изображать из себя ступеньки для возвышения других.

— Им нужен интриган!

— Да нет — комик!

— Комик? Смешно, у них ведь есть Секира!\*

— Секира недавно умер.

— Им молодые нужны, стариков у них хоть отбавляй!

— Не первничайте, молодой человек! — ни с того ни с сего напнулся Скрживанек на Мошну, который, не в силах пробиться к гримерному столу, сидел у стены и от нечего делать ловко жонглировал тремя пустыми пивными бутылками.

— А я и не первничаяю, пан Скрживанек, мне, прошу прощенья, просто скучно!

— Конечно, вам просто не из-за чего нервничать, — отрезал Скрживанек, в волнении натягивая парик задом наперед.

— Индра, пожалуйста, помоги! — окликнул Мошну Сейферт, лихорадочно готовившийся играть Бассанио.

— Милый, да ты сапог не на ту ногу надел, — заметил Мошна.

— Меня так и трясет, Индра, сам не знаю почему... — шепнул ему Якуб. — Хотя мне и впрямь рановато о Праге думать.

— А было бы здорово, правда, Куба?

Кто-то услышал эти слова, засмеялся и шепнул что-то Скрживанеку. Тот расхохотался:

— Ну конечно, приехали из Праги специально за паном Мошной. Без него Временный театр прогорит!

Мошна ничего не сказал, только бросил взгляд на роскошную меховую шапку Скрживанека, который изготовил этот головной убор для роли принца Арагонского из зимней шапки своей квартирной хозяйки.

Мошна, игравший сегодня слугу Шейлока и шута Ланчелота Гоббо, спокойно ждал, когда у стола освободится хоть немного места. С тем же спокойствием отдавал он свои вещи товарищам. К счастью, Шекспир предписал Ланчелоту Гоббо отречься; только в последней сцене Гоббо должен быть одет с пиком.

— Слушай, Индра, ты играешь оборванца — дай мне свой берет!

— Дай мне трико... помаду... перчатки... бороду...

И Мошна отдавал, обменивая целое на рваное, чистое на грязное, — его словно охватила страсть к самопожертвованию. А для последней сцены он договорился со старым Билом, чья роль кончалась в середине спектакля, что тот отдаст ему свои туфли с пряжками и бархатный плащ. Плащ Била, правда, тащился за Мошной по полу, а туфли болтались на ногах — зато плащ был роскошный и туфли королевские.

В уборную влетела барышня из кассы и, крикнув: «Пришли!» — снова исчезла.

Все кинулись к занавесу — смотреть на гостей.

В середине первого ряда сидели двое: один старый, седой. Другой — сравнительно молодой красивый мужчина с живым лицом. Сблизив головы, они, видимо, обсуждали что-то написанное на листке, который старший из гостей держал в руке.

Этот человек и был новый директор Временного театра, пан Франтишек Лигерт; сухощавый, высокий, всем обликом своим — человек высшего общества, он был одет изысканно; второй был Павел Шванда из Семчиц: пышная шевелюра, пронизательный взгляд и отличные закрученные кверху — по тогдашней моде — усы. Прекрасно одетые, самоуверенные, эти два человека внушали ужас испуганным наблюдателям у глазка.

Прозвенел первый звонок, второй, третий — спектакль начался.

Лихорадку за кулисами сменила паника. Это было как эпидемия, поддался даже Вальбург, хотя уж он-то был совершенно ни при чем.

Артисты метались, как испуганные мыши, наступали дамам на шлейфы, спотыкались о собственные шпаги и либо были преувеличенно учтивы друг с другом, либо осыпали друг друга бранью.

Шейлок уже собрался выходить на сцену, когда Мошна заметил, что тот забыл приклеить бороду.

— Где моя борода, Иисусе Христе? — запричитал несчастный Шейлок, у которого по пьесе борода должна быть до пояса. — Кто-то украл паклю! Господи, а я главная роль!

Ко всеобщему удивлению, несмотря на все эти неурядицы, спектакль все-таки начался и пошел своим ходом, причем публика даже не подозревала, в какой панике он рождался.

Перед выходом актеры крестились, целовали талисманы, ступали с правой ноги или, наоборот, с левой, бормотали заклинания... В общем, объявилась куча предрассудков, суеверий и примет, которые в нормальной обстановке могли бы показаться довольно милыми.

Только теперь, в тишине, Мопша закончил свой грим и оделся. Вид у него был неважный. Он нацепил на себя такие отрешья, что все на нем так и развевалось. Куда девалась нервная дрожь, которая мучила его в Праге, когда он пытался взять штурмом Новоместский театр! Теперь ему нечего было терять. Не нужна ему ничья благоклонность — он даже ни разу не заглянул в глазок.

Шло первое действие.

Актеры выжимали из себя текст с таким напором и экзальтацией, что оба приезжих из Праги не переставали дивиться — что за странное представление разыгрывается перед ними. Актеры переигрывали, патетически воздевали руки, отбарабанивали текст у рампы, по возможности расставив ноги, выдерживали невероятные паузы и совершали массу других нелепостей. Это было до того гротескно, что даже восхищало — нечто от паноптикума, от абсурда — и делало спектакль заслуживающим внимания.

— Послушайте, вам не кажется, что они играют смело? — углом губ спросил надменный Лигерт своего спутника.

— Такого представления я еще не видывал, — тихо ответил художественный руководитель Временного театра.

Впрочем, публика тоже была поражена напряженностью игры. На фоне ужасающей патетики старых актеров игра Сейферта — Басанио и Славинской — Порции казалась неподвижному зрителю чирканьем двух пеночек.

— А у этих двух есть обаяние, — заметил Лигерт, которого покорил нескрываемая юность обоих влюбленных.

Так кончилось первое действие.

В антракте пражские господа остались на месте.

— Schauen Sie, Herr von Семчиц, — начал Лигерт. — В Вене уже не играют так, wissen Sie, то есть с таким пафосом. Играют теперь, как бы это сказать, более обыденно и einfach. Правда, там это заметно главным образом в комедиях и фарсах, но это приятнее, это gemütlich<sup>1</sup> и не так утомляет зрителя. Полагаю, именно такой стиль и должны мы перенять.

Лигерт хорошо говорил по-чешски, лишь изредка вставляя в свою речь немецкие словечки. И все же — второй директор чешского театра в Праге тоже был немцем! Он не был даже театральным деятелем, а вел оптовую торговлю тканями, зато обладал тем, что, пожалуй, импонировало самому Ригеру: светским опытом и деньгами.

<sup>1</sup> Послушайте, господин фон Семчиц... знаете ли... просто... уютно (нем.).

По статуту директор чешского театра был, собственно, независимым предпринимателем и должен был финансировать театр. Правда, он получал от земского сейма дотацию, и немалую, однако должен был принимать на себя весь риск и все потери. Предшественник Лигерта, тоже немец и опытный театрал Томе, чуть не разорился на Временном театре.

— Конечно, пан директор, романтизм выходит из моды, — вежливо отвечал Шванда из Семчиц. — Дворянство уступает место богатым мещанам, а они куда реалистичнее. Однако нас, чехов, еще покоряет возвышенность чувств — мы еще не насладились этим как следует.

— Мы должны показать Праге мир — große Welt!<sup>1</sup> Чешская сцена только выиграет от этого. Будем играть главным образом в Новоместском, ставить там знаменитые пьесы, а Временный пока останется временным, — засмеялся Лигерт. — Только прошу вас, обуздайте ваших энтузиастов! Они чуть не привели Томе к банкротству.

— Это так, но национальная программа... — попытался возразить Шванда из Семчиц.

— Да-да, национальная программа — но для кого, mein Lieber?<sup>2</sup> Впрочем, мы об этом еще потолкуем, — закончил этот коммерсант, пожелавший украсить свою прекрасную обеспеченную старость тем, о чем мечтал всю жизнь: блеском театра.

Началось второе действие, в котором участвует уже и Ланчелот Гоббо — Мошна.

Он стоял за кулисами, спокойно грызя яблоко.

— Зачем такая роскошная шляпа? — поинтересовался помощник режиссера. — Не очень-то она подходит к этим тряпкам!

— Это я нарочно! — отрезал Мошна, на голове которого красовалась великолепная меховая шапка с пером.

Тут к нему подскочил Скрживанек, весь уже вылитый принц Арагонский, и, протянув руку к голове Мошны, прошипел, давась от бешенства:

— Моя шляпа! Украл, украл!

— Тсс!

— Украл шляпу! Мерзавец, вор!

— Отвяжитесь, сударь, мне пора на сцену, — отбивался Мошна, невежливо выплевывая яблочную кожуру под ноги Скрживаниеку, но тот злобно сдернул шляпу с головы Мошны вместе с париком.

Индра сцепился со Скрживанеком, желая вернуть по крайней

<sup>1</sup> Большой мир! (нем.).

<sup>2</sup> Мой милый (нем.).

моро парик. Завязалась яростная борьба — тихая, упорная, так как оба создавали, что стоят в кулисах, то есть почти на сцене, где идет действие.

Наконец они оторвались друг от друга. Мошна фыркнул как кот, победоносно размахивая донышком шляпы, в то время как добычей Скрживанека стали остальная часть этого головного убора и половина парика, который он принялся рвать в клочья.

— Господи боже мой! Мошна — на сцену! — в отчаянии шипел помощник режиссера и, так как разгоряченный Мошна ничего не слышал, буквально вытолкнул его на сцену.

Индра пулей вылетел на свет ramпы. Возбужденный дракой, в диком виде, без парика, взлохмаченный, в развевающихся лохмотьях — вероятно, он произвел на публику сильное впечатление, ибо зал тихо ахнул.

Мошна начал свой монолог, не спуская злобного взгляда с кулис, в которых стоял пан Скрживанек. А тот грозил Мошне, зажав в кулаке остатки своей великолепной шляпы. И Мошна потрясал кулаком в его сторону, выкрикивая слова роли Ланчелота и вставляя ругательства, адресованные Скрживанеку:

«Я ему этого не прощу! погоди, мы с тобой еще встретимся! Совесть, конечно, простит мне, что я сбежал от этого гнусного подлоца! (В тексте «от этого жида».) Злой дух толкает меня под бок и соблазняет меня, говоря: Гоббо, Ланчелот Гоббо, добрый Ланчелот Гоббо, или добрый Гоббо, или добрый Ланчелот Гоббо, употреби в дело свои ноги, наостри лыжи, удирай! (Тут Мошна подпрыгнул, дрыгнув ногами, словно собирался взлететь.) А совесть говорит: нет, берегись, честный Ланчелот, берегись, честный Гоббо, или — как выше сказано — честный Ланчелот Гоббо, не беги, не унижайся перед всяким мерзавцем! (Показывает за кулисы, на пана Скрживанека.) И какой-то очень смелый дьявол внушает мне — вернись, стукни его хорошенько по посу! Дьявол говорит: «Виа! Гайда!..»

Публика, опомнившись от внезапного вторжения пана Мошны, теперь разразилась громким смехом, и смех этот сопровождал весь его монолог. А Гоббо все не унимался, все бранил своего хозяина Шейлока — вернее, Мошна бранил Скрживанека и делал это так естественно, что сорвал шумные и длительные аплодисменты.

— Кто это? — наклонился пан Лигерт к Шванде из Семтиц. — *Fantastisch! Das ist ein Temperament!*<sup>1</sup>

— Это Индржих Мошна, пан директор, молодой комик.

— Ах черт, вот и замена покойному Секире!

Павел Шванда с улыбкой кивнул.

<sup>1</sup> Фантастически! Вот это темперамент! (нем.).

В течение всего спектакля Мошна испытывал удовлетворение. Играл он вдохновенно — его словно несло. А публика всегда безошибочно чувствует, когда перед ней настоящее искусство, и платит за него благодарностью. Публика сразу принимает сторону такого актера, становится его безмолвным и преданным союзником, его другом. Это и называется победа, причем определяется она вовсе не значительностью роли. И актер прекрасно чувствует, идет у него игра или нет, другими словами — за него или против него сегодня любовь публики.

Но вот спектакль кончился, и все облегченно вздохнули. Упал в последний раз занавес — актеры возвращались за кулисы как после трудной борьбы, победители и побежденные, охваченные одним желанием — сесть где-нибудь в уголке и думать о чем-нибудь другом. Но чаще всего это невозможно — даже не желая того, актеры не могут не думать все время об отдельных фазах борьбы, о своих удачах и неудачах — прежде всего о неудачах, ибо после спектакля все кажется гораздо хуже.

Мошна еще на пороге гримерной воскликнул:

— Что ж, если фортуна — женщина, то, ей-богу, она славная девчонка!

— Ах, Индржишек, не очень-то расхваливай фортуна, боюсь, ты сегодня провалился, — удрученно отозвался Сейферт.

— Как это провалился?

— Да вспомни, что ты вытворял, когда вышел, вернее, вывалился на сцену — я в ужасе был!

— Провалился так провалился. Не в первый и, надеюсь, не в последний раз!

Другие актеры тоже встретили Мошну возгласами:

— Ну вы и отмочили!

— Милый мой, театр все-таки не балаган!

Прибежал директор Вальбург, за ним, как тень, Скрживанек.

— Слушайте, Мошна, это уж чересчур! — Вальбург был искренне возмущен. — Вы делаете просто все, что хотите! Да еще разорвали шляпу папа Скрживанека! Ворвались на сцену, как пьяный в кабаке, и такое понесли — куда там Шекспир! Впрочем, это ваше дело. Вы сами наилучшим образом рекомендовали себя господам из Праги! А за шляпу вы пану Скрживанеку заплатите. Адье!

Вальбург хотел выйти, но Мошна остановил его:

— Тогда пусть пап Скрживанек заплатит мне за парик.

— Что?

— Он разорвал мой парик.

— Хорошо, пап Скрживанек заплатит вам за парик. Адье! —

И он вышел, хлопнув дверью.

Это избавило Мошну от дальнейших нападок Скрживанека.

А тот в свою очередь был доволен, что Мошна дали по носу, и потом, что ему какой-то парик, если его, пана Скрживанека, ангажируют в пражский театр! И все же он не удержался, чтоб не высказаться:

— Мы все трудимся — на сцене блеск! А этот подонок срывает представление! Хороша рекомендация!

— Что вы хотите от комика, комик всегда воображает, будто он один на сцене! — довольно мрачно подхватил трагик Кастнер.

При слове «комик» Мошна поднял голову. К нему подошел Сейферт:

— Не спускай ему, Индра, даже мне и то надоели его придирки!

Мошна молча посмотрел на своего друга. Всего лишь комик... Ему почудился смех Крумловского. Он сорвал наплекку с носа, скатал из нее шарик, подбросил, поймал и швырнул его на пол так, что шарик расплющился в лепешку. Потом провел рукой по лицу, как, бывало, делал Крумловский. Словно темное облако промчалось. И вот уже из-под ладони выглянуло улыбающееся лицо Мошны и зазвенел его здоровый, его облегчающий смех.

Актеры были молчаливы, но напряжение не спадало.

В этот, можно сказать, трагический момент прибежала барышня из кассы, задыхаясь от спешки, от изумления, от важности поручения.

Все поняли, что она несет то важное известие, которое может существенно изменить судьбу кого-то из них. И в самом деле, кассирша выглядела как олицетворение судьбы. Почему — никто не мог бы сказать. Но все подняли головы, кое-кто даже встал.

— Эти из Праги... эти два господина из Праги сейчас у директора, и он, то есть они... нет, это он шлет вам поклон и просит... просит...

Дойдя до самого важного, девица начала заикаться.

— Что он просит, господи? — не выдержал кто-то.

— Он просит, не могли... не могли бы зайти сейчас к пану директору... И к тем господам из Праги... То есть из Праги... — Желая поправиться, посланница только еще больше запутывалась, отчего напряжение достигло предела, и в эту минуту, кажется, никто не дышал. — Чтoб пришли... пришел... этот, господи, как его зовут... Ну, молодой такой, с волосами...

— Пан Скрживанек?

— Да нет, у него нет волос, — совсем запуталась кассирша.

— Как это у меня нет волос?! — вскричал пап Скрживанек, запуская пятерню в свою шевелюру.

— Но они не такие красивые и золотые, — покраснела барышня и отчаянно замотала головой.

— Значит, Сейферт?

— Ну да, пан Сейферт! И еще, ох, скорее, еще барышня Славинская!

— Больше никого? — крикнул кто-то из актеров.

— Да не ори ты на нее, а то ведь совсем собьется!

— Больше никого не зовут, о несчастная?! — в отчаянии вскричал пан Скрживанек.

Трагик Кастнер подскочил к кассирше, тряхнул ее за плечи:

— Никого больше? Говори!

— Еще... Еще... — лепетала та в ужасе, — еще пана Мо-Мо-Мошну... И это все!

— Что-о? Мошну? И все?!

— Ну да, еще Мошну, и это все! — Кассирша выбежала вон.

Мошна встал, обвел взглядом ошеломленных коллег и зевнул.

— Что поделаешь, — медленно произнес он. — Так и быть, уделю этим господам минут десять...

## ИСКУССТВО ИЗ ИСКУССТВ

Однажды мартовским утром 1864 года, когда после дождливых дней наконец-то выглянуло солнышко, по проспекту Фердинанда шли два молодых щеголя, громко разговаривая. Настроение обоих можно было бы определить одним словом — прекрасное. Они шли словно завоеватели по покоренному городу. Вышагивали легко, с уверенностью триумфаторов, улыбались, размахивали руками, бросали взгляды по сторонам, оставаясь, однако, занятыми прежде всего самими собой.

Многие прохожие даже останавливались, смотрели им вслед с любопытством и завистью — словно простые смертные, встретившие молодых полубогов, или, лучше сказать, словно замученные заботами люди, встретившие счастливых.

Младший из них, красавец лет восемнадцати с золотыми волосами и глазами, в которых отражалась голубизна весеннего неба, небрежно перебросил через плечо свой плащ; серый цилиндр сидел на его голове с такой непринужденной элегантностью, что ей позавидовал бы сам Альберт Эдуард, принц Уэльский, задававший в те годы тон молодым светским львам.

Второй, немного постарше и ниже ростом, был одет менее броско, но тоже привлекал внимание. Он так виртуозно вращал трость, что за ее движением невозможно было уследить.

Вот какие возвышенные речи и о каких возвышенных вещах вели эти юные лорды:

— Если б я не держал себя в руках, Индра, то пустился бы в пляс! — проговорил ликующим тоном младший из двух щеголей, шлепнув ладонью по донышку своего цилиндра. — Батюшка, узнав, что я ангажирован во Временный, дал мне пятьдесят золотых — где он их достал, сам бог ведает, — чтоб я панял отдельную квартиру и устроился; как подобает артисту.

— Пятьдесят золотых? — старший удивленно поднял брови. — У меня и десяти не найдется! Да еще я должен портному и сапожнику чуть ли не пятнадцать. Однако стоило мне сказать, что и актер Королевского чешского театра, как они только руками всплеснули и тут же предложили мне еще полдюжины перчаток, лакированные туфли, шелковые жилеты, белье, кружевные жабо, галстуки — я взял только две пары теплых панталон.

— Что поделаеть, вадо приодеться — Прага есть Прага! — рассудительно согласился младший. — Тут, брат, нельзя играть в чем попало и ходить в потрепанных штанах да в вытертом до блеска саюртуке. Батюшка дал мне еще превосходные советы — где покупать

разную мелочь: грим, парики, бороды, пряжки, перчатки... и все за пару крейцеров!

— Да ну? Где же?! — остановился старший, прекратив и вращение тросточки. — Я отдал за свои панталоны целых четыре золотых. Они — серые.

— Почему серые?

— Немаркий цвет.

— Верно: я вот тоже купил — перчатки и тоже отдал четыре золотых. Да что! Теперь нам уж не страшно истратить лишний золотой.

— Однако я слышал, тут авансов не дают?

— Главное, платили бы исправно сорок золотых в месяц, голубчик, да бенефис ежегодно — тогда хоть женись!

— Да ну тебя, — отмахнулся старший и снова превратил свою трость в ветряк.

Они дошли до набережной Влтавы, и перед ними открылась прекраснейшая в мире панорама.

— Ах, какая красавица наша Прага, правда, Индра? А вон и Град\*! — воскликнул младший.

Но Индра смотрел не на противоположный берег, не на Градчаны — он бросил нетерпеливый взгляд налево, ниже уровня набережной, была довольно обширная ложбина, заваленная всяким мусором; посреди этой свалки торчала грязная, воючая старая солеварня, а за этим неприглядным пейзажем поднималось новое белоснежное здание Временного театра. Стройный, скромный, привлекательный на вид, он так и светился новизной. На фронтоне его был высечен герб с чешским львом, и герб этот блестел на весеннем солнце как знамя, как щит молодого воина — каким, в сущности, и должен был стать Временный театр.

Театр и в самом деле был маловат, зато название имел гордое, величавое, и оно выражало ту гордость, с какой смотрели на него патриоты.

— Боже мой, Куба, посмотри, какой он красивый! — воскликнул Индра с неподдельным восхищением. — А теперь представь: ложбины и свалки нет, пабережная выровнена, и здесь, где мы стоим, высится величественное здание с колоннами и портиком, и тянется оно до самого Временного, который надо себе представить всего лишь пристройкой на заднем фасаде нового здания — и перед тобой будущий Национальный театр!

Куба довольно равнодушно посмотрел на друга, оживленно размахивавшего руками.

— И все-таки здание для Королевского театра маловато...

— Да ведь это наш первый чешский театр, глушый! И радуйся, что тебя, желторотого, вообще приняли.

Куба внезапно обернулся и схватил Индру в объятия.

— Я счастлив, Индра! Это я нарочно так говорю, а не то — не то просто возьму и расцелую от радости все стенки нашего милого маленького театрала!

— Да, он мал — но и мы не велики, — расфилософствовался Индра, — но он вырастет, и мы...

— Мы тоже! — закончил Куба, любовно похлопав себя по новому стуртуку.

— Теперь-то мы поиграем на славу, — вздохнул Индра. — Ты не представляешь, как я рад, что избавлюсь наконец от этих шаржей!

— Меня взяли на роли любовников, — с некоторой заносчивостью произнес Куба, глядя вверх, на сверкающий герб со львом.

— А я принят на место покойного Секиры, он же, говорят, был хорошим артистом, — отозвался Индра, тоже с изрядной самоуверенностью, хотя и не такой, как у его младшего приятеля.

— Секира? Секира был великий артист! — тоном знатока восклицнул младший, как бы благосклонно подтверждая, что и старшему товарищу повезло.

— Ну что ж, войдем! — обрадованно воскликнул Индра.

Они обогнули захламленную ложбину и, сделав благородно-строгое выражение лица, вошли в здание славы.

Узкий, темный коридор никак не вязался с представлением о пантеоне, куда вступают герои.

— Вам кого, господа? — прозвучал в полумраке неприветливый голос.

Индра только теперь заметил окошко, из которого высовывалась голова, украшенная фуражкой с многозначительной надписью: «Королевский чешский театр».

— А, пан привратник, — с удивительным самообладанием, хотя и струхнув несколько, произнес Индра. — Ну как же, в таком театре не может не быть привратника...

— Что угодно? — довольно невежливо осведомилась личность в фуражке.

Индра, вопедший в роль старшего, приподнял брови и снисходительно усмехнулся.

— Мы идем к папу директору Лигерту.

— А сами-то кто такие?

— Не знаете? — ответил старший с той же улыбкой, которая как бы говорила, что, назвав свое имя, он просто ошеломит привратника.

— Не знаю, — прозвучал сухой ответ.

— Я — Мошна, приятель!

— Ну и что?

— А это — пан Якуб Сейферт. Это вам ничего не говорит?

— Нет!

Мошна вздохнул и с налетом надменности и уверенности повторил:

— Я — Индржих Мошна!

— А дальше-то что? — проворчала фирменная фуражка.

— Как же вы не знаете, что мы — члены труппы... — тут Индра немного наклонился, чтобы точно прочитать название с фуражки привратника, — труппы Королевского чешского театра?

— А у меня ничего про таких... гм... как вы тут назвали... и нету!

— Лигерт здесь? — с нарочитой резкостью прервал его Мошна, стараясь скрыть свое смущение.

— У пана директора Лигерта, — с нажимом произнес привратник, — сейчас важное совещание. У него — пан имперский депутат доктор Франтишек Ладислав Ригер, все наши господа и пан редактор Неруда!

— Где это?

— Второй этаж налево. Только вам туда нельзя!

— Мы приглашены, но не важно, подождем там где-нибудь, — небрежно бросил Мошна, хотя у него чуточку захватило дух, когда привратник назвал имя всемогущего национального лидера и интенданта чешского театра Ригера. — Пойдем, друг мой, нельзя заставлять этих господ долго ждать!

С этими словами он взял Сейферта под руку и, призвав на помощь всю самоуверенность, какая у него еще осталась после такой встречи, стал подниматься по крутой и узкой лестнице.

Привратник еще больше высунулся из своего окошка — от удивления он, казалось, потерял дар речи.

В такой же узкий коридор второго этажа выходило несколько дверей. На одной из них висела табличка: «Директор». Мошна остановился перед этой дверью и задумался. Потом, собравшись с духом, поднял руку, чтобы постучать, но в это время из-за двери послышался сердитый голос:

— Ausgeschlossen! <sup>1</sup> Гардероба нет, реквизита нет, нет даже приличных актеров!

Мошну и Сейферта словно громом поразило. Как это нет приличных актеров?!

— Те, кого я вынужден нанимать, считались бы в Вене dritte Sorte <sup>2</sup>! — продолжал голос, вставляя немецкие слова в чешскую

<sup>1</sup> Исключено! (нем.).

<sup>2</sup> Третий сорт (нем.).

речь. Этот голос оба знали еще по Пльзени, голос директора Лигерта, любезного светского господина, который просто очаровал их при переговорах у Вальбурга! Не может быть, чтобы это говорил он!

Можна ушам своим не верил — dritte Sorte? Он с недоумением посмотрел на совершенно растерявшегося Сейфerta.

В конце коридора, у окна, стояло высокое зеркало. Можна решительно подошел к нему и развел руками:

— Что же это такое? Неужели третъесортный материал? — И он показал на свое отражение.

— Ну что ты взъерепенился? — взяв себя в руки, сказал Сейферт, хотя голос его еще немного дрожал. — Откуда ты знаешь, о ком они говорят?

— Верно! Иначе пришлось бы мне войти и высказать им свое мнение!

А в кабинете директора, за широким столом красного дерева, сидел Франтишек Лигерт — теперь совершенно другой человек, чем тот, который смотрел в Пльзени постановку Шекспира. Здесь сидел неутомимый коммерсант, неуклонно заботящийся о своей выгоде.

Рядом, за маленьким столом, секретарь театра Скленарж записывал решения совещания.

Около Лигерта, но несколько в стороне, в глубоком кресле сидел Франтишек Ладислав Ригер, в ту пору сорокалетний человек, немного уже погрузневший, вида мужественного и самоуверенного. Прикрыв глаза, он, казалось, думал совершенно о других делах.

Перед директорским столом расположились остальные участники совещания: художественный руководитель Павел Шванда из Сомчиц, дирижер театра Маир, человек с густой темной певелюрой и свисающими холеными усами, и молодой пражский юрист доктор Антонин Чижек, член правления театра.

У окна, опираясь на раму, стоял невысокий, плотный молодой человек в длинном черном сюртуке, с подстриженной окладистой бородой; он задумчиво смотрел в окно, внимательно, однако, следя за разговором. Это был Ян Неруда.

— В таких условиях, meine Neggen<sup>1</sup>, я чешский театр открывать не стану!

Все, кроме Ригера, насторожились. Доктор Чижек резко приподнялся в кресле. Неруда отвернулся от окна. Лигерт выразился слишком недвусмысленно, его собеседники не привыкли к крайностям, которыми манипулируют коммерсанты, чтобы обеспечить себе минимум того, чего им нужно достичь.

— Дайте мне договорить, meine Neggen, — поднял руку Лигерт, как бы успокаивая неудовольствие, вызванное его словами.

<sup>1</sup> Господа (нем.).

И, подумав немного, продолжал: — Я не могу вести театр, если вы не согласитесь, чтобы не только в Новоместском театре, где это само собой разумеется, но и во Временном шел легкий репертуар — оперетты, фарсы, водевили!

Доктор Чижек, самый молодой участник совещания, не выдержал:

— Не затем мы строили Временный! И я удивлен, что уважаемый пан доктор Ригер спокойно слушает подобные нелепости!

Ригер поднял голову, окинул молодого человека своим умным взглядом, слегка усмехнулся и рассудительно произнес:

— Думается, разговор не окончен. Выслушаем пана директора Лигерта, выскажемся сами, а потом сделаем выводы. Криком же, уважаемый коллега, мы ничего не добьемся.

Дирижер Маир усердно закивал.

Чижек махнул рукой и сел на место.

— Временный театр? — сказал Лигерт, слегка поклонившись Ригеру. — Na ja, gut. Aber <sup>1</sup>... как вы хотите привлечь публику? Ведь эта ваша чешская... гм... публика еще не научилась ходить в театр, а играем-то мы всего четыре дня в неделю!

— Публику надо воспитывать, — примирительно возразил Павел Шванда из Семчиц.

— Na ja, und diese Erziehung soll ich bezahlen, nicht wahr? <sup>2</sup> На это у меня нет средств. У меня театр, а не школа!

Чижек снова взорвался:

— Наша национальная программа...

Лигерт перебил его:

— Я не фантазер! Я должен сделать так, чтобы спектакли давали полный сбор, и вы, надеюсь, тоже этого хотите!

— Но не любой ценой! — спокойно и твердо произнес Неруда.

Лигерт и Ригер подняли к нему головы.

— Что вы сказали? — переспросил Лигерт.

Неруда не ответил. Повернувшись к окну, он стал смотреть на улицу.

После некоторого молчания Лигерт, преследуя свою цель, заговорил снова:

— Wissen Sie meine Hengen <sup>3</sup>, — мировой репертуар, иностранные гастролеры, громкие имена — вот что привлечет публику! А на ваши... гм... патриотические... гм... пьесы ее не заманишь!

— Это не совсем так, пан директор, — вежливо возразил Павел Шванда. — У нас есть Тыл, есть Клицпера...

<sup>1</sup> Ну да, хорошо. Но... (нем.).

<sup>2</sup> Ну да, и я должен платить за это воспитание, не так ли? (нем.).

<sup>3</sup> Знаете ли, господа (нем.).

— А дальше? — Лигерт подождал немного, потом с улыбкой констатировал: — Это все, не правда ли, дорогой фон Семчиц! Дальше идут уже только переводные пьесы...

— Что касается оперного чешского репертуара, то тут дело обстоит еще проще — у нас и того нет! — с усмешкой вставил дирижер Маир.

— Скоро будет! — бросил Неруда.

— Кто же это будет, разрешите узнать? — спросил Маир.

— Бедржих Сметана!

Маир только ухмыльнулся:

— Хороша шутка, не правда ли, пан редактор!

— К делу, господа! — нетерпеливо прервал их Лигерт. — Я убежден, что относительно репертуара мы сумеем договориться, соблюдая интересы обеих сторон. Но вернемся к проблеме актеров. Я в самом деле вынужден собирать с бору по сосенке. Например: на место покойного Секиры, актера венской школы, мы приняли, в общем-то, не очень слабого актера, nicht wahr, Herr von Semčic, некоего Мошну, бывшего медника — но, meine Herren, разве это уровень — Gelbgießer?

Мошна, прильнувший ухом к двери, отпрянул словно ужаленный.

Сейферт, которому не хотелось подслушивать под дверью — да оно и неприлично, — разглядывая в зеркале свой новый костюм, заметил движение товарища.

— Ну уж это... это... — возмущенный Мошна не находил слов.

— Что они говорят? — спросил Сейферт, подбегая к двери, но Мошна схватил его за руку и увлек в сторону.

— Они теперь говорят про меня, а я не хочу быть нескромным, — быстро сказал он.

— А я так с удовольствием послушаю, — участливо возразил Сейферт. — С моей стороны это не будет нескромностью.

И он решительно направился к двери.

А Лигерт дошел до следующего новичка — Якуба Сейферта.

— Хорошенький мальчик, и голос приятный, ja, ja, nicht wahr, Herr von Semčic, aber entschuldigen Sie, meine Herren<sup>1</sup>, ведь он же совсем зеленый, жидковат — разве такой юнец справится с ролью героев-любовников?

---

<sup>1</sup> Да-да, не так ли, господин фон Семчиц, но простите, господа... (нем.).

Теперь уже Сейферт как ошпаренный отшатнулся от двери.

— Что такое? — спросил Мошна.

— Ты прав, — пробормотал тот, сильно смущенный, — не надо подслушивать у дверей! Теперь они говорили обо мне, в общем-то неплохо, но это и впрямь нескромно — торчать у замочной скважины...

Красный как рак, он нервно стал мерить шагами коридор.

— Кто подслушивает — многое о себе узнает, — улынулся Мошна, добродушно беря Кубу под руку. — А ты не обращай внимания, Лигерт, наверно, торгуется, выговаривает что может! В Пльзени-то он нас хвалил, помнишь?

Теперь из-за двери кабинета слышался ясный и твердый голос Неруды. Якуб с Индрой притихли.

— Вы, пан Лигерт, смотрите на театр как на коммерческое предприятие. Для нас же театр — это еще и борьба за национальную самостоятельность. Он призван пробуждать, укреплять национальное самосознание! Но сделать это можно только с помощью чешских пьес и чешских актеров. Чешский актер — это не просто комедиант, он становится и должен становиться глашатаем национальной идеи! И ради осуществления этой задачи чешский театр сделает все, что в его силах. В нем вырастет новый тип актера-патриота, подлинного художника, и театр сам сотворит, заставит родиться новых чешских драматургов, увлеченных национальным делом, и новых певцов, и новых композиторов! И он же, театр, породит новую чешскую публику!

У Мошны руки чесались поаплодировать такой речи. Однако он стал вдруг серьезным и задумался.

Артисты-патриоты? Подлинные художники? Он чувствовал, что слова эти относятся, собственно, к ним — к начинающим молодым актерам. И показалось ему вдруг, что все, что он до сих пор делал на сцене, до того мелко, до того ничтожно, лишено цели, сыграно больше для собственного удовлетворения, чем во имя некоей высшей миссии! А ведь именно таким и должно быть искусство, если оно — Искусство!

Тем временем Сейферт, наперекор своим принципам, просто приклеился к двери. В кабинете, кажется, спорили. Но о чем? Ведь Неруда отлично сказал им... Что можно ему возразить?

Тут в коридоре появилась очаровательная молодая девушка — судя по туалету, элегантность которого обладала какой-то небрежной прелестью, тоже актриса. Короткая вуаль закрывала ее лицо, и явно наигранные светские манеры столь же прозрачно скрывали ее всепобеждающую юность.

Заметив Сейферта, подслушивающего у двери, она легонько стукнула его ручкой своего зонтика и рассмеялась.

Сейферт оглянулся, кивнул, приложив палец к губам, давая понять, что там, внутри, говорится нечто интересное.

Девушка подавила смех и жестом объяснила Сейферту, что хочет войти. Он отрицательно покачал головой.

Тогда она обернулась к зеркалу, перед которым вертелся Мошна. Некоторое время она следила за ним, с трудом удерживаясь от смеха, потом приняла важный вид и со спускательностью, на какую только способна семнадцатилетняя девица, коснулась его плеча.

— Не уступите ли вы мне, сударь, кусочек этого большого зеркала?

Мошна, увидев отражение ее прелестного личика, несколько смутился, однако виду не показал и ответил, обернувшись:

— Видали? — он ткнул пальцем в свое отражение. — Физиономия абсолютного идиота!

Он засмеялся, но тотчас оборвал свой смех и, поклонившись как можно изящнее, прибавил:

— Не только зеркало, но и все, что возможно, — ваше, барышня!

Барышня усмехнулась и — быть может, неосознанно — отбросила светские манеры.

— Если не ошибаюсь — коллега?

— Индржих Мошна, актер. В Праге меня еще не знают. Я прибыл из отдаленных краев — из самой Пльзени! — тут он снял свой цилиндр и сдернул с правой руки перчатку.

Девушка заглянула в его живые глаза и улыбнулась еще раз — совершенно бесхитростно.

Сейферт подошел к ним — видимо, ему надоело подслушивать.

— Откуда ты взялся, Куба? — по-приятельски спросила его молодая дама.

— Меня ангажировали вместе с моим другом Мошной.

— Великолепно! — радостно воскликнула барышня. — Меня тоже!

— Правда? Это действительно великолепно! И какой же ты стала знатной дамой, Финна! — Сейферт взял ее за руку, поклонился и окликнул Мошну:

— Слушай, Индра, вот великая актриса, а без шуток — Йозефина Чермакова!

— Йозефина? — с волнением повторил Индра. — И — Чермакова? Почему же не императрица?

— Вас взяли на роли любовников?

Сейферт фыркнул:

— Мошна — любовник!

Индра спик, а Сейферт, знавший большое место товарища, тотчас объял его.

— Нет-нет, он — герой, правда, Индра?

Мошна взял себя в руки и попытался обратить все в шутку. Однако нечаянный укол был слишком глубок.

— К сожалению, я не герой... Я не Наполеон, о Жозефина, и не Ромео, о Джульетта! Я актер, просто актер...

— Однако вижу, вам нетрудно было бы перейти на амплу любовников, хотя...

— Договаривайте, пожалуйста.

— Мне правда ужасно хотелось смеяться.

— Когда вы меня увидели?

— Не знаю, но мне стало вдруг так радостно — не понимаю даже почему. Как думаете, они там еще долго будут спорить? — показала она на дверь.

— Понятия не имею, но не ходи туда! Нам, к сожалению, надо дожидаться — мы пришли представиться, — сказал Сейферт.

— Тогда я после репетиции забегу, — тряхнула головой Йозефина. — А вы будете на репетиции?

— Конечно, то есть... может быть... не знаю... Без сомнения! — пролепетал Мошна.

— Тогда до свиданья, господа! — попрощалась Йозефина и улыбнулась Мошне отдельно — улыбкой, какую дарят лучшим друзьям.

— До свиданья, Фина! — воскликнул Якуб.

— До свиданья, — повторил Индра и поклонился, охваченный волнением.

Оба смотрели вслед девушке, после которой в коридоре остался запах резеды. Потом переглянулись, и Якуб при виде непривычно растерянного лица Индры со всей своей прямолинейностью брякнул:

— Тут тебе ничего не светит, Индра! Это — не Славинская!

— Если б я тебя, Куба, не любил, — влепил бы я тебе сейчас оплеуху! — проворчал Мошна.

\* \* \*

Помещения, в которых репетировали актеры Временного театра — тогда их на немецкий лад называли «пробезалы»<sup>1</sup>, — были разбросаны по всей Праге. Певцы собирались в арендованном просторном помещении бывшей дубильни на Войтешской улице. Там держался застарелый тяжелый запах. Другой «пробезал» находился в доме напротив Новых бань; тут же расположилась и швейная мастерская, которой управлял сам Ян Кашка. Там репетировал главным образом балет. Еще одно помещение, где происходили спевки хора и где в свое время репетировал Бедржих Сметана, было в доме на Страусовой улице. Драма репетировала во втором этаже особняка в

<sup>1</sup> От нем. «Probesaal» — репетиционный зал.

стиле барокко на Малой Стране, на Кармелитской улице; позади этого дома был сад, примыкавший к склону Петржинского холма и к Семинарскому саду.

В те поры для репетиций на сцене оставалось мало времени — не более двух-трех дней. Роли раздавали в самом начале сезона, чтобы актеры успевали выучить текст, что было в те времена их главной задачей. Если спектакль выдерживал пять-шесть представлений, то считался весьма удавшимся. Другими словами, спектакли сменялись с необычайной быстротой, и актерская игра по большей части являлась плодом импровизации. При такой системе суфлерская будка приобретала важную роль.

Кроме выступлений на собственной сцене актеры Временного обязаны были играть еще в Новоместском театре и в новом филиале на Жофинском острове.

Каждый актер Временного играл в год в среднем по сорок и более ролей — то есть по роли в каждые шесть дней, включая воскресенье и праздники! В театрах — как, впрочем, и везде в те времена — отпусков не существовало. Такое положение принуждало актеров готовить роли поспешно, едва вдумываясь в них. Недостаток времени не позволял сколько-нибудь серьезно ставить спектакли. Каждый играл как умел, как успел договориться с партнерами. Иной раз спектакль становился сюрпризом не только для публики, но и для самих актеров. Невозможно было и думать о создании характеров — в лучшем случае вырабатывались типы различных ампула. Комик так и был комиком, герой — героем, любовник — любовником. Эти застывшие формы облегчали работу актера, но они же позднее стали смирительной рубашкой для подлинно творческих натур.

Над малостранскими крышами светило весеннее солнце, заливая репетиционный зал. Вдоль длинного стола расположились актеры Временного театра. Здесь были люди нескольких поколений. Пионеры театрального дела, старые сотрудники и товарищи еще Йозефа Каэтапа Тыла, привыкшие к унижениям и невзгодам, воспринимали как великое счастье, что им довелось дожить до времени, когда наконец построено настоящее, каменное здание чешского театра.

Типичным представителем этого поколения был Ян Кашка: красивое выразительное лицо, все в морщинах, как рельефная карта мира. Ян Кашка был не только актером — он еще заведовал театральным гардеробом за доплату, незначительную саму по себе, но значительную для него. Играл он характерные роли комических стариков. Человек этот был, пожалуй, самым известным и любимым в Праге чешским актером.

Ян Кашка сидел задумавшись — он больше слушал, чем говорил. Одет он был строго и тщательно — до самой старости он не оставлял ремесла портного, хотя шил теперь главным образом на себя. Большой честью почиталось тогда носить сюртук от Яна Кашки. В те поры ему было пятьдесят лет.

Членом труппы был и некогда противник Тыла — Йозеф Иржи Колар, наиболее значительное явление в театральной жизни тех лет. Наотрез отказываясь от участия в руководстве театром, человек этот тем не менее пользовался неслыханным авторитетом и уважением у своих собратьев, а у публики — широкой популярностью, не уступавшей популярности лучших немецких актеров с мировым именем, гастролировавших в Праге. Колар был автором героических пьес, не сходивших со сцены, и переводчиком классиков — прежде всего Шекспира.

Колар сидел отдельно от всех, с несколько пренебрежительным выражением лица — он словно снисходил ко всему тому, что осмеливалось называть себя первым чешским театром.

К ветеранам старой гвардии относилась и Элишка Пешкова\*. Во всем ее облике проглядывала некая скрытая горечь, ибо и эта актриса помнила трудные времена. Когда-то Элишка была смешливой девушкой, прелестной исполнительницей ролей комических возлюбленных. Теперь она перешла на роли светских дам. Долгие годы она была дружна с Павлом Швандой из Семчиц и стала впоследствии его женой. Однако положение супруги художественного руководителя приносило ей порой не очень приятные преимущества.

Элишка Пешкова болтала с Магдаленой Гинековой\*\*, старой острой на язык актрисой, прославленной исполнительницей роли резкой, не лезущей в карман за словом Кордулы из пьесы «Вольпицки из Страколиц». Обе дамы составляли внушительный и опасный дуэт.

Магдалена Гинекова была крупной и шумной женщиной; публика обожала ее за своеобразие и прямоту. На сцене она являла как бы женский вариант Яна Кашки, с которым ее связывала давняя и верная дружба. Основные ее роли — женщины из народа, однако она создавала и образы светских дам, причем удивительно благородных, хотя и в своеобразной манере, присущей ей одной. Возраст ее приближался к пятидесяти.

Рядом с ними сидел Карел Шимановский, в прошлом столяр; его настоящая фамилия была Шима. Он тоже участвовал еще в спектаклях старого Театра Каэтана на Малой Стране, где, собственно, и начинала вся гвардия Тыла. Шимановский был серьезным, несколько замкнутым человеком с аристократическими манерами. Его стихией являлись Кориолан, Макбет, Мефистофель, великие герои. Однако он никогда не достигал уровня своего идеала — Йозефа

Иржи Колара. Последний, мягко говоря, просто «не видел» Шимановского как актера.

Был тут и Эдмунд Хваловский\*, образованный театральный деятель, который чаще выступал как режиссер.

Далее, словно в музее восковых фигур, изображающих великих людей — а все собравшиеся были (или сделались впоследствии) знаменитыми и любимыми, что ни имя, то частица истории чешского театра, — сидел с неразлучным своим блокнотом и карандашом Франтишек Колар\*\*, племянник Йозефа Иржи Колара; по этой причине его называли «молодой Колар», и эпитет «молодой» сохранился за ним, даже когда он уже постарел. Художник — рисовальщик, иллюстратор, актер и режиссер, но главное — возлюбленный одной-единственной музы — Талии, Франтишек Колар был младшим в старой гвардии. Столь же образованный, как и дядя, он был не по-коларовски веселым, светлым, прямодушным человеком. Несмотря на молодость, Франтишек Колар играл характерные роли пожилых простаков — таких, как Полоний в «Гамлете». Он сидел в сторонке у окна и, как всегда, используя момент, делал наброски портретов своих коллег.

Сейчас он заканчивал портрет Фердинанда Шамберка\*\*\*, актера среднего поколения — среднего не по годам, а по положению. Тогда Шамберку было всего двадцать пять лет. Великолепный знаток вин и изысканной пищи, он уже несколько обрюзг. С годами Шамберк стал до того тучным, что трудно было поверить, что когда-то он выступал в ролях элегантных молодых соблазнителей и прозывался «красавцем Фердинандом».

Ничего удивительного, что в ту пору в этого красавца влюбилась Юлия Кворн — впоследствии знаменитая примадонна Национального театра Юлия Шамберкова.

Шамберк шептался о чем-то с двадцатилетней Отилией Малой\*\*\*\*, счастливой преемницей незабвенной Манетинской-Коларовой, которая в прошлом году навсегда оставила сцену, заболев тяжелым нервным недугом.

Манетинская, солнечное явление в чешском театре раннего периода, подруга и любовь Тыла — а может быть, и Крумловского, — нежная, чуткая женщина, непостижимым образом предпочла сильного и жестокого Йозефа Иржи Колара...

Короче, каждый из сидевших тут представлял собой живой роман.

Отилия Малая наследовала роли и славу Манетинской — но не судьбу ее. Орлеанская дева, Моника\*\*\*\*\*, Милада, Дебора, Джульетта и Дездемона, Маргарита и Мария Стюарт — величайшие и увлекательнейшие роли чешского и мирового репертуара украшали список ее ролей. Она была ученицей Элишки Пешковой, однако

вскоре покинула свою учительницу, чтобы самостоятельно завоевать первое место в труппе.

В стороне, у стенки, не осмеливаясь смешиваться с олимпийцами, сидели юноши и девушки, в большинстве своем новички.

Тереза Ледерер, венская чешка, как и Отилия Малая, разносторонне одаренная актриса, певица и танцовщица, — была хорошенькая, пухленькая, темноволосая девушка. Серьезная в жизни, она сумела в ролях субреток покорить зрителей своим темпераментом.

В историю чешского театра она вошла как первая Эмеральда \* в «Проданной невесте».

Куба Сейферт неумоимо увивался вокруг Йозефины Чермаковой. А та, взволнованная, своими черными глазами наблюдала за всей компанией, такой для нее новой и дразнящей любопытство. Она поминутно поглядывала на дверь — когда же наконец явится почтенное руководство, то есть Павел Шванда и дирижер Ян Маир, во главе с директором Лигертом, и предложит ей, Йозефине Чермаковой, самые прекрасные роли, какие только может желать семнадцатилетняя «героиня».

Мошна сидел рядом с Индржишкой Славинской, непривычно молчаливой и встревоженной — она словно еще не могла поверить, что попала сюда, где, казалось, бессмертие можно рвать прямо с райского дерева. Скромность, эта истинная, не наигранная добродетель, к сожалению, сковывала и тело ее и душу. Кто угадал бы, чем она живет? Еще в Пльзени она обещала себе, что если ее ангажируют в Праге, то она будет играть, покорно играть все, что пошлет ей судьба, кроме одной-единственной роли. Эту роль она оставит только для себя: любовь, искреннюю и глубокую, к великому чешскому художнику.

Мошна часто вставал и прохаживался, представляясь актерам. Он улыбался — ему хорошо было среди этих живых знаменитостей, чьи имена он когда-то произносил только в мечтах. Теперь же он мог разговаривать с ними, пожимать им руки, улыбаться им — быть одним из них, быть на Олимпе чешской сцены. Таким кровным, таким близким родством был он связан с театром, что при всем почтении к старшим коллегам он не чувствовал себя здесь новичком.

Собравшись с духом, Индра подошел сначала к Кашке и, учтиво поклонившись, молвил:

— Позвольте, маэстро, представиться: Мошна, Индржих Мошна, и я знаю вас по сцене уже многие годы.

Кашка сердечно пожал ему руку и, посмотрев на него долгим ласковым взглядом, словно довольный чем-то, проворчал:

— Гм... юноша, веселый юпаша!

Он помолчал, добродушно хлопнул юношу по плечу и прибавил:

— Желаю счастья, мальчик!

Иозеф Иржи Колар, к которому подошел после Кашки Мошна, читал маленькую книжку — «Кориолан» Шекспира в оригинале. Индра учтиво заговорил:

— Разрешите напомнить вам о себе, маэстро. Когда-то вы были столь любезны, что согласились посмотреть меня в Новоместском театре, доверив роль Косинского в «Разбойниках». Я тогда не имел успеха, однако советы ваши запомнил. Теперь я имею честь вместе с вами... маэстро... как новый член труппы...

Колар окинул молодого человека грозным взглядом и бросил: — Возможно — ныпче все возможно. Будьте здоровы.

Мошна, который довольно неуверенно закончил свое обращение, растерялся вконец.

Тут на него посмотрела Гинекова — словно генерал на рекрута — и добродушно нахмурилась:

— Слыхала, слыхала я, какой ты озорник, что вытворяешь, когда па тебя наедет. Ты поосторожней, миленький! С виду ты как ость воробей и, сдается, уже не вырастешь, — она смерила тщедушного Мошну взглядом знатока. — Только царень ты, видать, не промах, по глазам заметно. Носи высокие каблуки и одежду в продольную полоску — это тебя вытянет. Ты не женат?

— Нет, милостивая пани, — вежливо ответил Мошна.

— Да и кто за тебя пойдет? А ты не падай духом. Впрочем, все равно здешние девицы возьмут тебя в оборот! — со смехом прибавила она и обернулась к Кашке. — Так это и есть тот парнишка, которого взяли вместо бедняги Секиры?

Кашка, улыбнувшись, кивнул головой.

К Йозефине Чермаковой Мошна подошел к последней. Это он оставил напоследок, чтоб порадовать сердце. И низко ей поклонился.

— «Любил ли я хоть раз до этих пор? О нет, то были ложные богини. Я истинной красоты не знал доныне...»<sup>1</sup>.

Йозефина улынулась — стоило Мошне подойти, как она снова сделалась обыкновенной девушкой.

Сейферт с пафосом ответил:

— Уж если Индржих заговорил словами Ромео, мне остается только роль Тибальта!

Йозефина рассмеялась:

— Ну и выбрал же ты, Куба, ведь Ромео Тибальта убил!

— Да-да, убил, — горячо подхватил Мошна. — Только я, милый друг, не доставлю тебе такой радости — не хочу, чтоб меня из-за тебя сажали в тюрьму!

<sup>1</sup> В. Шекспир, Ромео и Джульетта. Перевод В. Пастернака.

В это время из соседней комнаты вошли Павел Шванда и Ян Маир. Все стихли и пересели за стол.

Служитель внес корзину с рукописями и расписанными ролями.

Павел Шванда, извинившись за отсутствие директора Лигерта — который, впрочем, никогда не приходил на репетиции, — стал вынимать тетрадки с ролями. Прочитав название пьесы и имя автора, он коротко рассказывал содержание и характеризовал роли, а затем раздавал их актерам, объясняя, какую из пьес будут ставить в Новоместском, какую — во Временном театре.

Все это сопровождалось сценами, неизбежными при распределении ролей. Но здесь, поскольку распределяли сразу несколько пьес, сцены эти разыгрывались более бурно и драматично: ведь сейчас была единственная возможность еще что-то изменить. Порой возбуждение нарастало, все начинали говорить наперебой, так что даже спокойный и корректный Павел Шванда вынужден был стучать кулаком по столу.

В числе других распределяли роли в пьесе «Магелона» Йозефа Иржи Колара. Назвав это имя, Павел Шванда поклонился в сторону автора, который едва шевельнулся в своем кресле и что-то пробурчал. В тоне художественного руководителя, объяснявшего смысл и цель пьесы, слышалась осторожность — Павел Шванда опасался задеть старого корифея. Что касается самого распределения, то ему нечего было опасаться — он уже обо всем переговорил с самим Коларом.

— Рудольф Второй — король — является под конец спектакля, подобно некоему *deus ex machina*, разрешая конфликт; эта роль поручается пану Шимановскому, — начал Шванда свою благодарную работу.

Шимановский молча кивнул головой, робко посмотрел на автора и снова окаменел.

— Главную роль мы передаем Отилии Малой, столь успешно сыгравшей в «Орлеанской деве». Это трудная роль — великосветская дама, но при всем том — мать и любящая женщина! Здесь барышня Отилия получит возможность... — и далее он объяснил подробности роли уже непосредственно Малой.

Йозефина Чермакова только ухмыльнулась:

— Еще бы, Отилька на все хороша! Но все равно я когда-нибудь эту Магелону сыграю! — вполголоса сказала она Сейферту, который чуть-чуть помрачнел.

— Отто из Лоса, герой-любовник, — медленно продолжал Павел Шванда, и Мошна с Сейфертом навестили уши: герой-любовник, черт возьми, вот бы здорово... Шванда оглянулся, ища нужного ему актера. — Эта роль поручается пану Шамберку!

подавая тетрадку самоуверенному «красавцу Фердинанду», Шванда приятно улыбнулся. Мошна провел рукой по лбу. Мимо!

— Роль Доместика, — продолжал художественный руководитель, — любезно согласится взять пан Кашка; уверею, он отнесется к этой характерной роли доброго старого слуги со всем столь хорошо нам известным вниманием.

Кашка молча притянул к себе роль и машинально погладил листки.

— О том, кому дать роль Дивиша Борыне, юного любовника, мы долго думали, — продолжал Шванда, — а так как нам хотелось занять прежде всего новых членов труппы, чтоб они могли проявить свои таланты, то и решили мы доверить эту роль... да где он?.. — Шванда пощипал глазами.

Мошна даже привстал — он вдруг поверил, что наконец-то его поняли и дают роль, которую он так ждал, — юный любовник! Поэтому совершенно невероятными показались ему слова Шванды:

— ...папу Сейферту!

Мошна пошатнулся даже, но тотчас взял себя в руки и притворился, будто отсидел ногу. Он сел и прикрыл глаза. Ему стало невыразимо грустно. Опять его оттеснили. Он даже не обратил внимания на то, что была обманута еще одна надежда — Йозефине Чермаковой предложили играть камеристку.

Чермакова даже побледнела, и нос ее чуть-чуть заострился. Подойдя за ролью, она взволнованно проговорила:

— Благодарю, пан режиссер, за необычайную любезность! Поистине я не заслуживаю такого счастья!

Резко присев в реверансе, она вздернула подбородок и поступью королевы вернулась на свое место, брезгливо, словно дохлую мышь за хвост, пся двумя пальцами тетрадку.

Павел Шванда посмотрел на нее удивленно и вопросительно. Пожав плечами, он продолжал:

— Затем есть тут маленькая, но благодарная роль Джованни Синолы, от которой, однако, многое зависит в спектакле. Это смешной интриган, и чем смешнее он будет, тем лучше, не правда ли, маэстро? — обернулся он к старому Колару. — Поэтому мы отдаем ее...

Мошна, к которому подседа Йозефина, пощелкивая пальцами по листкам роли, старался как-то утешить девушку и потому не расслышал своего имени.

— Пан Мошна, это вам! — повторил Шванда.

— Бегите же за своей «собачонкой»<sup>1</sup>! — насмешливо подтолкнула его Йозефина.

Мошна встал, недоумевая, подошел к режиссерскому столу, молча взял роль и молча вернулся на место.

---

<sup>1</sup> На жаргоне чешских актеров — малепькая, неважная ролька (прим. пер.).

— Ну вот, теперь, кажется, мне придется утешать вас, маэстро, — злорадно шепнула ему Йозефина.

Однако, увидев, что Индржих расстроен, она погладила руку, в которой он держал листки своей «важной» роли.

С «Магеловой» было покончено, настала очередь других пьес, — и снова разочарования и радости...

Дирижер Маир пояснял, какие из ролей должны быть спеты, временами он вставал и подходил к роялю, проигрывал и напевал мелодии. Иногда мелодию подхватывал актер, а то и все присутствующие.

Всякий раз распределение ролей заканчивалось вздохом папа Шванды:

— И еще есть тут роль слуги (или лакея, оруженосца, официанта, первого прохожего, второго прохожего и так далее)...

Большинство их достались Мошна. Под конец Мошна уже сам вставал и прямо шел за оставшейся ролью — за своей «собачонкой».

Станным образом распределение ролей в пьесах Тыла — в «Видении Иржика» и в «Волынщике из Стракониц» — прошло гораздо глаже. Здесь Мошна получил даже главные роли: самого Иржика и волынщика Шванды.

— Цени это, мальчик! — сказал ему Кашика, когда Мошна проходил мимо него. — И маленькие роли цени. В каждой зарыт драгоценный камень, надо только выкопать его!

Мошна благодарно взглянул на него, припомнив слова Крумловского: «Нет малых ролей — есть маленькие актеры».

— Маэстро, можно мне как-нибудь прийти к вам за советом? — спросил он Кашку, вдруг преисполнившись доверия к нему.

Тот, смерив его взглядом с головы до ног, мягко ответил:

— Приходи — конечно же, приходи!

На этом все кончилось. Каждый уносил под мышкой по несколько ролей; у Мошны, который все еще не пришел в себя, их была целая охапка.

— Эй, куда несешь этот хлам?! — хлопнул его по плечу Шамберк, да так сердечно, что часть листков рассыпалась. Но Индра, как ни странно, не рассердился. Он просто не обратил внимания на наемщика и только, собирая листки с полу, проворчал:

— Какой же это хлам?! В каждой роли, умник, зарыт драгоценный камень! Надо только выкопать его!

Йозефина, опустившись около него, помогла ему собрать листочки.

— Ничего, я тоже играю одних служаков! Всяких Магелоп и Орлеанских дев навалили на Отильку, — но мы не сдадимся, правда, Индра?!

Павел Шванда, уже на пороге двери, вдруг остановился:

— О, чуть не забыл! Где пан Мошна?

Мошна быстро поднялся.

— Прошу вас, Индра, придется вам сегодня вечером заменить одного актера. Не бойтесь, роль небольшая. Вам придется играть с паном Кашкой. Пан Кашка будет так любезен и пройдет с вами эту оценку.

Кашка с улыбкой кивнул.

— Ну, спасибо, — до свиданья, господи!

После его ухода Мошна обратился к Кашке:

— Маэстро, скажите пожалуйста, в каком амплуа играл пан Секира — он ведь был великий артист, — нерешительно добавил Индра.

— О, Секира — то был артист, то был мастер! Мастер маленьких ролей, понимаете?

— Да, но каким было его амплуа? — нетерпеливо переспросил Индра.

— Амплуа? Да комик! Он был комиком, сынок, — с некоторым удивлением ответил Кашка.

— Комик?.. — В голосе Мошны явно слышалось разочарование. — Дело в том, что я принят на место пана Секиры... — машинально добавил он: его воздушный замок, его мечта о ролях героев и любовников снова рухнула.

— Я знаю, вас приняли как комика, и желаю вам достичь той же высоты, что и наш Секира!

Кашка пожал Индре руку и ушел, мурлыкая себе под нос. Тогда к Индре подбежали Сейферт с Йозефиной.

— А, наш Наполеон! — воскликнула девушка.

— Только вид у него как после Ватерлоо, — усмехнулся Сейферт. Мошна выпрямился, прижал к груди свои роли и ответил:

— Ничего — увидим, кто будет смеяться последним!

\* \* \*

Несколько теплых майских дней — и пражские сады, словно по волшебству, затопило половодье цветов и пчелиное жужжанье.

Мошна был в непривычном волнении чувств — быть может, причиной тому эта перемена... Наконец-то он в Праге, да еще в весенней Праге...

Он вынул из жилетного карманка посеребренные часы луковичной — единственную ценность, завещанную ему бедняком отцом. Было без десяти минут девять.

В этот час Малую Страну прекраснее всего озаряет солнце. Это место утреннего света. Быть может, поэтому Малая Страна никогда не стареет.

Кинув взгляд на часы, Мошна торопливо сбежал во двор дома Лигерта, оттуда — в сад, протянувшийся вверх по склону. По протоп-

танной дорожке он поднялся до забора, в котором было вырвано несколько досок, так что вполне можно было обойтись без калитки, чтобы проикнуть прямо в Семинарский сад.

В такие чудесные дни многие актеры, особенно молодые, ходили учить свои роли в пражские сады. И сады, безлюдные в первой половине дня, снисходительно внимали их тирадам. Лишь пеночки да щеглы щебетали в ответ на душераздирающие монологи героев и героинь. Чаще всего артисты ходили в Семинарский сад или на Петржин — вернее, пролезали тайком через пролом в ограде Лигертова дома: сады эти, столь пустынные по утрам, были тогда закрыты для публики.

На одной из прелестных полянок, где трава пестрела первоцветом и маргаритками, Мошна кашел Йозефину. Она сидела, подстелив под себя плед с бахромой; из-под широкой светло-розовой юбки выглядывали носки крошечных башмачков. На плечах ее лежала белая шерстяная шаль, затканная шелком. Опершись на руку, она задумчиво смотрела в ясное небо, шепча что-то.

Отцветающие деревья осыпали сад словно снежными хлопьями.

Мошна тихо поздоровался.

В ответ Йозефина только улыбнулась.

Он сел на краешек пледа; хотел было вынуть свою тетрадку, да раздумал. Этот утопающий в цветах и в благоухании сад слишком сильно действовал на его чувства. Он засмотрелся на Йозефину. Сейчас, когда она сидела в траве и волосы ее, темные, пронизанные солнцем волосы слегка растрепались, — она казалась Мошне маленькой черноголовой птичкой. Она репетировала роль — наконец-то роль! — малолетней королевы Кристины\*!

— Послушайте меня немножко, Индржих, и, пожалуйста, сидите тихо, — сказала она; потом подумала, заглянула в тетрадку и, несколько повысив голос, начала читать. Слова юной королевы она произносила восторженно, зачарованно, со всем пылом своих семнадцати лет.

Мошна больше вслушивался в звук ее голоса, чем в смысл слов. Иногда он рассеянно срывал какой-нибудь цветок и медленно обрывал с него лепестки.

Йозефина закончила тираду в тот момент, когда Мошна — быть может, бессознательно, а может быть, умышленно — придвинул свою руку к ее руке. Но не коснулся ее. Его рука была невелика, но тверда и смугла; ее же, тоже маленькая, была белой, холеной и слегка дрожала.

Две эти руки, лежащие рядом, вдруг как бы мгновенным озарением, одним этим сопоставлением показали ему всю его жизнь. Он поднял голову и поверх цветущих деревьев стал глядеть на крыши Праги.

Когда-то, в такие же вот дни, он томился там, внизу, в душном, смрадном цехе, изнуренный тяжелой работой. Теперь же сидит тут на осеннем солнце рядом с очаровательной девушкой, играющей в королеву.

Деревья... и птицы... и аромат цветов...

Ощущение невыразимого счастья овевало его душу — но к этому ощущению примешивалась какая-то грусть, которая всегда сопутствует тому, кто долго томился в неволе и наконец-то обрел свободу.

— Ну, что скажете, Индржих? — Йозефина повернула к нему голову.

— Я вас и не слушал...

— Почему? Разве я плохо читала?

— Я смотрел на вашу руку... королева! — с задумчивой улыбкой ответил Мошна. — В этой руке, — теперь Мошна легонько коснулся ее пальцев, — было больше правды и куда больше сосредоточенности, чем во всех этих словах.

Йозефина посмотрела на него вопросительно.

— Ваша рука вызвала у меня странно грустные воспоминания...

— Почему же грустные? — спросила она, рассматривая свою руку.

— А воспоминания чаще всего бывают грустными, — ответил он, поднимая голову. — Вы верите тому, что написано в вашей роли?

— Я — играю... — с удивлением ответила Йозефина.

— А вы — живите в роли!

— Чепуха! Разве я королева?

— Да, — просто ответил Мошна.

— И — здесь, среди маргариток...

— Да ведь это королевский ковер! — восторженно вскричал Индра. — Однажды великий артист сказал мне: ты всегда должен быть тем, кого играешь. Я играл тогда разбойника...

— И вы в самом деле разбойничали? — засмеялась Йозефина.

— Нет, но дело не в этом... — Мошна замолчал, подыскивая слова, как бы объяснить ей, но она не дала ему продолжать.

— Значит, если я играю влюбленную, то должна в самом деле любить? — полушутя-полусерьезно спросила она.

— Конечно! Во всяком случае — любить представление о любви, иначе все будет не то, понимаете? — с увлечением начал объяснять Индра.

— Да, но за настоящий поцелуй на сцене назначен штраф в два золотых, — каивно возразила Йозефина.

— И не в этом дело — я хочу сказать... ну да, дело в чувстве!

— А вы умеете, Индржих, целовать так, чтобы не целовать? — несколько вызывающе осведомилась Йозефина; Мошна удивленно поднял голову.

- Умею! Два золотых — деньги порядочные, не правда ли?  
— Почему же вы, Индржих, никогда не играете любовников?

Йозефина испытующе посмотрела на Мошну, лицо которого изменилось: она коснулась больного места — обида его еще не переболела, но он хотел скрыть ее от себя самого.

— Я ведь комик! — вырвалось у него. — И никто мне не поверит, если я скажу: «Люблю вас!» Публика рассмеется... — Он и сам смущенно улыбнулся. Потом, как бы вспомнив что-то, добавил: — Швандаволинщик и Иржик — странные любовники... Чаще всего они смешны, хотя и любят...

— А знаете, я бы вам поверила, — с полной искренностью проговорила Йозефина.

— Вы, королева! — столь же искренне изумился Мошна.

Йозефина поднялась на колени и повернулась к нему лицом:

— Попробуйте поцеловать меня не целуя, — представьте, что у вас по роли...

Мошна спросил взглядом Йозефину, а она, движением головы откинув непослушную прядь со лба, искристыми черными глазами смотрела на него.

Что же это с ним происходит? Помолчав, он довольно неуверенно спросил:

— Зачем?

— Хочу научиться. А то всякий раз затруднение.

Мошна почувствовал себя в ловушке. Его сбила с толку искренняя наивность Йозефины, однако он взял себя в руки и сказал, как о чем-то не важном:

— Да это страшно просто!

— Легко вам говорить, когда вы умеете, — так просто возразила Йозефина, что Мошна почти поверил, что ей действительно хочется разрешить всего лишь техническую проблему.

— Ну, это делается так, — начал он объяснять, — чтоб публика видела объятие, но не видела лица, то есть не видела, что губы не соприкасаются...

— Я все еще не понимаю, — серьезно возразила Йозефина, словно и впрямь не понимала.

— Тогда я лучше вам это...

— Пожалуйста! — воскликнула Йозефина, вставая с колен.

Мошна тоже поднялся и посмотрел прямо в невинное личико юной актрисы.

— Ладно, представьте — там публика, — он показал на великолепную панораму Градчан, несомненно, бесчисленное множество раз видевших нечто подобное в садах и парках, над которыми они горделиво царили. — Теперь приблизьтесь ко мне, — Мошна легко обнял Йозефину, — наклоните голову... нет, это я должен наклонить голову,

то я себе говорю, не вам — вы должны... вы, наоборот, запрокиньте голову, так, еще больше... теперь...

Йозефина прижалась к нему, послушно запрокидывая голову, но вместо того, чтоб смотреть, как он это делает, закрыла глаза и прошептала:

— Вам бы при этом сказать что-нибудь, а не лекции читать...

Мошна отстранился:

— Что сказать?

— Ах, у меня же есть текст! — вдруг вспомнила она.

— Какой?

— Я буду суфлировать вам: «Люблю тебя».

Это она произнесла шепотом, как и полагается суфлеру, и чуть сильнее прижалась к Индре.

— Так я и думал, — проворчал тот, но почему-то довольно взволнованно произнес: — Ладно, значит: «Люблю тебя!»

В ту же секунду он откинул голову и высвободился из объятий Йозефины. Потом вздохнул и, скрывая смущение, сказал как можно суше:

— Вот так это и делается, и, как вижу, у вас это получится превосходно.

Йозефина нахмурилась, и по лицу ее внезапно пробежала злая тень.

— По-моему, вы поступаете просто ужасно!

— Почему ужасно?

— Учите меня тому, чего сами не умеете! — насмешливо пояснила она, тряхнув головой.

Тут уж Мошна немного вышел из себя:

— Если б вы играли, например, Дороту, мою партнершу в «Волышнике из Стракониц», я бы, может быть, тоже сказал вам: «Люблю тебя», и, может быть, несмотря ни на что, взял бы и поцеловал вас по-настоящему, хотя бы мне это и стоило два золотых, по крайней мере в первый раз, — а потом... Потом я бы опомнился, зато нашел бы настоящее чувство от этого поцелуя и сумел бы впоследствии совершенно точно воспроизводить его, целуясь по-театральному, чтоб не разориться вконец!

Йозефина, только что недовольная чем-то, теперь рассмеялась от всего сердца.

— Чему вы смеетесь? — чуть ли не крикнул Мошна. — Ведь иначе и быть не может! Не могу же я в самом деле путать Йозефину Чермакову с императрицей Жозефиной! Но если я — Наполеон, то должен видеть в вас императрицу! А если я Швауда-волышник, а вы — Доротка, то вы для меня никакая не Йозефина, а именно Доротка! Ясно? И тогда все эти поцелуи — лишь вопрос двух золотых!

В дальнейшем конце сада мелькнула чья-то фигура.

— Но вы не поцеловали меня ни так, ни этак, — упрямо возразила Йозефина и снова тряхнула головой.

— Я боюсь.

— Чего? Здесь ведь нет никого, кто мог бы наложить на вас штраф!

— Есть — вон, кажется, идет Сейферт.

— Где? — Йозефина обернулась и, увидев Сейферта, бросила со вздохом. — Да, правда... Жалко, верно?..

— Вы хорошая актриса, Йозефина, ничего не скажешь. И я едва не попался на удочку, — с принужденным смехом ответил Мошна.

— Честное слово, я забыла, что мы условились встретиться тут с Кубой — он играет графа Фридриха... — Несмотря на это объяснение, Йозефина все-таки немного смутилась.

— Ладно, ваше величество! А теперь соблаговолите отпустить меня. Учите здесь, в цветах, роль влюбленной королевы, а я пойду вниз, в Прагу, к народу, чтобы изучать своих поденщиков и челядинцев — и, между прочим, вольтинщика Шванду. Так-то, прекрасная принцесса Зюлейка!

— Но Мошничка!.. — попыталась спасти ускользавшее волшебство Йозефина.

— Репетиция окончена, и вы отлично ее провели — до свиданья!

Мошна низко поклонился и, не дожидаясь Сейферта, пустился вниз по склону к городу.

Опомнился он только на Кармелитской улице.

Господи, да что же с ним такое? Почему не привял он эпизод с Йозефиной, как умел принимать все — когда хотел или когда это было нужно, — с юмором? Правда, он сумел отступить с некоторым юмором — но ведь он просто спасался! Так же как спасал он с помощью юмора то, что его заставляли играть, — но все эти навязанные ему роли он умел делать с настоящей любовью, умел полюбить своих «собачонок», потому что без любви ничего бы не вышло и ничего бы не вышло без юмора! Кто бы мог догадаться, какие тяжкие, какие страшно тяжкие моменты переживал и еще переживает он — он, смепливый, приплясывающий Мошна, — когда на него падает свет рамы, когда публика смеется над ним?! Ему дают маленькие роли — си их играет и будет играть! Ведь, черт возьми, не роль же делает актера! Над ним смеются — часто не только на сцене. Это могло бы сделать комика злым, да так оно и бывает нередко. Но комик должен стоять выше этого! Чем выше, тем лучше — тогда он яснее видит мелочность, комичность, а порой и убожество... Но всегда ли он, Мошна, стоял и стоит выше этого? Достаточно ли он зрел и мудр? Однако он еще не хочет быть выше простых вещей, не хочет быть мудрым и зре-

дам, не хочет впадать в злобу, которая обостряет комизм, — он хочет жить, чувствовать, любить — любить со слезами и «сладостной болью», любить романтически, знать нежность ласки и неистовство бунта... О сентиментальность молодости! Как согласовать ее с кульбитами и стоянием на голове? Знает ли хоть кто-нибудь, до чего трудно быть комиком, когда ты молод и обладаешь чувствительным сердцем? Теперь он понял, что должен, должен делать одно, чтоб не опуститься, единственное — любить!..

Неужели эта черноволосая девушка способна пробудить в нем столько любви, чтобы чувство это озарило все, что он будет делать, даже его треклятые комические роли?.. Йозефина...

Мошна невольно улыбнулся. Она и впрямь очаровательна...

Но тотчас все в нем снова рухнуло, он снова подпал под власть глухих и злых подробностей: да если б я пошел на приманку, если б поддался настоящему чувству, поцеловал бы ее — она бы, конечно, надо мной посмеялась! У нее ведь было назначено свидание с Сейфертом, а с ним, с Мошной, она просто забавлялась, чтобы убить время... Строго говоря, опять он был смешон!

Лучшее лекарство — бежать к людям, к настоящим, живым, а не к тем заgrimированным, с искусственными лицами и чувствами. Он пойдет туда, куда всегда ходит, когда ему тяжело..

— Куда вы, молодой человек? — остановил погруженного в мысли юношу старый Ян Кашка, случайно попавшийся ему навстречу.

— Куда? На вокзал, маэстро! — очнулся Мошна от дум.

— Встречать кого-нибудь? Что-нибудь серьезное? Вид у тебя, мальчик, как у принца Датского!

— Вам я охотно откроюсь, — поколебавшись, сказал Мошна и заглянул в умные глаза старого актера, который чем-то напоминал ему Крумловского. — Я хожу туда смотреть на людей.

— Но люди есть везде, — улыбнулся Кашка.

— И, однако, там все иначе. Я хожу туда учиться, — просто ответил Индра.

— Чему? — удивился Кашка.

— Жизни, маэстро, жизни!

— Ты ходишь на вокзалы, чтобы изучать жизнь? А знаешь, ведь и я поступал так же, — понимающе улыбнулся Кашка. — Я ходил на постоянные дворы, на ярмарки — вообще туда, где многолюдство. И вот что — пойду-ка я с тобой, если ты, конечно, согласишься.

— О маэстро, я буду очень рад! — от души обрадовался Индра.

Старый актер взял под руку молодого собрата, и с удовольствием, словно пускаясь в некое приключение, оба двинулись к Смиховскому вокзалу.

Долгая прогулка открыла сердце Индры, переполненное чувствами. Старый актер молчал, чтобы не спугнуть откровенности молодого неуместным замечанием. Он слушал, время от времени улыбаясь и кивая головой. Он знал все, о чем ему рассказывал Мошна. Сам был комиком, знаменитым комиком старого закала, носителем чешского народного юмора, немного грубого, за которым, однако, всегда чувствовалось бунтарство — и немного слез... Как же было ему не понять Мошну, паренька той же судьбы, той же беды и мечты...

Так прошли они по Кармелитской улице с ее мещанскими домами и дворцами, миновали казармы возле Уезда и вышли в пролетарский Смихов. Низенькие домишки, натыканные где попало, робко начинающие образовывать улицы, напомнили обоим их молодость.

— Видишь ли, я сам через все это прошел, и много раз мне было вовсе не до смеха, — начал рассказывать Кашка: после исповеди Мошны у старика растаяло сердце. — Но что-то неудержимо гнало меня в театр... Начинал я в Каэтановом, в любительском кружке. Любители были все студенты, будущие доктора, профессора, а я едва умел читать и писать. Понимаешь, наш брат даже на сцене не решается играть господ, королей да герцогов. Для такого, как Колар, это естественно, для Тыла или для Крумловского тоже — все это люди образованные, — а я... Я всегда чувствовал себя увереннее среди своих, маленьких людей, ремесленников да слуг. Когда же приходилось играть кого повыше, я его приближал к себе — ну, комизмом, конечно! Это-то уж мы умеем — понимаешь, мы, которых жизнь научила все видеть с изнанки, видеть, чем подбиты плечи да грудь у больших господ!

— А как вы попали в театр, маэстро? — спросил Мошна, увидев, что немногословный Кашка так разговорился.

— Мне повезло, по-настоящему повезло, — задумчиво отвечал Кашка и развел руками. — Я с Тылом встретился — золотое сердце, мальчик! Никого я, пожалуй, так не любил, как его. Был он немного чудак, вспыльчивый, страстный человек, много недругов имел. Я знал, что Йозеф Каэтан Тыл работает в театре и что он мне в этой моей мечте поможет. А я шил на него... Боже, сколько лет прошло! — вздохнул старый актер, прикрывая глаза и простирая руку, словно хотел поймать тени ушедших лет.

Мошна с тихим почтением посмотрел на него. А Кашка, вздохнув еще раз, продолжал — и лицо его прояснилось:

— Однажды моя добрая матушка подарила мне три талера. И когда я вынул их из ваты в коробочке, первой моей мыслью было: Ян, эти деньги, это материнское благословение, ты обязан обратить на какое-нибудь патриотическое дело; и конечно же, я прежде всего подумал о чешском театре. Не откладывая в долгий ящик, я на другой же день отправился в казарму крепостной команды, где жил

Тыл — он служил тогда по военному ведомству. Постучался, услышал вежливое «Войдите!» и вошел. Я очутился в просторной комнате с тремя солдатскими койками — вместе с Тылом там жили еще два военных чиновника.

Тыл как раз собирался на службу, но, увидев меня, спросил ласково: «С чем пришли, голубчик?»

«Пан Тыл, — сказал я с великим почтением, — слышал я, вы собираетесь основать чешский театр и принимаете доброхотные даяния на его устройство. Вот и осмеливаюсь я попросить вас принять от меня эту малость». И выкладываю ему свои три талера.

Тыл посмотрел на меня, и мне показалось, что он растроган.

«Пан Кашка, — говорит, — вы доставили мне большую радость тем, что именно вы принесли такой большой дар. Я принимаю его, словно это целое состояние!» Он подал мне руку и пожал с таким чувством, что поразил меня до глубины души. Я был так ободрен приемом, что решился высказать еще одну просьбу, и вот, потоптавшись на месте, сказал: «Пан Тыл, ваше ласковое отношение настужь открыло мое сердце, и теперь я должен высказать все. Есть у меня еще одна великая просьба: может, останется у вас когда лишняя роль, пусть маленькая такая ролька, пусть без слов, — как был бы я рад, если бы вы тогда вспомнили обо мне... Конечно, если остальные господа участвующие не станут возражать против обыкновенного портного».

«Как могут они возражать? — решительно ответил Тыл. — Пусть будут благодарны, что нашелся еще один человек, желающий работать с нами!»

Ян Кашка замолчал и некоторое время шел молча, легонько покачивая головой и время от времени усмехаясь чему-то. Мошна тоже молчал, опасаясь неуместным замечанием нарушить мысли старого человека. А Кашка продолжал:

— В бывшем рефектории \* Каэтанского дома усердно готовились к открытию театра. Все участники собирались в кофейне «У черного орла», куда однажды по приглашению Тыла пришел и я.

Когда Тыл представил меня, все согласились меня принять — кое-кто даже с восторгом. Все — кроме одного человека... Ты не поверишь, — это был Карел Гинек Маха! Едва Тыл объяснил, кто я такой, Маха одарил меня столь мрачным взглядом и сделал это до того явно, что я вынужден был спросить Тыла, что имеет против меня этот пан? Тыл успокоил меня, сказав, что не надо обращать внимания, таккова уж манера пана Махи, он всегда прикидывается суровым. Однако я прекрасно подметил, что Тыл покривил душой... Когда же начались репетиции, Маха начал отпускать в мой адрес разные ехидные замечания и дошел до того, что заявил при мне: «Не понимаю, зачем Тыл принимает людей, которые не могут ни блеснуть, ни показать се-

бя! От этого пострадает наша репутация!» Эти слова задели меня так больно, что я решил уйти тотчас после первого представления — мне в нем уже была поручена роль, и я не хотел никого подводить. Я, наверно, так и поступил бы...

Мощна внимательно слушал Кашку, словно укладывая каждое слово его в сердце, как укладывают бережно золотые монеты. Ему стало очень хорошо на душе. Все то трудное, что он успел пережить, вдруг показалось ему драгоценным, освященным высокой идеей.

— Для первого представления, — продолжал старый актер, — мы приготовили «Меч Жижки» Клицеры, и я получил роль Поглтоньского.

Прочитав эту роль в первый раз, я оцепенел: она была комической. У меня даже волосы дыбом встали. Где это Тыл откопал во мне комическую жилку? До сих пор не могу понять... Я лично о таком своем качестве понятия не имел. Интересно, что некоторые свойства, совершенно органичные для человека, открывают в нем посторонние люди...

Тут Мощна вспомнил слова Крумловского: «Да ведь ты комик, братец, прирожденный комик!» — и совпадение поразило его.

— В глубоком убеждении, что роль Поглтоньского не для меня и что я неизбежно провалюсь, я учил ее с чувством безнадежности, однако прилежно — ведь она должна была стать моей последней ролью.

На первой репетиции я читал ее чуть ли не как школьник читает букварь и сам радовался, что знаю ее наизубок, но тут сам Тыл взял меня в оборот. Он показал мне, чего от меня хочет, и, когда я выполнил его желание, был в высшей степени доволен. Однако веры он мне внушить все равно не мог. Я не сомневался, что провалюсь.

Прошло репетиций шесть, и наступило воскресенье, а с ним — первое представление. Первый акт шел как по маслу. Публика, переполнившая театр, ликовала. Но по мере приближения второго акта, в котором я был занят, меня все сильнее охватывал страх.

Наконец второй акт начался. Я стоял за кулисами, готовый к выходу, с пистолетом в руке, и чувствовал себя как новобранец, которому предстоит впервые участвовать в смертельном бою. С какой радостью поменял бы я хорошую роль Поглтоньского на роль хотя бы рудокопа, который молча вынесет на сцену ящик с поддельным мечом Жижки!

Но вот я вышел. Начал говорить, и вижу, как на лицах зрителей отразилось какое-то удовлетворение, потом они заулыбались — и подумал, что, кажется, играю как надо. Тут уж я стал играть с огромной охотой, улыбки публики перешли в громкий, сердечный смех, потом грянули рукоплескания, и они повторились по окончании второго акта и не смолкали, пока я дважды не вышел кланяться.

С меня спала пудовая тяжесть, я словно заново родился, а потом все участники спектакля пожимали мне руку и желали больших успехов.

Сам Тыл не говорил ничего, но всем своим поведением показывал, что много доволен мною. И такая это была для меня радость, мальчик, что я думал — взлечу к облакам.

Третий акт прошел еще лучше. После каждого ухода со сцены и потом после конца акта меня много раз вызывали.

Спектакль закончился, и мы уже переодевались, как вдруг распахнулась дверь, и в гримерную вошел Маха. Протягивая руку, он двинулся прямо ко мне:

«Кашка, Кашка, ради бога, простите меня, добрый человек! Я был настолько глуп, что хотел оскорбить вас. Вы несомненно презираете меня... Простите мою жестокость! Я приложу все силы, чтобы дружбой своей изгладить из вашего сердца самомалейшее воспоминание о моем недостойном поведении...»

Я был до того тронут, что не мог отвечать. Но когда Маха обнял меня, со всех сторон раздались крики: «Отлично, Маха!...» Ах, это был особенный человек...

Кашка остановился, вздохнул... Потом, вынув платок, утер глаза. Мошна же был так захвачен рассказом, что не заметил, как они подошли к цели.

Смиховский вокзал шумел перед ними — паровозные гудки, свистки, лязганье буферов...

Майское солнце с трудом пробивалось сквозь грязные окна зала ожидания. Двери, ведущие на низкий, крытый лишь наполовину перрон, были заперты. За окнами, на путях, пыхтели паровозы — добрые, приземистые, запыхавшиеся маневровые паровозы; временами они издавали сердитый свист или с шипением выпускали облака пара.

Зал был переполнен. Узлы всех возможных и невозможных форм, чемоданы, невыспавшиеся женщины с плохо умытыми детьми, погруженные в мысли мужчины... В толпе попадались деревенские люди, — притихшие, испуганные, они тупо озирались. Этих людей со скрытой или откровенной брезгливостью сторонились те, кто был одет получше.

В первой половине шестидесятых годов прошлого века на таком вокзале можно было увидеть как бы картину жизни в разрезе. Люди устремлялись в погоню за работой. Прага строила и расширяла первые свои фабрики и заводы, изгоняя дорогостоящий, перентабельный ручной труд. Индустриализация деревни, растущая добыча угля, а главное — строительство новых железных дорог породили осо-

бый вид сезонных рабочих — он-то, вместе с семьями, нередко и заполняли вокзальные залы.

Всякий раз как усатый дежурный по вокзалу звонил в ручную колокол, среди ожидающих начинался переполох. Люди вставали, кидались куда-то, кричали, хватались за узлы...

— Обычно я беру с собой пустой чемоданчик, чтоб не бросаться в глаза, — объяснил Мошна Кашке. — И делаю вид, будто кого-то жду, разыгрываю нетерпеливого или вроде я уезжаю в дальний путь...

— Да, понимаю, — кивнул Кашка.

— Посмотрите, маэстро, туда, в угол! — Мошна показал на старика, который сидел на своем узле и опирался подбородком на палку. — Настоящий король Лир!

— Все это хорошо, — сказал Кашка, — но надо с ними разговаривать, понимаешь, чтобы подышать одним с ними воздухом, узнать о них все. Ведь каждый человек здесь — целый роман.

— Я так и делаю! Вы не поверите, маэстро, я попадал в довольно сложные переплеты — и никто не догадывался, что я актер!

Оглядев внимательно зал, Мошна кивнул в сторону группы переселенцев:

— Вот и я так же... совсем недавно... бродил по свету. Только не знаю, — вздохнул Индра, — как же я, комик... Как же мне, комику, применить все, что я узнал и перевидал?

Старый Кашка пасунился.

— Послушайте, Мошна, что вы все — «комик» да «комик»... Я это заметил на первом же сборе трупы. Кой черт внушил вам, будто комик нечто менее ценное? Я ведь тоже комик! — воскликнул старый друг Тыла с такой гордостью, словно говорил: я — высший и строжайший судия! — Возьмите хотя бы этот грязный зал ожидания, повертите его немного в руках, и получится у вас такая комедия, что сердце захолодет! Острая, как лезвие!

С удивлением и восхищением смотрел Мошна на своего знаменитого коллегу. Он так был поражен этим взрывом тихого и мудрого Кашки, что осмелился только прошептать:

— Простите, маэстро...

Они уселись на одну из деревянных скамей и стали наблюдать сцены, которые разворачивала перед ними жизнь этого зала.

Вдруг к ним подсел запыхавшийся человек в зеленовато-черном пальто, в мягкой темной шляпе, с сединой в усах. При некоторой робости в худом лице его была какая-то решительность.

— Господа, я знаю, кто вы, и верю вам, — торопливо, вполголоса, заговорил незнакомец. — Мне нужно передать кое-что в поезд, а я предполагаю, что за мной по пятам идут сыщики! — Он быстро вынул из-под пальто сверток, обернутый в бумагу. — Пожалуйста,

спричьте скорее, только на время, очень прошу! Пронесите на перрон, а у поезда я снова возьму. Вы поможете доброму делу. Спасибо!

Мошна, в руки которого незнакомец вложил сверток, от волнения совершенно потерялся. Зато Кашка мигом все сообразил и кивнул незнакомцу.

— Да суньте вы его под полу и не смотрите такими дикими глазами! — прошипел он Мошне, разворачивая помер «Пражских новин», чтобы закрыть ничего не понимающего юлошу.

Между тем в зал как-то незаметно, друг за другом, вошли два человека в обыкновенной одежде, но с теми характерными лицами сыщиков, которые ни в какие времена не могла скрыть маска добропорядочности. Они прошли по залу, словно незнакомые друг с другом, с профессиональной мнимой незаинтересованностью разглядывали людей; не обошли они взглядом и человека в зеленовато-черном пальто и мягкой темной шляпе, который стоял теперь в углу с рассеянным видом. Потом эти двое подошли к выходу на перрон и стали там, прислонившись с обеих сторон к косякам двери, притворяясь, что с нетерпением ждут поезда. Оба сыщика были без багажа, зато каждый держал в руке здоровенную палку.

Мошна торопливо закинул сверток себе в карман, но был так взволнован и растерян, так неловок, что едва не столкнулся со скамейкой Кашку.

Преследуемый человек по-прежнему стоял в углу, держа руки в карманах. На секунду взгляд его встретился со взглядом Мошны, который все время беспокойно озирался, и ему показалось, будто незнакомец подмигнул ему. Его прошиб пот, он захотел вынуть платок из кармана, но, дотронувшись до злополучного свертка, отдернул руку словно ужаленный.

— Вы должны успокоиться, Мошна, примите безразличный вид, если хотите помочь тому человеку и не хотите попасться сами! — довольно сердито пробурчал Кашка из-за газеты.

— Ну конечно, само собой, хе-хе, а как же иначе? — усердно закивал Мошна.

— Или знаете что, дайте-ка лучше мне, я сам пронесу!

— Да нет, зачем же, я... это для меня пустяк, ведь... что вы! — отказался Мошна больше из соображений престижа.

— Правильно — надо не только смотреть, но и участвовать... — проворчал Кашка.

В эту минуту дежурный распахнул дверь на перрон, зал встрепенулся; выглянув наружу, дежурный оглушительно зазвонил в ручной колокол и принялся выкрикивать время отбытия поезда и названия остановок.

Зал ожидания стал похож на потревоженный муравейник. Полезли к двери узлы. Дети заплакали, поднялась неразбериха, все ри-

нули к двери, где немедленно возникла давка. Слышно было, как кричал дежурный:

— Потише! Времени хватит, не уедет без вас ваш поезд, черт, не напайрайте же так!

Но людской поток невозможно было остановить.

Сыщики по бокам двери пристально оглядывали каждого проходящего.

— Нам тоже надо пройти, — шепнул Кашка побледневшему Мошне, у которого даже лицо обтянуло. — Ну, держитесь! На сцену!

— Не беспокойтесь, я не... хе-хе! — Индра хотел изобразить беспечность, но голос его сорвался.

— Главное — спокойно! Спокойно!

Теперь к двери подошел и незнакомец — поток людей нес его, толкая со всех сторон. Мошна с Кашкой влились в толпу.

Сыщики время от времени останавливали кого-нибудь, но тотчас отпускали.

Пассажиры, которых эти досмотры задерживали, возмущались, размахивали руками, насколько это возможно было в толчее, что-то объясняли и, взяв свои вещи, протискивались вперед. Те, кто не знал причин остановок, ругались.

У Мошны — это было прямо-таки видно по нему — сердце так и уходило в пятки; по ногам бегали мурашки. Кашка даже взял его под руку, но Индра вырвался. Он сам сыграть свою роль, и сыграть безупречно! Он не отрывал глаз от темной шляпы незнакомца, то и дело мелькавшей где-то впереди.

— Да не смотрите вы, ради бога, на этого человека! Что вам за дело до него? — услышал он предостерегающий голос Кашки.

Шляпа была уже у самых дверей. Вот остановилась. В тот же миг у Мошны остановилось сердце. Он вытянулся на носках.

— Перестаньте же, черт возьми! — уже сердито дернул его за локоть Кашка.

Сыщики явно ждали именно этого человека. Остальных они задерживали только для отвода глаз. Теперь же, когда человек в зеленоватом черном пальто очутился в дверях, то есть между ними, они хлопнули его по плечу и тотчас отвели в сторонку.

Все произошло быстро и просто. Багажа у незнакомца не было, и он спокойно дал себя обыскать.

Кое-кто из толпы посмелее, догадавшись, в чем дело, начал вполголоса ворчать, поминая закон о свободе личности. Один, правда, выкрикнул громко:

— Ну да, свобода — на бумаге!

Станным образом теперь уже вся толпа знала, что происходит, и среди общего гула явственно слышались такие слова, как «венские господа» и «пражская полиция».

Кашка с Мошной еще не дошли до двери, как обыск был закончен и незнакомец весело бежал к поезду.

Толпа, однако, вовсе не желала еще отказываться от случая высказать свое мнение. Людям не хотелось так расставаться с приятным сознанием, что все они думают одинаково.

— Опять обыскивают...

— В Венгрии, небось, не посмели бы!

— Это только мы, чехи, молчим...

— Гляньте, гляньте, как эти Каины глаза таращат!

Люди отпускали замечания как бы про себя, продолжая при этом пропихиваться со своими узлами, но им радостно было высказывать наболевшее.

Мошна вдруг потянул Кашку за рукав:

— Господи, у нас ведь билетов нет! Что мы скажем?

— Идите, идите, вас никто про билеты не спрашивает!

Чем ближе к двери, тем оживленнее жестикулировал Мошна, тем растеряанее он улыбался.

Вдруг он с такой энергией стал пробиваться вперед, что Кашка не успевал за ним.

— Эй, чего толкаетесь, молодой человек? — окликнул его какой-то дядька с длинным мешком на плече.

— Потише, потише, голубчик, — осаживала его маленькая бабка с огромным, больше нее самой, узлом.

Дядька оглянулся, нечаянно сбив своим длинным мешком шляпу с головы Мошной. Шляпа свалилась под ноги одному из сыщиков. Мошна кинулся за ней. Сыщик нагнулся, подал ему шляпу — видимо, хотел показать, что он еще и вежливый человек.

— Спасибо! — в крайнем волнении вскричал Мошна. — А то у меня шляпа-то, хе-хе, упала... Дядюшка, вы где? — стал он озираться в поисках Кашки. — Со мной, знаете, старенький дядюшка, — громко говорил он сыщнику, показывая на Кашку, хотя никто его ни о чем не спрашивал.

— Куда едете? Билет есть? — спросил его дежурный по вокзалу.

— Конечно, есть, то есть нет! Оба билета у дяди! — все оборачивался Индра к Кашке, разлученному с ним напором толпы.

— Эй, голубчик, у вас из кармана что-то высовывается, как бы не выпало, — потянула Мошну бабка за полу.

— Где? Господи! — в отчаянии воскликнул Мошна. — Да вы же беспокоитесь, матушка!

— Как же не беспокоиться? — гнула свое старушка. — Еще кто вытащит! — И она сама вытянула сверток у Индры из кармана и подала ему перед самым носом сыщика.

Мошна хотел было схватить сверток, да отдернул руку.

— Что вы, это не мой! — вырвалось у него.

— Да твой, твой,— возразил Кашка, протолкавшийся тем временем к своему молодому товарищу.— Смотри, чуть ведь не потерял.— И он с милой улыбкой взял сверток и спрятал к себе в карман.— Это мы закусить взяли, бабушка,— объяснил он.

— Ну да, закусить, я и забыл совсем, на завтрак прихватили, ну конечно! — неестественно смеясь, подхватил Индра.

— Не задерживайтесь, господа! — поторопил их один из сыщиков.

Мошна выбрался из толпы мокрый от пота; он услышал, как кто-то сказал:

— Это артист пан Кашка!

Дежурный, улыбаясь, отдал Кашке честь.

— Что теперь? — спросил Мошна.

— Да ничего, катись теперь к черту! А то поезд уедет! — Кашка, слегка оттолкнув Мошну, поспешил к поезду.

Мошна стоял на перроне, вытирая пот. Он совершенно не мог отдать себе отчета в том, что произошло.

Кашка вскоре вернулся.

— Все в порядке, господин герой! — И, улыбнувшись, он похлопал Мошну по плечу.

— Разве я плохо сыграл? — развел руками тот.

— Отлично! По рассеянности чуть сам на себя не донес! — махнул рукой старый актер.

Мошна страшно смутился.

— Понимаете, маэстро, на меня порой нападал такой страх. Ведь это не пустяк! Как знать, что там, в этом свертке? Драгоценности, воровские инструменты, кинжалы?... — запугивал себя Мошна.

— Ну да, воровская добыча — а может, и песенки, умная голова! — тихо и многозначительно ответил Кашка.

К этому времени они уже вернулись в зал ожидания и собирались в обратный путь.

— Обо всем, что было,— никому ни слова! Этот человек открылся мне — на случай, если что не так, чтоб мы знали, как себя вести. Чудесно, что он оказал нам такое большое доверие,— очень серьезно проговорил Кашка.— А был это типограф от Хааса. Они там отпечатали кое-какие песенки, полиция конфисковала весь тираж, а этот человек выкрал самые острые из них и везет их теперь в провинцию. Какой-то подлец, видимо, донес, и полиция его ловила. Вот и все.

— Всего-то песенки? — разочарованно спросил Мошна.— Сколько суеты из-за песенок — а я-то воображал бог весть что!

— Вот и видно, мальчик мой, что ты еще ничего не понимаешь! Бывают такие песенки, что за них десять лет припать могут!

— Ага, маэстро, сами говорите, что дело пахло тюрьмой,— что же удивляться, если я немного того...

— Ну так что же? Жизнь, мальчик мой, не игра! Но главное, все сошло отлично. Он дал мне один экземпляр на память, потом мы с тобой споем вместе.

Мошна перевел дух. После долгого раздумья он смущенно взглянул на своего мудрого товарища:

— Вы правы, маэстро, я еще совсем теленок! Никогда не забуду эту премьеру без репетиций!

Тем временем к дебаркадеру подошел поезд, и пассажиры хлынули с перрона в зал — опять узлы, крик, толчея...

В этой толчее пробивалась вперед, таща большую корзину, девушка лет девятнадцати, по-деревенски повязанная красивым цветным платочком. Чуть вздернутый носик, несколько веснушек, светло-серые глаза, теперь испуганные и все-таки блестящие, ясное, открытое лицо. Не успела она оглядеться, как толпа понесла ее, совершенно беспомощную, обремененную огромной корзиной.

Мошна сразу обратил на нее внимание и с интересом стал разглядывать ее красивую, сильную фигуру. Не отрывая от нее глаз, он взял Кашку за руку:

— Взгляните, маэстро,— Доротка!

— Какая Доротка? — но тут и Кашка увидел девушку, и взгляд его подобрел. — Да, ты прав — настоящая Доротка Трнкова... Что же ты смотришь?! — прервал он сам себя. — Ну-ка, Индра, бежим к ней, поможем — корзина-то какая, да она ее раздавит!

Мошна тотчас бросился к девушке, чуть не с боем пробиваясь через толпу. Пробившись наконец, он без всякого смущения приподнял шляпу:

— Позвольте, барышня, корзиночку...

Девушка подняла удивленные глаза.

Здесь-то и добился сегодня Мошна наконец успеха — добился своей улыбкой и бесхитростным ребяческим взглядом, которые с первого раза завоевывали ему приязнь публики. Девушка пробормотала что-то, покраснела и потупила взор — на корзину, конечно, — но не могла удержаться от улыбки. И она без слов, с трогательной доверчивостью отдала «корзиночку». Мошна взвалил ее на плечо — он, правда, крикнул и несколько пригнулся под ее тяжестью, однако сумел-таки еще учтиво поклониться — и, шатаясь, понес свой груз к выходу. Девушка, глубоко переведя дух, пошла за ним послушно, как овечка. Быть может, она думала, что в большом городе это в порядке вещей.

Улыбающийся Кашка шел за ними.

— Вот такие роли умеет играть этот бездельник, — ласково пробурчал он.

Перед вокзалом, где пассажиры расходились в разные стороны и где стояло несколько извозчиков, зазывая седоков получше, к девушке подбежал пожилой человек в темном длинном сюртуке, светлых панталонах, в новой клетчатой шапке и с бакенбардами на румяном лице — судя по всему, мелкий пражский предприниматель. Девушка, бросившись к нему, поцеловала ему руку:

— Дядя, дядя, вот я и приехала!

Мошна остановился с корзиной в руке и тоже невольно улыбнулся, словно сам был членом этой семьи.

— Где же твои вещи? — спросил дядя.

Девушка растерянно показала на незнакомого своего рыцаря:

— Здесь, дядя...

Дядя удивленно поднял брови, набрал воздуха в легкие и двинулся к Мошне, становясь все мрачнее и мрачнее; весьма невежливо накинудся он на бедного царя:

— А вы кто такой?!

— Я... Я... Вот барышня... — пролепетал Мошна.

— Этот господин был так добр, что помог мне, — объяснила девушка с твердостью, которая заставила дядю нахмуриться еще сильнее. С решительностью, с какой без единого слова выбрасывают из трактиров нежеланных клиентов, он вырвал из рук Мошны корзину и крикнул:

— Вы эти штучки бросьте, молодой человек, она честная девушка!

Помахав свободной рукой под носом у окаменевшего Мошны, он повернулся к племяннице:

— Дуреха! Не хватало первому встречному на удочку попадаться! Тут всякие ходят! Пойдем!

Смерив еще раз осуждающим взглядом Индру, он повел спасенную от развратного хлыща девицу к пролетке, в которую с большим достоинством усадил ее и сел сам. Извозчик весело щелкнул кнутом. Кашка подошел к грустному Мошне:

— Ну что? Кажется, тебя выбили из роли?

Мошна, не отводя жалобного взгляда от пролетки, только прошептал:

— Ах, Доротка...

Девушка оглянулась из пролетки, по злой дядя одернул ее.

Индра поднял руку и несмело, тихонько помахал ей вслед одними пальцами.

Индрих Мошна попал во Временный театр на втором году его существования, став участником и очевидцем его трудного начала. Вплоть до открытия Национального театра, то есть в течение

двадцати лет, Временному предстояло быть единственной стационарной площадкой чешского драматического искусства.

После шумного торжественного открытия этого и в самом деле временного, маленького, тесного театрика, после того как спала волна энтузиазма, нахлынули будничные заботы: надо было играть беспрерывно, надо было научить чешскую публику ходить в театр, сделать так, чтобы это стало потребностью для нее, а не только патриотической демонстрацией, праздником, исключительным событием.

В этом смысле верными оказались предположения осторожного Франтишека Ладислава Ригера. Первые годы в коммерческом отношении жили, строго говоря, за счет опыта и средств директоров-немцев: необходимая хитрость, но никак не решение вопроса. И если Неруда сказал, что театр сам должен дать все необходимое для жизни — от пьес и актеров до публики, — это был отнюдь не риторический прием. Дитя родилось и должно было жить — хотя бы пока и на искусственном питании.

Первые трудности надо было одолеть во что бы то ни стало! А задач было много, задач тяжелых, утомительных. Надо было думать не только о хлебе насущном, но и о далеком будущем. Главное затруднение заключалось в том, что политические, патриотические и творческие проблемы были слишком велики для маленького театра, что такой театр даже при дотациях никогда не мог стать рентабельным. Надо было начинать все сразу — оперу, балет и драму. (Вот почему драматическим актерам приходилось петь, в случае надобности — танцевать, а певцам — выступать в драме.) К тому же пражская публика привыкла к мировой славе Сословного театра, с которым Временный никак не мог состязаться. В этом плане Ригера — начать с маленького театра — оказался ловушкой.

Но существовало одно сокровище, которое само по себе уже являло силу, и без него ничто бы не помогло; этим сокровищем были скромность, терпение и горячая, неподдельная преданность чешских актеров идее собственного театра. Именно они помогли преодолеть невзгоды, сомнения, ожидание, ссоры первых лет, политические махинации, борьбу за личный престиж, финансовые спекуляции, неудачи, насмешки... Без всех этих бывших столяров, портных, паборщиков, литейщиков, недоучившихся студентов, без этих людей, привыкших к нужде, лишениям, к неутомимой работе, ставших актерами по велению горячих своих сердец, — без них прозвучали бы впустую все воззвания. То была школа Йозефа Каэтана Тыла, школа бесконечной любви, отваги, энтузиазма и стойкости; она дала людей, которые под крышей нового своего, пусть временного, театра справились со всеми невзгодами и дотацили повозку чешского драматического искусства до крепких стен большого Национального театра.

По рождению, по духу и по выучке к числу этих людей принадлежал и Индржих Мошна. Он скоро сошелся со всеми, а со многими вступил в горячую дружбу на всю жизнь. Кроме трудностей, которые испытывали все члены труппы, были у Мошны и личные неприятности. Однако он скрывал их. Он ведь тоже мог драться за роли, пробиваясь вперед, мог даже бежать из театра, как это сделал Колар, но он знал, что в эти недобрые времена бегство равносильно измене, что последний рядовой — боец в полном смысле слова. Нет, это объяснялось не уступчивостью, робостью или покорностью Мошны. Напротив: тысячи вещей задевали, возмущали его, его честолюбие все время готово было взбунтоваться — но разве на это было время? Можно ли было тешить свое самолюбие, думать о личном престиже, когда речь шла о жизни или смерти чешского театра, о его чести?

Когда Йозеф Иржи Колар в это самое время перешел из чешского театра в немецкий Сословный, Мошна заметил Сейфурту:

— В деревне пожар, а он злится, что ему растрепали прическу! Сейфурт встал на защиту Колара:

— Он великий художник и гордый человек. Надо было обходиться с ним соответственно, а не давать ему второсортные роли.

— Сомнения нет, он великий актер и писатель, — возразил, подумав, Мошна. — Но бывает время, вроде нашего, — и величие этого времени заключается, я думаю, еще и в том, что люди честно выполняют мелкие будничные обязанности. Оттого, что Колару раз или два предложили сыграть роли поменьше просто из-за нехватки артистов, — его величие ничуть не пострадало бы. Наоборот!

Индржих Мошна играл почти каждый день, играл все, не гнушась даже появляться на сцене статистом. Чаще всего такие случайные выходы вызывались необходимостью кого-нибудь заменить. Но именно эти замены расширяли диапазон молодого комика.

Часто играл он и в Новоместском театре, на сцене которого, особенно в летние месяцы, ставился обычно легкий репертуар — комедии, фарсы, оперетты, переведенные или более или менее удачно переделанные иностранные пьесы. То был тяжкий труд — порой буквально актерская поденщина.

Но Временный театр оставался для чешских актеров святыней. И это спасало их. Ничто не могло их смутить — ни малые сборы, ни тяжелые условия, ни насмешки — потому что это был их театр, от которого предстояло пойти настоящему Национальному театру.

У богатого стареющего торговца текстильными изделиями Франтишека Лигерта, владельца фирмы «Лигерт и К°» (под этим «К°» скрывался тот же Лигерт), была мечта: содержать театр. То

было делом его величайшего тщеславия. Еще голодным юношей с дырявыми карманами он больше всего любил словиться вокруг театров; огни театра притягивали его, как замерзающую ночную бабочку.

И вот теперь, богатый, опытный, как он сам о себе полагал, Лигерт мог наконец осуществить давнюю свою мечту и взять в руки таинственные ниточки, приводящие в движение кукол перед восхищенной публикой.

После разорения первого директора Временного театра господина Томе был объявлен конкурс на замещение этой должности, и пан Лигерт скромно заявил, что желает в нем участвовать. Он отлично знал, что соперников у него нет. Наиболее опасные «друзья» из его соотечественников-немцев отпали, а среди чехов не было никого, кто мог бы предложить такие условия, какие предлагал он. При содействии могущественного человека, депутата доктора Ригера, позабывшегося о том, чтобы из условий конкурса был изъят пункт о необходимости для соискателей обладать специальным образованием, Лигерт прошел.

Таким образом торговец текстильными изделиями сделался вторым директором Временного театра.

Ригер был доволен. Новорожденное дитя еще нуждалось в том, чтобы его прикармливали. Чешского капитала не было, и вот нашелся человек, охотно взявший на себя роль приемного отца. Играть, жить, стремиться вперед! А все остальное — сентиментальные речи, за которые никто ничего не купит. Когда дитя станет на собственные ноги, то именно он, Ригер, первый проголосует за его самостоятельность, за то, чтобы открыть ему дорогу к блестящему будущему. Кто из всех этих молодых крикунов в «патриотических» сюртуках знает, что такое практическая политика, что такое бескорыстная любовь к нации?

Лигерт, однако, боролся за директорство во Временном театре вовсе не для того, чтобы стать его восприемником. Должность директора Временного он рассматривал только как мостик к Новоместскому театру, управление которым он в свое время тоже вырвал у обессиленного Томе. Захватив Новоместский, он покажет всему миру, кто такой Лигерт! А Временный? Что ж, пусть так и остается временным...

Едва утвердившись, Лигерт поставил в Новоместском театре великолепную программу — такой программы Прага действительно не видывала.

Если некогда Лигерт наводнил Прагу вельветом и дешевым шелком, то теперь он задумал поразить Прагу — да что Прагу — Вену, всю Европу! — невиданными зрелищами. Но театр — не торговля тканями!

Временный театр со своим самоотверженным экипажем казался в ту пору утлой лодочкой, захлестываемой бурными волнами предпримчивости Лигерта.

С мая до конца сентября в Новоместском шли непрерывные представления — чешские актеры Временного были там, скорее, на побегушках, заполняя собою все пышные, помпезные спектакли. Балеты, оперы, дорогостоящие постановки драматических произведений лавиной обрушились на пражских зрителей. И публика валом валила в Новоместский. Лигерт приглашал самых знаменитых примадонн всех стран мира. Звезды парижской оперы, прославленные итальянские певцы, примабалерины русского императорского театра, первые танцовщики венского придворного театра — Прис, Бо, Карона, Корилья, Ригольбош, Клара Моргана, Брюнетт, Эспиноса, Джон Бликк, Гелин, Лукреция, Карл де Паскалис и другие... Париж, Петербург, Вена, Милан, Лондон, Стокгольм, даже Мадрид поставляли Лигерту все, что только имело имя, включая одноногого испанского танцовщика Донато. На сцене Новоместского театра сменялись солисты и целые ансамбли. Гонорары выплачивались, какие кто желал, — за одно выступление знаменитость получала гонорар, который легко покрыл бы годовую плату актерам Временного. Экономии на малых, великих осыпали золотом. Деньги на дорогу, содержание, коляски, отели, букеты, хвалебные рецензии, клаку, ужины, памятные подарки — все это пан Лигерт с щедростью испанского гранда оплачивал из средств, выжатых им из ткачей и ткачих своих фабрик.

У старого Лигерта, казалось, помутился рассудок.

А Временный театр зиял пустотой. И Лигерт, вместо того чтобы воспитывать публику, портил ее своими космополитическими безумствами, развращал ее вкус. Это было ослепительно и опасно.

Мошна, вынужденный, как и другие чешские артисты, играть в Новоместском, возвращался с этих пышных празднеств удрученным. Правда, он видел такое, чего ему никогда бы не удалось увидеть. Как артист он извлек огромную для себя пользу, и все же после каждого представления он ощущал во рту как бы пепел. Он угадывал, что во всем этом, мягко говоря, неистовстве пана Лигерта есть что-то дьявольское. Не улыбка — оскал! Не радость — судорога, оглушенность!

И Мошна не один это чувствовал.

Друзья папа Лигерта из делового мира в сомнении качали головами:

— Ох уж этот Лигерт! И кто бы подумал!

— А производил впечатление человека цифр — отличного финансиста, хладнокровного и рассудительного. Как умел он топить конкурентов — прелесть! Должник повесится, а Лигерт и бровью не поведет!

— Видно, матушка прижила его с каким-нибудь графом, — заявил старый Розенталь-младший, сын старого Розенталя, фирма «Поро-пух». — И граф этот наверняка был полоумным! Иначе как объяснить, что такой порядочный, такой трезвый и осторожный человек вдруг столь резко изменился?

— Недавно Лео говорил, будто одни только гастроли балета парижской Гранд-Опера стоят Лигерту десять тысяч золотых!

— Um Gotteswillen<sup>1</sup>, да это почти годовая дотация Временному!

— А выручка?

— Спросите у Лигертова бухгалтера!

— Это и Ротшильду не по силам...

— Не знаю, не знаю, пан Эстеррейхер...

Весной шестьдесят пятого года пан Розенталь встретил на улице Мошну и остановился поболтать с ним. Они были знакомы по заданию Швертасека, куда пан Розенталь ходил завтракать, — Мошну туда затащил однажды Шамберк. Швертасек был своего рода пражской знаменитостью. Он держал ресторан и кондитерскую. Целый день в обоих небольших залах Швертасека горели лампы, здесь терялось ощущение времени. Розенталь приходил сюда перекусить, выпить стаканчик рюдесгеймского, Мошна же, экономящий, как и пан Розенталь, забегал сюда лишь изредка.

— Какая приятная встреча, пан Мошна! — радостно воскликнул старый Розенталь-младший, словно увидев хорошего знакомого, хотя встречались они едва ли раз пять; правда, оба с первого взгляда поправились друг другу. Мошне Розенталь импонировал своим суховатым юмором и еврейской мудростью. Старый пражский еврей, он любил Прагу и полюбил Мошну, отзываясь о нем так: «Хитрый он человек, все улыбается, а сам думает себе свое». Теперь он ласково посмотрел на актера и, прищурив маленькие глазки, заговорил:

— А что я хотел вас спросить, пан Мошна, — что подельывает ваш директор, знаете, этот Лигерт? — Не ожидая ответа, он посыпал скороговоркой: — Как он взбудоражил нашу Прагу! Даже одноногий какой-то из самой Испании танцует у него... А что скажете вы, пан Мошна, как специалист? Ведь все это, пожалуй, стоит огромных денег, не так ли?

— Этого я не знаю, пан Розенталь, но не правится мне все это, хотя публика вне себя от восторга.

— Вот-вот, я тоже так думаю, пан Мошна. Мне это тоже не по вкусу... Я, знаете ли... Думайте что хотите, назовите меня, пожа-

<sup>1</sup> Господи (нем.).

луй, глупым евреем, но вы не поверите — я предпочитаю заглянуть к вам во Временный или в Сословный послушать оперу. Вот это — солидно. Хотя пришлось мне повести свою Рэзиньку в Новоместский, когда там был этот императорский балет. Вот уж верно, что красота, пан Мошна, но у меня от всего этого закружилась голова, и я всю ночь не мог уснуть.

— По-моему, у Лигерта от этого тоже голова закружится, — перебил его Мошна.

— Так-так, мои слова, пан Мошна, одного только не могу понять — правда, я человек глупый, — по скажите сами! Лигерт всегда был ловкий человек, ничего не скажешь, деньги он умел делать — по театр? Вы тут лучше должны разбираться, тоже ведь не первый день в театре... Что такое театр? — Розенталь вывернул кверху ладони. — На склад его не положишь, упаковать не упакуешь — предмет роскоши! Орудие настроения, пан Мошна. Но скажите на милость, как делать гешефт на настроении? Лучше уж лошадей держать! Не обижайтесь, пан Мошна, вы — совсем другое дело. Вы художник и не можете без этого жить, да еще и зарабатываете этим. Но скажите, ведь Лигерт — ведь я его знаю много лет! Мой папа — знаете, старый Розенталь, тоже фирма «Перо-пух» — в свое время дал займы Лигерту кое-какие деньжонки, а тот сделал из них сотни тысяч! Такой ловкий человек — и вдруг театр, да еще, простите, пан Мошна, с таким шумом! Вам здесь карты в руки, вы этим с малых лет занимаетесь и выучку пропли. У меня же перо-пух, что ж, не так благородно, но и перо-пух — вещь добрая, пан Мошна. У каждой порядочной девушки перин по крайней мере на две постели... В нашей семье был такой случай. Муж племянницы — Эльбоген, может, слышали, Эльбоген, «Кожки», отец его тоже был «Кожки», а началом положил их дед. Скупал шкурки по крейцеру, а кончил на Долгом проспекте, где по-честному — дайте этому человеку деньги ночью, без свидетелей, и он все вернет — купил лавчонку. Сын его сидел уже в кабинете и имел пятерых приказчиков. Эльбоген — «Кожки»! Ну, и вдруг внук, молодой человек, — понимаете, все были «Кожки», — возьми да начни заниматься пером, верите ли?! Это же несерьезно! Я работаю с пером сорок с лишним лет, и то почти ничего не понимаю, а этот молодой человек только что спит на перинах — так нет, дайте ему перо-пух! А этот Лигерт? Раньше, когда говорили «Лигерт», это значило «текстиль». Почему же теперь он стал «театр»? Он сумасшедший, теперь это видно, а как долго нас обманывал! Это несолидно, пан Мошна. Вы-то специалист, вы лучше понимаете. Взять текстиль — пожалуйста, под текстиль можно дать заем, текстиль можно сложить на складе, но театр?

— Театр — проклятая штука! — вздохнул Мошна, в голове которого пронеслись воспоминания обо всем, что ему пришлось пере-

жить, пока он получил место в Праге. Потом, улыбнувшись Розенталю, который не отводил от него вопросительного взгляда, Мошна добавил: — И все равно я не променяю театр на весь Долгий проспект, с Козьей улицей в придачу!

— О, не говорите так, пан Мошна, были бы вы владельцем этих двух улиц, вас бы и в Вене встречали с почетом. Но вы правы, любовь есть любовь, тем более что еще и заработок дает! Всякий должен любить свое дело и держаться его! — решительно заключил пан Розенталь; лицо его смягчилось, и он снова ласково посмотрел на Мошну.

— Когда вы играете, пан Мошна — пет, я не хочу вам льстить, какая мне выгода? — но я очень люблю на вас смотреть. Вы какой-то настоящий. Вам веришь, и потом вы никого не огорчаете... В общем, выучились своему делу, и хорошо выучились, и теперь оно дает вам заработок. — Тут старый Розенталь опять прищурил свои глазки и разнежился совсем. — Это все равно как перо-пух — не то чтобы я хотел сравнивать, сохрани бог, но возьмите пригоршню пуха, да хорошенько помните его, да подуйте, да пустите по воздуху — и перышко за перышком будет парить, парить и тихонечко опускаться, да и ляжет так на пол, легонько, как пена, легкая, легонькая, легчайшая пена — о, пан Мошна! Два золотых за фунт любовью с удовольствием заплатит за пух Розенталья — и вот, я сорок лет занимаюсь пухом, а почти ничего еще не понимаю. А тот Эльбоген, о котором я вам говорил, уже пошатнулся, и пан Лигерт плохо кончит — увидите, пан Мошна!

Кончился бурный Лигертов сезон, кончились шумные гастроли — пора было переходить к будничной работе, к ежедневной, обычной игре на театре.

Лигерт понес чувствительные потери, однако еще не скатился на дно. И все же, когда он, взяв карандаш, подсчитывал расходы, пальцы у него тряслись.

Это что — нервы или опять страх перед жизнью? Он стар и нуждается в отдыхе. У него испортилось пищеварение, нарушился сон, а после бессонных ночей, сидя в директорской ложе, он засыпал крепким сном под самый громкий смех и овации. Да, ему надо отдохнуть — зато он показал им, всем этим мелкотравчатым театральцам, как надо делать театр, доказал, что он — человек с размахом...

Теперь бы только укрыться в каком-нибудь спокойном уголке и тихонько переживать там всю эту славу — так просто, про себя. А между тем — между тем его заставляют возиться с каким-то Временным театриком, выслушивать вопли багровеющих от надсады

чехов, крики о патриотической программе... Каков срок его договора с Временным? Два года... Вот скука! Да еще изволь выбрасывать на это последние деньги... Надо потребовать — и настоятельно потребовать — дополнительной субсидии у земского комитета, не то он плюнет па всю эту лавочку! Впрочем — они на это способны — еще наложат лапу на его залог, и наустят на него сонм кредиторов, и... И кончит он, как Томе! Проклятье!..

Земский комитет отклонил требование Лигерта.

Постепенно Временный театр собирал свою публику. Это были не только люди, боровшиеся за чешский театр, горевшие искренней любовью к нему — молодые патриоты, студенты, литераторы, журналисты, но и почтенные пражские буржуа, которых удалось уговорить приобрести абонементы. На более дешевых местах, на галерке, появились, как некогда в Сословном, ремесленники, мелкие чиновники, подмастерья, солдаты, провинциалы...

В дни абонементных представлений можно было увидеть те же лица на тех же местах. Вскоре среди этих постоянных зрителей воцарилась, можно сказать, семейная атмосфера. Малый размер театра — в нем не было ни фойе, ни коридоров — вынуждал зрителей во время антрактов оставаться в зале. Составлялись кружки «своих» людей, и в антрактах возникали дебаты, причем обсуждались не только театральные дела, но и политические события и городские слухи, так что театр стал своеобразным клубом.

Больше всего пустовали ложи. Несмотря на усердие, с каким распространяли абонементы, желающих оказалось немного. Лишь несколько богатых буржуа взяли абонементы — главным образом только для того, чтоб «люди не говорили». Зато, как ни странно, чешские аристократические фамилии охотно абонировали ложи, особенно ближайšie к сцене. Интересно, что позднее, двадцать лет спустя, уже в Национальном театре, чешская знать куда реже посещала спектакли.

Высшее чешское дворянство шестидесятых годов было довольно активно политически и даже делало вид, будто одобряет программу чешской государственности. Причиной тому были, конечно, отнюдь не сентиментальные соображения. Дворянство знало по опыту, что, например, венгерские магнаты своим «патриотизмом» выигрывали прежде всего в экономическом отношении и, объединившись с богатеей буржуазией, куда более успешно могли подчинять себе «возлюбленную» родину, не деля власть над ней с центральными австрийскими властями. Они желали пользоваться выгодами, предоставляемыми великой державой, и еще теми, которые несла им власть над маленькой родиной. Чешское дворянство стремилось к тому же, и именно в те годы оно начало в более широком масштабе вкладывать свои капиталы в промышленность. Вот почему борьбу за коронование австрийского императора чешским королем — зримый признак известной самостоятельности — возглавило историческое, федералистского толка, дворянство, вождем которого был кардинал князь Шварценберг. Дворяне этой партии

появлялись на различных национальных празднествах, вступали в патриотические общества, поддерживали чешское искусство.

Поэтому в новом чешском театре нередко можно было видеть Шёнборнов, Шварценбергов, Гаррахов...

В первой ложе, как правило, сидел старый граф Бедржих Шёнборн — Временный театр до того ему полюбился, что старик приходил почти ежедневно, хотя не знал чешского языка и был туг на ухо. Когда публика смеялась, смеялся и он, когда вскипали аплодисменты, рукоплескал и он, однако чаще всего он дремал, откинув голову на спинку кресла. Между тем у Шёнборнов была абонирована ложа и в Сословном театре — однако там невозможно было столь патриархально клевать носом.

Из выдающихся людей того времени постоянным зрителем Временного был всемирно известный физиолог и биолог Ян Эвангелист Пуркине \* — в ту пору уже глубокий старец, возраст которого приближался к восьмидесяти годам. С трогательным постоянством садился он на свое место в первом ряду партера, не пропуская, если позволяло здоровье, ни одной премьеры. Он доживал в Праге последние дни. И для него Временный театр был осуществлением давней мечты. В антрактах он раскланивался с публикой, улыбаясь, как добрый хозяин, наконец-то обретший крышу над головой.

По бокам партера были стоячие места — и там всегда можно было увидеть известных чешских литераторов, журналистов, публицистов во главе с Яном Нерудой: Витезслава Галека, Вацлава Влчека \*\*, Карела Сабину и других. Стоячие места позади партера заполняла самая благодарная публика, для которой единственным критерием было их бесхитрое сердце: туда приходили простые люди.

В одной из первых лож довольно часто появлялась графиня Элеонора Коуниц, урожденная Ворачицкая из Пабениц — преданная сторонница чешского движения, ученица Добровского \*\*\*, приятельница Шафаржика \*\*\*\* и Палацкого. Она обычно приводила восемнадцатилетнего сына Вацлава, которого сопровождал его наставник, писатель Фердинанд Шульц. Юный граф Коуниц без памяти полюбил чешский театр — не только потому, что был воспитан в духе чешского патриотизма, что с малых лет душой его руководил образованный и честный Фердинанд Шульц, но и потому, что в этом театре Вацлав оставил свое сердце.

Второй сезон во Временном театре был украшен уже несколькими новинками, вышедшими из-под пера чешских писателей. О каждой такой новинке долго говорили: это была такая же радость, как если бы в маленьком садике прижились первые деревца.

Радость тем более великая, что в соседних старых садах пышно раскинулись взрослые деревья, приносящие великолепные плоды. Чешский репертуар, до тех пор опиравшийся на два имени — Тыла и Клицеры, — начал давать новые побегы. Не из каждого желудя вырастает дуб, но нужно, не теряя терпения, сажать и сажать новые желуды. И если от той ранней поры чешского театра осталось несколько пьес, доныне составляющих основную часть чешского репертуара, то этим мы обязаны большому числу пьес-однодневок, ныне забытых и утерянных: именно они помогали оттачивать опыт и мастерство.

На премьеры чешских новинок, конечно, сходилась вся чешская театральная Прага. Но и на генеральные репетиции, на эти, так сказать, предпремьеры, являлись журналисты, друзья театра, составляющие как бы часть его персонала; и они усаживались на привычные места, образуя то, что можно бы назвать словом жюри.

Стояла осень шестьдесят пятого года.

Временный театр готовил новую комедию неизвестного до той поры автора — говорили, что имя его не подлинное, что это псевдоним, как писал Неруда, одной «чешской дамы», взявшей простенькое имя «Ф. Ф. Едличка». Пьеса называлась «Только не артистку!» Уже одно название возбуждало множество домыслов и слухов.

— Наверняка пьесу написал тот, кого отвергла какая-нибудь актриса! — говорил Куба Сейферт, сидя как-то в кондитерской Швертасека. — Вот если б Индра был способен написать нечто подобное, то я подозревал бы именно его!

Индра, который благоговейно смаковал белое мозельское, спсходительно улыбнулся:

— Меня еще не отвергала ни одна актриса!

— Ну конечно! Все так и падали в твои объятия, — усмехнулся Куба.

Однако Индра не изменил своему спокойствию: когда пьешь у Швертасека отлично выдержанное, доведенное до пужной температуры доброе солнечное вино, не надо поддаваться волнениям и обижаться по пустякам.

— Кто же все-таки автор? Не апст же принес пьесу в театр? Может быть, ты, Ферда? — обернулся Сейферт к Шамберку.

Тот таинственно улыбнулся, приподняв брови.

— Не строй такой загадочной мины, Ферда, — если бы ты знал, кто автор, давно бы выболтал!

Шамберк и на это ответил одной улыбкой и плотнее уселся на легкий стульчике.

— Мне в ней дали роль Славинского, молодого поэта. Словно намек на то, что я бегая за нашей Славинской! Это указывает на авторство Индры. Ведь он еще в Пльзени за ней...

— Потихе, малыш, а то обольешь рубашечку,— остановил Кубу Индра.

— Но почему же эту роль дали именно мне? — крикнул Куба.

— Ты на меня не кричи, не я писал,— спокойно возразил Мошна.— Если б писал я, то уж постарался бы сделать для себя приличную роль, а то опять мне достался какой-то придурковатый «пан Кленка и его четверо сыновей»!

— Отчего тебе не нравится роль Кленки? — спросил Шамберк.— Ее можно сделать очень смешной! Автор словно именно о тебе и думал.

— Мне нравится, что все происходит на вокзале,— это хорошая мысль, однако ее мало используют. Дело в том, милые мои, что на вокзалах случаются подчас самые невероятные вещи... — задумчиво произнес Мошна.

— Недавно старый Кашка рассказывал, что как-то раз он вместе с молодым коллегой проделал на вокзале ужасно забавную штуку,— засмеялся Сейферт.

— С кем же он был? — нерешительно осведомился Мошна.

— Этого он не сказал, но с кем-то из актеров. На вокзале как раз проверяли пассажиров, что ли, и этот актер якобы поспорил с Кашкой, что пронесет под носом у контролеров какой-то сверток — то ли с маслом, то ли с гусем,— и до того переигрывал, что едва сам себя не выдал. Не помоги ему окружающие, его бы наверняка арестовали. Мы все ужасно смеялись. Сами знаете, как начнет рассказывать старый Кашка, все так и валятся от смеха. Уж верно, этот его приятель был обер-дуралей!

— Ну, знаешь! — возмутился Мошна.

— А тебе-то что, или это был ты?

— Да нет, что мне делать на вокзалах,— спохватился Индра,— но ты не должен так отзываться о людях, тем более о друзьях Кашки.

— А он сам назвал его «обер-дуралей».

— Ничего подобного!

— Да ведь тебя при этом не было, что спорить?

— Кашка никогда не назвал бы своего приятеля «обер-дуралеем», никогда не поверю — в худшем случае сказал бы просто «дуралей»...

— Ну, не ссорьтесь,— успокоил товарищей Шамберк.— По скажи, Индра, чем тебе не по душе сцена на вокзале?

— Я не говорю, что она мне не по душе,— мысль хорошая, только плохо использована,— ответил тот уже мягким тоном.

В памяти его всплыла картина — пролетка и девушка, которую увозил куда-то сердитый дядя. Индра задумчиво вертел в руках бокал, следя за золотистыми бликами на салфетке. Вдруг его обда-

до жаром — не рассказал ли им Кашка и про это! Нет, не может быть! И, конечно, он ничего не говорил о запрещенных песнях. И не называл никого. Кашка — мудрый, тактичный человек... И все-таки их тогдашний поход на вокзал стоил того. Может быть, он когда-нибудь встретит ту девушку... живую Доротку... Она была такая... такая — не как все...

— Что с тобой, Индра?

— А что? — очнулся Индра и с недоумением посмотрел на Шамберка.

— Глаза у тебя как стеклянные...

— У него, когда он задумается, глаза делаются как у мертвеца! — хохотнул Сейферт.

— Значит, тебе, Индра, пьеса не нравится? — настаивал Шамберк.

— Мне? А тебе она, видно, нравится, — довольно угрюмо ответил Мошна. — Твоя роль сшита по мерке — словно от личного портного. Ах, все равно ведь списано с какой-нибудь французской комедии! — махнул он рукой.

— Неправда! — необычно резко воскликнул Шамберк.

— Да что вы так расстраиваетесь и спорите о вещах, которые нас не касаются, — бросил Сейферт; ему показался странным взрыв Шамберка, обычно довольно хладнокровного, и непонятным было полнение Мошны.

— Не знаю, только у меня такое впечатление, словно я уже где-то видел все это или играл, — сказал Мошна, которому тоже непонятна была горячность Шамберка.

И вдруг Индру осенило. Он посмотрел на Шамберка, который рассеянно покачивал ногой, и нарочно противным тоном, какой умел принять он один, повел такую речь:

— Теперь я вспомнил — вся оригинальность этой пьесы списана с немецкой «Опасной тетки». Там тоже юноша влюбляется в актрису, старик отговаривает его, а затем влюбляется сам... Да ведь и немецкий вариант «Опасной тетки» — переводной! Если б еще речь шла о молодой актрисе, а то, пожалуй, какая-нибудь пава написала от скуки и видит в героине самое себя!

— Вот если б то была Йозефинка — тебе бы понравилось, правда? — усмеянулся Сейферт.

— Господи, да отвяжись ты, Куба, не то получишь оплеуху!

Вспышка Индры была столь неожиданна, что Сейферт едва не опрокинул бокал.

Мошна расхохотался. При всем том он не спускал глаз с Шамберка, который хоть и владел еще собой, однако сидел как на иголках. Помолчав, «красавец Фердинанд» протянул с кислым видом:

— Просто тебе, значит, не нравится, вот и все!

— А вот если хочешь — нравится, особенно сцена с тремя бабами: что и говорить, насквозь оригинальна! А как остроумно! Взять одни фамилии — Капустина, Петрушкина, Огурцова! Почему бы не Колбаскина, не Ветчинкина, не Сосискина — это ведь еще более почески, если иметь в виду чешские копчености!

Шамберк вышел из себя — вскочил и стал так кричать, что на пего начали оглядываться:

— В общем, жалкая чешская пьеска! И каждый может хаять ее как хочет, упражняться в остроумии! Вот если б подписана она была не беднягой Едличкой, а каким-нибудь мсье Зуппе или герром Вольф-Вебер — то-то вы заскулили бы, — мол, ничего подобного у нас еще не бывало, куда нам до иностранцев и всякое такое! Идите вы к черту!

Стукнув по столу, Шамберк бросил деньги на стойку изумленного Швертасека и, не попрощавшись, выбежал вон.

Сейферт так и застыл с раскрытым ртом, не в силах отвести глаз от захлопнувшейся двери, за которой исчез Шамберк, чье спокойствие и невозмутимость вошли у них в поговорку.

— Какая муха его укусила?

— Понимаешь, умница моя, это — тоже игра и жизнь! — воскликнул, заливаясь смехом, Мошна. — Когда дело до горла доходит, самый лучший актер начинает играть как обер-дуралей!

— Значит, это он был с Кашкой на вокзале? — вытаращил глаза Сейферт.

— На каком вокзале? Ох, сейчас речь не о вокзале, а о том, кто скрывается под псевдонимом Ф. Ф. Едличка!

— Ничего не понимаю...

— Ты же видел — я его так распалил, что из него это само вывалилось!

— Но он никого не называл?

— Нет, конечно, и, однако, Франтишек Фердинанд Шамберк себя выдал! Теперь сообразил?

— Но Франтишек Фердинанд Шамберк — не Ф. Ф... Ой! — радостно воскликнул Сейферт. — Ф. Ф. — это же и есть Франтишек Фердинанд, вот почему он так оцетинился! Ну, теперь я понял!

— Наконец-то дошло... Смотри не квакни об этом где-нибудь!

— Не беспокойся. И знаешь что? Я понял еще, кто тогда был с Кашкой на вокзале! — торжествуяще вскричал Сейферт.

— Кто? — насторожился Мошна.

— Да тот же Ф. Ф. Шамберк!

На Кармелитскую улицу свернула коляска, в которой развалился старый граф Бедржих Шёнборн. Бывший светский лев никогда не забывал вдеть в петлицу бутоньерку. Он ехал, мурлыкая что-то себе под нос, и в такт покачиванию экипажа кивал головой, па которой красовался высокий серый цилиндр.

Было чудесное, ясное осеннее утро — солнце светило, как весной, и старый граф велел откинуть верх коляски, только ноги его были прикрыты шерстяным пледом.

В то же самое время, только с другой стороны, оттуда, где стоял просторный дом графини Коуниц, свернули на Кармелитскую писатель Фердинанд Шульц с молодым Коуницем. Поравнявшись с коляской, оба поклонились старику.

Шёнборн не сразу обратил внимание на молодых людей, не сразу сообразил, что это сын Элеоноры Коуниц и его наставник. Но, сообразив, велел остановить коляску.

Коуниц и Шульц подошли, и граф Шёнборн окликнул их по-немецки своим низким, хриплым голосом, слышным по всей улице:

— Servus<sup>1</sup>, Венцель<sup>2</sup>, куда так рано?

— Не так уж рано, ваша светлость, скоро десять! — учтиво отозвался Коуниц, пригожий юноша среднего роста, с пышными черными волосами, веселым взглядом и рдевыми бакенами, обрамляющими его миловидное, умное лицо.

— Вот как, десять... А почему пешком? Мама заставляет? Мне доктор тоже прописал моцион, но скучно ходить пешком. Я совершаю моцион в коляске. Кучер так меня трясет, что это вполне заменяет бег. Садитесь, я вас подвезу!

— Не стоит, ваша светлость, мы ведь только во Временный!

— На прогулку? — не расслышал старик.

— Во Временный! — крикнул Коуниц. — Хотим посмотреть генеральную репетицию!

— А что дают?

— «Только не артистку!»

— Вот это правильно — только не актрису! Вы, Венцель, примите этот совет к сердцу — впрочем, вы еще юноша, вам можно! — И старик засмеялся. — Однако пусть матушка не знает! Элеонора любит театр, она такая культурная дама, хотя актрис недолюбливает. А как зовут вашу даму? — Старый граф подставил ухо с видом заговорщика.

<sup>1</sup> Привет (латин.).

<sup>2</sup> Немецкая форма чешского имени Вацлав (прим. пер.).

— Но, ваша светлость, я не о даме говорю! Так называется новая пьеса!

— Ах так, это название... Наверно, что-нибудь пикантное, не правда ли? Почему же они меня не пригласили? — удивился Шёнборн. — Это что — утреннее представление?

— Генеральная репетиция! Премьера завтра! — Коуницу все время приходилось кричать, и ему было неприятно, что вся улица как бы принимает участие в этом разговоре.

— Вот как! Ну все равно, садитесь, я поеду с вами. Пан писатель тоже будет так любезен!

Делать было нечего — молодые люди сели в коляску. Старый граф ухмылялся: поедет-ка он во Временный, увидит там, вероятно, что-нибудь премиленькое, убьет время до обеда, а врачу своему скажет, что полдня прогуливался по Малой Стране.

Репетиция началась не в десять, а — как это сплошь да рядом случается на генеральных репетициях — в половине одиннадцатого. Гости давно заняли свои места. В первой ложе расположился Шёнборн; он не позволил Коуницу и Шульцу сесть в другом месте.

— Вы с господином писателем должны составить мне компанию. Вы ведь знаете — я не очень хорошо понимаю по-чешски, вот вы и будете мне все переводить и объяснять. И покажете мне вашу пассиву! — Граф так громко засмеялся, что все, кто был в зале, действительно подняли глаза к ложе.

Коуниц покраснел и растерянно посмотрел на Шульца — тот только усмехнулся. Объяснять что-либо старому графу было делом безнадежным.

Шёнборн удобно устроился в своем кресле, и Коуниц надеялся было, что старик, как всегда, задремлет и оставит его в покое. Однако старец был на удивление оживлен.

— Что это за встрепанный малый, который с таким важным видом мечется в оркестре и беспокоит господ музыкантов? — спросил он Шульца.

— Это композитор Карел Шебор\*, он сочинил увертюру к спектаклю, — почтительно отвечал Шульц. — Он сам будет дирижировать.

— О, не говорите мне, что этот юпопа — композитор. Сколько лет ему может быть? В таком возрасте это мог себе позволить только Моцарт.

— Ему двадцать лет с чем-то. Очень одаренный музыкант.

— Ну, увидим, — проворчал Шёнборн, откидываясь в кресле.

«Теперь заснет», — с облегченным подумал Коуниц, обводя глазами зал.

В партере сидели журналисты и друзья театра. Музыканты настраивали инструменты, за спущенным занавесом раздавался какой-то шум, чьи-то возмущенные голоса, удары молотка...

Занавес был богато расписан арабесками, в центре которых был изображен пражский Град, ниже и справа — Карлов Тыш\*, слева — Вышеград\*\*. По бокам занавеса смело изогнулись богини музыки и поэзии.

— Поглядите, каких знатных гостей привлекла сегодняшняя генеральная! — воскликнул Неруда. — Если уж сам старый Шёнборн явился — это уже нечто!

— Вероятно, его привлекла писательница, — засмеялся Фердинанд Напрstek из «Черного пивовара», человек богатырского сложения, участник баррикадных боев сорок восьмого года; в ту пору Напрстеку было сорок лет, и он принадлежал к самым горячим решителям чешского театра — он даже объявил конкурс на лучшую чешскую пьесу. — Ведь пьесу написала женщина? — повернулся он к секретарю театра Скленаржу, который явился на репетицию по обязанности.

— Это служебная тайна, сударь, — улыбнулся Скленарж.

— Кто-то говорил мне, — подхватил Неруда, — будто автор — какая-то родственница пани Светлой\*\*\*.

— Значит, все-таки женщина! — скорее пробормотал Галек.

— Это вас огорчает, мсье? — своим чуть насмешливым тоном спросил Неруда. — Меня это, наоборот, радует. Да, женщина, — и, говорят, прекрасно сделано!

Галек, прилизанный и всегда довольно сдержанный человек, сказал с улыбкой, ничуть не обидевшись:

— А почему бы и нет? Это была бы не первая женщина, поучившая нас уму-разуму!

После некоторого молчания Напрstek заговорил о другом:

— У меня такое впечатление, господа, что Франц Лигерт скоро отцарствует. Уже объявлен конкурс, и может случиться — его обвинит даже в злостном банкротстве.

— Банкротство? Не может быть! — удивился Неруда.

— Этого следовало ожидать, — заметил с усмешкой Скленарж.

— Разумеется, кое-что знали давно, но — банкротство? — повторил Неруда.

— И сменил его, вероятно, опять Томе, — сказал Напрstek.

— Неужели мы не можем обойтись без немцев? — Неруда до того вскипел, что уронил пенсне.

Теперь все присутствовавшие в зале обернулись к группе журналистов. Неруда поймал свое пенсне, повисшее на шнурке.

— Томе тоже на пороге разорения. Зачем он нам? Все они рассматривают театр как источник наживы. За все готовы ухватиться!

— Положение действительно трудное, — рассеянно заметил Напрстек. — В конце концов, Томе всегда держался лояльно. К Сметане\*, например...

— Началось с Томе, кончается Лигертом! — несколько спокойно, но все еще громко проговорил Неруда. — Когда мы протестовали в шестьдесят втором году, Ригер уверял нас, что такое положение продлится не более двух лет. Ничего подобного! Наступает третья эра, и снова директор — немец! Томе тянет уже из последних сил, и если ему дадут одновременно директорство в Сословном — он будет действовать в ущерб чешскому театру.

— Я бы издал распоряжение, — с парочитым спокойствием, чтобы не задевать больше Неруду, сказал Напрстек, — по которому запрещалось бы быть директором одновременно в двух театрах — в чешском и немецком.

— Поздно спохватились! — коротко усмехнулся Неруда, махнув рукой.

— Оставьте этот спор, господа, здесь мы ничего не разрешим. Посмотрим лучше, кто сегодня играет, — невозмутимым тоном вставил Галек.

Скленарж подал ему программу, еще пахнущую типографской краской.

Все склонились над программой.

— Микулаш из Вальдека, богатый помещик — Колар младший; барон Ганнибал из Лидтауфельда — Шамберк... конечно, вся благородная компания, — заметил Неруда.

— Послушайте, господа, если бы Шамберк начал писать, и писал бы так, как он умеет рассказывать, — вот были бы комедии! — воскликнул Фердинанд Напрстек.

Скленарж улыбнулся с видом посвященного.

— Скажите, пан секретарь, разве я не прав? — обернулся к нему Напрстек.

— Правы больше, чем думаете, сударь...

— Мария Лажанская...

— Интересно, кто играет Лажанскую — а, Пешкова, — пробормотал Напрстек. — Красота довольно зрелая, хотя — шапку долой — Элишка Пешкова до сих пор привлекательна.

— Нет, вы обратили внимание, как удачно распределены роли? Дорота, старая экономка — Гипекова! — воскликнул Неруда. — Интересно — у нас сравнительно много хороших комических актеров и так мало трагиков... В сущности, мы — веселая нация!

— Хотя причин для этого у нас нет никаких! — отозвался Напрстек.

— Пока у нас есть юмор — мы сильнее, чем сами думаем, — возразил Неруда.

Между тем к группе журналистов подошел молодой драматург Еркабек\* и стал читать программу через плечо Галека. Пробежав программу, он обратился к Скленаржу:

— Послушайте, пап секретарь, почему вы всякий раз даете такие невозможные роли прелестной Йозефине Чермаковой? Опять она играет какую-то Грошикову... Да этак вы совсем ее убьете! А у нее яркий драматический талант!

— Я не имею отношения к распределению ролей,— довольно неприветливо ответил Скленарж, известный как почитатель Отилии Малой, игравшей первые роли.

— Ваш интерес подозрителен, молодой человек,— подтолкнул Еркабека Напрstek,— хотя, должен признать, Йозефинка и впрямь очаровательна.

— Я просто говорю то, что есть.

— И вы, кажется, правы,— подхватил Неруда.— В прошлый раз на Жофинском острове, в «Оковах» Скриба, она произвела сильное впечатление. словно вся сцена озарилась... Солнышко...

— А мне кажется, что слишком уж затирают Мошну,— перебил его Напрstek.— Опять он в самом конце программы! Говорите что хотите, но вот актер, который никого не огорчает! Меня всякий раз зло берет, когда он только промелькнет на сцене — и все.

— Согласен с вами,— поддержал его Галеk.— И я говорил то же — с того дня, как он у нас появился. Это комический актер исключительного дарования. У него свой, живой, непринужденный юмор, и, думаю, мало кто умеет спеть куплеты, как он.

— Но я бы не сказал, что его так уж плохо используют,— возразил Неруда.— Разве Иржик или Шванда-волынщик — маленькие роли? Однако вы совершенно правы, это своеобразный и притом радостный актер. Боюсь только, не начал бы он переигрывать. Пока он еще знает меру в гротеске, хотя иногда меньше означало бы больше!

— Раз в кои-то веки большая роль! Какое это имеет значение, если он каждый день растрчивает силы на малые — а ведь на них не многому научишься! — заспорил Еркабек.

— Это на малых-то ролях? Ты писал чаще всего небольшие роли, и все же они — не малые! — возразил Неруда.— На чем вырос наш Кашка? А ведь какой мастер!

— К чести пана Мошны, должен сказать, что он никогда не ропщет и не отказывается от ролей, пусть самых незначительных,— вставил Скленарж.— Руководители театра порой злоупотребляют этим. Всякий раз, как доходит до роли, которую никто не желает брать, ее суют Мошне. Он не пропустил еще ни одного спектакля. Однако, думаю, ему далеко не все нравится. Но он никогда не по-даст и виду. Улыбнется только, в крайнем случае головой тряхнет.

— Как хотите — это большой драматический талант, — упрямо заявлял Ермаков.

— У вас, молодой человек, все — драматическое, — засмеялся Напрstek. — Не хотите же вы, чтобы Мошна играл Гамлета?

— А кто знает? Был бы наверняка оригинальный Гамлет!

— О, без сомнения, — улыбнулся Неруда.

— По-моему, комик тогда велик, когда ему удастся заставить публику плакать, — задумчиво произнес молодой поэт Рудольф Майер, который, никем не замеченный, подошел к группе. — Но добиться этого можно тогда лишь, если на лице — улыбка, а в сердце — глубокое горе, и не наоборот.

— Я думаю, все это гораздо проще, — перебил его Напрstek. — Просто Мошна играет, и играет сердцем. Он живой человек, а не кукла!

В эту минуту погас свет, и все замолчали.

Растрепанный дирижер оглядел оркестр, постучал палочкой о пульт, слегка пригнулся — и тут же взвился кверху, подобно чертику из коробки с сюрпризом: как-то суматошно взмахнул оп руками, и загремела ликующая увертюра.

Лица всех невольно осветила улыбка.

Пьеса представляла собой хлестко написанную комедию, главное достоинство которой заключалось в смене мелких сцен и явлений, с большим остроумием перенесенных из жизни, в которых актеры могли полностью раскрыть себя. Действительно, роли «сидели, словно по мерке». И если позднее Неруда писал в «Пародии листы», что пьеса отличается знанием актеров Временного, даже индивидуальных особенностей каждого из них, и что, следовательно, автором мог быть только человек, близкий к театру, то он со свойственной ему пронизательностью разглядел руку актера, хотя по-прежнему думал, что автор — женщина.

Гинекова великолепно сыграла бойкую на язык экономку, Шамберк — бонвивана, Кашка — хитрого камердинера, Пешкова — остроумную, веселую актрису, Сейферт — меланхоличного поэта, а Мошна — вечно спешащего, вечно впадающего в панику отца четырех непослушных сыновей.

Одной только Йозефине Чермаковой, казалось, не подходила роль, хотя и она при всей резкости, свойственной образу позументщицы, играла прекрасно.

Шёнборн сначала наслаждался, по несколько длинных диалогов в конце первого акта сморили его, и он задремал.

Первый акт не очень-то позабавил молодого Коуница. А дельные замечания Фердинанда Шульда и вообще вызвали неприязнь к спектаклю. Остальные зрители, настроенные критически, пока выжидали.

Но вот начался второй акт — сцена на вокзале, и все оживло. Проснулся даже старый Шёнборн.

Вокзал, место действия второго акта, был заполнен множеством разнообразных типов.

Сцена с тремя женщинами — Капустиной, Петрушкиной и Огурцовой — заслужила даже аплодисменты, хотя на репетициях рукоплесканиями не злоупотребляли. Пассажиры с вещами — свои, иностранцы, деревенские — сутились среди акцизных чиновников, вокзальных служащих и носильщиков, образуя пеструю, шумную толчу.

Вдруг режиссер почему-то приостановил репетицию.

— Вот правильно, — бросил Неруда. — Почему бы не вводить в спектакли, в рассказы и романы новые места действий, например вокзалы? Насколько острее можно тогда изобразить жизнь! Чего только не видит, не переживает человек на вокзале! И не только на вокзале — на бирже, в парламенте, в ломбарде, в конторе по найму, на фабриках... Только не бояться этого!

— Однако сейчас они играют так, словно все происходит на базаре, а не на вокзале, — заметил Напрстек.

— Я не говорю, что именно этот спектакль попал в точку, зато каков замысел! — У Неруды радостно светились глаза. — Подсмотреть жизнь там, где она действительно кипит! И — сегодня, сегодня!

— А по-моему, всякая поэзия вянет в такой грубой среде, — воскликнул тихий и скромный Майер.

Все оглянулись на него. Майер был юноша болезненного вида, волосы его, словно прилизанные, льнули к черепу, запавшие глаза смотрели устало.

— Да, поэзия увянет, задохнется, — с жаром повторил он, нервно проведя рукой по высокому бледному лбу. — Насколько же прекраснее звучат стихи, когда в солнечный день стоишь на зеленом холме, усыпанном цветами, и перед тобой открываются широкие просторы... Сколько красоты...

— Не знаю, о какой поэзии вы говорите, — перебил его Неруда, — но, позвольте сказать, если поэт хочет познать глубоко жизнь, узнать, как живут люди, — а в этом, по-моему, и заключается весь смысл поэзии, — то он не должен взбираться на холм и мечтательно смотреть сверху на широкие просторы. Слишком необъятная картина, люди в ней незаметны, как жуки, они почти исчезают. Чем выше, тем шире кругозор, но, в сущности, тогда видишь мельче, видишь туманнее. Нет, надо спуститься, ограничить эту картину рамкой, хотя бы размером с окошко крестьянской избы или — с окном вокзального зала. Вот тогда-то люди и их жизнь обретут подлинное величие!

Майер лишь горько усмехнулся и пренебрежительно тряхнул головой.

— Вот почему люблю я сцены театров! — взволнованно воскликнул Ержабек. — Они, в сущности, и есть те окна, через которые можно заглянуть в замкнутый мирок людей — даже в сердце их!

— В общем, как Хромой бес у Лесажа! — улыбнулся Галек.

— Да, в этом действительно есть что-то от нечистой силы, — засмеялся Напрстек. — Представьте только, что все мы делаем, когда думаем, будто нас никто не видит!

— Ах, это так драматично... — вздохнул Ержабек.

Между тем за кулисами, готовые к выходу, стояли Кашка и Мошна, внимательно наблюдая за сценой на вокзале.

— Помните, маэстро, Смиховский вокзал? — спросил Мошна старого актера, который бормотал что-то не очень лестное.

— Я как раз думаю об этом — там были люди, а здесь... Здесь, скорее, маски. О, комедия, комедия... Но кто бы что ни говорил, а, несмотря на всю искусственность, это живое, живое! Сцена с акцизными и с тремя бабками вышла ведь неплохо, правда?

— Говорят, пьесу написал наш Шамберк.

— Я тоже слышал — и знаешь, мне пришло в голову: хорошо бы вставить сейчас ту песенку, которую мы с тобой тайком пронесли тогда...

— Какая мысль, маэстро! Песенка очень подходит к моей сцене!

— Тебя арестуют!

— Но сегодня в театре одни наши...

— А старый Шёнборн, а Коуниц?

— Шёнборн глух как пень и не понимает по-чешски, а Коуниц... Он паренек славный — если что, Шульц надерет ему уши.

— А ты песенку-то выучил?

— В тот же день, как вы мне ее дали!

Немного подумав, Кашка сказал:

— Лучше не надо — пьеса ведь от сих до сих...

Но Мошцу уже охватил азарт. Когда режиссер Хваловский приостановил действие, Индра побежал к нему и с жаром стал что-то объяснять. Хваловский сначала возражал, но потом улыбнулся и кивнул.

Тогда Мошна бросился к оркестру, к Шебору, и стал ему что-то рассказывать, а под конец сунул листочек с нотами. Шебор несколько раз в восторге взъерошил свою и без того растрепанную шевелюру.

Тем временем режиссер сделал пужные замечания артистам, и репетиция продолжалась.

На сцену, то есть в зал ожидания, врывается пап Кленка —

Мощна со своими четырьмя непослушными сыновьями. У Кленки бесчисленное количество вещей — чемоданы, баулы, коробки, мешки, и все время что-нибудь теряется. Сыновья подбирают потерянное, отнимают друг у друга, путаются под погами у всех пассажиров. Пан Кленка все время пересчитывает мальчиков и вещи, и каждый раз кого-то или чего-то не хватает.

В это время вбегают молодчик в широкополой шляпе и в пышном красно-желтом галстуке, яростно пробивается через толпу и, к несодованию дежурного, выбегает на перрон. Тотчас следом за ним появляется миниатюрная, быстрая женщина, одетая с пиком, — это позументщица Грошикова — Чермакова; расталкивая людей, она кричит во весь голос: «Держите его! Держите!»

За ней, взявшийся неизвестно откуда, поспешает полицейский и спрашивает, что случилось, что за крик. Грошикова возбужденно рассказывает, что от нее сбежал жених, актер-комик, которому она дала пятьсот золотых на оглашение в церкви, кольца и цветы. Полицейский заявляет, что не его дело загонять к алтарю женихов.

«Тогда для чего же мы вас содержим?» — спрашивает Грошикова.

«Это вы-то меня содержите?!» — возмущается полицейский.

«Я продаю позументы, у меня есть разрешение властей, я плачу налоги, из них-то вам и платят жалованье!»

Когда разъяренная Грошикова ворвалась на сцену и юный Коуниц, к ужасу своему, узнал в ней Йозефину Чермакову, он издрогнул, приподнялся в кресле и прижался к барьеру ложи.

— Черт возьми, Венцель, ну и темперамент! — толкнул его в бок старый Шёнборн.

Но молодой человек его не слушал. Сжав кулаки, он подпер ими голову.

— Опять ей дали роль грубиянки, а она, беденькая, такая нежная девушка! — пропептал он, с трудом удерживаясь от слез.

Среди музыкантов в оркестре сидел худенький, лет двадцати четырех, альтист; растрепанный, с усами, какие отпускают молодые ремесленники, ухаживая за девушками, этот юноша с носом картошкой и угрюмым выражением лица что-то писал на листке бумаги, не обращая внимания на то, что делалось на сцене. Остальные музыканты, собравшись у барьера оркестровой ямы и вытягивая шеи, следили за действием.

Когда начался второй акт, товарищ толкнул альтиста:

— Антонин — вокзал!

Антонин поднял отсутствующий взгляд, но тут же улыбнулся и быстро встал со стула. Понаблюдав за сценой несколько минут, он покачал растрепанной головой:

— Откуда им взять фантазия... — и с досадой сел на место.

Но едва появилась Йозефина, Антонин, словно его коснулась волшебная палочка, тотчас вскочил и, подвнявшись на цыпочки, постарался увидеть хотя бы ее голову. Не удовлетворившись этим, он взобрался на стул с ногами и присел на спинку.

— Кажется, интерес в нем пробудился! — толкнул второй альтист тощего виолончелиста, читавшего книжку.

Тот оторвался от чтения и, кинув взгляд на Антонина, жадно тянувшегося к сцене, спросил утвердительным тоном:

— Чермакова, конечно?

Второй альтист многозначительно подмигнул.

Тут виолончелисту попались на глаза листки, которые Антонин придерживал рукой на своем колене. А так как колено это находилось у самого носа виолончелиста, то он с интересом заглянул в них: это были ноты какой-то песни. Виолончелист слегка потянул к себе листки, Антонин, ощутив щекотку, дернулся, потерял равновесие и с грохотом свалился со стула, опрокинув два соседних пульта.

Все испугались; репетиция была прервана.

— Что там происходит? — крикнул режиссер Хваловский.

— Господа, господа! — взывал дирижер.

Первый альтист, весь багровый, выбрался из-под пультов и стула, собрал рассыпавшиеся листки и тихонько поставил на место все, что опрокинул. Поклонившись дирижеру, он пробормотал извинение.

Чермакова, возбужденная игрой, подбежала к рампе и, пронзая бедного Антонина яростным взглядом, топнула ногой:

— Когда вы играете, мы вам не мешаем! Так что, пожалуйста, и вы будьте любезны!..

— Прошу прощения, барышня!.. — неловко поклонился ей сконфуженный альтист.

— А, это пан Дворжак\*! — воскликнула Йозефина. — Так я и думала!

Она круто повернулась и, подобная разгневанному божееству, удалилась на свое место.

Юный Коуниц хмуро посмотрел на виновника инцидента.

— До чего невоспитанны эти люди! Посмотрите, как он ретрепан! — обратился он к Шульцу. — Она, бедняжка, отдает все силы, а эти варвары так себя ведут...

Уничтоженный Антонин Дворжак сел к своему пульту, рассеянно ровняя на нем ноты. Свой листки, смяв, он сунул в карман.

И надо же, чтобы такое случилось именно с ним, да еще во время выхода Чермаковой!

Он готов был провалиться сквозь землю. Как она на него топнула... А он-то собрался послать ей тайно свою музыку к стихам,

которые, как ему удалось разузнать, она любила... Теперь все прошло...

А Йозефина удвоила усилия — теперь она просто неистовствовала. Вот она сталкивается с Огурцовой, Петрушкиной и Капустинной и кричит так, словно ее режут: «От меня сбежал жених, он актер, но меня ему не обыграть! Я ему покажу, что такая девица, как я, не позволит водить себя за нос! Он у меня узнает!» «А как он выглядел? Не было ли на нем такого красно-желтого галстука?» — участливо спрашивает Огурцова. «Был! Только пусть бы он хоть целое знамя себе на шею повязал — ие удастся ему меня обойти! Воображает, если ему на сцене все удастся, то и со мной удастся! Ошибся, голубчик! От меня не уйдет! Я его сыщу, хотя бы мне пришлось перерыть все вагоны!» — кричит, брызжет слюной, топает ногами Грошикова.

— «Словно солнышко озарило сцену», — насмешливо пепнул Наирстек на ухо Неруде.

— Просто ведьма! Невероятно... — вздохнул Неруда.

— Черт побери, Венцель, вот фантастический темперамент! Кто она? Ее я еще не видел, — и старый Шёнборн подставил ухо Коуниццу.

С какой охотой ответил бы ему Коуниц, что и он впервые видит эту фурию, но его раздирали слишком противоречивые чувства, и поэтому он со злостью сказал:

— Это Чермакова!

Шёнборн недоуменно нахмурил мохнатые брови:

— Та самая маленькая, прелестная Чермакова? Не может быть! Да это черт в юбке! Последний раз я видел ее в роли Марианны в «Тартюфе» — *fabelhaft*! Будь я помоложе, послал бы ей букет!

Коуниц почти невежливо отвернулся от старого селадона. Все сегодняшнее представление вдруг сделалось ему противным. Йозефина, тайный его кумир, — и вдруг какая-то Грошикова...

— Пойдемте домой! — с внезапным раздражением обернулся он к Шульцу.

— Как хочешь, — с легкой улыбкой поклонился тот.

— Ах, по я не могу! Я должен... — он не договорил, но смысл недоговоренного был ясен — «я должен выпить горькую чашу до дна».

Шульд дружески положил ему руку на плечо.

Тем временем на сцене Кленка — Мошна наконец-то собрал все вещи и всех мальчиков, построив их по росту.

<sup>1</sup> Изумительно! (нем.).



— Господи, в ложе Шёнборн, а Индра поет бунтарские песни! — схватился за голову Шамберк. — Кто ему разрешил?

— Не тебя же спрашивать, — усмехнулся Кашка.

— Но этого петь нельзя!

— А тебе-то что, не тебя ведь арестуют! — вмешалась старая Гиннекова.

Между тем Индра запел второй куплет:

Нас до нитки раздевают,  
Грош последний отбирают  
На австрийские полки,  
Пули, пушки и штыки!

Но запреты да запоры —  
Ненадежная опора:  
С вышки долго ли упасть?  
То-то посмеемся властью!

— Ах, черт, ну и поддает он жару! — не удержался Напрстек, в такт помахивая рукой

Неруда только улыбался.

— Боже мой! Да ведь за это — крепость! — причитал за кулисами Шамберк; его едва удержали — он уже собрался кинуться на сцену и пресечь «демонстрацию» Мошны.

А тот приплясывал перед рампой, певиншно улыбаясь. Потом вдруг вытянулся, принял задорную позу и повысил голос:

Несмотря на все препоны  
Здесь, за наши миллионы,  
Будет наша речь звучать —  
По-чешски мы хотим играть!

И тут зрители не выдержали — разразилась бурная овация.

Старый Шёнборн смеялся до упаду, с понимающим видом поглядывая на присутствующих. Ведь Шульц перевел ему содержание песни в таких сочных, в таких веселых выражениях...

Сперва песенку сопровождало лишь несколько музыкантов, которым успели раздать ноты. Но теперь присоединился уже весь оркестр, а дирижер, согласуясь с содержанием, придал аккомпанементу нужный темп.

Вот пропет последний куплет:

Утро ясное настает,  
И взвьется наше знамя!  
Мы за наши кровь и пот  
Господам предъявим счет!

К этому времени все зрители уже стояли у оркестровой ямы и восторженно подхватили последние слова.

Окочив, Мошна улыбнулся. Знаком попросив тишины, он с прекрасно разыгранной скромностью сказал:

— Уважаемые друзья и земляки! Я хочу сказать, что песенка, которую вы слышали, света только для вас и только сегодня. К сожалению, во время публичных представлений многие, пожалуй, подавились бы таким кусочком, и посему, чтоб, не дай бог, кого не вырвало в театре, в дальнейшем этот номер будет опущен. Разве что полиция попросит меня петь эту невинную песенку на благо Австрийской империи — ну что ж, тогда я, пожалуй, соглашусь!

Рукоплескания и крики были ему ответом.

Вдруг в зале и на сцене разом стихло — лишь кое-где еще раздавался смех, но вскоре и эти последние отголоски радости утонули в тишине, распростершейся по всему театру. Мошна с недоумением огляделся и, увидев, что все повернулись в одну сторону, тоже посмотрел туда.

В зале, сбоку, почти у самого оркестра, стоял директор Франц Лигерт. Исхудавший, бледный, он казался еще более костлявым, чем обычно. Он выглядел призраком. Поднятые брови, приподнятые уголки губ — привычная для торговца улыбка напоминала теперь, скорее, ухмылку.

Хваловский поспешно спустился к нему.

— Пожалуйста, продолжайте репетицию, — отстраняюще поднял руку Лигерт.

Все знали, что дни Лигертовой эры сочтены. Но он мог мстить — и теперь для этого представлялся наилучший случай.

Старый Шёнборн вдруг громко расхохотался и кивнул Мошне, как бы поощряя его петь еще.

Лигерт кинулся на ложу Шёнборна усталый взгляд и повернулся к Мошне.

— Пап Мошна, будьте любезны зайти ко мне после репетиции. — И, слегка поклонившись, Лигерт бесшумно исчез в боковой двери.

Репетиция кончилась. Комедия едва ли не превратилась в трагедию — появление Лигерта угнетающе подействовало на актеров.

Кашка теперь раскаивался — ведь, собственно, он подбил Мошну спеть песенку. Вдруг это повлечет за собой серьезные последствия?

Сейферт, перепуганный и бледный, чуть не со слезами на глазах умолял Мошну бежать за границу или по крайней мере скрыться где-нибудь.

— Спрячься хоть пока у наших, там тебя не будут разыскивать! Господи, Индржишек, что ты наделал? Что, если тебя посадят? Я это-

то не переживу! Если тебе грозит опасность, я... я не знаю... я пойду с тобой в тюрьму!

Такая привязанность поразила Мошну. Его тронул мальчишеский порыв Кубы. Индра обнял друга. Вот ведь, все смеялся над ним, и оказывается, любит... Однако Мошна не был бы самим собой, если б поддался чувству. И он с деланной меланхолией шепнул:

— Мы погибнем вместе! Свидимся на эшафоте!

Сейферт вырвался.

— Какой же ты циник, Индра! Знай — если тебя в самом деле укует, то я... Нет, этого нельзя допустить!

Шамберк был безутешен. Он пугал других, пугая прежде всего самого себя, и ему удалось-таки внушить всем мысль, что теперь престуют весь театр.

— Не могу же я сказать, что автор не вставлял в текст пьесы эту песню и даже протестовал против нее! Это будет трусостью! А с другой стороны, зачем говорить, что автор ее написал, когда он и не думал ее писать! — рассуждал он сам с собой, не замечая, что говорит вслух.

— А чего тебе говорить, тебя ведь никто и спрашивать не будет! Разве что ты и есть автор, — сказал Мошна, который, как ни странно, был спокойнее всех.

— Я не автор! Но у меня есть чувство ответственности! — крикнул Шамберк.

— Да ничего подобного, Ферда. Просто ты испугался — это ведь так по-человечески. Я тоже боюсь, не думай. Но от этого не умирают. И можешь быть уверен — завтрашней премьере ничто не грозит. Это касается только меня. А комедия, Ферда, — взяв Шамберка за лацканы, с улыбкой добавил Мошна, — написана хорошо. Я был бы рад, если б сумел написать так. Тогда у Швертасека я просто нарочно помучил тебя. Желаю тебе много счастья — тьфу, тьфу, тьфу, плюнем трижды через левое плечо!

Теперь уже Шамберк готов был обнять Мошну. Ферда стоял, всматриваясь в его лукавые глаза, и старался понять — опять он шутит или говорит серьезно?

— В тебе, чертенок, не разберешься. То ли ты неисправимый насмешник, то ли очень хороший человек...

— Лучше первое — оно ни к чему не обязывает ни тебя, ни меня, — хлопнул Мошна Шамберка по плечу. — Но все равно я тебя люблю — есть в тебе талант, а это главное.

А перед театром долго еще не расходились группки зрителей, оживленно обсуждавших репетицию. Старый Шёнборн давно уехал, довольный приятно проведенной половиной дня. Садясь в коляску, он

попросил Шульца напомнить ему содержание веселой песенки Мошны. Он расскажет о ней друзьям...

— Четыре сына, и каждого — от другой! — в последний раз громко хохотнул старик вместо прощанья.

— Нужно хоть немного радости в повседневной суете! — размахивал руками богатырь Напрstek. — И в конце-то концов ничего страшного не произошло. Если б всякий раз за пением запрещенных песен следовали санкции — пришлось бы, пожалуй, упрятать за решетку добрую половину населения Чехии!

— Однако есть предел! Черт знает, кому нынче можно верить... — заметил Ержабек. — И все-таки — славный был номер!

— Думаю, последствий никаких не будет, — улыбнулся Шульц. — Лучший и самый солидный свидетель — его светлость граф Шёнборн. Если его спросят, что пел нынче Мошна, граф поручится своей дворянской честью, что песенка была о том, как пап Кленка прижил четырех сыновей от разных матерей — и никто его не переубедит!

— Это как же так? — недоверчиво спросил Ержабек.

— А так, что мы ему соответственно перевели.

— Вот это здорово!

— Да и не в последствиях дело. Просто мы будем все отрицать — это нетрудно и не грешно, — задумчиво сказал Неруда. — Но на этом примере можно убедиться, что значит, когда в нашей среде появляется чужеродный элемент. Приходится опасаться чуть ли не собственного директора, директора чешского театра!

Неруда лихо заломил черную мягкую шляпу и, мурлыча мотив запрещенной песенки, двинулся к проспекту Фердинанда.

Коуниц стоял в сторонке. У него было такое чувство, словно он мешает этим людям, и это вызывало в нем легкое сожаление. Он уже собирался уходить, не дождавшись Шульца, когда из театра вышли Гинекова с Кашкой и Йозефиной.

Мужчины тотчас сняли шляпы.

Старая Гинекова, обращаясь к Кашке, воскликнула:

— Видал, Янек, нас ждут! Когда я вижу, как кланяются вам эти господа, то чувствую себя парижской звездой. Не хватает только какого-нибудь герцога или графа, а то совсем похоже!

— Если молодой граф Коуниц может восполнить этот пробел, то позвольте, глубокоуважаемый друг, вам его представить, — с улыбкой ответил Фердинанд Шульц, беря под руку Вацлава.

Тот поклонился и произнес, как на уроке светских манер:

— Весьма польщен, уважаемая папи!

Гинекова нимало не смутилась. Она окинула взглядом молодого человека, его прекрасный пластрон, жемчужину в булавке и решительно заявила:

— Ну, значит, все в порядке. Я тоже польщена, граф,— и она присела в глубоком реверансе, после чего засмеялась дружески и подала Коуницу руку.— Простите капризы старой актрисы! Фина, иди сюда! — подозвала она Чермакову, которой что-то горячо рассказывал Ержабек.— Я представлю тебе настоящего графа. Мечтаешь же ты о каком-нибудь принце, так вот он перед тобой, словно со страниц журнала!

Все засмеялись — такие «капризы» и впрямь могла себе позволить только Гинекова.

Йозефина, которая, едва выйдя из театра, тотчас заметила красивого юношу и уже несколько раз, как бы случайно, переглянулась с ним, подошла и с любопытством посмотрела на смущенного Вацлава.

Коуниц покраснел, однако поклонился весьма учтиво; он хотел сказать что-нибудь приятное, теплое, что отвечало бы его чувствам и в то же время было бы значительным — очень значительным. Вместо этого Вацлав совершенно непонятным для себя самого образом произнес банальнейшую фразу, какую с успехом мог бы изречь старик Шёнборн:

— Я ваш преданный почитатель, барышня...

— Ах, Шульц, как он галантен! — вскричала Гинекова.

— Так ведь принято говорить, не правда ли? — с легкой усмешкой прищурила Йозефина черные свои глаза. Уловив растерянность «преданного почитателя», она расхохоталась.— Что ж, принц, будьте здоровы, продолжайте восхищаться мной — я ведь играю на диво прекрасные роли! Вы, конечно, влюбились в сегодняшнюю Грошникову. До свиданья!

И Йозефина, насмешливо поклонившись, круто повернулась и скрылась за углом.

Коуниц, покраснев еще гуще, невольно протянул ей вслед руку. Он казался себе учеником на уроке хорошего тона, допустившим неловкость. Ведь он даже руки ей не подал, шляпы не снял! Он готов был провалиться сквозь землю.

Шульц, поняв смятение своего юного друга, мягко положил ему руку на плечо.

Юноша растерянно улыбался, и в улыбке его был оттенок горечи. Он чувствовал, что стал центром внимания людей, готовых все обратить в шутку. А он этого не выносил — главным образом потому, что это касалось его отношения к Йозефине. Почему она была так насмешлива? Правда, он произнес глупую, пустую фразу, — но он-то ведь не фат или глупец! Каким взглядом смерила она его, как круто отвернулась! Рассердилась она или даже оскорбилась? Конечно, оскорбилась! Ведь он представился ей как ее почитатель — и это после роли, которую она, конечно же, играет с отвращением!

«Господи, как я глуп!» — чуть ли не вслух застонал он. Конечно! Не удивительно после этого, что она ответила пасмешкой. Он пошлет ей цветы, море цветов! И напишет длинное письмо... Нет, только цветы! Чайные розы... Они так похожи на нее... И на карточке напишет одно словечко: «Простите!» Поймет ли она?

— По-моему, комедия хороша. Но ты прав — маленькую Йозефину занимают неправильно, — заговорил Шульц, когда они отошли от театра.

— А я чуть ли не поздравил ее! — вырвалось у Вацлава.

— Я напишу статью, в которой буду резко упрекать за это руководство театра, — сказал Шульц.

— Дорогой друг!.. — только и вздохнул Вацлав. — А я пошлю ей цветы!

Гинекова ласково смотрела им вслед. Потом обернулась к Кашке:

— Ты заметил? Но мне его стало жаль. Вот чертова змейка, эта Йозефина! А у него, бедняжки, был такой вид, словно у мальчика, у которого отобрали игрушку и положили на скаф, чтобы он не достал...

Когда Мошна вошел в тесный, заставленный мебелью кабинет Франца Лигерта, бывший торговец тканями сидел, погруженный в бумаги, которыми был завален стол.

Лигерт поднял голову и отсутствующим взором посмотрел на вошедшего.

— Вы меня звали, пан директор, — несколько вызывающе проговорил Мошна, решивший защищаться всеми средствами.

Увидев, однако, до чего утомлен и расстроен Лигерт, он понял, что начал не так. Зачем заранее становиться на дыбы? Ведь то, что Лигерт вызвал его, означало, что директор хочет вступить в переговоры. Если бы он хотел мстить, то просто сообщил бы обо всем в полицию.

Мошна принял самый дружелюбный и добродушный вид, на какой был способен. Лигерт смотрел на него вопросительно, словно не понимая, зачем пришел этот человек.

— So, so, Herr! Мошна? — Он тряхнул головой. — Мошна, Мошна... — повторил он затем, как бы сиюсья вспомнить, что ему нужно от этого актера.

Мошна поднял голову и заставил себя улыбнуться.

— Ja, richtig! Я пригласил вас — nehmen Sie Platz, Herr Мошна<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Так, так, господин (нем.).

<sup>2</sup> Да, верно!.. Садитесь (нем.).

— Спасибо, не стоит.

Лигерт привычным движением поднес ему резной портсигар, в котором лежала единственная сигара.

— Благодарю, сейчас не буду, — растерялся Мошна.

— Ну хорошо. — Лигерт вздохнул, и лицо его было напряженно.

— Гм... Я просил вас зайти... гм... после вашего экстравагантного номера, пан Мошна! Вы должны согласиться, mein Lieber, что это ist nicht sehr klug<sup>1</sup>. Но оставим это пока... — Лигерт рассеянно закурил последнюю сигару. — Wissen Sie, Herr Мошна, я завязал прочные связи с величайшими сценами Европы. В Праге этого, конечно, не поняли, und können auch nicht begreifen<sup>2</sup>! А я хотел превратить Прагу в ein Theaterweltmittelpunkt<sup>3</sup>! Это принесло бы выгоду и чешскому театру, ganz bestimmt<sup>4</sup>! Под моим руководством он тоже мог бы стать мировым...

— Мировым — может быть, но вряд ли — чешским, — возразил Мошна, все больше успокаиваясь.

Директор вопросительно посмотрел на него.

— Да сядьте же, пожалуйста! Почему вы стоите? Да, мировым... Жаль! Не вышло! — Тут он вздохнул, ибо вспомнил о сотнях тысяч, выброшенных на ветер. — Но там, где не преуспел театр в целом, может добиться успеха отдельный актер. У вас, пан Мошна, бесспорно, большой талант. И жаль тратить его на чешский театр, честное слово! Немецким вы владеете, вы холосты, а за границей у вас крылья вырастут!

Лигерт смотрел на Мошну, думая, что ослепил его блестящим предложением.

Но Мошна молчал, как-то странно покачивая головой, и Лигерт чуть ли не крикнул:

— Na, was sagen Sie dazu?<sup>5</sup> Я устрою вам гастроли — сначала, на пробу — Дрезден, Лейпциг, Вена, а потом — Париж! Подумайте-ка над этим, mein Lieber! Какая реклама для вас! И мы бы заработали славные денежки! — Лигерт говорил горячо, все время повышая голос. — Na, mein Lieber?

Мошна, опиравшийся на спинку кресла, чуть покачнулся на носках, обвел глазами груды бумаг на столе — то были по большей части судебные документы, — и, подняв глаза на уже улыбающегося Лигерта, заговорил неторопливо и решительно:

<sup>1</sup> Мой милый... не очень умно (нем.).

<sup>2</sup> И не могут понять (нем.).

<sup>3</sup> Мировой театральный центр (нем.).

<sup>4</sup> Несомненно! (нем.).

<sup>5</sup> Ну, что вы на это скажете? (нем.).

— Деньги вещь хорошая. Они освобождают человека от повседневных забот. Но — не всякие деньги, пан директор! Я хочу быть только чешским актером, и это моя цель на всю жизнь.

— А кто сказал, что вы им не будете? Вы вернетесь великим артистом! И здесь вас примут с распростертыми объятиями! — воскликнул, вставая, Лигерт.

— Сейчас место чешских актеров — здесь. И мне надо расти здесь, потому что здесь моя родная почва, — спокойно возразил Мошна.

— Это несерьезно! — довольно резко возразил Лигерт. — Подумайте, ведь именно вы... гм... бывший медник, и — европейское имя!

— Именно поэтому. — И Мошна сделал движение, словно собрался уходить.

— Так не хотите?

— Нет.

Лицо Лигерта покрыла пепельная бледность; наклонившись к столу, он тронул рукой судебные повестки и исполнительные листы. Так хотелось ему сбросить все это со стола! Какой-то Мошна, ничтожество, разговаривает с ним, словно с назойливым антрепренером!

— Жаль! Ну, как хотите... Я вас не понимаю. Ничего не понимаю.

— Я понимаю, что вы нас не понимаете, — усмехнулся Мошна, готовый уйти.

Тогда директор выпрямился и сквозь сжатые губы, с трудом подавляя злость, прошипел:

— Однако настолько-то я еще понятлив, пан Мошна, чтобы понимать смысл некоторых ваших музыкальных номеров! Вы полагаете, что если я не сегодня-завтра уйду из этого... гм... мягко говоря, театришка, то меня уже не стоит принимать всерьез? Напоминаю вам, что я еще директор и за все, что делается в театре, отвечаю своим имуществом! Да, всем своим имуществом! И я не могу допустить, чтобы кто-либо ставил театр под угрозу! Поэтому прошу вас принять к сведению, что за нарушение дисциплины я налагаю на вас штраф в двадцать золотых!

Внезапная перемена в обращении директора сперва поразила Мошну, но потом он понял, что неприятель отступает самым жалким образом, и он, Мошна, в общем, легко отделался. Правда, двадцать золотых для него — расход крупный и непредвиденный, но отсидка в повоместской башне была бы куда хуже и обошлась бы дороже. К счастью, у него была с собой нужная сумма. Поспешно вытащил он из кармана большой бумажник — подарок дяди Плачека. «Будь бережлив, Индра, — сказал ему тогда дядя, — но на три дела денег не жалея: на дружбу, на здоровье и на честь. Потому что эти три вещи никакими деньгами не купишь...». Молча выложил Мошна четыре

питерки, повернулся и хотел было выйти не прощаясь, как вдруг кто-то сильно постучал в дверь.

Вошли двое со строгими официальными лицами. В одном из них Мошна узнал Лео Эстеррейхера, бапкира. Позади них стоял третий — судебный исполнитель.

Мошна успел заметить, как сильно побледнел Лигерт и как он быстро прикрыл деньги на столе пустой коробкой из-под сигар. Проскользнув за спинами неожиданных гостей, Индра вышел.

\* \* \*

В субботу состоялась премьера комедии «Только не артистку!», и после спектакля все пошло в кофейню «Черная роза», где неизвестного автора чествовали до трех часов утра. Настроение у Шамберка было отличное, и большого труда стоило ему не выдать себя.

На стол Мошны прислали две бутылки золотого токайского. Озираясь в поисках того, кто оказал ему внимание, Мошна встретился взглядом со счастливым «неизвестным автором» и, понимая помахав ему рукой, громко провозгласил тост за робких начинающих.

В воскресенье играли дважды, утром и вечером, зато в понедельник репетиций нет, и вечером Мошна тоже свободен. Наконец-то он выпится! Потом, хорошо пообедав, погуляет, повторит роль Адриана\*, вечером забежит в трактирчик поужинать, посидит... Может ли человек быть счастливее?

Может!

Что-то все время мучило Мошну, сидело в душе занозой, а что — не поймешь... Тоска, что ли? Или какая-нибудь несправедливость? Унижение, оскорбление, обида, непризнание? Нет! Он играл, играл роли большие и малые, веселые и печальные, и, когда играл, — жил, а когда жил — то жил полной жизнью, с хорошим настроением человека, которому труд — радость. Долгов у него не было. Наоборот, каждый месяц два-три золотых оседало на книжке. Правда, в этот месяц он ничего не отложит, а может, и в следующий — проклятый Лигерт! Двадцать золотых — не пустяк! Ну, да дело того стоило. Одолеть неприятеля — да это же величайшая радость! Он был здоров. И люди любили его — по крайней мере делали вид, что любят. Он становился популярным. Стоило ему выйти на сцену — все чаще, все явственнее проносился по залу шепот: «Мошна, Мошна...»

И все же...

Когда Индра проснулся и перед ним, подобный зеленому лугу, распростерся свободный день, ему захотелось вдруг повернуться к стене и не вставать вообще: опять эта необъяснимая пустота...

Если б еще он был влюблен, пусть даже, черт возьми, без взаимности — было бы хоть что-то, а так... Ничто, мертвящее ничто; и

вспомнились ему строки из «Мая» Махи, полные отчаяния слова узника:

И это — мысли смертный сон,  
«Ничто» — его название.  
Неужто завтра погружен  
Я буду в этот смертный сон!<sup>1</sup>

А — влюбиться? В кого? Индра угрюмо улыбнулся, надевая комнатные туфли. Никогда!

Хозяйка квартиры пани Краусова, услышав, что маэстро встали, постучала в дверь и спросила, можно ли нести завтрак.

Печально посмотрев на дверь, Мошна весело крикнул:

— Да, пожалуйста, с удовольствием поем!

Вот оно, противоречие: в душе пустота, а на губах легкий смех...

«И что этот «Май» вечно лезет мне в голову, когда на дворе осень?» — подумал Индра, накидывая халат, чтобы достойно принять пани Краусову, которая уже снова стучала — на сей раз с завтраком на подносе.

Мошна жил тогда на Вацлавской площади, снимая очаровательную комнатку (с завтраком и уборкой) у вдовы почтового чиновника пани Альжбеты Краусовой, очень чистоплотной, богобоязненной пятидесятишестилетней, то есть крайне порядочной женщины.

Дом был тихий, спокойный, как и вся тогдашняя Вацлавская площадь: окаймленная домами не выше четырех этажей, она казалась просторным пустым двором. Кюнка еще не была заведена, а стоянка нескольких пролетов находилась ниже.

— Пан Мошна — чистоплотный, аккуратный, спокойный человек, — отзывалась о своем постояльце пани Краусова. — Платит точно, как часы. Болтают, будто актеры — того... долги, кутежи, да еще, прошу прощения, девки, и будто лестницу загрязняют, — но нет, пан Мошна чистоплотный такой, аккуратный, спокойный!

Этот «спокойный человек» задумчиво помешивал теперь кофе, устремив взор на скверную репродукцию картины Фридриха Преллера, вырезанную из немецкого иллюстрированного журнала «Гартенлаубе» и висевшую в рамочке над столом. Репродукция изображала прощание Одиссея с Калипсо. Индре казалось, что несчастная полуобнаженная нимфа, протягивающая руку вслед тоскующему Одиссею, похожа на Йозефину Чермакову. Открытие это — особенно если принять во внимание позу Калипсо — было довольно волнующим. Однако в самом этом открытии не было ничего странного: к удивлению Индры, в последнее время ему казалось, что Йозефина

---

<sup>1</sup> Перевод Д. Самойлова.

имеет сходство со всеми прославленными в истории возлюбленными. Он сопротивлялся такому наваждению, но поделаться ничего не мог. С любой картины, с любой репродукции смотрели на него ее черные глаза. Впрочем, он ежедневно видел их в оригинале. Сколько раз, во время ли репетиций, спектаклей или в кофейне, подняв взгляд, встречался он с прищуренными глазами Йозефины! Если же все вместе отправлялись куда-нибудь — например, в «Черную розу», вот как это было после премьеры, — почему-то всегда получалось так, что Индра и Йозефина оказывались рядом или визави, причем без всяких усилий со стороны Мошны. По крайней мере сам он был убежден, что не предпринимал для этого ничего — и все же всегда выходило именно так, хотя юный «соблазнитель», этот мальчишка Сейферт, делал все, чтоб оказаться поближе к Йозефине.

А в «Черной розе» Йозефина была поистине прекрасна. Она принесла с собой роскошный букет желтых чайных роз — подарок неизвестного почитателя.

Пани Гинекова сказала Кашке, а тот Мошне — понятно, под большим секретом, — что с букетом была прислана записочка, а в ней одно только слово. Скорее всего, «люблю» или что-нибудь вроде этого. И, чтобы никого не называть, потому-де что она не любит сплетен и домыслов, пани Гинекова высказала предположение: видимо, это знак внимания молодого Вацлава Коуница.

Что ж, догадка пани Гинековой была не так уж неправдоподобна, ибо после спектакля к актерам в «Черной розе» присоединились Фердинанд Шульдц и Коуниц, который неустанно кружил вблизи Йозефины.

Она со смехом сказала ему, что получила этот букет за роль грубиянки Грошиковой в знак признания ее врожденного комедийного таланта и что розы эти она изжарит на масле и скормит своей кошке.

Коуниц покраснел ужасно — но ведь молодой граф краснел всякий раз, когда с ним заговаривала женщина, а тем более Фина.

Впрочем, Фина, не стесняясь, говорила все это очень громко. Она сказала еще, что у нее такая же судьба, как у Мошны: играть все, а главное, роли служанок и простолюдинок; что эти роли она страстно любит — они дают ей огромную возможность развить талант. И если бы она знала, кто автор пьесы «Только не артистку!», то за одно это название — к которому обязательно должны прислушаться некоторые господа (тут она надменно поглядела на Коуница), — она готова при всех расцеловать его, не говоря уж о дивной и столь подходящей для нее роли Грошиковой. Но поскольку она, увы, с драматургом незнакома, то и просит дорогого Мошну принять пока ее благодарность, чтобы, если автор обнаружится, передать ее ему. И Йозефина поцеловала Индру. Было это уже после полуночи,

когда золотое токайское перешло из бутылок в желудки и чинность поведения несколько утратилась.

Выходка Йозефины заставила Коуница слегка побледнеть, но никто, кажется, этого не заметил. А Мошна никак не мог отвязаться от неприятного впечатления, что поступки Йозефины рассчитаны именно на графа. Если это так, то он совершенно перестал понимать девушку. И все же поцелуй ее, пусть насмешливый, жег ему губы...

Коуниц — что... Юнец, едва ли на год старше Йозефины. Красавчик Сейферт — это уже другое дело. Он все время увивается вокруг Йозефины, чему, впрочем, никто и не удивлялся — оба довольно давно играли вторую пару влюбленных. В театре их называли «наши детки» и всерьез не принимали.

Как уж бывает на свете, Мошна состоял при них «третьим — лишним». Однако он должен был сознаться себе, что вовсе не случайность и не старая дружба с Кубой держит его около них — его притягивала Йозефина: одаренная, красивая, во всем очаровании юности, с которым сочеталась известная строитивость... Йозефина знала, что талантлива, отсюда и ее манера дерзко вскидывать голову.

А Мошна, который был старше на одиннадцать лет, привлекал Йозефину непритворной искренностью. Он не ухаживал за ней — и все же был внимателен, как нежный друг. Йозефина ослепляла его, хоть он и не желал в том сознаваться, — как дорогая игрушка в витрине ослепляет бедного мальчика, достаточно, однако, благоразумного, чтобы понять: игрушка не для него.

И все-таки существовало нечто, чего наш Индра не понимал. Когда он смотрел на Калипсо, прощающуюся с Одиссеем, в памяти всплывала другая картина прощания: картина на Смиховском вокзале... Удаляющаяся пролетка, в ней девушка и злой чернокожничек в клетчатой шапке... Но картина эта с течением времени все более превращалась в смутное воспоминание, в некий сон, и образ деревенской девушки расплывался, принимая постепенно черты Калипсо, а позднее — немного мальчишеский облик Йозефины.

При Йозефине Индра становился другим — более серьезным, задумчивым. То был уже не озорной пересмешник Мошна! И таким знала его одна Йозефина. Замечала ли она это?

Но это замечал прежде всего он сам! Почему всякий раз, когда душа его была доступнее всего для чувств, возбуждаемых в нем Йозефиной, почему он вспоминал тогда Семинарский сад в цвету, и картина эта заслонялась мрачными красками Смиховского вокзала, после чего тотчас перед его мысленным взором возникала удаляющаяся пролетка?

Индра машинально протянул руку, снял со стены преллеровскую репродукцию и повернул ее к стене. Потом взял тетрадь с ролью

Адриана и попытался вчитаться. Чем больше пытался он сосредоточиться, войти в образ рыцаря, раздираемого сомнениями, тем более неточной, балаганной и бездушной казалась ему роль, которой он так радовался вначале и которая позже прославит его имя, как прославила Кина роль Гамлета.

Индра громко произнес слова несчастного Адриана:

«О ангел, скажите ему — пусть не кричит более, пусть даст мне вернуться домой, ибо я не хочу больше быть Адрианом... Я хочу наконец, — уже от себя, тихо добавил Мошна, — хоть единственный раз быть Жельмиром \*...»

После обеда Мошна отправился, как и задумал, на прогулку. Осень — сероватое небо, прояснившееся на горизонте до желтизны, золотые краски засыпающей природы, шуршащие под ногой листья, перелетные птицы — во всем прощание, прощание...

Проходя мимо Временного, он вдруг решил войти — и на узкой лестнице служебного входа ему вдруг стало так хорошо на душе... Сам не зная почему, он вдруг понял, что любит этот крошечный театрик, как любят незадачливых детей, потому что именно они больше других нуждаются в любви. Здесь он чувствовал себя в безопасности, здесь был его дом, здесь он не боялся никаких, даже самых запутанных проблем.

В будние дни театры странно тихи, словно закрытые книги сказок. Лишь там и тут раздастся отзвук чьего-то голоса, или отдаленный стук, или другие звуки, присущие только театру. Порой, словно из подводных глубин, донесется музыка — репетируют оркестранты. Все это еще более подчеркивает тишину театра, и тогда понимаешь, что здесь можно так же сильно любить, как и ненавидеть.

В коридорчике возле женской гримерной стояло высокое зеркало. Каждый актер, как бы ни спешил, всегда приостанавливался перед ним, чтобы еще раз беглым взглядом проверить, в порядке ли костюм и грим. И на сцену актеров провожают именно образы, отразившиеся в этом зеркале: они — их второе «я».

Увидев это свое второе «я», Мошна по привычке остановился, улыбнулся, и его второе «я» ответило улыбкой.

— Чему смеешься, чудовище? — крикнул он зеркалу. — Стоит мне зареветь — и ты ведь заревешь тоже!

Тут Мошна вдруг задумался.

«А занятно было бы, если б я смеялся, а мое отражение горько плакало. Почему бы и нет? Если существует закон, что в зеркале все отражается наоборот, и левое оказывается правым, а правое левым, почему бы этому закону не распространяться и на настроения? По крайней мере сохранилось бы равновесие... Или так: я бы плакал,

а отражение хохотало... Посмотрю-ка я, как это будет выглядеть вверх ногами!»

Мошна гибко перегнулся на мостик, с мостика стал на руки. Это зрелище так его позабавило, что он громко рассмеялся.

Тогда из двери дамской гримерной выглянула рассерженная Йозефина — она, тоже воспользовавшись тишиной в театре, учила какую-то роль. Сначала она испугалась, увидев болтающиеся в воздухе ноги — вернее, даже две пары ног, если считать и их отражение, — и лишь после разглядела внизу смеющееся лицо.

Заметив, что за ним наблюдают, Мошна сделал перемет, встал на ноги и браво поклонился, узнав Йозефину.

Та отскочила с криком испуга и скрылась. Но, узнав смех Индры, выбежала снова:

— Не стыдно тебе, Индра, такой уже старый, а озорничаешь как мальчишка!

Мошна принял серьезный вид и философически ответил:

— Простите, принцесса, это было всего лишь небольшое упражнение, а заодно — опыт.

— Какой опыт?

— Я хотел узнать — действительно ли в зеркале все отражается наоборот?

— Не понимаю!

— Не огорчайся — я себя тоже иногда не понимаю... — Наклонившись к ней, он спросил озабоченно: — Не знаешь, Фина, гуляет ли еще по свету тот дьявол, который скупает человеческие отражения в зеркалах? А то я бы продал ему свое и купил бы вместо него покрасивее...

Йозефина улыбнулась, но ответила тоже вполне серьезно:

— Ах, я бы тоже охотно продала свое...

Мошна внимательно посмотрел на нее — она была серьезна и как-то углублена в себя. Быть может, ее одолевают те же заботы, что и его... Когда-то он смеялся над Тристанами, Вертерами и Онегинными, считая их любовь капризом. Заставка такого Вертера работать по двенадцать часов у литейной печи да за верстаком — небось бы, как вечер, так и валился бы прямо в постель, вот и все проблемы! Да, но не так-то, оказывается, все просто. На свете-то ведь не одна работа да погоня за куском хлеба — этого никто, никто бы не выдержал! Даже черные рабы, надрывающиеся на плантациях, и те поют! Ведь и в проклятой мастерской Бёма запевали ребята песни, и мечтали, и на последние гроши бегали в театр! Нужда — зло. Без еды человек гибнет, но без любви... без поэзии — тоже! Родители — да, собственно, и все вообще — заботятся, чтобы ребенок выучился какому-нибудь делу, которое могло бы прокормить его, — а вот о другом каждый должен заботиться сам...

И Мошна, улыбнувшись, легонько взял Йозефицу за подбородок. — Ты что-то грустна, Фина? — спросил он. — Меня вот тоже мысли одолевают. Знаешь что? Пойдем пройдемся по Петржину — там так красиво осенью...

— Мне и здесь хорошо, — возразила та. — Я увлеклась в этой тишине Магелоной Трапезундской и была даже счастлива...

— Но говоришь ты об этом как-то грустно.

— А разве Магелона — что-то веселое?

— Ты будешь играть Магелону?

— Когда-нибудь — обязательно! — строптиво воскликнула Йозефина. — А знаешь что? Подыграй мне! Подавай мне реплики за Отту из Лоса — вдвоем мне всегда легче учить роль!

— Отту из Лоса? Ну, для этого тебе надо бы вызвать Шамберка или Сейферта, — с невольным злорадством ответил Мошна, хотя в душе тотчас согласился. Но прибавил: — Ты забыла, дорогая, что я комик. Не могу же я на своей шарманке играть кантаты или реке-ниемы?

Йозефина прищурила глаза и остановила его снисходительной усмешкой:

— Не притворяйся, Индра! Пойдем! Шарманка порой играет куда искреннее и трогательнее, чем любой благородный инструмент!

Мошна тряхнул головой и, вспомнив Крумловского, невольно передразнил его звучный голос:

— Отчего же, дитя мое!

И следом за Йозефиной скользнул в гримерную.

Там было уютно. Гримерные во Временном были маленькие, забытые костюмами и мелким реквизитом, который негде было держать. Запахи грима, пудры, вянущих цветов мешались с особым запахом театральных костюмов, создавая ту атмосферу, дыхание которой обдает зрителей, когда поднимается занавес. Здесь приходилось зажигать огонь даже днем, потому что окна, похожие на корабельные иллюминаторы, пропускали мало света.

Все это сразу отгоняло всякое представление о реальном мире и делало тесную гримерную своего рода мастерской разнообразных чудес и тайн.

Йозефина молча уселась на маленькую оттоманку, взяла книжку, подумала немного, потом тряхнула головой и, прикрыв глаза, продекламировала:

«Ах, нам, женщинам, всегда приходится бороться, чтобы уберечь целомудрие свое от ядовитого дыхания богатства и роскоши — и все же, дорогой мой Индржих, как радостно мне на сердце, что ты появился именно в этот момент!»

Йозефина говорила с глубокой, непритворной увлеченностью. Конечно, юность ее окрашивала слова знаменитой героини в несколь-

ко наивные тона, зато же и придавала им тот аромат, который так трогает мужчин и возмущает порядочных женщин.

Мошна удивленно посмотрел на Йозефину:

— Ты выдумала, таких слов там нет! — и взял книжку у нее из рук.

— Посмотри сам, я ни словечка не прибавила, — рассерженно ткнула Йозефина тонким пальчиком в строчки роли.

Мошна стал читать — и в самом деле, слова, столь подходящие к случаю, были четко отпечатаны на страницах «Магелоны» Юлара.

У него немного закружилась голова, он словно проваливался в бездонную мечту. Еще раз посмотрел в книгу. Сам дьявол подsunул эти слова в текст пьесы!

«Ну пет! В этот капкан я и пальца не суну!» — решил он.

Между тем Йозефина продолжала:

«И все же, дорогой Индржих, как радостно мне на сердце... Ты молчишь?»

Сколько бы ни говорил себе Мошна, что он примет все как шутку и будет строго придерживаться текста, он никак не мог сосредоточиться и молчал, хотя настала его очередь подавать реплику Отты из Лоса, принявшего имя бедного художника Индржиха ван дер Ноот.

Йозефина повторила:

«Ты молчишь?»

Опомнившись, Мошна начал:

«Дорогая Магелона, я должен открыть вам то, что тяжело давит мне душу...»

Сначала он хотел читать небрежно, насмешливо — точнее, он приготовился как-то выйти из щекотливого положения, в которое, он чувствовал, постепенно втягивался, — но чем далее, тем более страстно звучал его голос:

«...но что ты обо мне тогда подумаешь? Ты не будешь больше меня любить! А может быть, начнешь презирать меня...»

Магелона — Йозефина. О предвечный — что же я услышу? Говорите же, говорите!

Отта из Лоса — Мошна (*с глубоким вздохом*). Магелона, я обманул вас...

Магелона — Йозефина. Что ты сказал? Обманул? Ты — меня?

Отта из Лоса — Мошна. Судьба велит — время не терпит!»

Эти слова он выкрикнул, но все остальное, хотя по роли и полное пафоса, произнес просто и горячо:

«Меня привело сюда отчаяние. Меня преследуют — быть может, меня будут судить, приговорят, и ты, Магелона, со мною...»

Магелона — Йозефина. Ты говоришь загадками — разве ты меня больше не любишь?»

Она вложила в этот вопрос столько чувства, столько искренности, что Мошна затрепетал и, уже полностью войдя в роль Отты, ответил:

«Ах, люблю, люблю — но... Быть может, я люблю тебя... слишком сильно! Я — не тот, за кого себя выдавал, — я не бедный художник...

Магелона — Йозефина. Остановитесь! Я не хочу другого имени! Для меня вы — Индржих ван дер Ноот и должны им остаться! Я хочу по-прежнему быть возлюбленной бедного художника!»

Тут Йозефина сделала паузу и, подавляя вздох, закончила тихо — так, словно говорила теперь уже от себя:

«И если наступит час, когда вы перестанете любить меня, — тогда... Тогда останьтесь мне хоть другом...»

Мошна, потеряв голову от этих слов и от собственных чувств, вскричал тоже скорее от себя, чем по роли:

«О, никогда, никогда!..»

С этими словами он опустился к ее ногам и, протянув к ней руку, продолжал по роли:

«Я не могу отказаться от тебя — не могу без тебя жить!»

Йозефина давно перестала смотреть в книжку. Глаза ее наполнились слезами. Склонившись к Мошне, она погладила его по голове, промолвив тихо:

— Индра, Индра... Или ты любишь меня по-настоящему, или ты великий артист...

Мошна поднял голову, словно пробужденный от сна, и с минуту смотрел в ее глаза. Он чувствовал себя на перепутье: сейчас либо он уткнет голову ей в колени, будет плакать, ирревертитесь в тепь, слепо следующую за этой странной девушкой, и опять будет метаться среди давних своих мечтаний о героических ролях — мечтаний, столь жестоко разбитых Крумловским, — либо...

Он медленно поднялся, целовко взъерошил волосы и, глядя поверх вопросительно обращенного к нему взгляда Йозефины, проговорил:

— Нет, Йозефина, я — комик... Сам не понимаю, что со мной происходит... Меня тянет ко многому, порой так сильно тянет к тебе... к тому... И все же, — уже с облегчением закончил он, — все же счастливее всего я на сцене, перед смеющейся публикой — вот моя единственная любовь!

Издали, из оркестровой ямы, приглушенно зазвучала музыка «Бранденбургцев в Чехии»\* — их как раз начинали репетировать.

Йозефина смотрела не понимая. А он, перебарывая что-то в себе, сосредоточив все силы на том, чтобы голос его звучал весело, сказал:

— Пока мы в состоянии от души смеяться и петь — наши дела не так уж плохи. Я счастлив здесь, в театре. Не знаю, почему именно

сейчас, в эту минуту, говорю тебе все это, но я должен сказать — ведь речь идет о любви. И все же...

Тут в памяти его возник образ печальной Калипсо, прощающейся с Одиссеем. Одиссей тоже должен был возвращаться на Итаку... Лицо нимфы, в котором до того проступали черты Йозефины, постепенно менялось, пока не приобрело сначала неясный, а потом вдруг четкий облик — облик той, кого Индра искал, по ком тосковал: облик простой, любящей Доротки, невесты Шванды-волынщика.

Почувствовав, что Мошна преодолел опьянение только что разыгранной сцены — опьянение, которому она поддалась с такой силой, — Йозефина сдвинула брови и раздраженно сказала:

— Что — «все же»? Договаривай! Ты хочешь сказать, что здешние условия просто губят нас! Все здесь такое мелкое, так давит...

Последние слова она почти выкрикнула.

— Губят? А мы не имеем права сдаваться! Мы растем из малого — но растем! — с необычной страстностью воскликнул Мошна.

Йозефина тоже встала, взяла его за руку и с внезапной решимостью заговорила тихо и настойчиво:

— Давай уедем, уедем за границу! Там — широкий мир, только там можно вырасти. Я верю — в тебе таится великий артист, Индра! Поедем вместе, хочешь? Тут ты погибнешь — тут из тебя и впрямь сделают всего лишь комедианта! А я... Я тебя, Индра... — Она не договорила.

Далекий оркестр грянул песню Иры, и песня эта, родная, полная очарования, словно сняла заклятие с Мошны, который в изумлении смотрел на Йозефину.

— Никогда, никогда! — почти крикнул он. — Наше место здесь, Йозефина, каким бы гиблым оно ни казалось! Именно там, в твоём широком мире, мы будем не более чем комедиантами!

И, ухватившись за мелодию песни Иры, словно за огонек на темной дороге, Индра запел во весь голос:

Нету боле нищих в Праге,  
Все равны — холоп и пан!  
Наступил наш светлый праздник:  
Всем удел единый дан!

И, желая развеселить Йозефину, Индра схватил ее, закружил, поцеловал в обе щеки:

— Выше голову, Йозефина, и нам будет светить солнышко!  
Потом, низко поклонившись ей, он выбежал.

После Нового года морозы немного отпустили, и несколько дней шел снег. Притихшая, заснеженная Прага вступила в роковой шестидесяти шестой год как очень спокойный — несмотря на бунтарей-патриотов, — провинциальный город Австрийской империи.

Угроза войны с Пруссией была, как все ошибочно полагали, отведена прошлой весной. Император еще раз обещал короноваться чешским королем. Чешская политика все тверже вставала на ноги, так что даже в чешском лагере могли себе позволить — опять исходя из ошибочных предположений — раскол на две партии, старочешскую и младочешскую. Журналы обеих партий — «Народ» старочехов и «Народни листы» младочехов — воевали друг с другом вовсю. Тантёмы владельцев газет обнадеживающе повыпались. Было о чем поговорить и в кофейнях, процветавших столь же обнадеживающе.

Рождество прошло чуть ли не идиллически. Во время полночной мессы собор святого Вита и храм Пращского младенца Иисуса были, как всегда, переполнены. Не существовало никаких причин, чтобы стар и млад не радовались множеству патриотических балов и вечеринок, с недавних лет будораживших Прагу. То было следствие усиленной деятельности «Бесед»\*, «Соколов», «Глаголов»\*\* и всех прочих обществ и кружков для ремесленников, для взаимопомощи, которые, как грибы после дождя, выросли после шестидесятого года.

Как часто случается, многие мелкие, второстепенные дела казались важными и значительными, в то время как дела подлинно значительные, которым суждено прогмечь в будущем, воспринимались многими как события местного значения.

Одно из таких событий «местного значения» произошло в пятницу пятого января 1866 года, в канун праздника Трех Волхвов, в половине седьмого вечера в Королевском чешском Временном театре.

В тот день впервые исполняли первую оперу учителя музыки и капельмейстера «Глагола», Бедржиха Сметаны — «Бранденбургцы в Чехии».

Опера эта, которую в течение трех лет тщетно пытались поставить на сцене, наталкивалась на интриги многих господ специалистов, чьи имена известны ныне опять-таки только специалистам, и то потому лишь, что эти безвестные ныне люди как-то общались со Сметаной.

Премьера «Бранденбургцев» проходила в напряженной атмосфере. Люди чистого сердца, связанные духовным родством, чувствовали, что здесь открывается новая эра чешского сценического искус-

ства, что здесь закладываются основы новой эпохи чешской оперы. Журналисты тоже готовились к ней как к битве.

Однако премьера первой оперы Сметаны прозвучала победным маршем.

Сметана был вынужден сам готовить оперу и дирижировать ею, ибо художественное руководство, а точнее, пан Маир дирижировать отказался, — отказался даже дать другого дирижера; более того, он старался запугать певцов и музыкантов, и на первые репетиции участники являлись очень неаккуратно.

Итак, вел оперу сам ее создатель. Таким образом, недруги его, отнюдь того, конечно, не желавшие, дали возможность Сметане не только подготовить спектакль по собственному замыслу, но и показать свое дирижерское мастерство, о котором позднее велось столько резких споров.

Успех «Бранденбуржцев» был успехом чешского театра вообще.

Мошна, стоявший с несколькими друзьями рядом с креслами партера, был просто потрясен. После первой же картины он побежал за кулисы и, схватив Сметану за руку, заикаясь от волнения, едва не поцеловал.

Сметана, не менее взволнованный бурной реакцией зала, со счастливой улыбкой сжал руку актера.

— Если все пойдет хорошо, у меня, Мошничка, будет роль для вас. — В эту минуту, в минуту его, быть может, величайшего в жизни счастья, Сметана готов был осыпать благодарениями всех подряд. Успех первого произведения — как первая любовь: он воздействует на человека с невероятной, опьяняющей силой.

— Но я не оперный певец, и потом я — комик... — покачал головой Мошна.

— Не важно — петь вы умеете, а то, что я задумал, по-моему, как раз для вас, прирожденного комика! — весело возразил Сметана, пожимая руки все новым и новым друзьям, окружавшим его.

— Я буду страшно рад, пан Сметана! — крикнул ему вслед Мошна.

Сейферт, Йозефина и еще многие члены труппы сидели в актерской ложе. Великолепные массовые сцены «Бранденбуржцев» просто ошеломили Кубу.

Пробил час, пробил час,  
беднота поднялась —  
подлинный владыка Праги...—

гремел хор.

Сейферт вспомнил свою безрадостную юность, и захотелось ему, чтобы рядом с ним был Мошна — в прошлом такой же забытый ученик, каким был и он сам. Вспомнил он нескончаемые разговоры и

мечты, которыми они делились, когда жили в маленькой плызенской квартирке.

Йозефина сидела бледная от волнения, которое, подобно массовому психозу, охватило в тот вечер всех присутствующих. Ей казалось, она поняла нечто, что открывала эта музыка, нечто, чего прежде она просто не желала знать. Ей вдруг стало ясно, почему Мошна отказался от ее предложения уехать на чужбину.

Когда-то подобным же образом, хотя и не с такой точностью ощущений, на Йозефину воздействовала музыка Вагнера. Тогда ей было лет пятнадцать, и она не понимала, что творится с нею от этого полноводья звуков. Тогда она попросту расплакалась. Сегодня же музыка Сметаны как-то горестно затронула ее душу, сдавила ее — Йозефина задыхалась. Почему же на других эти звуки действуют освобождающе?

Когда занавес опустился и театр содрогнулся от рукоплесканий и криков, Йозефина оставалась неподвижной.

Любить кого-нибудь сильно-сильно — безгранично! Но есть ли в ней силы для этого?

Сейферт от восторга смеялся, как мальчишка.

— Ты заметила молодого Коуница? Вон он сидит в ложе первого яруса еще с кем-то и, сдается мне, все время смотрит сюда! — Сейферт даже это успел подметить. Не ожидая ответа Йозефины, он высунулся из ложи и махнул кому-то в знак приветствия.

Как и на каждом подобном празднике чувств, когда все участники вдруг становятся близки друг другу и стараются выразить эту близость хотя бы взглядом, глаза в глаза, улыбкой, кивком, — так и теперь, когда невыразимое впервые было высказано ясно, все, кто был в зале и на сцене, ощутили свое родство.

Йозефина машинально посмотрела в ту сторону, куда показывал Сейферт, не понимая, зачем он нарушил ее задумчивость таким пустяком. Она смотрела на ложу первого яруса сначала совершенно равнодушно. Но тут взгляд ее встретился с горячим взглядом Коуница, который тоже искал глаза, которым можно было бы доверить все, что он сейчас испытывал.

И тогда, против воли, не переставая чувствовать себя одинокой в этом всеобщем разгуле эмоций, Йозефина легонько помахала Коуницу рукой.

Молодой Коуниц поклонился, радостно взволнованный такой неожиданностью. Но если бы он тотчас не опустил глаз, то заметил бы, как нахмурился предмет его восхищения.

Йозефина тряхнула головой, словно допустила ошибку, которую следовало сейчас же исправить. Отвернувшись, она снова устремила взор в пространство. Но потом, в течение всего спектакля, ее не покидало чувство, словно за ней не то чтобы наблюдали, но словно кто-

то неотступно думает о ней, в то время как она недостаточно защищена от воздействий извне.

Тот, кто думал, что в следующих картинах «Бранденбуржцев» напряжение музыки ослабнет, был поражен тем, как нарастал ее драматизм. С каждой картиной росло восхищение публики, — и вот пришел черед заключительной картины, самой богатой по музыке и композиционно самой сильной. Ликующие звуки негибавшего оптимизма, вера в победу народа и правды, вера в победу красоты и любви, объединенные одной идеей — идеей славы, самого поразительного из человеческих чувств, освобожденного от мелочного тщеславия и честолюбия, славы, полной величия, за которую можно умереть и ради которой нужно жить!

Такие мотивы в чешской музыке впервые прозвучали на премьере «Бранденбуржцев».

Восторженная публика в решающем своем большинстве давно забыла про все добрые и злые статьи, забыла о злобствованиях мелких крикунов и, стихийно захваченная высоким произведением искусства, ликуя, приветствовала рождение вновь открытой красоты и правды, свидетелем которого она стала, — ликуя, приветствовала создателя этой красоты.

Сметану вызывали множество раз, и на счастливом его лице сияла удовлетворенность хорошо сделанной работой — единственная достойная награда настоящего художника.

О том же, что этот вечер означал для чешских актеров, прозвучавших в ролях переводных пьес или скудного чешского репертуара, пожалуй, лучше всего сказал Мошна, обнимая Кашку:

— Ну, теперь мы и Тыла и Клицперу будем играть куда значительнее!

Долго еще стояли перед театром десятки взволнованных зрителей. Была светлая январская ночь. Пошел слабый снег. Снежинки таяли на разгоряченных лицах, — люди, еще переполненные впечатлениями, испытывали потребность делиться своими суждениями.

Мошна переходил от одной группки к другой, не вступая, однако, в разговор. Он вдруг осознал, что нет у него, собственно, друга — такого друга, какими должны быть друзья, с которыми слово и хлеб — все пополам, которым не боишься показаться наивным, тщеславным или недостаточно остроумным... О, так называемых друзей у него было достаточно — но это не то! Тут он подумал о Сейферте.

«Где этот мальчишка? — Мошне вдруг страшно захотелось его видеть. — И где Йозефина? Они ведь были в театре?»

С краю тротуара, тоже, видимо, ожидая кого-то, стоял молодой альтист Дворжак. Нос его покраснел от холода.

Немного дальше Фердинанд Шульц разговаривал с доктором Людевитом Прохазкой, одним из самых горячих сторонников Сметаны, в ту пору музыкальным обозревателем «Народни листы», и с Йозефом Баракком\*, тоже сравнительно молодым еще, но уже хорошо закаленным борцом за права чешского народа; Барак — публицист, журналист и политик — служил, отчасти из любви к чешскому театру, отчасти ради заработка, чем-то вроде администратора Временного театра.

Все трое жарко о чем-то спорили.

Рядом с Шульцем, в серой шубе, отороченной черным каракулем, стоял молодой Коуниц.

— Совершенно новая, оригинальная музыка, пронизанная патриотическим духом! — говорил Прохазка, видимо, прикидывая уже свою будущую рецензию в «Народни листы». — И это — самое примечательное. Только на этом пути мы принесем пользу самим себе и вместе с тем внесем свою лепту в мировое искусство!

— За границей не желают каких-то отваров из их собственного искусства, — заявил Барак. — Их интересует своеобразное, неповторимое, неподражаемое! Вот почему чешская музыка, да и все наше искусство вообще, станут мировыми лишь тогда, когда они будут чисто чешскими.

В это время из служебного входа вышли Йозефина с Сейфертом, и за ними — Тереза Ледерер. Молодой альтист Дворжак, вздрогнув, поднял глаза на Йозефину, которая быстро обвела взглядом ожидающих.

Мошне показалось, что это ему, Мошне, сделала она знак, что при виде его просветлело ее лицо, и обрадовался. Он больше не будет одинок! После того злополучного чтения «Магелоны» Йозефина относилась к нему сдержанно. Он же, если и прежде не мог разобраться в своих чувствах к Йозефине, то с того дня вовсе перестал что-либо понимать. Но сейчас он охотно присоединился бы к «детям». Сейчас, сегодня он даже нуждался в этом. И, улыбнувшись Йозефине, Мошна собрался было подойти к ней, но она, казалось, вовсе этого не заметила.

В недоумении Мошна оглянулся и увидел, как стоящий позади него Коуниц, почтительно сняв шляпу, кланяется Йозефине.

Йозефина же сперва и впрямь хотела подойти к Мошне, однако, подаваясь своему странному состоянию разлада, вдруг ощутила неприязнь к своему неуклюжему «вечному» приятелю. Вдобавок тут стоял еще этот растрепанный, головастый Дворжак, чей преданный взгляд она не раз ловила на себе. Подкупленная вниманием и вежливым поклоном молодого Коуница, Йозефина строптиво тряхнула головой и, как к старому знакомому, устремила к изумленному юноше.

Это невольное сердечное движение — во всяком случае, таким оно казалось — глубоко взволновало Коуница. Он шагнул навстречу Йозефине и протянул к ней руки.

Шульц и его собеседники, замолчав, смотрели на молодую пару. А Мошна, увидев свою ошибку — или странную игру Йозефины, — пахмурился. Невольно из глубины души выступило и заполнило все его мысли сопоставление: рабочий и барин! Он с трудом удержался, чтобы не взять Йозефину за руку и не оттащить от Коуница. Но вместо этого он подошел к Сейферту. А тот, весь еще под впечатлением музыки Сметаны, горячо обнял друга:

— Индржишек! Это было прекрасно!

Дебаты продолжались в «Черной розе» — они разрастались, отклонялись от главной темы и снова возвращались к Сметане и сегодняшней премьере.

Мошна, Сейферт и Тереза Ледерер сидели за столом с молодым хормейстером Временного, Адольфом Чехом\*, горячим почитателем Сметаны.

— Это великолепно! — заикаясь и проглатывая слова, в восхищении кричал хормейстер. — Представьте, после спектакля подбегает к Сметане директор Томе и просит сейчас же отдать театру его вторую оперу! А опера у него почти готова — он играл нам отрывки — ну, радость, радость! И у вас, пап Мошна, будет там замечательная роль! Мы уже расписываем партии! А какие хоры!

— Мне маэстро Сметана уже говорил, — бросил Мошна.

— Интересно: вот Томе — немец, а принял «Бранденбуржцев», — заметил Сейферт. — Между тем кое-кто из чехов готовы Сметану в ложку воды утопить. А Томе, оказывается, даже заказывает Сметане новую оперу!

Перегнувшись к ним от своего стола, Прохазка начал рассказывать.

— Раз как-то был я у князя Турн-Таксиса, и там Ригер с абсолютной убежденностью знатока — таков уж обычай у политиков, — утверждал, что основой и составной частью современной, народной оперы неизбежно будут народные песни, этакое попури. Сметана резко возражал. Он говорил, что такая опера не стала бы цельным художественным произведением, а была бы просто мешаниной из народных песен, объединенных более или менее искусно и искусственно. Тогда Ригер заговорил о традициях, о национальных сокровищах, ссылаясь на Карела Эрбепа\*\* и Тыла, и вышло, будто Сметана возражает против их концепции об использовании народных песен в художественном произведении. Сметана никак не мог объяснить Ригеру, что Эрбен и Тыл имели в виду совсем другое, в то время

как опера, то есть особое, самостоятельное и цельное музыкальное произведение, по свойственным ей законам должна возникать иначе. Для нее можно брать мотивы и мелодии народных песен, впрочем, только как наметку, как окраску, что ли, но их надо перерабатывать, переплавлять — короче говоря, в конце концов наш маэстро заявил имперскому депутату доктору Франтишеку Ладиславу Ригеру, зятю Палацкого, вождю партии старочехов да еще интенданту чешского театра, что тот попросту ничего в этом не смыслит. Вот и впал наш маэстро в немилость. От пана Ригера и пошли все тычки да помехи, которые портят жизнь Сметане, и еще будут портить! Все эти Маиры — просто прихлебатели, они лают, на кого им укажут сверху.

За столом, за которым сидел Карел Сабина, тоже разгорелся жаркий спор. Началось с замечания молодого Эмануэля Пуркине, сына Яна Эвангелиста Пуркине, который заявил, что искусство необычайно важно для жизни и работы любого человека — это говорит он, ботаник, — ибо искусство сообщает любой деятельности человека вылет и смелость, дает ей крылья. Кто хоть сколько-нибудь поймет творения Рафаэля, уже не сможет создавать брак, кого волнуют стихи Пушкина — не может быть предателем.

Младший брат Эмануэля Пуркине, Карел\*, художник, вернувшийся из-за границы, где он изучал живопись, а теперь прозябавший на родине, не получив еще признания, сидел, погруженный в свои мысли. Когда Прохазка описывал столкновение Сметаны с Ригером, он поднял голову и прислушался. Легкое движение его лица отразило подавляемое возмущение. Тут как раз и подоспело рассуждение его брата о Рафаэле и Пушкине.

— Рафаэль, Пушкин — всем им было нелегко! — не удержался Карел. — А Моцарт? Кто знает, что творилось у них в головах после бессонных ночей? И умирали молодыми, словно им не хватало воздуха, чтобы дышать, словно падали под бременем собственного величия, которое современники не только не помогали им нести, но, наоборот, путались у них под ногами и даже подставляли подножки! Величие... Разве можно его измерить, когда стоишь у его подножия?!

— Чему ты удивляешься? — перебил его брат. — Великие дела всегда прорываются с трудом. В этом — известная закономерность: именно потому, что дело велико, что оно — ново! Оно занимает огромное место, неизбежно вытесняя всякую мелочь. А у мелочи-то, опять-таки именно в силу ее малости, — свойства скверные и жестокие!

— Но, конечно, в наших условиях Бедржих Сметана... — с усмешкой начал Прохазка.

— Да просто всем этим пигмем, этим болтунам от искусства ненавистно новаторство Сметаны! — резко перебил его художник

Пуркине.— И как же им не всолошиться, когда нашелся человек выше их на голову, который опрокидывает все их устоявшиеся, с таким трудом выработанные суждения, заставляет их мыслить по-новому, неизмеримо поднимает уровень, разоблачает их убожество? Сколько зла они причинят истинному художнику, сколько доставит ему горьких минут, сколько ценностей попортят, обслюнявят, пережуют,— только бы жить им самим? Только бы мог жить этот вечный, неистребимый, древний вид паразитов на культуре, способных лишь на то, чтобы мельчить ее!

Пуркине смолк, бледный от волнения, и смущенно обвел взглядом собеседников, словно хотел просить прощения за свою вспышку.

Карел Сабина, автор либретто «Бранденбуржцев» — довольно опустившийся на вид человек лет за пятьдесят, немного сутулый, бледный, с усталыми глазами и висячими усами под крупным носом,— понимающе посмотрел на молодого художника. Слегка улыбнувшись, он заговорил глуховатым голосом, резко нажимая на слова, которые хотел подчеркнуть:

— Когда-нибудь, когда люди будут знать все творчество Сметаны, которое станет достоянием и славой нации,— возможно, они удивятся тому, что мы сегодня так восхищены его первой оперой,— ведь для них это восхищение будет чем-то само собой разумеющимся, ибо они будут насыщены. Но представьте только: там, где был пустырь, вдруг выросло прекрасное ветвистое дерево! И как же свидетелям этого чуда не быть потрясенными?

— Гений обладает свойством, опровергающим законы перспективы,— улыбнулся Неруда, задумчиво помешивая кофе.— Чем дальше, тем он больше! Придет время, и мы будем гордиться, что вообще были знакомы с самим Сметаной!

— Или с самим Нерудой,— добавил Сабина.

Мошна и Сейферт слушали молча. Мошна при этом улыбался и кивал головой.

— Слушай, ты так киваешь, словно все это касается тебя тоже,— толкнул его в бок Сейферт.— Уж не способен ли и ты опровергать законы перспективы?

— Кто знает — может, и так,— отозвался Мошна, шутливо надув щеки.— «Улица Мошны», «Театр Мошны» — разве плохо звучит? Сметана обещал мне роль в своей «Невесте на продажу», — значит, одно зернышко уже посеяно!

— В «Проданной невесте», — строго поправил его Сейферт.

— Ну да, в «Проданной», — повторил Мошна.— И когда-нибудь твой сынишка выйдет к доске, и учитель спросит его: скажи-ка, Сейферт, кто первым играл роль Принципала<sup>1</sup> в «Проданной невесте»?

<sup>1</sup> Хозяин бродячей труппы (прим. пер.).

Мальчуган пойдет заикаться да запинаясь, а учитель как крикнет: «Да Мошна же! Шу и тупая у тебя башка!»

— Да здравствует наш дорогой маэстро Сметана! — подняв бокал, воскликнул за соседним столом Фердинанд Напрстек. — Да здравствуют все ныне обыкновенные австрийские подданные — будущие бессмертные чешского народа!

Все встали с шумом, все подняли бокалы. Только Сабина немного опоздал — прежде чем встать вслед за ними, он провел рукой по лицу.

Только по дороге домой Йозефина заметила, что ее провожает молодой человек, изысканно одетый; это вовсе не входило в ее намерения, и она упрямо хранила молчание.

Коуниц осмелился наконец спросить:

— Куда вы позволите проводить вас?

— Ах, вот как, вы, оказывается, провожаете меня, — нервно засмеялась она. — Что ж, как угодно!

И она пошла еще быстрее.

Снег повалил гуще. Дома и тротуары заслонила метель, фонари расплылись в снежной мгле и казались туманными шарами, превращая улицу в волшебную декорацию к какой-то зимней сказке. Йозефина поскользнулась, но удержалась на ногах.

— Позвольте предложить вам руку, — пробормотал юнопа, только сейчас сообразивший, что это следовало сделать давно.

— Я привыкла ходить самостоятельно, — отрезала актриса.

Сколько часов провел он наедине с собой, готовясь так много сказать Йозефине, если когда-нибудь доведется встретиться с ней с глазу на глаз. И вот сегодня неожиданно осуществилось его горячее желание — а в мыслях смятение, смятение... Но ведь когда ему случается беседовать с графинями Таксис или с княжнами Шварценберг, он находчив и остроумен — почему же теперь он чувствует себя школьником? Все, что приходило ему в голову, было наивно, банально или, как ему казалось, слишком смело. Глубоко переведя дух, он мянул на шляпу Йозефины, запорошенную снегом, и вымолвил:

— Какой густой снег...

— А может, вы хотели сказать что-нибудь другое? — насмешливо отозвалась Йозефина.

Как раздражал ее этот холеный графчик, как хотелось ей унижить, пристыдить его — она сама не знала почему. Ведь держит он себя так покорно...

В Йозефине заговорила ее вечная строитивость. Не потому же он льнет ко мне, что я знаменитая актриса! Он делает это просто оттого, что я — всего лишь актриса! Печто доступное, годное для раз-

влечения! Ну, нет! Чермакова заслуживает большего, чем вторую роль! И если она вынуждена играть их в театре, то здесь, на улице, дома, то есть в жизни, — она госпожа! Если она захочет, то по собственной воле — и только так! — бросится в ноги хотя бы... ну хотя бы этому невозможному, этому паясничавшему Мошне и будет просить, как о милости, позволения чистить ему сапоги, потому что... Потому что Мошна — простой, совсем обыкновенный человеческий человек, человек с сердцем!

Это был протест гордой души, знающей себе цену. Захоти она, и этот граф, этот причесанный, вежливый мальчик, наследник нескольких имений, замков и дворцов, отпрыск исторического знатного рода и бог знает что еще, не посмеет приблизиться к ней и на сто верст, даже в мыслях!

Коуницу вдруг стало как-то не по себе. Он не должен потерпеть поражения. Нельзя, не может он позволить, чтоб его отвергла эта гордая, столь дорогая ему девушка. Внезапная решимость перехватила ему дыхание. Он остановился. Йозефина, пройдя еще несколько шагов, вопросительно обернулась.

— Можно мне вам кое-что сказать? — едва слышно прошептал он.

— Хотите признаться мне в любви? Пожалуйста! — Она топнула ножкой. — Посмотрим, как-то вы сыграете!

Это обескуражило Коуницу, но он взял себя в руки. Нет, он не позволит так от себя отделаться, иначе потеряет ее навсегда...

— Ради бога, ведь вы вовсе не такая! — уже решительно проговорил он. — Ведь это вы играете, не я! — Он поднял руку, чтоб помешать ей ответить резкостью. — Я точно знаю, что вы нежный, тонко чувствующий человек, вы не можете отталкивать того, кто глубоко, безмерно уважает вас...

Он произнес эти слова с такой настойчивостью и искренностью, что Йозефина была сбита с толку.

Падающий снег и темнота окутывали юношу, превращая его в фигуру из забытого старого романа.

Она хотела сказать что-то такое, что сокрушило бы его, сказать что-то злое — в отместку за все, что стояло у нее на дороге, что угнетало ее и связывало ей руки. Но вместо этого, охваченная внезапной нежностью, какой-то жалостью, она проговорила — скорее, про себя:

— Кто мне поможет?..

Коуниц встрепенулся, и с губ его сорвались слова, именно те, какие он и хотел бы сказать ей в эту минуту, — слова, полные обещаний и откровения:

— С кем же имеее вы дело, кто обижает вас, кто заставляет быть не такой, какая вы есть? Зачем вы таитесь, надеваете насмеш-

ливую маску, которая гнетет вас самое? Как хотел бы я уверить вас, что я... я был бы счастлив, если бы мог...

Но Йозефина остановила его, как прежде остановил ее он:

— Не говорите мне ничего! Не желаю ничего слушать! Этот вечер... и музыка... Быть может, сердце ваше полно обещаний... Мое тоже! Но какой в том прок... Свет все равно сделает с нами что захочет. Вы живете в другом мире. Ваша жизнь никогда не соединится с моей, разве что ненадолго, для маленького эпизода. А эпизодические роли я с отвращением терплю на сцене — в жизни же не стану их играть никогда!

Коуниц хотел перебить ее, но она почти выкрикнула:

— Нет, не говорите мне то, что вы хотите сказать и что, быть может, в этот час вам кажется правдой!

Он шагнул к ней, протягивая руки, но она снова топнула:

— Дайте мне договорить! Если вы меня действительно уважаете — прошу, очень прошу вас, пожмите мне руку и вернитесь к вашим друзьям!

— Йозефина...

— Прошу вас!

Коуниц понял, что не должен ничего более говорить, если хочет сохранить хоть слабую надежду. Он взял протянутую руку, склонился над ней и легонько коснулся ее губами; и еще раз умоляюще взглянул в прищуренные темные глаза девушки. Она же, тряхнув головой, повернулась и поспешно пошла прочь.

Коуниц долго стоял на месте, провожая ее взглядом, пока темнота и метелица не скрыли ее маленькую фигурку.

Снег давно сошел даже с северных склонов пражской котловины, давно Влтава унесла льды. Солнышко уже весело пригревало грязные пражские улицы, разгоняя по небу весенние тучи.

Зато тучи политические все грознее собирались над несчастными чешскими землями, которым суждено было стать главной ареной злополучной австро-прусской войны.

Газетные столбцы переполняли сообщения и комментарии к положению, которое ухудшалось с каждым днем. Настроение, правда, еще не было особенно гнетущим, но жители Чехии испытывали неприятное ощущение, что где-то без них решают их судьбу, что в спор немцев с немцами — как официально называлась тогдашняя кампания — будут вовлечены и чешские земли. Все возмущались заносчивостью Пруссии и ее грубой солдафонской политикой, представляемой прусским премьер-министром Отто Бисмарком, чьим принципом было решать вопросы железом и кровью.

Все это до известной степени сплотило чешский лагерь. Все шире утверждалась идея чешской государственности. О чехах стали говорить как о народе, самостоятельном от века. Одни политические деятели приветствовали кризис между немцами, другие его опасались.

Спектакли «Бранденбуржцев» приобретали символическое значение и шли при горячем одобрении публики.

В «Народни листы» появилась постоянная рубрика — «Приготовление к войне».

В апреле Бедржих Сметана писал своей гётеборгской приятельнице фрау Фройде Бенецкой:

«Война стучится в нашу дверь. Надменный, хвастливый, алчущий новых земель пруссак, по всей видимости, вознамерился поглотить Чехию и превратить нас во вторую Шлезвиг-Гольштинию. Однако этим он навсегда испортит себе пищеварение! Мы не подходим немцам, и еще менее боимся их. Мы с бодростью смотрим на приближающуюся войну с Пруссией, хотя нам придется смириться с тем, что она отодвинет на некоторое время осуществление наших чисто национальных задач. Ибо войне будут подчинены все интересы — остальное отойдет на второй план. Счастлива Швеция, у которой уже есть все, что надобно для счастья».

Однако, несмотря на приближающуюся войну и возбужденную атмосферу, Сметана усиленно продолжал готовить премьеру своей второй оперы.

Мощна действительно получил в «Проданной невесте» роль настолько подходящую для него, что это представляло даже известную

опасность. То была роль Принципала, и она тотчас поглотила его целиком. Мошне хотелось превратить ее в крупное комедийное явление, и он без конца выдумывал все новые и новые удивительные трюки, предлагая их на репетициях.

В середине мая репетиции «Проданной» включили в ежедневное расписание театра — в той мере, в какой это позволяла сделать «приязнь» дирижера Маира. Сметане снова пришлось самому готовить всю оперу.

Работали лихорадочно. Спешка эта подстегивалась еще нарастающими, все более грозными предвестниками войны.

В среду, в канун дня святого Яна Непомука, Сметане удалось урвать для своих репетиций целых полдня. Это позволяло уже работать на сцене, собирая воедино все, что отработывалось в отдельности.

Вместе с Адольфом Чехом Сметана прослушивал массовые сцены и все сольные партии первого акта. Остальные акты в тот день репетировать не успевали, и, следовательно, Мошне незачем было даже ходить в театр.

Но он сидел в партере, с наслаждением слушал и все не мог насытиться светлыми, волшебными звуками.

Сегодня вдобавок у него было блаженное чувство оттого, что никуда не надо спешить. Вечером здесь, во Временном, дают оперу Глюка «Армида», а в Новоместском — балет «Ослиная шкура», так что он свободен. Свободен как птица!

Май всегда делает дружбу горячее, а любовь — более необходимой. Зловещее предвоенное настроение еще усиливало эти чувства. Все человеческие отношения казались как-то дороже. Люди не выносили одиночества, бежали из дому, но и тогда попадали в плен улицы и шумных дебатов.

Мошна оставался на репетиции до конца. Ему не хотелось уходить из этого царства звуков — таких ласкающих, пронизанных миром и довольством...

«О, если б люди научились слушать прекрасную музыку — они, быть может, не смогли бы даже и думать о войне...».

Выйдя на улицу, ослепленный ярким солнцем, он остановился, чтобы оглядеться.

Остров Жоффин лежал перед ним в свежей зелени. На пабережной, в тени тоненьких липок, царил покой, и тишину его не нарушали, а скорее подчеркивали неспешно прогуливающиеся горожане.

Было часа два пополудни; в этот день, хотя и будничней, после обеда прекращалась всякая работа — как всегда в канун праздника Яна Непомука.

В Прагу постепенно съезжались деревенские жители — побывать на празднике национального святого, посмотреть фейерверк,

который по традиции устраивался вечером накануне этого дня на Карловом мосту и на Влтаве.

Два старичка крестьянина, каждый с узелком в руке, семеняли рядом — молча, потому что все давно друг другу сказали. Они то и дело озирались, останавливались, качали головами и снова пускались вперед.

Влюбленные, держась за руки, шептались о чем-то, близко сдвинув головы.

С острова Жофин доносились звуки настраиваемых инструментов — то военный оркестр готовился услаждать вечером слух пражан и тех, кто приехал на праздник.

Мир! — звучало со всех сторон. Кто возьмет на себя смелость нарушить мир, разбить сердца людей?!

Мошна с некоторым сожалением смотрел вслед удаляющейся влюбленной паре. Быть может, не пройдет и месяца, как этого юношу, который сейчас так нежно прильнул к своей девушке, найдут где-нибудь в траве с простреленным сердцем... И вдруг внезапная горечь подступила к горлу Индры. По нему-то кто заплачет — может быть, Куба? Или Йозефина?

Ах, до чего могут быть грустны майские праздники, когда человек одинок!

Впрочем, если бы Мошна захотел, он мог бы не быть одиноким — в душе он это знал. Но знал он еще и то, что после памятной премьеры «Бранденбургцев» с Йозефиной что-то произошло. И все-таки он и теперь еще мог привлечь ее к себе — как мог это сделать в тот снежный вечер. Но он понимал или, вернее, чувствовал, что это — ненастоящее. Точно так же бывало у него и с ролями. Многие из них ослепляли его, пылая жаркими факелами, и он думал: «Да, вот наконец то, о чем я мечтал!» А потом от них оставался один угар. Другие же роли он словно с трудом напяливал на себя, и они долго «жали», пока не «разнашивались». Зато настоящие — те, что причиняли боль, но потом срастались с сердцем, и радовали, и становились необходимыми, — ах, как их было мало! — эти роли и были его подлинной любовью! И вот о чем-то подобном он мечтал и в жизни...

Сколько дум передумал он об этом! Сколько ролей прошло в его памяти — от Ромео до Шванды-волынника! Сколько раз загорался он, сколько высоких слов звучало в его мозгу в то время, когда он шутил — а хотел бы сказать всерьез — хотя бы... Йозефине... Да, ей... Но ведь все это было бы не то! Быть может... быть может, настоящее заключается в какой-нибудь девушке вроде той, что мелькнула тогда на Смиховском вокзале...

С противоположного тротуара к задумавшемуся Мошне шел молодой уже человек, немного сутулый, просто одетый, в помятой круглой шляпе. Он шел, издавая улыбаясь:

— Ну вот, все-таки я тебя дождался! Швейцар не пускал меня! — воскликнул он, протягивая руку. — Здравствуй, Индра! Мне сказали, ты нынче не играешь.

— А, это ты, Йозеф? — Индра словно очнулся от грез.

Это был Йозеф Калоус, бывший товарищ Индры по мастерской Бёма, молодец с волнистым чубом, который так любил песни и театр.

Теперь Калоус был далеко не тот. Жизнь и тяжелый труд изобразили его лицо морщинами, чуб поседел. Как-то, когда Мошна перебирался в Прагу, Калоус случайно встретился с ним в поезде: он тоже возвращался из далеких странствий.

Антон Бём, бывший медник, а ныне предприниматель, расширил производство латунных и медных изделий. (В те времена предприимчивые чешские мещанишки начали процветать.) Бём купил в Карлине заводик и пригласил некоторых своих выучеников, в том числе Калоуса, — хотел иметь под рукой «своих людей». Он даже появился к Индре с уговорами бросить «театры» и вернуться к ремеслу.

— Я бездетен, — многозначительно сказал он тогда, — а дело идет в гору!

Но Мошна, завоевавший наконец место в театре, не променял бы его на все пражские заводы.

Калоус же согласился и стал работать у Бёма. Но это был не прежний Калоус: побывав в разных краях, он кое в чем разобрался и сделался социалистом — конечно, Бём об этом не подозревал.

С той встречи в поезде Калоус порой заходил в театр к Индре. Бывшие медники сдружились. Калоус очень гордился Индрой. Вон как вырос паренек — а началось-то все с глупостей... Кто бы подумал?

Сегодня встреча с Калоусом была особенно приятна Индре, и он сердечно пожал руку старого товарища.

— Да, действительно, редкий случай — я сегодня свободен. Как долго я тебя не видел, Йозеф!

— Собираешься куда? Если нет — пойдем пройдемся по берегу да посидим там в небольшом трактирчике, — и Калоус ласково похлопал Индру по плечу.

Ах, старина Калоус! В самом деле, почему они так редко встречаются? Был бы жив дядя Плачек или старики родители, побежал бы к ним — у них хоть поплакать можно. Калоус — тоже что-то родное...

Мошна с удовольствием взял Калоуса под руку, и они пошли вдоль Влтавы к Вышеграду. И забыл Индра и о Кубе, и о Йозефине, и о цветущем холме Петржице.

— Да, что я тебе все хочу сказать, Индра, — и давно бы следовало, — заговорил немного спустя Калоус, который начал задыхаться

от ходьбы — двадцать пять лет в меднолитейном цехе давали себя знать, и он говорил медленно, останавливаясь, чтобы перевести дух. — Недавно в нашем кружке, в рабочем кружке, говорили — хорошо бы пригласить к нам кого из писателей, например Сабину — он иногда ходит к нам, лекции читает, — да еще кого из актеров. И тут, когда я назвал тебя, один типограф от Хааса сказал, будто ты оказал огромную услугу нашим. Он рассказал мне подробно — вроде бы и мелочь, песенка просто, а дело было важное. В провинции песенка свое сделала...

Мошна вопросительно посмотрел на друга.

— Чего смотришь — ничего ведь не забывается, ни доброе, ни злое! А с твоей стороны это была не только солидарность, но и смелость — ну, тогда, на Смиховском вокзале. Господи, меня-то хоть не бойся! Я — член комитета, через мои руки многое проходит. Я в рабочем движении участвую еще с Лейпцига, когда работал там. Ох и порадовал ты меня!

Мошна не сразу понял, о чем речь, — и вдруг вспомнился ему тот злополучный сверток на Смиховском вокзале...

— А! — вырвалось у него, и он невольно махнул рукой, словно отгоняя нечто неприятное.

— Ты да пан Кашка. Ну, я и говорю — а как же, Мошна ведь наш человек! Здорово повезло тогда ребятам Хааса, вернее, тому типографу, что он наткнулся как раз на тебя!

Калоус не заметил, что в душе Индры происходит борьба. А Мошне было стыдно — и не столько за глупое поведение на вокзале, сколько так, вообще — стыдно перед этим товарищем, пусть сторбленным и бедно одетым, но таким уверенным...

— Знаешь, Йозеф, если честно говорить, я ведь тогда... как бы тебе объяснить? Если б не старый Кашка, то я...

— А, брось, ты хорошо сделал, — перебил его Калоус. — Тот парень рассказывал, как ты здорово сыграл под самым носом у шпигов, а я им рассказал, что ты с малых лет... Помнишь, все твои штучки и театр, — в общем, значит, был у тебя к тому талант! И вот — вышло хорошо. Мы, парень, чокнулись за твоё здоровье! — Калоус, которого невозможно было разубедить, благодарно похлопал Индру по плечу.

Мошна, чувствуя себя страшно неловко от этих похвал, пробовал возражать, но потом умолк: ему жаль стало разрушать иллюзии друга.

Тем временем приятели дошли до самого Подскалья и остановились перед маленьким трактирчиком, над которым висела темно-зеленая вывеска с белыми буквами:

«ТРАКТИР У ЕДЛИЧКИ»

— Здесь и сходится ваш кружок? — спросил Мошна.

— Ну нет, не так уж все у нас идиллично, — усмехнулся Калоус. — Но я люблю иногда заглянуть сюда; впрочем, сюда заходят и наши.

Трактир производил впечатление приятное и приличное. Здесь было чисто и уютно.

Перед дверью в кухню находилась распивочная; второй зал, в глубине, был довольно просторным. На стенах в золоченых рамках висели изображения Гавличека Боровского, Гуса, Жижки и Франтишека Дитриха \*, славного уроженца Подскалья, основателя пароходного движения по Влтаве.

Когда приятели вошли, в трактире царило оживление, как всегда по субботам или накануне праздничных дней. Сегодня же, в канун дня святого Яна Непомука, сошлось особенно много народу: святой Ян был, так сказать, патроном речников — «потому как его в Влтаве утопили», говорили они. И в самом деле, над стойкой вместо обычного благословения висела в рамочке «Чешская молитва», автором который был Карел Гавличек Боровский:

Моли святого Непомука,  
Да держит он над нами руку.  
Дай нам ту же бог судьбу:  
Чтоб наш язык не сгнил в гробу!

Почти все посетители были жителями Подскалья: речники, плотовщики, сплавщики, люди всех связанных с этими ремеслами профессий. Заднее помещение трактира занимали по большей части старшие, более солидные люди; молодежь оставалась в распивочной, около стойки — разве что тут и там затесался меж ними посетитель постарше, за долгие годы привыкший к своему месту.

Хозяин трактира, пан Едличка, был на вид человек молчаливый и неприветливый, но с первого же взгляда о нем можно было сказать то же, что и о его заведении: приличный. Лет пятидесяти, небольшого роста, полный, с бакенбардами, в фартуке, уголок которого, по старому обычаю, был заткнут за пояс.

Едва войдя, Мошна заметил, что на видном месте висят афиши Временного театра, — это ему было приятно.

Калоуса здесь знали хорошо: как только он вошел, многие с ним поздоровались. Пан Едличка приветствовал его особо.

Хозяин трактира кого-то напоминал Мошне, только он никак не мог вспомнить, кого именно. Какая-то неприятность была связана с ним, но потом Мошна забыл об этом. Узнав, что Мошна — артист Временного театра, трактирщик проникся к нему почтительностью.

— А я бы, пап Мошна, и не признал вас в обычной одежде, — с достоинством произнес он. — Хотя лицо ваше сразу показалось мне знакомым!

— Скажите, могли бы вы меня чем-нибудь накормить? — скромно спросил Мошна. — Я задержался на репетиции и еще не обедал. Что делать — я человек холостой, жизнь у меня немножко неустроенная, — с улыбкой, как бы в пояснение добавил он.

— Вы ведь в трактир пришли, так? — ответил в своей грубоватой манере хозяин. — Почему же вас не могут накормить в честном заведении?

— Да просто время уже позднее — дайте что есть, хотя бы холодное, — сказал Мошна, усаживаясь с Калоусом за столик в углу заднего помещения.

— Это с какой же стати вам есть холодный обед, когда можно получить горячий! — проворчал Едличка. — Славно было бы, если бы мы так встречали наших артистов, барабаны-сопельки!

— Ты чего туда сел, Йозеф! — окликнул Калоуса загорелый дочерна верзила с голубыми глазами и шевелюрой, как пакля, — вероятно, плотник. — Небось этот господин об нас не запачкается! — прибавил он, таща Калоуса к своему столу.

— Это Индржих Мошна, — с некоторой торжественностью представил Калоус Индру своим подскарвским приятелям.

— Уж не Мошна ли из Временного? — спросил светловолосый гигант, и лицо его осветилось счастливой улыбкой.

Мошна, улыбнувшись, кивнул. Стало быть, в Праге его уже немножко знают...

— Вы, ребята, его не стесняйтесь, это наш человек, правда, Индра? — сказал Калоус, кладя ему руку на плечо в знак дружеских отношений.

Сначала все немного стеснялись его, но общее смущение длилось недолго. Скоро Индра сделался своим человеком, хотя почти ничего не говорил. Он внимательно смотрел на каждого своим открытым взглядом, и очень скоро все прониклись к нему теплым чувством. Ему и самому очень хорошо было среди этих простых людей.

Широкоплечий дядька с могучими, до самых кончиков наощенными усами — видимо, местный сапожник, — откладывая газету и глядя поверх очков в железной оправе, с важностью проговорил:

— Вот пишут: в Париже, возможно, соберется канвиренция, последняя, значит, попытка нейтральных как их... этих... держав — Франции, Англии и России — предотвратить австро-прусскую войну.

— Моя вон пять фунтов сала купила да муки полмешка — па случай голодовки, понимай, — сердито проворчал седой человек с гладко выбритым лицом. — У меня все это уже в печенках сидит, да и парень мой в восемнадцатом ландверном служит...

— Ничего не будет! Разговоры одни. Это они парочно, было бы о чем писать да сбыть бы залежалый товар! — заявил светловолосый плотник, сделав огромный глоток.

— Ну нет, я бы так не говорил. Лаба уже перекрыта у самого у Дечина, все время обыски,— громко вступил в разговор высокий, загорелый молодец.— Наш брат возвращается вверх по течению без заработка. Нам, понимаете, только на месте платят,— как бы поясняя, обратился он к Мошне.— Сплошной грабеж...

— Господа дерутся, а бедняк плати! — буркнул седой.

— Вы, ребята, еще такого содома не видывали — все так и норювет из Праги выехать, словно потопа ждут! — воскликнул загорелый молодец.

— Нам ребята по воде кое-что привозят — понимаешь, газеты там и прочее,— тихо объяснил Калоус Мошне, который слушал заинтересованно, не отрывая глаз от новых своих знакомых.

— Говорят, пруссак хочет нам самостоятельность дать, чтоб, значит, опять был у нас свой король,— заметил маленький беззубый старичок, сидевший в сторонке от стола, за которым ему, бедняге, не осталось местечка.

— Не было печали — да у нас и своих-то господ пруд пруди,— откликнулся мужчина, тоже темный от загара, с тяжелыми скупыми движениями, который до сих пор сидел молча. Он подтвердил свои слова легким ударом ладони по столу, от которого, однако, подскочили поллитровые кружки.

— Вот горюшко-то, никак я из этих стражений не выйду,— разговорился старичок, которому, по предположению Мошны, было уже далеко за семьдесят.— Молодым пареньком пришлось мне супротив Наплювона воевать, и вот на тебе, опять на старости лет — ох-ох-ох!

— Да вам, дедушка, не придется идти — какой уж из вас вояка! — захохотал голубоглазый гигант.

— Что ты понимаешь, желторотый! Моему деду воп семьдесят семь было, а и его потянули во время наплювонских войн! — раскипятился старик.

— А с пруссаком-то шутки плохи. Здорово он Данию поколотил.

— Коли Австрию поколотит, хоть венские господа мягче станут! — вставил Калоус.— И тогда мы кое-что из них да вытянем. Нам свобода собраний нужна!

— На углах уже вывесили объявления о расквартировании войск. Домохозяйства обязаны все приготовить в момент,— вмешался в беседу трактирщик Едличка, принесший полные кружки.— А обед, ваша милость, сейчас будет готов,— обернулся он к Мошне.

Из кухни вышла молодая девушка в фартучке; пышные каштановые волосы ее были гладко зачесаны назад и, разделенные на две

косы, обрамляли слегка веснушчатое, с большими, ясными глазами лицо. Девушка несла тарелку и прибор; она вопросительно осмотрела зал. Едличка указал ей на стол, за которым сидел Мошна. Тот в это время повернулся к своему соседу, чтобы сравнить свои руки с его.

— Вроде рука ваша как перышко, а сила в ней есть! — смеялся черный сосед.

Девушка подошла к столу, положила перед Мошной скатерку, поставила на нее тарелку и собралась разложить прибор. В это время Мошна поднял голову — и оцепенел. Эти глаза...

Девушка тоже смотрела на него как зачарованная, не могла отвести взора — и положила прибор мимо... Ложка и вилка со звоном упали на пол.

Люди за столом вздрогнули. Мошна встал, словно поднятый неведомой силой.

— Доротка... — прошептал он.

Девушка покраснела и потупилась.

Пан Едличка был уже тут как тут и, сопя, подбирал с полу прибор.

— Дуреха! — проворчал он.

«Дуреха?» — осенило Индру — он разом вспомнил сцену на Смиховском вокзале, когда сердитый дядя увез от него «Доротку».

— Сейчас подам другой прибор, — сказал трактирщик. — Девка-то из деревни, чего с нее взять...

«Доротка» мигом скрылась в кухню.

Мошна был так потрясен, что уселся, забыв об окружающем.

— Или ты чего испугался, Индра? Господи, ну, вилка упала на пол, а ты уж бледен как мел, — удивился Калоус, слегка встряхивая друга.

Вернулся Едличка с чистым прибором и с супом в горшочке.

— Сейчас Пепичка второе блюдо принесет и прощения у вас попросит, пан Мошна. — Едличка все еще сердился, словно девушка совершила бог весть какой проступок. — Не обтесалась еще в городе!

«Конечно же, это она — и она меня узнала, узнала!» — пело в груди Индры. Он молча помешивал суп, не решаясь поднять глаза на соседей, чтоб не выдать себя, не выдать радости, волнения, чтоб не исчезло волшебство...

Вскоре появилась Пепичка; она шла осторожно, не поднимая глаз от тарелки.

Ставя тарелку перед Мошной, Пепичка, так и не поднимая глаз, прошептала:

— Простите, пожалуйста... — по тут, словно против воли, она посмотрела на Мошну — и во взгляде ее не было никакого страха.

Мошна встал и поклонился ей. Он был глубоко взволнован и не видел никого, кроме своей «Доротки».

— Как я рад, что нашел вас, — тихо проговорил он.

— А я... я — тоже... — опять словно против воли вырвалось у нее, и тут же, будто чего-то испугавшись, она повернулась и убежала.

— Хороша девица — наливное яблочко! — причмокнул губами старикашка, тряхнув головой. — Эх, ребята...

Только теперь Мошна, полный смущения, оглядел соседей, сел и непонимающе уставился в тарелку. Трактир вдруг исчез, Индре казалось, он слышит песню старого Калафуны из «Вольничика»:

Ах, Доротка Трикова,  
невестушка Шваднова...

— А что, этот пан Мошна, кажись, малость того? — наклонившись к Калоусу, шепотом спросил сосед Мошны, покрутив пальцами у лба.

— Да нет, — сами знаете, артист... — отвечал Калоус, озабоченно поглядывая на давнего товарища: он и сам не понимал, что с тем стряслось.

\* \* \*

В течение мая предвоенная лихорадка усилилась. Газеты и журналы полны были сообщений о безрезультатных дипломатических переговорах, о сорванных конференциях, о все более резких и кратких правительственных нотах — о передвижениях войск.

Люди меньше стали посещать театры, предпочитая им трактиры или кофейни, где можно потолковать с приятелями, как следует напугать себя и почерпнуть свежих новостей, которыми дома можно пугать семью и соседей.

У старого содержателя театра Франца Томе все ниже свисали огромные усы, все тяжелее становились веки. Скучные сборы во всех его театрах били по битому уже месту. Он напрягал последние силы и жил буквально за счет основного капитала. Ждал он теперь только объявления военного положения, чтобы разорвать все договоры, в которых оговаривалось, что в случае войны он имеет право немедленно снять с себя все обязательства.

В малом розовом кабинете дворца Бабельсберг под Потсдамом над картой Чехии склонились три человека.

Двое из них были стары: почти семидесятилетний Вильгельм I и, чуть помоложе него, — Гельмут Мольтке; против них стоял «юпоша» сорока одного года, юнкер Отто Бисмарк. Король, солдат и политик!

— Это особая страна,— говорил высокий, крепко сбитый Бисмарк, кладя на карту внушительный кулак, закрывший почти всю северную четверть.— Она так и не стала немецкой, хотя Габсбурги на протяжении почти двухсот пятидесяти лет стараются доказать обратное. Я велел подобрать все книги о Чехии — собралась целая библиотека. Чехия — бельмо на глазу у Австрии, но без нее империя рассыплется, как карточный домик. Если взять эту страну в клещи — мы добьемся от Вены всего, что нам угодно.

— Аннексия? — сухо спросил молчаливый Мольтке.

— Это было бы неплохо! — усмехнулся широкоплечий король, чье лицо украшали бакенбарды и усы; Вильгельм I нередко говорил, что военные походы бывают ему порой нужны, как пробежка доброму коню.— Но — опасно. Россия питает к этой крошечной стране до странности сентиментальные чувства, а с Россией ссориться нельзя!

И король фыркнул так, что сдул со стола несколько листов бумаги с заметками.

— Не столько сентиментальные чувства, ваше величество, сколько, скорее, страх,— возразил Бисмарк, собирая с полу листки.— Не только Россия — все великие державы никогда не допустят развала Австрии. Но достаточно будет на время оккупировать Чехию, и мы продиктуем оттуда мир, прусский мир!

Тем временем Мольтке сосредоточенно изучал карту Чехии. Он уже давно разработал несколько стратегических вариантов нападения. Неторопливо и тщательно провел он по карте три стрелы с севера, через границы Чехии: одна шла из Саксонии против течения Лабы, вторая в направлении на Либерец, третья — на Градец Кралове. Острия всех трех стрел нацеливались на Прагу.

Король опять фыркнул — на сей раз с довольным видом. Бисмарк успел придержать свои листки.

Мольтке прост и умен, подумал Бисмарк. И, видимо, у них обоих, у него и Мольтке,— одна и та же разведка, только оплачивают они ее каждый порознь, что совершенно излишне. Вероятно, Мольтке известно то же, что и Бисмарку: главные силы австрийских войск сосредоточиваются в Моравии под Оломоуцем, так что вторжение в Чехию и в самом деле может оказаться внезапным!

Когда оба через час выходили из кабинета короля, Бисмарк, недолюбливавший Мольтке, бросил просто так, как принято в светском разговоре:

— В числе книг о Чехии мне доставили книгу Лео Туна-Гогенштейна; человек этот был наместником императора в Праге, при нем в 1848 году войска стреляли в пражский народ, а позднее, во время абсолютистского режима Баха, направленного прежде всего против Чехии, Лео Тун был членом венского правительства. Вы не поверите,

ваше высокопревосходительство, что пишет этот австрийский немец! Книга называется: «О современном состоянии чешской литературы» и представляет собой защиту чешской национальной культуры. Вы это можете понять? Просто непостижимо!

Бывший датский офицер, ныне прусский маршал, Мольтке понимающе кивнул головой, что должно было означать: «Я-то понимаю, потому что я — европеец и эрудит, а вот вы, Бисмарк, — пруссаки и профаны!»

— Да, непостижимых вещей очень много, — говорил Лео Тун-Гогенштейн, сидя у графини Элеоноры Коуниц в ее дворце на Мостецкой улице, где дважды в месяц, по четвергам, собирался узкий кружок ее ближайших друзей. — Бисмарк воображает, что, если он выгонит Австрию из Германского союза и создаст прочную Германскую империю под эгидой Пруссии, то тем послужит германскому делу. Но это вызовет обратное движение германского элемента в пределы исконных германских территорий!

Гости постепенно умолкали, прислушиваясь к словам бывшего наместника императора в Чехии.

Лео Тун был невысокий, стройный человек с темными, влажными глазами; его окладистая завитая борода уже подернулась сединой. Разговориться ему бывало трудно, зато, начав, он мог полемизировать часами.

— Теперь, — продолжал он, — им удастся разорвать надвое германскую ветвь: имперские немцы — и остальные. И эти две отторгнутые друг от друга части уже никогда не срастутся, никогда!

— Но тогда прав Палацкий, ваша светлость! — оживленно перебил его граф Ян Гаррах, принадлежавший к одному из старейших чешских дворянских родов. Гаррах большую часть жизни проводил в своих владениях в окрестностях Колина, где принимал участие в местном самоуправлении; был он ревностный патриот и приверженец чешского искусства. — Тогда Австрия к собственной пользе будет вынуждена записаться своими внутренними делами, — довольно резко стал развивать он свою мысль. — Тогда она больше внимания станет уделять своим народам и волей-неволей даст им то, что следует!

— Если Австрия позволит вытеснить себя из Германского союза, в Австрийской империи немцы окажутся в меньшинстве! — вызывающе воскликнул старший сын графини Коуниц, Альбрехт, человек несколько ограниченный и надменный; унаследовав майорат, он стал носителем многих титулов и наследственным членом верхней палаты. Альбрехт, плотного сложения человек, был на двадцать лет старше своего брата Вацлава. Такая почти неприличная разница в возрасте могла со временем привести к распаду семьи. Старший брат

был совершенно чужим Вацлаву и держался с ним по-менторски высокомерно. Женат он был на дочери Туна и считал своим долгом поддерживать тестя в споре с Гаррахом, который в его глазах был не более чем богатым мужиком. — И вообще все немцы за пределами империи станут меньшинством, более или менее нежелательным!

— Ах, какое несчастье! — засмеялась его жена, Альжбета Коуниц, беседовавшая по-чешски со своей свекровью: она знала, что порадуется графиню Коуниц, если подразнит ее сына.

Другой Тун, Фридрих, старше Лео, бывший дипломат и человек, отлично разбиравшийся в искусстве, мягко проговорил:

— Я бы хотел указать на некоторые топографические особенности немецкого влияния. Разве Гендель ничего вам не говорит о Лондоне? Гайдн — об Австрии, Моцарт — об Италии? Даже у Бетховена чувствуется Вена и его фламандская родина, а у Листа — Венгрия. Быть может, и ваш теперешний Сметана, — обернулся он к Альжбете Коуниц, — когда-нибудь по достоинству займет место в этом ряду. Ведь он растет, озаренный их влиянием!

— Вот теперь, дорогой мой, вы несколько преувеличили, — вспыхнула темпераментная молодая графиня Коуниц. — А сначала вы были правы. Но Сметана растет совсем от иных корней, и они сохранят его самобытность! Сметана — чисто чешский, и именно потому он стяжает когда-нибудь мировую славу. Впрочем, думаю, вопрос этот нельзя объяснять и обобщать вашим топографическим способом!

— Безусловно! — поддержал графиню Гаррах, с восхищением глядя на бывшую ученицу Сметаны. — Речь идет о принадлежности, да, о принадлежности, о родстве с народом. Взгляните на репертуары чешских театров, где процесс этот выражен ярче всего!

При упоминании о театрах графиня Элеонора Коуниц поднялась и легонько тронула за локоть Лео Туна — ей надо было поговорить с ним о семейном деле.

А Лео Тун, вовлеченный в обсуждение проблем, которыми занимался всю свою жизнь и которые теперь, когда проблемы эти пытались силой разрешить Пруссия, буквально мучили его, все еще не мог отрешиться от мыслей о политике. Он не одобрял позицию вепского двора.

«Они слишком первичают, когда думают о Потсдаме. Весь военный аппарат нашего императора ничего не стоит. Они не умеют управлять! Не научились ничему ни в сорок восьмом году, ни в Италии, ни во время шлезвиг-голлштинской кампании, когда попросту дали обмануть себя. И если сейчас они попадутся на прусскую удочку — ничего хорошего не жди. Вообще в Европе со времен Наполеона установилась мода на авантюры. Наполеон III — не лучше, чем

тот же Бисмарк: авантюрист! Только Бисмарк умен и силен, тогда как Наполеон III дерзок и глуп...».

Нет, Тун не хочет иметь ничего общего с этим миром — успокоение он находит только в своей библиотеке. И когда иод окнами зазвучат прусские флейты с барабанами — он и головы не поднимет от «Диалогов» Платона. Сейчас же он был даже рад, что Элеонора отвела его в сторону, и, хотя побаивался всяких разговоров на семейные темы, послушно последовал за ней в ее кабинет.

— В чем дело, ма chérie<sup>1</sup>, у вас столь озабоченный вид? — довольно нетерпеливо спросил Тун — в интимной атмосфере кабинета он снова ощутил безмерную усталость.

— Я хотела поговорить о Вацлаве, дорогой друг. Вам известно, как дорог мне этот мальчик. Я решила послать его за границу. У него превосходный наставник, который поедет с ним...

— Сейчас, накануне войны? Это будет похоже на бегство, — с удивлением произнес Тун.

— Почему? Он ведь не военный!

— Об этом станут говорить. Молодой Шёнборн собирается прервать учение и добровольно вступить в армию. Скажут — вы не верите в наше положение...

— Но вы ведь сами... — попыталась возразить графиня.

Однако Тун довольно бесцеремонно перебил ее:

— Это не означает, что я допускаю измену! Если понадобится, все мы падём, защищая трон Габсбургов. К сожалению, нам не остается ничего другого! А то, что мы думаем, как частные лица, ничего не решает и никому не интересно. На нас налагает долг наше историческое предопределение, и преданность — наша последняя добродетель!

— Я вас прекрасно понимаю. Но сама я принадлежу к чешскому дворянству и чешскому народу!

Она помолчала. Разговор начался неблагоприятно. Тун, видимо, раздражен и сам себя не может понять, как, впрочем, и все австрийские немцы, чувствующие себя обманутыми и оскорбленными действиями Пруссии — как люди, которых изгоняют из родной семьи. Но целью графини был только ее небольшой, личный интерес, не более. И она уже ласково взглянула на Туна:

— То, о чем я хочу с вами говорить, совершенно не связано со всем этим. Вацлав — студент, что же касается меня и всей семьи, то мы останемся здесь.

— Но почему вы именно теперь хотите отослать его? Погодите до осени, тогда все станет гораздо яснее.

<sup>1</sup> Моя дорогая (франц.).

— Вы будете смеяться — он влюблен! — с горькой улыбкой сказала графиня.

— Влюблен? Вот новость; и из-за этого бежать за границу? Предмет его, видимо, какая-нибудь камеристка или что-нибудь в этом роде, иначе зачем же ему бежать? Ах, все это — чепуха, а вы делаете бог весть какое серьезное дело! — раздраженно воскликнул Тун выпрямляясь. — Позвольте мне теперь уйти...

— Пожалуйста, Лео, не сердитесь. Вам так идет, когда вы ласковы, и неужели вы не видите, до чего я расстроена? — Улыбнувшись, графиня Элеонора взяла его за руку. — Большие затруднения возникают именно из-за мелочей... Вы должны мне помочь.

Бывший наместник нахмурился, однако затем мягко отнял руку и оперся на комод. В конце концов он как бы опекун Вацлава и, следовательно, должен интересоваться судьбой и чувствами этого юноши.

— В кого же он влюблен? Конечно, мезальянс? — Не дав собеседнице ответить, он продолжал. — Но, та *chérie*, разве все мы не влюблялись в горничную матери или в дочь управляющего?

— Вероятно, да, но сомневаюсь, чтобы это всегда было так же серьезно, как у Вацлава.

— О, о! Ваш Вацлав, несомненно, исключение. Нет, это всегда бывало серьезно! И каждый из нас собирался по меньшей мере застрелиться — или соглашался на то, чтоб его лишили наследства!

— Альбрехт на двадцать лет старше Вацлава. У меня только два мальчика, и майорат со временем перейдет к Вацлаву и его детям. Я не так богата сыновьями, чтобы рисковать ими. Вацлав обладает чувствительной, нежной душой, и я его понимаю, — мягко проговорила графиня.

— Но кто же она? — воскликнул Тун, как ни хотел он скрыть своего любопытства.

— И опять вы, возможно, будете смеяться... — Она отвела глаза, но потом, снова устремив их на Туна, выговорила смущенно: — Это актриса, Лео, актриса Временного театра...

Граф сделал движение, словно собираясь уходить, но тотчас рассмеялся:

— До чего же вы романтичны, та *chérie*, боже мой! Ах, конечно, я помню вашу любовь к Михалу Коуницу — простите мне фамильярность. Я очень уважаю вас, Элеонора, но ведь вы были как Ромео и Джульетта из враждующих родов! Актриса? И вы хотите решить это дело, отправив сына за границу, да еще в такое время? Кто знает, как и при каких обстоятельствах пришлось бы вам тогда с ним снова встретиться? Актриса! В те поры, когда нам было по двадцать лет, такие вещи благосклонно терпели, а вы, как я вижу, собрались устроить из этого трагедию! — Он опять засмеялся. — Но ведь все это

следует причитать в расчет! Правда, Вацлаву, кажется, нет еще и двадцати, мог бы подождать — однако такие вопросы разрешаются с помощью денег!

— В данном случае, к сожалению, деньгами ничего не разрешишь. Нынешнее положение — особенно положение чешского актера или чешской актрисы — необычайно щепетильно, нынче они в своем роде представители национального мнения, вы понимаете; по реч пока не об этом. Мне попало одно из писем Вацлава — оно так трогательно, и мне его жаль...

— Почему? Оставьте его. Ему, с его любовными страданиями, очень хорошо. Поиграет некоторое время в молодого Вертера, проглотит знатную порцию любовной поэзии, чем пополнит свое образование... Ну-с, а затем — затем его мечта осуществится, он успокоится, опять начнет ездить верхом, посещать лекции и читать романы.

— Не так все это просто, Лео, — вздохнула графиня. — Есть обстоятельство, делающее историю не такой банальной, как вы думаете.

— Что же это за обстоятельство? Вы меня заинтриговали!

— Дело в том, что она его отвергает! — взволнованно воскликнула Элеонора. — Да, именно она!

— Значит, эта особа несколько хитрее, чем обычно. И стоять это будет несколько дороже. Она молода?

Графиня улыбнулась:

— Она еще ребенок. Ей нет и восемнадцати! Ей — хитрить? О нет! Это прелестная, интеллигентная девушка. Она пользуется всеобщим уважением. Талантлива, мила... Я видела ее.

— Все это звучит как идиллия... гм... двое детей... В самом деле, это опасно... Надеюсь, вы-то сами в нее не влюбились?

— Почти, Лео, почти! Если бы вы ее узнали, простите, и вы бы влюбились наверняка.

Тун шутливо махнул рукой, но задумался.

— Из Временного, говорите? Действительно, там играет одна молоденькая, я даже обратил на нее внимание, хотя и был-то в этом театрике всего раза три. Да, она запомнилась мне своей детской простотой и строптивостью — впрочем, тоже по-детски смягченной...

Тун прищурил глаза: теперь дело начало его занимать.

— Может быть, это она...

Поразмыслив, Тун сказал:

— Дело можно разрешить единственным способом: не ставьте никаких препятствий, пусть все идет как идет. Со временем увидим. Думаю, они пока вряд ли смогут повредить друг другу, а потом им обоим надоест.

— Но я же говорю вам — она его не любит! Не любит! С его стороны это — несчастная любовь! — с горечью воскликнула графиня.

— Даже при надежде, что он на ней женится?

— Даже так!

— Ну, тогда все в порядке,— засмеялся, выпрямляясь, Тун. Ему казалось, что вопрос исчерпан.

— Нет! Вацлав глубоко страдает. А она, кажется, любит другого. Здесь ничего не поделаешь! Вацлав перестал учиться, спать, он целыми днями ходит по своей комнате. Надо ему помочь! Прошу вас, дайте мне рекомендательные письма, добейтесь для него дипломатического аккредитива на выезд! Вашу просьбу удовлетворят! Я хочу, чтоб он уехал на год, на два. Все равно ведь по окончании учения ему надо попутешествовать. Вы сделаете мне это одолжение, Лео? — Она с благодарностью посмотрела на заинтересованного, как ей показалось, графа.

— Куда же вы хотите его отправить?

— В Бельгию и во Францию. В Париже он запишется в Сорбонну.

— Хорошо! Отправим-ка в самом деле нашего молодого Вертера с его страданиями туда, где сам принц Уэльский лечит свои великосветские сплины...

Когда они вернулись в гостиницу, там уже, к удовольствию бывшего наместника, говорили не о войне, а о премьере оперы Сметаны.

Альжбета Коуниц, к досаде мужа, страстно защищала музыку Сметаны.

— Увидите — он опять одержит победу! — вскричала она, словно на студенческой сходке.

— Я тоже убежден в этом,— не менее темпераментно подхватил Гаррах.

— Здесь, в Праге, перед чешской публикой — возможно, — возразил Фридрих Тун.— А мир далеко еще не убежден и, думаю, не так-то скоро убедится в его гениальности.

— Не важно! В Бетховена тоже мальчишки бросали комья грязи! А у Сметаны — все качества гения! — страстно продолжала Альжбета, забывая, что она уже замужняя дама, а не молоденькая пианистка.

— А я никак не могу избавиться от ощущения, что все это... все это какое-то слишком чешское, просветительское, что ли, этакое доморощенное искусство,— спокойно произнес Фридрих Тун.— Я говорю не только о музыке. Мы видим то же в театре и в литературе. Ну вот, к примеру, Галек, этот маленький чешский Байрон,— ведь это же чирикание!

— Ах, я рассержусь по-настоящему! — вскричала Альжбета Коуниц.— Граф, вы становитесь злым!

— Говорите что хотите,— снова пришел ей на помощь Гаррах,— а Сметана не ошибается — он вступил на единственно пра-

ильный путь! Да, домашнее, да, отечественное искусство! И Галек — не только маленький Байрон, но и великий чешский лирик. Жаль, что его не переводят на иностранные языки. Его стихи так папевны, что их можно петь не хуже, чем песни Беранже! Здесь говорили о мировом значении немецкой музыки. Это бесспорно! Но мы пока должны петь у колыбели нашего нарождающегося искусства, и задача эта столь велика и священна, что наполняет нас радостью и гордостью!

Фридрих Тун, снисходительно улыбнувшись, вежливо поклонился. Он не собирался вступать в столь принципиальный спор.

Когда графиня Коуниц и Лео Тун вернулись в гостиную, они сначала слушали других, но потом Элеонора заговорщически обратилась к Лео:

— Пойдемте, граф, на премьеру «Проданной невесты» и возьмем с собой упрямого Фридриха. Мы услышим, как говорят, чрезвычайно своеобразную и радостную музыку!

— Я обожаю музыку, — вздохнул тот, — однако не столь своеобразную. И потом — я с трудом переношу Вагнера, а тем паче вагнерианцев!

— Как вы ошибаетесь, дорогой! — мягко возразила графиня. — Я не стану кричать, как Альжбета, но должна сказать вам, что Сметана необычайно соответствует вашему теперешнему настроению. Он чисто чешский, а вы, который некогда защищали чешскую позицию, знаете ведь, что такое элегичность чехов. Что же касается вагнерианцев... Это ведь недруги Сметаны попрекают его Вагнером. Вагнер, без спора, великий художник и реформатор. Почему же Сметане не учиться у него, как и у Листа? Мы все постоянно учимся, одни глупцы твердят — «я знаю, знаю». Сметана же слишком самостоятелен, Вагнер ему не повредит! Вот пойдемте — сами убедитесь. И может быть, я покажу вам неприступную любовь моего несчастного мальчика, — тихо добавила она.

— О, графиня, сегодня вы второй раз переубеждаете меня! Я признателен вам за приятный вечер, — галантно ответил Тун. — А ргорос<sup>1</sup>, когда же премьеры? Надеюсь, мы ее дождемся, — с улыбкой закончил он.

— Откуда эти сомнения? Опять интриги папа Маира? — спросила Альжбета, услышавшая последние слова графа.

— Да, дорогая, интриги, но на сей раз господина прусского премьер-министра Бисмарка! — улыбнулся ей граф.

— Премьера тридцатого мая, через две недели. Надеюсь, господин Бисмарк будет до тех пор к нам милостив, — пошутила графиня.

---

<sup>1</sup> Кстати (франц.).

Что такое великое, и что — малое? И что в конце концов останется, что будет решающим?

Каждый день читал Мошиа газетные сообщения о надвигающейся войне — с тем же интересом, с каким играл роли, не подходящие ему по духу. Ходил на репетиции, слушал музыку Сметаны, по вечерам изображал судьбы других людей, слушал за кулисами споры о политике и невольно чувствовал, что все это касается его непосредственно.

Он плохо стал спать, ел без аппетита — и по непонятным причинам купил два новых шелковых галстука...

Он переживал период, когда большие размышляют, чем действуют, — или, наоборот, больше действуют и совершенно не размышляют. Он чувствовал себя другим человеком. Он стал рассеянным — вести о надвигающейся войне то оставляли его совершенно безучастным, то крайне волновали. Морясь по утрам или вечером гримируясь в театре, он вопросительно вглядывался в свое лицо, словно то было лицо человека, которого он узнал лишь недавно.

Он ничего не мог с собой поделать. Был словно заколдован. Все его мысли, чем бы ни были они порождены, устремлялись только к Подскалью, к маленькому уютному трактиру, самому прекрасному на свете...

Много раз отправлялся он туда, а войти не решался, опасаясь, что это бросится в глаза. И он возвращался с подпути, и бродил по Карловой площади, или сидел на берегу темпой Влтавы, следя за отражениями звезд, покачивающимися на ее успокоившихся волнах... Почему?

Но иногда, преодолев все свои внутренние возражения — один бог знает, откуда они у него брались, — он входил в трактир Едлички — и, как это ни странно, ничего особенного не случалось. Его встречали с радостью, завязывался разговор, Едличка сам обслуживал его с подобострастием, и Непичка показывалась, правда, только на минутку. Всякий раз некая загадочная сила (по-видимому, тетка ее — ох уж эти тетки!) увлекала ее в кухню и больше не выпускала в зал.

— Ничего не скажу, ребята, а все-таки он путаник! — говаривал о нем черный Фраптишек Краеч, тот, у которого кулаки были словно железные и который имел обыкновение стучать ими по столу. — Но я его люблю. Он, правда, сидит тут с таким видом, словно с луны свалился, да ведь сами понимаете — артист! — повторял он слова Калоуса. — Слышал я, будто как раз комики, ну, те, которые комедии-то играют такие, что со смеху лопнешь, в жизни, наоборот, такие задумчивые, что ли...

— Задумчивые? — протянул Калоус. — Сколько я его знаю, всегда он был веселый, разговорчивый такой.

— Ничего-то вы не понимаете, щенки! — засмеялся дед, поминивший еще Наполеона. — Вот я так знаю, что его с панталыку сбивает...

Короче говоря, Мошна был влюблен по всем извечным законам природы, но никак не мог решиться предпринять что-либо, чтобы хоть немного приблизиться к Пепичке или договориться с нею. Старый Едличка притворялся, будто ничего не замечает, и если что-то висело в воздухе, то папи Едличкова, супруга его, прилагала все усилия, чтобы оно так и висело, не потревоженное никакими бурями.

«Легко сказать, актер! — рассуждал про себя старый трактирщик. — Нынче не такое это простое дело. Актеры — это тебе уже не те бродяги, что раньше! О них вон вся нация только и говорит, даже в парламенте господу депутаты речи про них держат, будто они бог несть кто, и люди во всех уголках страны собирают по грошику на Национальный театр, ровно на храм божий... И все равно актер — он и есть актер! Вот портной, у которого дельце на ходу, или даже канцелярист, управляющий какой-нибудь звучит как-то солиднее...».

У Пепички не было матери, и все хозяйство ее родного отца, крестьянина деревни Добржив под Рокицанами, который тоже держал трактир и мясную лавку — в деревне это обычное сочетание, — вела незамужняя сестра отца, Анна.

Когда Пепичка стала подрастать — а она была младшей из четырех детей, — то у них с теткой не раз случались стычки. Тетя Анна тоже была упрямец — в семействе Едличков вообще был крест с женами, — и трудно стало ей ладить с быстрой разумом и не по летам развитой племянницей, которая вытянулась уже на голову выше нее.

Пепичка хотела учиться — да куда было в те времена учиться крестьянской девушке!

Между тем не только священник Никласек из Мирошова, но и пап профессор Чейка из Рокицан, знаменитый врач, — некогда одноклассник старого Франтишека Едлички, иногда и теперь заезжавший к нему во время каникул погостить, — говорил, что Пепичка девочка чрезвычайно одаренная и будет жаль, если она так и останется прозябать в деревне. А для отца Пепички профессор Чейка был богом.

Что делать с девчонкой? Она была как ветер. В кухне, в распивочной, во дворе, в саду, в хлеву — только промелькнет, а после нее все так и блестит. И все свободное время — с книгой. Она брала их у мирошовского священника, у школьных учителей и даже покупала в Рокицанах, по мнению тетки, за безбожные деньги.

Подросла Пепичка, стала как наливное яблочко — и всякий раз, как где какое веселье — то ли у них в Добрживе, то ли в Мирошове или даже когда отправлялись в самые Рокицаны, — она была нарасхват. Такая ведь пригожая девушка, зачем только ей эти книги?

Просто упрямство одно, да еще язычок острый! Ох, как она умела отбрить, настоять на своем — господи боже мой! Порой даже сам староста глаза таращил, а ведь был, как говорится, сам с усам.

«Что делать с девчонкой?» — не раз вздыхал Франтишек Едличка — он, правда, гордился дочерью, но придумать не мог, куда же ее пристроить. Была бы она мальчиком! Хоть сейчас послал бы учиться, пусть бы половина хозяйства прахом пошла. А как быть с девушкой?

— Отошли-ка ее в Прагу к Якубу, а там увидим! — уговаривала озабоченного отца тетка Анна.

— Опять, значит, в трактир? — вздохнул Едличка. — А знаешь ты, Анежка, что такое Прага? Чистый Вавилон! Что, как девка там с пути собьется?

— Ничего, Якуб ее придержит, а станет припекать, всегда ведь можно отправить ее домой, ну, а здесь — здесь выйдет замуж, и дело с концом! Вон Йозеф Гейровский хоть сейчас ее возьмет. То-то без конца вокруг нее вьется... Только бы сама-то согласилась!

— Вот-вот — кабы согласилась...

Все было обсуждено и обдуманно. Старый Едличка съездил в Прагу, и через две недели Пепичку собрали в путь.

— Большую ответственность беру я на себя, Франтишек, — сказал ему пражский брат, узнав, о чем речь. Но в душе он был рад, потому что детей не имел, а Пепичка была его любимой племянницей. Ничего, уж как-нибудь уберезет он ее...

Так на же тебе: приехал встречать племянницу, а к пей уже приклеился молодецкий хлыщ! Право слово, так бы и влил затрепину и ей и ему!

Пепичка скоро, даже на удивление скоро ко всему пригляделась и через несколько дней совсем освоилась в дядином трактире. Аккуратная, работящая, сообразительная, услужливая — просто радость!

И все было бы хорошо, все шло как по маслу — так нет, появился этот Мошна. Рассказывали, будто веселый он, забавный, разговорчивый — а здесь, у Едлички, он чаще всего сидит тихо, ничего не говорит, только смотрит, смотрит... Вот уж вовсе не вертопрах! А на сцене такое отмачивает, что о нем вся Прага гудит! Но именно то, что он так смотрит и ничего не говорит, сбивает Едличку с толку, а пани Едличкову вводит в смущение.

«Ясно — притворяется, что-то у него на уме... Актер!»

До того как Мошна нечаянно появился у них в трактире, Пепичка тоже нередко вспоминала, как приехала в Прагу.

Да и раньше, когда только выяснилось, что она будет жить в Праге, сколько мечтала она обо всем, что увидит в этом городе, где так много экипажей, кофеен, дворцов, военных, огней, праздников, театров... Что-то ждет ее там? Сколько приходило ей в голову сюжетов из прочитанных романов — только ни один ей не годился. По, ко-

нчно, суженый явится непременно! Это она знала твердо, хотя представления ее о том, как он будет выглядеть, были еще весьма расплывчаты. Наверняка он будет высокий, стройный, и будут у него красивые, волнистые, темные — лучше совсем черные — волосы, а на лице его, обрамленном темной бородкой, будет играть почтительная и ласковая улыбка, а глаза его будут глубокими, как колодец... А кто он будет — об этом Пепичка, хоть и весьма практичная девица, не очень задумывалась. Вот хорошо бы врач — да, молодой самоотверженный врач! Когда к ним приезжал пан профессор Чейка, она находила, что пахнет от него очень интересно — какими-то духами, и еще мятой и ромашкой, и трубочным табаком... У него были белые мягкие руки и очень ласковые глаза...

И чем же кончились все эти грезы?

На пражском вокзале, не успевшая она оглянуться, привязался к ней паренек — правда, хорошо одетый, но совсем не той внешности, что герой ее мечты. Не высокий, а маленький, не с черными волнистыми, а со светлыми и довольно редкими волосами, не с бородкой, а чисто выбритый... Глаза же... Никакие не глубокие, а светлые, словно хорошо отмытые раковинки!

Все в нем было наоборот, все!

Но почему же теперь, когда она пряла свои грезы о будущем или когда читала романы, все герои ее вдруг стали скорее маленькими, чем высокими, почему волосы их заметно посветлели, и почему, словно сами собой, сделались светлыми их глаза, и стали эти герои чуть-чуть заикаться? Порой это даже огорчало Пепичку. Но что поделаешь! Вместе с обстановкой меняется и облик героев...

Когда же с течением времени образ молодого человека с вокзала начал стираться в памяти и герои опять немощно выросли, а волосы их потемнели и сделались гуще — вдруг появился и он сам, герой со Смиховского вокзала, во весь свой — малый рост!

Да еще вдобавок ко всему оказалось, что герой-то этот — артист, настоящий артист! Но это-то, в общем, еще ничего. Во всяком случае, лучше, чем какой-нибудь писарек деревенского старосты. И он был вовсе не такой жалкий, как те актеры, которые несколько раз играли в Мирошове, в трактире «Под замком», — люди с голодными, безумными глазами, многословные, в рваных штанах... Этот актер был чистенький, аккуратный и молчаливый, но — все же актер...

К понятию «актер» в памяти Пепички относилось иное, неистребимое впечатление детства.

Это было летом 1856 года. Однажды в субботу в трактир ее отца в Добрживе приехали лесничие барского леса с какими-то еще людьми из Рокицан. Они привезли злую весть: вчера в Пльзени, в страшной нищете и муках, скончался Йозеф Каэтан Тыл, чешский писатель и артист.

Батюшка горько вздохнул, тетя Анежка заплакала — тем более что приезжие рассказали, что покойный оставил без всяких средств шестерых малолетних детей, вдову и ее сестру.

Потом заговорили о чешском театре, о будителях, о бедствиях чешского народа, о короне чешских королей, о минувшей славе...

Пепичке шел тогда одиннадцатый год. Она все понимала, и все ей западало в сердце. И показалась она себе тогда маленькой и незащищенной.

Отец решил ехать в Пльзень на похороны. У них ведь была лошадь и повозка, на которой ездили за закупками.

Собирался ехать и мирошовской священник Никласек, ревностный патриот, бывший капелланом еще при преподобном отце Войтехе Неедлом, поэте; Никласек попросил Едличку взять его с собой. У Пепички было весьма туманное представление о том, кто такой Тыл, — по всему, что она о нем слышала, девочка была убеждена, что он святой. И она забрала себе в голову поехать на его похороны и присила, и приставала, и плакала до тех пор, пока ее не усадили в чисто выметенную повозку.

В то воскресенье, когда хоронили Тыла, Пльзень стала местом паломничества. Все, кто мог, все, до кого успела дойти печальная весть, съезжались в город.

Едличка поставил лошадь на площади у церкви; Никласек пошел в ризницу облачаться, а Пепичку оставили в повозке — чтоб не задавили в толпе. Поэтому она отлично все видела, когда процессия тронулась.

Актеры, с траурными лентами через плечо, несли красивый, утопающий в венках гроб. Впереди вышагивали священники в черных с золотом плювиалах\*, и среди них преподобный Никласек. За гробом, взявшись за руки, шли маленькие дети Тыла, четыре мальчика и две девочки. За ними двигались две женщины в глубоком трауре и много еще людей в черном. Все плакали. Только младшие из осиротевших детей с любопытством и удивлением озирались по сторонам. Затем следовали профессора и студенты в шапочках-«подебрадках» с перьями, городские союзы со своими знаменами, чиновники в мундирах и при шпагах.

Пепичка, заразившись волнением окружающих, не понимала — и долго еще не могла понять — одного: говорили, что Тыл умер в нищете, без средств, затравленный и больной. Как же можно было допустить, чтоб так и умер он, одинокий, лишенный дружеской помощи, когда теперь вот, для этих торжественных похорон с музыкой и колокольным звоном, собралось вдруг столько народу? Почему же все эти плачущие и причитающие теперь люди не припили раньше? Где они были? Почему, например, батюшка не послал Тылу и детям его гостинца, когда у них кололи свиней? Да если бы каждый, кто шел те-

перь в этой нескончаемой процессии за гробом, дал по гривеннику, не пожалел бы доброго слова, булки, корзиночки картошки, кусочка мяса — быть может, тогда бы Тыл и не умер?.. Нет, не могла Пепичка понять этого!

Позже, в трактире, куда они зашли пообедать, она стала спрашивать об этом; сначала все улыбались наивному вопросу ребенка, потом же, сделавшись серьезными, пошли качать головами, сами не понимая...

И вот в сознании девочки сложилось странное представление об актерах и художниках. Это — те, кого все любят, о ком говорят, на кого смотрят — как они играют, как ищут картины или книги, — но кому спокойно предоставляют голодать, кого не принимают всерьез, с кем запрещают близко сходитья (дочку, например, никогда не выдают за такого!), а когда они умирают, все оплакивают их, и всем стыдно, и ставят им большой, холодный памятник...

Еще в Мирошове Пепичка несколько раз ходила в театр, и в Праге успела побывать с дядей во Временном. Спектакль ей понравился, но Мошна на сцене показался ей каким-то чужим. Не в том дело, что он приплясывал и пел и все смеялись его шуткам, а в том, что на сцене он был совсем другой — совсем не тот тихий, с преданным взглядом человек, какого она привыкла видеть в трактире дяди. Думая о нем — а с тех пор как он появился, она думала о нем, пожалуй, беспрестанно, — Пепичка, пусть неосознанно, воображала себя где-нибудь в родной деревне и хотелось бы ей встретить его на лесной тропинке или на солнечной поляне, усеянной цветами.

Но все это пока тайлось у нее глубоко в душе. И это невысказанное постепенно начало сосредоточиваться вокруг нее и нового посетителя их трактира, актера Мошны.

А тот в свою очередь, угадав, какое богатство скрыто за светлым взором Пепички, тоже погрузился в мечты.

Быть может, счастье заключено скорее в тех мгновениях, когда соединяются мечты людей, чем тогда, когда они осуществляются — потому что тогда... Ах, тогда остается лишь выдумывать новые!

Между тем тетя Едличкова была начеку.

— Обрати внимание, когда к нам приходит этот Мошна, Пепичка просто как замороженная!

— Это тебе только кажется, вечно тебе мерещится незнамо что, — сердито отмахивался от жены Едличка: не хотелось ему, чтоб «это» началось.

— Как увидит его, так все и валится у нее из рук, — твердила свое старуха Едличкова. — Что смотришь-то? Как бы потом не плакать! Коли что случится, как я посмотрю в глаза Анежке?

— Ну, ты уж сразу... о господи!

Упоминание о сестре Анежке, богобоязненной и строгой старой деде, встревожило трактирщика.

— А как же! Актер ведь! Это тебе ничего не говорит? — долбила Едличкова.

— Нет!

— Вот как будет поздно — тогда спохватимся! Одним словом, печого девчонке выходить в зал по вечерам! Это и неприлично да же! — решительно заявила трактирщица.

И вот, к горестному сожалению Мошны, завелся теперь такой порядок: только он на порог — Пепичку словно ветром сдувало.

Тетка без всяких околичностей сама приказала ей исчезать. Пепичка только головой тряхнула да улыбнулась странной улыбкой:

— Что ж, тетушка, если вам это так важно — охотно послушаюсь. По крайней мере будет у меня время сделать кое-что для себя да пораньше спать лечь!

Тетка же, кивая головой, подумала: «Ладно, меня не проведешь — я-то знаю, что к чему!»

Но и еще один человек знал, «что к чему», — Калоус. А может, догадывался и Франтишек Краеч. Калоус же сразу подметил, что с Мошной что-то творится. «Интересно, — думал он. — Индра-то ведь никогда за словом в карман не лезет, парень он компанейский, да актер к тому же, а тут сидит как воды в рот набрал!»

Проследив внимательнее за тоскующим взглядом Индры, всегда устремленным к фигурке убегающей Пепички, он все понял.

«Ах, вот оно что! Видно, здорово его забрало... Тут надо будет что-нибудь предпринять — ведь именно такие люди, как Индра, у которых все шуточки да смех, никогда сами себе помочь не умеют, как дело всерьез пойдет!»

И Калоус решил стать покровителем этой любви. Индру он любил, и Пепичка ему нравилась. Да она просто создана для такого человека, как Индра, — человека славного, но легкомысленного, у которого малость ветер в голове! Сам Калоус был холост, в сердечных делах ему не повезло — так пусть же он немножко погрееется возле счастливой любви... А в том, что любовь эта будет счастлива, старый Йозеф не сомневался.

Когда воспламенит любовь  
Два сердца молодых — тогда  
На синем небе, говорят,  
Восходит новая звезда...

Мошна решил показать в «Проданной невесте», какой он комик, если как следует возьмется за дело. Но его не оставляло неприятное чувство: он начал понимать то, чего раньше никогда не сознавал столь остро.

Он понял, что самая язвительная насмешливость в его искусстве восходит к самым больным местам души, к чувству унижения от тех обид, которые ему преподносила жизнь, к горечи человека, битого нуждой и горем. И он постепенно пришел к заключению, что комизм и сатиру, на которой и держится подлинный комизм, порождает не столько неполноценность изображаемого персонажа, сколько чувство неполноценности самого исполнителя. Поняв это, он возмутился.

С другой стороны, он понял, что сама эта «слабость» оборачивается порой сокрушительной силой — не тогда, когда ты одерживаешь верх, а наоборот, когда ты, по видимости, положен на обе лопатки. Небольшим примером тому могло служить его столкновение со всемогущим директором Лигертом, который полностью держал его, Мошну, в руках после его бунтовщической песенки. Кто тогда был хозяином положения — он, Мошна, в сущности беззащитный, или директор Лигерт, у кого в руках были все козыри? Об этой сцене Мошна всегда вспоминал с гордостью и удовлетворением.

Однако не всегда получается так, как задумано...

Ладно, комик так комик! Где же еще может он показать это господам коллегам, театральному руководству, да и самому себе, как не в роли, которая уже профессией действующего лица определена быть комической — в роли комедианта? Да, именно она подходит, чтобы ослепить всех!

За несколько дней до этого Мошна встретился с Калоусом. Дело было после спектакля, когда во Временном давали два французских фарса: двухактный «Запретные дорожки, или Первая прогулка по стране любви» и одноактный «Любовница на крыше». В первом из них Мошна играл с Йозефиной. Представление было плохим во всех смыслах.

Калоус уже несколько дней не работал, ошпарив руку на «заводе» пана Бёма. Он мог, однако, выходить — и вот от безделья (конечно, неоплачиваемого) забрел в театр к Мошне.

— Ну, как тебе понравилось? — спросил его актер.

— Да сказать по правде, не понравилось, хотя и провел ты меня бесплатно!

Мошна молча кивнул головой.

— Какой прок в таких вещичках? Пустые они. Посмеешься — и уходишь, ничего не получив. Ничего ведь не показывают — ни то,

как люди живут, ни то, как они любят и радуются. И потом такое это... не знаю, как сказать. Ну, дамочка обманывает дурака мужа, и что? Ты знаешь, я люблю, когда на сцене хорошенькие девчата. И чтоб любовь, это уж конечно! Любовь, понимаешь, такая, какова она есть, — но эта?.. И еще: что, например, думает о себе эта барышня, Чермакова, когда она там, прости, так бесстыдно выламывается? Наверно, она твоя приятельница и очень пригожая девушка, но если она воображает, что это ей к лицу, то страшно ошибается! Что это — все время чуть ли не вверх ногами... А ведь такая девушка — сердце радуется! — рассуждал Калоус, помахивая перевязанной рукой.

Мошна только вздохнул. Слышала бы это Йозефина — уж она или пощечину влепила бы Калоусу, или расцеловала бы его... Помолчав, он предложил:

— Знаешь, Йозеф, раз уж тебе нечего делать, приходи-ка посмотреть то, что тебе должно понравиться. Репетируем мы сейчас очень хорошую оперу Сметаны из деревенской жизни. Послезавтра утром у нас будет что-то вроде генеральной репетиции, уже в костюмах. Я тебя проведу.

— Пожалуй, приду — в котором часу?

— В девять — половине десятого. Ты у входа подожди, я выйду к тебе. Я вот тоже все никак не разберусь в одной вещи — злюсь на себя и на других... Хоть ты мне совет, может, дашь, — задумчиво закончил Мошна.

— Ну мои советы не многого стоят, — скромно возразил Калоус.

— Почему? Глаза-то у тебя есть, и ты — публика! Для кого же, ты думаешь, мы играем? Для господ в лужах или для журналистов? Нет, для вас... По крайней мере должны бы играть для вас! Я имею в виду не только «Проданную невесту», но и все вообще. — Подумав немного, он добавил: — Понимаешь, я постоянно спорю с ними, говорю: все, что я делаю, делаю как раз для народа, для зрителей галерки, стоячих мест — они ведь самые благодарные! И что оперы должны быть не только для кисейных барышень с партитурой в руках, для длинноволосых музыкантов и прочих, которые обычно спят в театре. Нечто подобное, кажется, думает и Сметана — он хочет, чтоб опера была и народной и художественной вместе. Он — вроде Тыда, что ли, только в музыке. И думаю, Сметана боится, как бы я не превратил весь спектакль в цирк, а я именно на этой роли хочу утвердиться... В общем, создается нечто совершенно новое, отсюда и споры и несогласия...

— И я должен их разрешить? — улыбнулся Калоус. — Тогда я лучше не пойду.

— Да не то — просто мне важно знать, что скажешь ты, простой зритель — и человек, я уверен, с сердцем. Вот ведь в чем дело!



Ян Кашка в роли Гонзы. «Видения Иржика» Й.-К. Тыла



Ян Кашка



О. Скленаржева-Малая, Э. Хваловский, Ф.-Ф. Шамберк, Ю. Шамберкова, Ф. Колар



**Франтишек Колар**



**Фердинанд Франтишек Шамберк**



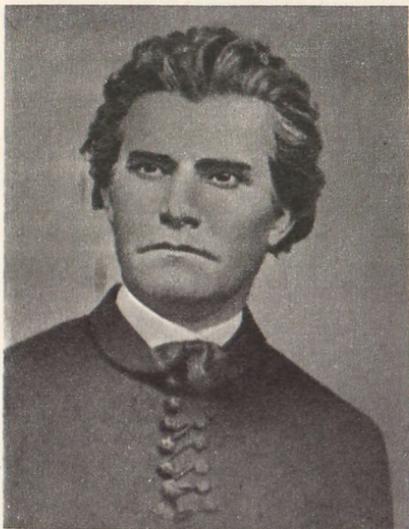
**Йозеф Франковский**



Оттилия Скленаржева-Малая



Элишка Пешкова



Карел Шимановский

Náš Mosna stůně!



„Paleček“ ho chce poslat a přinče jeho, kteří jsou prck ve stachu, tti.

Дружеский шарж художника К. Крейчика на И. Мошну, помещенный в юмористическом журнале «Палечек»



Бенжамин. «Семейная война» Ф.-Ф. Шамберка



Вольтник Коржинец. «Будители» Ф.-А. Шуберта



Еразим Воржишек. «Йозеф Каэтан Тыл» Ф.-Ф. Шамберка



Индржих Мошна



Йозеф Шмага



Франтишек Адольф Шуберт



Национальный театр



**Индржих Мошна**



**Лозефина Мошнова**



Тисбе. «Сон в летнюю ночь» В. Шекспира



Учитель Дробечек «Слуга своего господина» Ф.-В. Ержабека



Гарпагон. «Скупой» Ж.-Б. Мольера



Петр Дубский. «Наши удалцы» Л. Строупежницкого



Лизал — И. Мошна, Франтишек —  
Э. Воян. «Мариша» А. и В. Мршти-  
ков



Иржик. «Видения Иржика» Й.-К. Тыла

Калоус на репетицию пришел и привел с собой Франтишека Краеча.

— Он ведь тоже народная публика, этот Краеч, и, раз ты сказал мне, чтоб я тебе, значит, советы давал, то я и взял его с собой — пусть уж нас будет двое, — объяснил Калоус Мошна.

«Проданная невеста» восхитила обоих с первых же минут. Особенно понравилась им музыка — Краеч от восторга даже подскакивал на месте. Он сам был музыкантом, играл когда-то на геликоне в подскальской капелле и, как всякий настоящий подскалец, умел играть на гармонии. Восхищению его ничуть не мешало то, что, как случается на репетициях, некоторые сцены приходилось повторять.

В одном месте он все-таки не удержался — захолопал. Это, правда, мало было похоже на аплодисменты — удары мощных дланей Краеча производили такой звук, словно с чердака скидывают бревна. Все обернулись на оглушительные рукоплескания, даже сам Сметана постарался рассмотреть двух зрителей, жмущихся в темном зале.

— Кто это? Какие бурные овации, прямо сердце радуется, — сказал он с улыбкой.

— Это какие-то друзья пана Мошны — он просил разрешения допустить их, — объяснил Адольф Чех. — Но если они мешают, я удалю их...

— Нет-нет, пусть остаются, — добродушно ответил Сметана. — А кто они такие?

— Не знаю точно, маэстро, но кажется, тот, который так фантастически хлопает, — плотник из Подскалья, а другой — мастер медного литья, но у него, слава богу, рука на перевязи.

— Гм... Плотник и литейщик — отлично! Значит, у нас представлена настоящая критика, — и Сметана улыбнулся так странно, что Чех не мог понять — было это сказано с иронией или всерьез.

Настала очередь второго акта — в первом варианте «Проданная невеста» была разделена всего на два действия, — акта, в котором появляются комедианты.

Мошна, не выходявший из-под гипноза девиза «комик так комик», да к тому же еще желавший, видимо, показать себя перед друзьями, еще на выходе принялся за свои штучки: он то ходил вверх ногами, то подпрыгивал и крутил сальто-мортале, да с такой резвостью, что все перепугались.

Оркестр уже чуть ли не в пятый раз повторял выходной марш, а Мошна со своими комедиантами все еще маршировал по сцене.

Краеч хохотал — впрочем, смеялись все, включая Сабину, который сидел в зале за маленьким столиком, тотчас за спиной дирижера, что-то записывая в тексте либретто.

Но вот Сметана перестал улыбаться; сделался серьезным и Калоус. Когда любишь человека и видишь, как он делает что-то не то, по спине будто песок начинает сыпаться; Калоус кусал губы и готов был провалиться сквозь землю.

В конце концов комедианты во главе с Принципалом — Мошной заняли свои места. Музыканты облегченно вздохнули — вздохнул с облегчением и Сметана.

— У нас такой Принципал, что нам, пожалуй, позавидует цирк Барнума! — смеясь, произнес Сабина, перегибаясь к Сметане.

— Цирк — может быть, — отозвался тот.

Мошна начал свое обращение к публике — тогда это был еще не речитатив, а вольная импровизация:

«Доводится до сведения уважаемой публики...» — произнес Мошна, и на этом кончался писанный текст: дальше он понес свое, нарочно делал обмолвки; получалось до того двусмысленно и смешно, что хохотали уже не только рабочие сцены, но и суфлер колотился о стенки будки в припадке неудержимого смеха. Перечислив все, что покажут комедианты, Мошна стал называть знаменитых гастролеров, которых Лигерт залучал в Прагу в прошлом сезоне, пригнул сюда Шамберка, себя и Франковского, потом перешел к старочехам и младочехам — они, мол, исполнят головокружительный канкан на проволоке, на земле, в воздухе, на воде и под водой, и не только на празднике, не только в этой деревне, но по всей земле чешской. Сам же он, Принципал, будет глотать ножи и пилки, то есть жилки, или нет, он хотел сказать — вилки, а если почтенная публика соизволит принести с собой на представление что-нибудь от обеда, тогда он готов глотать печенки, плетенки, бульонки, булки с ветчиной — что угодно, вплоть до непослушных детишек. Неся весь этот вздор, Мошна носился по сцене от одного деревенского рогозея к другому, щипал девушек за щечки так, что они взвизгивали, делал цирковые «комплименты», а под конец закружился в пируэте, крича, что если его не остановят, то он просверлит в земле такую дыру, что вся деревня со всеми потрохами в нее провалится.

— А теперь подумайте, маэстро, ведь представление комедиантов только начнется, — вежливо шепнул Сметане хормейстер Чех.

Сметана лишь с сомнением покачал головой.

После обращения Мошна запел свои куплеты, содержание которых ничем не отличалось от других тогдашних довольно-таки пошлых песенок. Так, во втором куплете, где были слова: «Многие, кто, дома сидя, забавляются с женой...» — Мошна сделал такой жест, что публика неудержимо расхохоталась.

Тогда Сметана, постучав палочкой, прервал репетицию.

— Очень прощу вас, пан Мошна, — не знаю, неужели так уж трудно понять, что это не оперетта! — мягко сказал он. — Впрочем, я

нам весьма обязан — вы наглядно показали мне, какая опасность кроется в импровизации и какие подводные рифы надо нам преодолеть, чтобы сделать оперу поистине художественной. Теперь прошу вас еще раз ваши куплеты, только без тех жестов, которые, как я полагаю, могут оскорбить хороший вкус.

Мошну словно холодной водой облили. Сметану он любил и уважал: это был для него авторитет. Так Сметана никогда еще с ним не разговаривал.

Калоус закрыл лицо ладонями.

— Я ведь говорил, я говорил — так ему и надо!

— Что надо? — окрысился на товарища Краеч.— Играет он претлично! Пусть оставят его в покое...

Они заспорили было, но тут Мошна снова запел свои куплеты вместе с Терезой Ледерер, исполнительницей роли Эсмеральды. На этот раз он нарочно пел вообще без всякой мимики, совершенно бесцветно. Все поняли эту демонстрацию и ждали, чем ответит Сметана. А тот, улыбнувшись, сказал:

— Благодарю, пан Мошна, теперь гораздо, гораздо лучше.

Мошна чуть не швырнул об пол гири, которыми жонглировал. С минуту он смотрел на дирижера таким зверским взглядом, словно собирался броситься на него, но затем только головой тряхнул.

Комедианты начали свое представление. Мошна играл теперь без всякого подъема, вяло. Вдруг он прервал игру и, строптиво повернувшись к дирижеру, с трудом владея собой, вызывающе осведомился:

— Простите, дозволено ли мне будет глотать ножи?

— Конечно, но, прошу вас, только глотать,— спокойно ответил Сметана и, словно вопрос был исчерпан, обернулся к Сабине.— Эту сцену должна бы сопровождать музыка, балетная музыка. Мне уже не раз приходило в голову... Да, здесь нужно... что-нибудь вроде плясовой... И вообще сюда бы включить балет!

— Вы правы,— согласился с ним Сабина.— К тому же музыкальное сопровождение ограничит номер комедиантов во времени и предотвратит переигрывание.

— Да, конечно, лучше бы все подчинялось палочке дирижера, но, к сожалению, это невозможно теперь...— задумчиво проговорил Сметана.— Впоследствии мы это исправим!

После репетиции Мошну остановил Адольф Чех, желая хоть как-то утешить его,— Мошна до конца репетиции делал все назло.

— Ну и клаку привели вы сегодня, пан Мошна! Вот бы таких ребят человек пятьдесят на премьеру!

— Это не клака, господин хормейстер, а мои товарищи,— сухо шариковал Мошна.

— Не сердитесь, пан Мошна,— ведь вам и не нужна клака. Смотрел я на вас сегодня и сказал себе: надо будет спросить, где вы на-

учились столь высокому искусству акробатики? Вы жонглировали блестяще!

— А я все время немного упражняюсь, — с прежней строгостью отвечал Индра. — Актер должен уметь все. А жонглировать я научился у некоторых коллег — впрочем, мне до них далеко! Они в этом просто виртуозы!

— Веселый вы человек...

— Ничего иного мне не остается, господин хормейстер. Как будет у вас время — сходите, да прихватите с собой папа Сметану и папа Сабину, и посмотрите комедиантов во время народного гулянья! И впредь, когда будете занимать меня, извольте давать мне роль, отвечающую моему темпераменту — ну, например, роль владельца похоронного бюро или тихо помешанного. Это мне, пожалуй, больше всего подходит.

Слова Мошны задела Чеха, однако он улыбнулся.

— Maestro Сметана искренне любит вас, он говорил, что лучшего Принципала и желать нельзя, но согласитесь сами...

— Простите, — перебил его Мошна, — я этого не понимаю. Я — просто комик, обыкновенный комик, а комическая опера — комическая опера! Но всем вам нужна, видно, не комедийность, а что-то совсем другое...

— Вы неправы! И провалиться мне на этом месте, готов поспорить с вами на что угодно: именно роль Принципала станет со временем одной из любимейших ваших ролей!

Перед входом в театр Мошну ждали оба друга, занятые разговором. Они замолчали, когда Мошна подошел.

— Куда же нам и пойти пообедать теперь, как не к Едличке! — воскликнул Краеч. — И вы, пан Мошна, с нами! Закажем похлебку плотогонов с сосисками да с хлебушком...

Блаженное чувство охватило Мошну. Конечно же, к Едличке! Там он или избавится от своего прескверного настроения, или...

Друзья двинулись к Подскалью.

В душе у Мошны еще кипело, он злился на весь мир, включая себя самого, и все же чувство блаженства постепенно заполняло его, вытесняя остальное. В голове звучало одно слово: «Пепичка!» Ах, если бы можно было опереться на кого-то, кто относился бы к тебе так же славно, как Доротка к своему Шванде! Он вдруг подумал, что берет за все как-то тяжело, неуклюже, плохо... Да, он слишком мрачно смотрит на жизнь, не хочет видеть, что многие его любят... Но всякий раз, когда, казалось, дурное настроение уже покидало его, он вспоминал о Сметане. И упрямо, как некий постоянный припев, выплывала мысль: «Здорово отделал меня этот Сметана, а только он неправ, неправ! Комическая опера есть комическая опера, она должна смешить, давать разрядку публике, а этого одним кукареканьем не добьешься!»

Между тем Краеч возобновил свой спор с Калоусом:

— В чем это они правы? В том, что придерживают его, не дают повеселить публику? — кричал Краеч, рассуждая о Мошне так, словно того здесь и не было. — Помни, Йозеф, хорошо то, что правится нам, простым людям, а не тем напудренным дамочкам с господами! А нам правится, когда валяют дурака! Нахотаться вдоволь — вот и ладно! Или, наоборот, серьезное что-нибудь, как вот «Сирота Ловецкий», чтоб наревется в театре, зато потом дома чтоб было спокойно.

Мошна, шедший в глубокой задумчивости, насторожился, по виду не подав, что прислушивается. Ему любопытно было, что ответит Калоус.

А тот молчал, обдумывая слова товарища; затем, несколько раз взмахнув рукой и прищутив глаза, он заговорил:

— Во всем, как говорится, мера пужна. Мне тоже в свое время нравились всякие такие штуки, как танцульки, паноптикумы, кафешантаны и прочее. А читать я читал все больше толстые романы про монахинь да разбойников, да и те не до конца. А после, как пришлось мне странствовать на чужбине, всюду таскал я с собой маленькую книжонку, мне ее один студент в залог оставил, да так и не выкупил. Дома она у меня и сейчас. И были это, братец ты мой, стихи — «Buch der Lieder»<sup>1</sup>, и вот эту книжечку я от скуки читал да читал, не смотри на меня так! В мире вообще уйма прекрасных вещей, и коли сумеешь увидеть их, так и работу свою делаешь как-то лучше, и начнет тебе тогда нравиться вдруг такое, на что ты прежде и внимания не обращал. Был я, к примеру, в Мюнхене — какие же прекрасные картины я там видел! Или театры в Вене... До сих пор слышу, как Бекман, воздев руки к небу, произносит: Freiheit! Freiheit!<sup>2</sup> — Тут Калоус поднял здоровую руку вверх и возвел глаза (видимо, воображая себя Бекманом).

— Ты видел Бекмана? — с внезапным интересом воскликнул Мошна. — Но ведь он был комик! При чем же тут «Freiheit» и руки к небу?

— Видишь ли, он был комик, но в тот раз играл серьезную роль, да так, что я и по сей день забыть не могу, — с неподдельным восторгом ответил Калоус.

— Верно, — проворчал Мошна. — Бекман играл и характерные роли... Да, старый Бекман, братцы, был артист...

— Я и здесь, в Праге, много хорошего в театрах перевидал, — продолжал Калоус. — Господи, помню, взял меня раз старый Плачек впервые в Сословный театр на чешское представление... — старый ли-тейщик расчувствовался. — До того я только в кафешантаны ходил,

<sup>1</sup> «Книга песен» Г. Гейне

<sup>2</sup> Свобода (нем.).

а чтоб в настоящий театр — куда там! Потом мне чуть ли не стыдно было перед Плачеком — а он, Франта, был рабочий, простой литейщик, зато знал сколько! Помнишь, Индра?

Мошна смущенно улыбнулся. Он вспомнил своего старого дядю, склонившегося над «Дочерью Славы» Коллара — дядя вполголоса читал эти строки, и свечка не могла разогнать сумрак в их чердачной каморке, а Индра, закутанный в одеяло, затаив дыхание слушал...

— И вот сам не знаю, как случилось, а только теперь мне мало той музыки, что наяривают на гуляньях! — заключил Калоус.

— Эх ты, умник, да разве слаженный оркестр любителей — плохо? — упрямо возразил Краеч.

— Конечно, неплохо, кто говорит! Но понимаешь, чем больше умеешь, знаешь, видишь — короче, чем больше у тебя опыта, — тем больше ты, скажем, образован, что ли, и тогда тебе все это шумное, все это нравящееся... в общем, тебе тогда этого мало! Вот смотри, — воодушевился Калоус, — мы делаем всякие там подсвечники, кованые изделия и прочее. Так если хочешь знать, нынче мне уже совсем не по душе разные завитушки, узоры, ангелочки, хотя раньше я от них глаз оторвать не мог. Не знаю, но... стройные, простые подставки, отполированные как следует — они как-то чище, ну, скажем, строже... Вот, а теперь представь — «Проданная невеста!» — Калоус сделал паузу, искоса взглянув на примолкшего Мошну. — Ведь опера-то вовсе не о комедиантах! Главное в ней — любовь этой пары, Еника и Марженки, вот в чем дело! Смотришь — и на сердце как-то хорошо делается, — Калоус опять кинул взгляд на Мошну, который теперь поднял голову и слушал уже не таясь. — А тут вдруг врывается шайка комедиантов и полчаса дурачится на сцене. Не говорю, что этого совсем не надо, но что чересчур, то чересчур, и все твоё настроение вдребезги!

— А по-моему, ты чересчур языком треплешь, — перебил его Краеч. — Как сделал тебя Бём управляющим, так ты уж больно занесся!

— Брось, Франта, сам ведь знаешь, чепуху ты сейчас сказал, — добродушно осадил его Калоус. — Все это я говорю нарочно при Индре, потому что он просил у меня совета как у обыкновенного зрителя. Ну вот, ты и услышал, что я думаю. Я тебе как товарищ говорю — может, и глупо сказано, да зато от сердца, честно. Что, Индра, прав я?

— Прав — и неправ, — не сразу ответил Мошна. — Хотят поставить народную оперу — и чтоб она при этом не теряла художественности. Одни занимаются художественной стороной, ну а другим приходится думать о народности... — скорее, про себя пробормотал Мошна.

— Конечно! — поддержал его Краеч.

— Ты так думаешь? — заметил Калоус. — Я в этом не шибко разбираюсь, но не думаю, чтоб народное — это то, что, как говорится, щекочет зрителя...

— А ты бы хотел, чтоб тут поучение было? — воскликнул Краеч.

— Да нет же! — Калоус начал сердиться. — Какое поучение, к примеру, в красивом подсвечнике? Никакого! И в то же время — огромное! Человеку он доставляет радость. Красивые вещи и жизнь-то красивее делают, а это и важно!

Краеч, все еще возражая, взял Мошну под руку:

— Да бросьте вы его, стареет наш старичок, вот и становится умником-разумником! А вы играете здорово, и никого не слушайте. Только скажите мне, ради бога, где это вы научились так кувыркаться в воздухе?

Мошна посмотрел в открытое лицо Краеча — и вдруг его осенила мысль: «Нет, все-таки Сметана и Калоус в чем-то правы! Ведь действительно: кувыркаться — еще далеко не все...»

Улыбнувшись и подтолкнув локтем Краеча, он веселее зашагал вперед — и хорошо ему было идти рядом со старым мудрым Калоусом.

Трактир Едлички был полон, хотя час обеда давно прошел: здесь кормили холостых речников, плотогонов, пригнавших плоты откуда-нибудь издалека, а они заходили обедать не в полдень, а когда удавалось.

Для них варили похлебки, сытные и густые, как каши. Обедавшие обычно крошили в тарелки хлеб, запивали все это пивом — и весь обед обходился в восемь крейцеров.

Мошна с Калоусом и Краечем подсели к едокам.

Пепичка мелькала между столами, собирая и расставляя тарелки. У нее не было времени разглядеть вновь пришедших.

А у Индры теперь начисто испарилось скверное настроение. Пепичка!.. Да, любое настроение, дурное и хорошее, кончалось мыслями о ней. словно замороженный смотрел Индра на ее красивые, сильные руки, — их открывали короткие рукава блузки, — смотрел, как колыхались складки на ее юбке, и движение этих складок казалось ему верхом изящества. «Вот как — днем-то ее выпускают обслуживать гостей, а вечером это словно роняет ее достоинство...» — подумал он.

Перед Мошной тоже в одно мгновение появилась тарелка, и в ней задымилась горячая похлебка.

— Спасибо, Пепичка!

Только теперь заметила она его, и так это было неожиданно, что она покраснела до выреза блузки.

— Ох, простите, что я вам так сунула тарелку... Вы ведь не станете это есть?

Вместо ответа Мошна притянул тарелку к себе, словно клад, который хотят у него отнять, и, сообразив, что такой возможности нельзя упустить, попытался поскорее высказать то, что долго и много обдумывал. Но вместо заготовленных закругленных фраз у него получался бессвязный лепет:

— Я хотел вам... мне надо с вами... то есть, как бы это сказать,— видите ли, я хотел...

— Я... мне некогда, пап Мошна.— Пепичка стояла над ним с кастрюлькой и половником в руках — казалось, она тоже давно ждала такую минутку.

— Понимаю! Не теперь, в другой раз... Потому что я... я должен это... то есть я хочу сказать...— Мошна, тоже по уши красный, с трудом выдавливал слова.

— Я знаю... я знаю,— признавалась взволнованная Пепичка в том, в чем совершенно не желала признаться,— она как бы заразилась его заиканием.— Потому что я... моя тетя, то есть... простите, пап Мошна, я не хотела сказать «то есть» это вы все время говорите, но я тоже хотела... то есть нет! Мне теперь некогда!

И она убежала.

— То есть этого вполне достаточно,— с улыбкой произнес Калоус, кроша хлеб в тарелку.

— Чего достаточно? — рассеянно спросил Мошна, который теперь неизвестно почему нахмурился и так сильно помешивал свою похлебку, что она выплескивалась на стол.

— Достаточно, чтобы поздравить тебя,— объяснил Калоус.— Тебе повезло, Индра! Пепичка — девушка что твой орешек! И любит тебя.

— Что ты говоришь? — вскинулся Мошна.

— Да разве ты не заметил, что она тоже стала заикаться?

— Молчи! — в крайней растерянности крикнул Мошна, чему-то вдруг страшно обрадовавшись, а это еще более сбilo его с толку, и он проворчал: — То есть прости, занимайся-ка, брат, своей похлебкой, а то еще поперхнешься.

Когда Пепичка убирала тарелки с их стола, Мошна, собравшись с духом, легонько придержал ее руку и тихо спросил:

— А когда у вас будет время — хоть на словечко?..

Пепичка отняла руку, собрала тарелки, посмотрела на Мошну, едва заметно пожала плечами и убежала. Но вскоре вернулась вытереть стол и, наклоняясь над Мошной, шепнула едва слышно:

— В четыре часа я пойду за покупками...

В четыре часа Мошна стоял на углу и, совершенно не желая все время глазеть на трактир Едлички, тем не менее не отрывал от него взора.

Неподалеку, на плотно утоптанной площадке, мальчишки щелчками загоняли фасольки в ямки. Какие-то две женщины с корзинками на спине оглянулись на Мошну.

«Надо выдумать какой-то предлог, чтоб не торчать тут так глупо», — рассеянно подумал он.

У берега реки перегружали песок прямо в телеги, которые возчики, не выпрягая лошадей, завели в воду, к самой барже. Лопаты виблисквали на солнце. Лошади временами беспокойно переступали в воде.

Ниже плотовщики, перекликаясь, развязывали плоты. Один из них заметил Мошну и весело помахал ему рукой. Мошна в ответ снял шляпу, хотя лица плотовщика не разглядел.

«Здесь меня все знают, нельзя мне тут стоять!» — опять пронеслось у него в голове, и он хотел уже было пройти к берегу, будто для того, чтобы повидать знакомых, посмотреть на их работу, как из трактира выскользнула девичья фигурка. Это была Пепичка.

Она огляделась по сторонам и, завидев Мошну, немножко смутилась; однако сейчас же пошла — к сожалению, в противоположную сторону — и исчезла за углом.

Сначала Мошна не понял и лишь спустя некоторое время смекнул, что она нарочно пошла вверх, на Вышеградскую улицу, чтобы не встречаться с ним тут, на глазах у всего Подскалья.

Мошна поставил все на одну карту: он быстро пройдет по другой улице, тоже выходящей на Вышеградскую, может быть, даже обгонит Пепичку и потом двинется ей навстречу.

Вышел на Вышеградскую, а Пепички нет. Сердце у него сжалось, он решил побежать ей навстречу, но дошел до самого конца, а Пепички нет как нет. Тогда он снова бросился назад, в полном уже отчаянии, и едва не налетел на девушку, выходящую из какой-то лавочки. На девушке было светло-серое платье с широкой юбкой, жакетик до пояса и на голове чепчик с бантиком под подбородком.

Мошна, отпрянув, думал извиниться, да так и остолбенел: это была Пепичка! Пепичка, с большой сумкой на руке! От радости у него перехватило дыхание.

— Ох, простите — вот так совпадение! — воскликнул Мошна, и улица расплылась и исчезла из его глаз — остались одни сияющие серые глаза Пепички. — Можно мне вас проводить?

— Можно, но только до угла. Потом мне надо будет вернуться, — у Пепички тоже прерывалось дыхание. — Мне не хочется встретить кого-нибудь — моя тетя... В общем, не стоит, — добавила она, склонив немного голову.

— Вы даже не знаете, как я рад! — прошептал Мошна.

— А что вы хотели мне сказать? — вырвалось у нее, но тотчас она поняла, что спрашивает, словно нетерпеливая девчонка; и что может ответить бедный Мошна на такой вопрос? Наверно, признается в любви — ему больше ничего и не остается... О господи, а что же дальше-то? Желая как-то загладить свой промах, она сама себе ответила: — Я знаю — ничего, конечно...

И опять спохватилась, что сморозила совсем уже глупость, и разозлилась на себя, и покраснела, несмотря на все усилия не краснеть, что с ней последнее время случалось довольно часто.

— То есть я понимаю, что не ничего, но... — Тут она оставила всякие попытки, чувствуя, что запутывается все больше. Она-то всегда думала, что ее не сразу выведешь из равновесия, особенно в так называемых «сердечных делах» — такие загадки она умела отгадывать, словно орешки щелкала. Парни в их деревне — а многие подкатывались к ней с весьма серьезными намерениями — мигом становились кроткими, как ягнята, и отходили, не солоно хлебавши.

А теперь вот она совсем растерялась — и перед кем? Перед этим парнишкой, который не достаёт и до плеча Пепику Гейровскому! Да, но теперь ведь совсем другое дело, совсем не то, что бывало прежде. Любовь?

Нет, — слишком уж все получилось просто. И вовсе она не мучилась, и даже бессонницы никакой не было — ничего! Только разве думала о нем, о Мошне, больше, чем следует...

И вот стоят они оба, то опустят глаза, то взглянут друг на друга, и ни тот, ни другая не знают, что дальше. Еще увидит кто-нибудь, подумает: эва, два влюбленных дураlea! Пепичку снова злость взяла, именно потому, что она так ясно все понимала.

Собралась было сказать что-то, да раздумала. С какой стати ей говорить — ведь это он просил ее хоть на словечко! Тот самый «соблазнитель» со Смиховского вокзала... От такой мысли ей вдруг стало весело: «соблазнитель», по выражению тетки Анежки, словно к месту примерз. А Мошна то пристально рассматривал носки своих ботинок, то подпирал глаза на задумчивое лицо девушки и, если она улыбалась, сам начинал сиять.

— Мне столько хотелось сказать вам, — прошептал он, — а вернее, всего два словечка.

Пепичке стало жарковато. Сейчас, сейчас, быть может, настанет репашающий миг ее жизни! Подумав так, она ощутила неодолимую потребность отдалить этот миг во что бы то ни стало, потому что — а дальше-то что?

— Ради бога, наденьте пляху и отойдем немного — здесь на нас уже все смотрят! — решительно произнесла она, подумав про себя, что на ходу многое воспринимается не так серьезно.

Она двинулась вперед, и Мошна, последовав за ней, спросил с жаром:

— Вы позволите предложить вам руку?

— И не думайте! — воскликнула Пепичка. — Я знаю, в Праге так делают, да только... И знаете что? — вдруг перебила она сама себя. — Довольно уж мы торчали тут людям на смех! У меня еще дела есть, а вы отправляйтесь-ка домой!

— Но, Пепичка! — Такая перемена в тоне испугала Мошну.

— А кто разрешил вам называть меня Пепичкой? Думаете, если это позволяют себе пожилые дядины клиенты, то и вам можно? — тоном, не допускающим возражений, осадила его Пепичка, радуясь, что ей удалось так круто отодвинуть то, что могло вот-вот разразиться.

— Но почему же нельзя мне так называть вас? — почтительно осведомился Мошна.

— Потому что тогда мне пришлось бы называть вас «Индришек», а согласитесь сами — это невозможно! — Тут девушка звонко рассмеялась.

— Но дело совершенно в другом, — с внезапной решимостью заговорил Мошна — с таким трудом добившись свидания, не мог же он позволить, чтобы из-за его собственной неуклюжести и нерешительности уплыла столь редкая возможность! — Я хотел сказать вам, что все время думаю о вас, что без вас почти не могу представить себе жизни. Если это называется любовь — тогда, стало быть, я люблю вас, Пепичка, или как вы хотите, чтобы я вас называл... — Выговорив это залпом, он перевел дух, сам удивляясь, что сумел-таки выразить все довольно связно.

Пепичка была захвачена врасплох. Он сказал это в тот момент, когда она думала, что выбила оружие у него из рук. И удивилась, что ничуть не протестует — теперь, когда он, собственно, делал ей предложение! Напротив, какое-то тепло разлилось у нее вокруг сердца. Однако она тотчас спохватилась — вспомнила предостережения тетки: «Смотри — все актеры красиво говорят! Наговорят всякого, чему их на сцене учили, и даже, может, сами этому верят, да только ведь не знают они, где правда, а где одна комедия!»

— Зачем вы мне это сказали? — тихо спросила она.

— Я не мог иначе, не мог, потому что я вас... действительно...

— Нет, не говорите больше ничего! — остановила его девушка, но, сразу смягчившись, тихо добавила: — Что мне теперь, бедной, делать?

— Как это — что делать? — воскликнул Мошна, ожидавший чего угодно, только не такого вопроса.

— Ну вот... Что же теперь? — спросила она. — Теперь-то что?

— Теперь, может, вы что-нибудь скажете... — тихо и растерянно ответил он.

— Что же я должна сказать? — вздохнула Пепичка.

— Вы-то сами, вы-то — что чувствуете? Быть может, отыщется в вашем сердце уголок, где я мог бы укрыть свою любовь к вам... — Тут он осекся.

«Этого он не должен был говорить, — пронеслось в голове у Пепички. — Наверняка слова из какой-нибудь роли. И сказал он это так театрално...».

Однако блаженное тепло не отступало от сердца. Может быть, он сказал правду... о господи! Нет, она не должна верить! И вслух сказала:

— Вот вы так просто, прямо на улице, говорите, что любите меня, и что-то там еще, про уголок в сердце, и я... и мне, видимо, полагается теперь сказать «да», и, может быть... упасть в ваши объятия, и... а что же дальше?

— Я все еще не понимаю вас! — уже в отчаянии вскричал Мошна, от которого ускользал смысл ее рассуждений. Казалось ему, что никогда еще не был он так близок и в то же время так далек от исполнения своей самой жаркой мечты. — Что значит — дальше?

— А мне-то как знать? — воскликнула девушка, совершенно сбита с толку. Не таким представляла она признание — настоящее признание... или именно таким? Счастливые влюбленные объясняются в любви, потом женятся — и дело с концом. Но разве хочет она сразу выходить замуж? Нет, она хочет или по крайней мере хотела бы испытать сначала... любовь... ухаживание... ссоры и тому подобное... Не то чтобы Пепичка была романтической особой, но она отлично знала, что там, у них в деревне, после обручения жизнь всегда оказывалась обыкновенной и неласковой. Девушка выходила замуж — и начинались заботы о муже, о детях, бесконечный, без отдыха труд до конца дней... Хорошо, она скажет ему, что он ей не безразличен и что... дело не в том, чтобы... ну, там увидим, а пока пускай подождет!

— Знаете что, пан Мошна, — «пан Мошна» было сказано нарочно, — мне пора за покупками, и недосуг мне сейчас все это как следует обдумывать. Может, вы рассердитесь, но я ведь деревенская девушка и училась-то всего в одноклассной деревенской школе, а вы человек уже опытный, и мир повидали, и артист, и, может, вы что-то такое задумали и хотите сбить меня с толку тем, что говорите — думаете обо мне, и про уголок в сердце... А что если я — постойте! — если я тоже о вас думала? Только думала я о вас как о хорошем человеке... приятном человеке... ну, а вдруг вы только играете? Понимаете, может, просто так, по привычке... Может, даже и не нарочно... Что же тогда-то мне делать?

— Ох, Пепичка, ради бога, да ведь я хочу, я только того и хочу, чтоб вы мне поверили... Поверили, что я люблю вас по-настоящему,

от всего сердца, что я был бы счастлив, если б когда-нибудь... хоть когда-нибудь! — завоевал вашу любовь...

Все это вырвалось у Мошны горячо, сбивчиво, и он, взяв руку девушки, поднял ее как бы к сердцу.

Жест этот он в самом деле перенял со сцены. Осознав это, тотчас отпустил ее руку.

Пепичка посмотрела на него. Вот теперь он говорил действительно искренне, и блаженное тепло снова облило ей сердце. Она чувствовала, что теряет голову, — и опять мгновенно поднялась вся ее деревенская настроенность.

— Если все так, как вы говорите, то я... я тоже рада, потому что вас считают хорошим человеком, и дружба...

— Дружба?! — крикнул Мошна.

— А я больше ничего вам не могу сказать и прошу только — не ходите теперь к нам какое-то время. Не сердитесь. Мне надо многое самой обдумать. Матери у меня нет, кому же мне довериться... Вы мне верите? — спросила она тоном маленькой школьницы.

— Вы только обещайте мне, — после долгого молчания ответил Мошна, — что не забудете того, что я вам сегодня сказал...

— Да разве о таких вещах может забыть хоть одна девушка?

И, не ожидая ответа, она повернулась и побежала вдоль по улице.

\* \* \*

Тридцатого мая война еще не начиналась, хотя Прага и вся страна жили в предчувствии грядущих роковых дней. Пруссия уже объявила мобилизацию и поставила под свои знамена до двухсот тысяч человек.

Оптимисты твердили, что это просто угроза в поддержку дипломатических требований. Другие предполагали, что число призванных в армию намеренно преувеличено. Повторяли слова прусского короля, сказанные им, когда собственная семья отговаривала его от спешного шага: «Я сам обнажу меч во главе своей армии и предпочту погибнуть, чем позволить Пруссии и на сей раз отступить от своих требований!»

Что ж, эти слова могли быть из тех, которые произносят для истории — было бы на чем срезаться мальчишкам на экзаменах и о чем кричать с трибуны политическим ораторам. Такие королевские выражения в народе называют «языком воевать».

Примерно в середине мая в Праге разнеслась весть, что на Бисмарка, подлинного инициатора войны, совершено покушение. Будто бы какой-то сумасшедший пустил в него две пули чуть ли не в упор. И будто Бисмарк отдал богу душу, так что войны не будет! Затем поступили сообщения, что хотя в Бисмарка действительно стрелял кто-

то на Унтер-ден-Линден, но пули якобы, увы, отскочили от «железного канцлера», словно тот и впрямь был железным. Так что именно поэтому война будет! И будто многие пруссаки, хоть и лютеране, видят в этом перст провидения.

Действительность же была такова.

Пруссия располагала пятью армиями в полной боевой готовности: первая Лужицкая, принца Фридриха Карла, вторая Силезская кронпринца Фридриха Вильгельма, третья Эльбская под командованием генерала Герварта, четвертая запасная и пятая Майнская. Первая из них сосредоточилась в опасной близости от чешской границы.

Войну уже нельзя было предотвратить. А что в этой войне Чехия неизбежно станет ареной сражений, было ясно многим, за исключением разве австрийского генерального штаба. Кое-кто из состоятельных людей уже отправил свои семьи и ценные вещи из Праги на юг.

Значительная часть чешской буржуазной молодежи — члены «Сокола», студенты, молодые интеллигенты — объявила войну с Пруссией национальным делом и готовилась формировать добровольческие отряды. Остальные, наоборот, рассматривали это время как самое выгодное для борьбы против Вены, за чешскую государственность, за самостоятельное королевство. И только семьи ремесленников, рабочих и крестьян с плачем провожали сыновей в полки, и шли эти парни на войну с жалкими своими узелками.

В такой-то атмосфере и состоялась премьера самой жизнерадостной из чешских опер — «Проданной невесты».

Казалось бы, кого могла привлечь комическая опера, еще никому не известная, когда каждый день приносил новости все более трагические и мрачные, когда мысли всех были устремлены к призывам, сообщениям правительств и генеральных штабов, когда коронованные особы той и другой стороны изрекали «исторические слова», а газеты были до отказа набиты всевозможными прогнозами насчет того, как бы поуспешнее уничтожить молодых, ошеломленных солдатиков неприятеля!

И все же музыка «Проданной невесты», впервые прозвучавшая тридцатого мая в маленьком и не слишком полном зале Временного, была поистине сигналом эпохи!

Многие уговаривали Сметану отложить премьеру, твердя, что такой спектакль в столь бурное время неуместен, что опера провалится или не вызовет никакого интереса.

Но наперекор неблагоприятным настроениям и предостережениям тридцатого мая 1866 года к семи часам вечера к Временному театру потянулись группы зрителей. Даже несколько колясок подъехало.

Подкатил и экипаж графини Элеоноры Коуниц, приехавшей со своей невесткой Альжбетой, которых, на удивление всем, сопровождал граф Лео Тун-Гогенштейн.

Молодой Вацлав Коуниц, сославшись на то, что от приготовлений к отъезду у него болит голова, раньше них пешком отправился в театр.

Подойдя к артистическому входу, он терпеливо стал прохаживаться по тротуару, здороваясь со знакомыми и не обращая внимания на их вопросительные взгляды.

Он не получил ответа на последнее свое письмо к Йозефине, как, впрочем, и на оба предыдущих. От Шульца он знал, что Йозефина шанерняка придет на представление. Он должен был ее увидеть — должен был поговорить с нею на прощанье, даже если бы для этого ему пришлось ждать ее здесь до утра.

Мимо Коуница прошли уже почти все оркестранты, которые обычно появляются в последний момент.

Перед театральным подъездом водворились тишина и безлюдье, столь гнетущие всякого, кто не успел вовремя — или вообще — попасть внутрь. Закрытые двери театра всегда внушают ощущение какой-то утраты.

«Где она? Ведь ей еще надо раздеться! — думал уже встревоженный юноша. — И она должна успеть перебежать через сцену, чтоб подняться в актерскую ложу!»

В эту минуту и показалась ее маленькая фигурка, и вновь пахнуло на него знакомым запахом резеды. Коуниц поспешно подошел к Йозефине, чуть ли не загородив ей дорогу. Девушка остановилась и, словно бы не понимая, в чем дело и кто осмелился преградить ей путь, смерила его изумленным взглядом.

— Простите — я ждал вас! Я совершенно беззащитен и вверяю себя вашей снисходительности. Одно лишь слово!.. Я уезжаю; вспоминайте же — хоть изредка, хоть мимоходом — вспоминайте обо мне...

Йозефина приблизилась к нему и, глядя в его страдальческое лицо, улыбнулась слабой улыбкой. О, стоило ей приказать, и он стал бы на колени перед нею, прямо тут, при швейцаре! Она только головой тряхнула.

— Можно ли мне хоть писать вам? — спросил он почти в отчаянии и, не отрывая взгляда от ее лица, словно желая запечатлеть в памяти каждую черточку этой холодной, этой пленяющей красоты, ждал ответа, как ждут пробуждения после кошмара.

— Не можно, а должно! — произнесла она вдруг тоном, в котором звучал приказ.

Еще раз подарив его каким-то вопросительным, каким-то странно удивленным взглядом — словно все, что происходило, казалось ей нереальным, — она повернулась и быстро исчезла в узком подъезде.

Премьера «Проданной невесты» — опять-таки под управлением самого Сметаны — стала открытием нового, светлого и радостного мира. Уже увертюру принимали с восхищением.

Мошна, полуодетый в костюм Принципала, пришел за кулисы послушать увертюру, и, хоть он много раз слышал эту музыку на репетициях, у него было ощущение, словно слышит он ее впервые. Здесь, за опущенным занавесом, за которым притаилась невидимая публика, ликующие звуки увертюры, казалось ему, мощно ударяют его прямо по сердцу.

Тогда ему вспомнились слова Калоуса, и тотчас следом возник образ Пепички. Последний разговор с нею предстал пред ним теперь не как нечто бессвязное и безнадежное, — наоборот, он понял вдруг, что разговор был весьма определенным, точным, полным обещаний и счастья.

Время — лучшая проверка всех чувств и клятв. Время, сейчас выраженное музыкой, время, пролетающее над благословенными порогами, где нас останавливает радость. «Что же мне делать? — Я думаю о вас... — Разве может девушка забыть такое?» — мелькало у него в мыслях в такт сладостной музыке.

Была бы Пепичка сейчас рядом — схватил бы ее в объятия, и все было бы решено! Ее робкий вопрос — «а дальше-то что?» — заглушил бы водоворот звуков, которые так ясно отвечают, что же дальше!

Увертюра кончилась, за занавесом забушевали рукоплескания. Где там война со всем ее безобразием? То рукоплещут свободные люди — музыка разжала тугие режущие обручи, сжимавшие им сердца. Ах, как бы пронзительно ни трубили военные трубы, как бы ни гремели барабаны — эта музыка всегда заглушит их, вовлечет в свой поток, заставит и их звучать во славу любви и мира среди людей!

Сметана после увертюры кланялся долго. Вступление хора — «Как же нам не веселиться» — пришлось повторить целиком.

Ян Неруда, стоявший с друзьями в партере, самозабвенно аплодировал, то и дело оборачиваясь к коллегам, чтобы еще и еще раз повторить свою радость их радостью.

— Вот это хватка! Вот тебе, Ригер, и народные песенки! Но провалиться мне, если это когда-нибудь не станет народным!

Буря голосов вызывала Сметану после каждой сцены.

Впрочем, «Проданная невеста» была уже не столь ошеломляющей неожиданностью, как «Бранденбургцы». Те в буквальном смысле слова были откровением, «Проданная» же — чудесным провозвестником весны в чешской освобождающейся музыке.

— Ну, что вы скажете, граф? — с улыбкой обратилась Элеонора Коуниц к Лео Туну, физиономия которого выражала наслаждение прекрасным произведением.

— По-видимому, вы были правы. Думаю, эта музыка получит

признание в мире! — с благодарным чувством ответил тот, не желая еще сознаться, что музыка уже получила признание в его сердце.

— Поистине музыка любви, — кивнула Элеонора.

— Ах, как я счастлива! — воскликнула Альжбета Коуниц, аплодируя и так далеко высовываясь из ложи, что Тун заметил дочери: — Смотри, графинюшка, вывалишься!..

Тут он увидел в соседней пёлборновской ложе Вацлава Коуница с Шульцем. Юный граф неотрывно смотрел куда-то, и Тун, взяв свой перламутровый бинокль, незаметно навел его в направлении взгляда юноши. Стекла приблизили очень хорошенькую девушку, которая тоже явно была взволнована музыкой, однако держалась — как он с улыбкой признал про себя — куда приличнее, чем его собственная высокородившая дочь.

Графиня Элеонора заметила маневр Туна и, когда тот опустил бинокль, подтверждающе кивнула.

«Ну да, это она! Что же ты теперь скажешь?» — говорил ее взгляд.

Тун лишь слегка усмехнулся. Позднее, когда Альжбета, перегнувшись в соседнюю ложу, горячо начала говорить что-то Вацлаву о музыке Сметаны, граф, наклонившись к Элеоноре, довольным тоном прошептал:

— О, эта достойна дворянского звания!

Начался второй акт.

Мошна испытывал какую-то внутреннюю раздвоенность. Радостно приподнятый, он все же решил как можно меньше «дурачиться». Выход комедиантов был награжден аплодисментами, и Мошна, воодушевленный ими, не удержался — пошел откалывать свои штучки и, хотя действовал он куда умереннее, чем во время памятной репетиции, все же это был «мошновский номер».

Он тоже сорвал аплодисменты, хотя чуткое ухо ясно различило бы иной оттенок: они были слишком вежливы. Одна Йозефина, восхищенная комиком, хлопала так, что это бросилось в глаза всем, в том числе и Лео Туну.

Как и во время представления «Бранденбуржцев», Йозефина чувствовала, что молодой Коуниц часто смотрит на нее. Это напомнило ей сегодняшнюю мимолетную встречу у входа в театр. Почему она просила его писать — да что просила, просто приказала? Его письма уже стали для нее в известном смысле необходимыми, хотя нельзя сказать, чтобы она ждала их с нетерпением влюбленной. Ища противовес этому чувству, она парочно громко рукоплескала «своему Принциалу», стараясь дать ему награду, в которой ему отказывали все эти благородные зрители в ложах.

И аплодировала она так же яростно, как недавно Альжбета Коуниц, — только сейчас Йозефина была почти одинока.

Тун снова навел бинокль на актерскую ложу. Он не верил глазам. Откуда такая перемена? Он вспомнил, правда, что эта молодая актриса играет в фарсах и опереттах и отличается бурным темпераментом, но все же перемена в ней поразила графа.

«Здесь что-то не так», — подумал он. Быть может, действительно самое лучшее — отправить Вацлава подальше от чар этой маленькой чертовки? Он улыбнулся. Конечно, самые приятные и невинные лица всегда таят в себе самые сильные соблазны...

— Музыка действительно берет за сердце, — сказал он графине Коуниц, желая направить свои мысли в более безопасное русло и показать, что его интересует нечто совсем иное, чем юная капризница. — Однако будем осторожны в оценке. По-моему, она слишком уж сладостна!

— Это вы о музыке? — усмехнулась графиня.

И снова те, кто думал или опасался, что музыка «Проданной невесты» исчерпает себя в первых же сценах, что ей не хватит силы подняться до апогея вместе с развитием действия, были поражены нарастанием ее выразительности, мелодичности и композиционного совершенства.

В конце снова множество раз вызывали Сметану. Теперь уже никто не сомневался, что родился гений, пролагающий чешской музыке новую, осиянную солнцем дорогу. И даже то обстоятельство, что публики было не так уж много, не убавило сердечности и восхищения, с каким была принята эта вторая, впоследствии самая знаменитая из сметановских опер.

В последующие два дня, обычно за обедом, Мошня отыскивал в газетах отклики на премьеру «Проданной невесты». Он, правда, не ждал особенных похвал себе, однако предполагал, что все эти писатели не могут не обратить внимания на его экстравагантное выступление.

Наконец, на третий день, в «Народни листы», он нашел заметку, подписанную инициалами «Я. Н.». Начав читать, он подхватил на вилку кусок мяса, да так и не донес до рта и словно оцепенел от ужаса: пробежав с профессиональной быстротой сравнительно длинные хвалебные периоды, он наткнулся на одно темное пятно:

«...эпизод во втором действии, когда труппа комедиантов несколько чрезмерно запимает внимание, переводит действие, скорее, в область фарса, что до известной степени противоречит основному, благородному тону оперы. Сцена эта, правда, немало забавляет публику, однако с точки зрения эстетической мы не можем ее одобрить!»

Мошня дважды перечитал это место. Вилку с куском мяса он положил на тарелку: аппетит пропал.

Нет, это уже заговор! Весь мир в заговоре против него! Позавчера, во время премьеры, он уже принял все замечания, которые сделали ему Сабина, Сметана и даже этот мальчишка Чех. Во имя пре-

красной музыки, в честь собственной любви, как бы отраженной в любви Еника к Марженке, он до того умерил свой пыл, что даже самому жалко стало, — и вот теперь эта недобрая оценка опять ввергает его в глубины злости и горечи непризнания!

Нет, неправы они, неправы! «Переводит действие в область фарса... Мы не одобряем с эстетической точки зрения!» Кто это — мы? Кто не одобряет?

Мошна бросил деньги на стол и вышел.

Ладно — когда Прага будет корчиться у его ног в припадках безумного смеха, когда публика от восторга переломает стулья в зале, тогда посмотрим, господа эстеты!

Расстроенный, сердито размахивая руками, шел Мошна по проспекту Фердинанда.

«Вот теперь все оборачиваются на меня и думают — ага, это тот, кто испортил премьеру Сметаны! Тот, который переводит действие в область фарса!..»

Но, к сожалению, у людей в те дни были иные заботы — некогда было им заниматься творческим кризисом какого-то комика из Временного театра.

## БРАНДЕНБУРЖЦЫ В ЧЕХИИ

С утра, хватаясь за газеты, люди прежде всего бросали нетерпеливый взгляд на правую сторону первой полосы, где жирным шрифтом печатались депеши. Кроме обычных выпусков издавались еще так называемые экстренные приложения в виде листовок с последними сообщениями. Прага приобретала вид оживленного большого города. Родилась новая, привычная для крупных городов профессия мальчишек-газетчиков. Они разбегались по улицам, выкрикивая главные новости. Прохожие останавливались, в домах открывались окна, люди говорили: «Ну вот, опять что-то новое!»

— Прага становится Парижем в миниатюре, — твердили пражские космополиты, подкручивая французские усики, и с важным видом покупали экстренный выпуск.

*«10 июня, 6 часов вечера. Экстренный выпуск!»*

*На федеральном собрании во Франкфурте Бисмарк представил проект реформы Германского союза без Австрии!»*

14 июня на первой полосе «Народни листы» появился вопрос:

*«Далеко ли до войны? Венская «Абендпост» сообщает: Австрия прервала дипломатические отношения с Пруссией и отозвала своего посла из Берлина».*

А на последней полосе красовалось большое объявление:

*«Одеяла для войск!*

*Склады с изделиями из шерсти*

*к услугам господ*

*военных интендантов!*

*Ледерер и К°»*

*«15 июня, 7 часов. Экстренный выпуск!»*

*Австрийский посол во Франкфурте, после отклонения прусского проекта, представил проект об объявлении военной готовности Германского союза. 14 июня, днем, этот проект был принят девятью голосами против шести.*

*Пруссия вышла из Германского союза!»*

*«16 июня, 11 часов. Экстренный выпуск!»*

*15 июня Пруссия предъявила ультиматум Саксонии, Ганноверу и Кур-Гессену, предлагая им добровольно разоружить свои армии и вступить в новый союз с Пруссией!»*

*«17 июня, 7 часов 50 минут. Чрезвычайное сообщение!»*

*Пруссия начала войну, вторгшись в Ганновер, Кур-Гессен и Саксонию!»*

Газетчики поспешили по Праге, надрываясь:

— Чрезвычайное сообщение! Пруссия начала войну! Всего за два крейцера!

Мошна молча купил листок, на котором владельцы газет зарабатывали бешенные деньги, и задумался над лаконичным сообщением: «Пруссия начала войну...»

Он думал о Пепичке. Как пруссаки вторглись в Гессен и Ганновер, так же могут они в один прекрасный день вторгнуться и к нам, в Чехию, в Прагу... Нет, не может быть! — Мошна затрепетал. — Не может того быть, чтобы пруссаки вошли в Прагу... Никогда! — Он чуть не выкрикнул это вслух, а мысли о Пепичке все не оставляли его. Пепичка и Прага, которой грозило вторжение неприятеля, связывались в его мыслях воедино. И невыразимое сожаление охватило его: почему он вовремя не договорился с Пепичкой? Кто знает, что теперь будет? В какие стороны разбросает их война? Но ведь еще не поздно! Он пойдет к Едличкам, открыто объявит им все и попросит... да, попросит ее руки! Ничего ему не надо, кроме Пепички! Он прокормит ее, сумеет дать хорошую жизнь. У него шестьдесят золотых в месяц и бенефисы, и он начнет гастролировать в провинции — он заработает деньги, он попросит прибавки... И будут жить они, как... Мысль его прервалась: Мошна вспомнил, что сказал недавно Франтишек Колар: в случае войны директор Томе, без сомнения, аннулирует договоры и распустит труппу. А это значит, что... что он окажется без места, другими словами, на улице, да еще во время войны! Как прокормить жену, если он лишится работы? В глазах у него потемнело. Кто во время войны станет заниматься театром? Да никто! И если пагрянут пруссаки...

В тот же вечер по Праге разнеслась весть, что война уже объявлена.

На следующий день с утра моросил мелкий дождь, но вскоре выпло солнце.

Мошна плохо спал, его давил кошмар, все эти экстренные выпуски, депеши, речи словно спутались в один клубок и безобразным, тяжелым пауком легли ему на грудь. Все, что он с малых лет читал и слышал о войнах — от Александра Македонского, от истребления рода Славника, от битвы на Белой горе\* до наполеоновских войн и пожара Москвы, — все это проходило теперь перед его мысленным взором, в дыму и чаду, и он задыхался, как бы отравленный угаром. Стоило закрыть глаза, и перед ним вставали страшные картины. Вот он без работы, умирает в канаве голодной смертью, Пепичку изнасиловали солдаты в грубых мундирах и огромных остроконечных касках, а Прага сгорела дотла...

Когда рассвело и все оказалось на своих местах, включая репродукцию с Калипсо, Мошна вздохнул свободнее.

Ах, кто знает, как-то все обернется? Может быть, еще договорятся, может, зря пугают людей. Нечего кричать, пока дом не загорелся, — подумал он.

Тут в комнату ворвалась пани Краусова с лицом всадника из Апокалипсиса.

— Войва, пап Мошна! Войну объявили! — в отчаянии выкрикнула она и скрылась.

Торопливо одевшись, Мошна выбежал на улицу: на углу — по стене еще стекали грязные струйки жидкого клея — белело свежее объявление, и Мошна поверх голов столпившихся людей увидел только крупный заголовок:

«МОИМ НАРОДАМ!»

Почему-то ему вспомнились строки о том, что видел поэт в преддверии ада:

И я, взглянув, увидел стяг вдали,  
Бежавший кругом, словно злая сила  
Гнала его в крутящейся пыли;

А вслед за ним столь длинная спешила  
Чреда людей, что верилось с трудом,  
Ужели смерть столь многих истребила<sup>1</sup>!

А поверх качающихся голов все мелькали слова:

«МОИМ НАРОДАМ!»

Ах да, мы ведь тоже обречены на бойню, пришла вдруг мысль, и Мошна начал пробиваться к объявлению.

В самом деле — объявление войны! Это показалось ему и естественным и невероятным одновременно. Встало сегодня к ежедневному труду своему несчетное число здоровых, молодых, улыбающихся людей — и вот их общий удел. Их известью засыплют, — явилась вдруг конкретная мысль. Чтобы не было эпидемий, трупного запаха... Тут родилось возмущение: за что?! Но какой-то другой голос в нем ответил спокойно: о, они-то отлично знают, что делают, и отлично знают, что такое человеческая жизнь! Некогда Наполеон писал австрийскому императору Францу I: «Сир, если в этой войне суждено пасть хоть одному-единственному солдату, не стоит и начинать ее, ибо ведь это — жизнь человека с целым миром...»

Другой же вампир, вскормленный славой и человеческой кровью, недавно хвастливо заявил жепе и детям:

«Я единоборствовал в молитвах с богом моим, чтобы узнать его волю, и шаг за шагом, имея перед глазами честь Пруссии, шел так, как мне указывала моя совесть!»

Мошна вспомнил еще манифест шестидесяти парижских рабочих

---

<sup>1</sup> Данте Алигьери, Божественная комедия. Перевод М. Лозинского.

от февраля прошлого года — как-то Калоус прочитал ему этот документ:

«...Единственная паша собственность — наши руки... да и те хотят искалечить!.. Мы — ваша ставка в игре, которую вы ведете без нас... Наши дети тратят лучшие годы свои на вопиющих фабриках... Никто и ничто не представляет нас перед вашей совестью, кроме несчастья нашего... помимо него, нет у нас представителей, ибо мы отныне вынуждены верить, что несчастья эти ниспосланы богом...»

Мошна провел ладонью по лицу, чтобы отогнать эти воспоминания, и, пробившись через толпу, оказался перед самым объявлением. Буквы плясали у него перед глазами.

«В разгаре мирных трудов, предпринятых мною, дабы заложить основы конституционного образа жизни... повелел мне мой монарший долг призвать к оружию все мои войска... таким образом, война сделалась неизбежностью — наилучшая из войн, война немцев с немцами!

За все несчастья, которые обрушит эта война на отдельных лиц, и семьи, и края, и на всю страну, я возлагаю ответственность на тех, кто ее вызвал, перед судом истории и вечного всемогущего бога... Ему же дом мой служил с начала начал, и он же не оставит тех, кто праведно верит в него. К нему желаю я воззвать о помощи и у него испрашиваю победу, и народы свои я призываю, да молят они о том же вместе со мною.

Дано в Вене, моей резиденции и столице империи.

дня 17 месяца июня 1866 года.

*Франц-Иосиф*

Типография д-ра Эдуарда Грегра в Праге».

— Война немцев с немцами? — восклицали в толпе. — В таком случае что нам до нас?

— Как раз — немцев с немцами! Только страдать-то будут чехи, поляки, словаки!

— А наши идиоты еще добровольные отряды для них собирают...

— Разойдись! — раздался сухой, грубый окрик.

Мошна отошел. Итак, война! И, не отдавая себе отчета в побуждениях, он кинулся в театр. Да и куда же еще бежать? Театр был ему

родным домом — только там может он пайти (если его вообще можно найти) решение всех своих проблем — там, среди иллюзорного, размаляваннаго хлама...

Война... Война! Падут, погибнут молодые, здоровые люди! Он твердил эти слова всю дорогу, пока не возмутился. Война! Написали, отпечатали сообщение, расклеили по стенам — а ты читай и молчи! Да еще какой манифест сочинили — и бог там, и благородные побуждения, все есть! Комедианты! Сидели над бумагой, выписывали самые сильные, самые трогательные выражения, чтоб этот призыв к убийствам прозвучал молитвой о мире, проявлением самых священных чувств... Комедианты! Все — притворство, все — декорация...

Обуреваемый такими страшными мыслями, дошел Мошна до театра. К его удивлению, на улицах — если не считать кучек людей у объявлений, расклеенных по всем углам, — ничего особенного не происходило. Никто не кричал, не возмущался, а ведь страна уже была вовлечена в войну, и где-нибудь на границах уже падали безнаказанно убитые... Может быть, как раз сейчас, когда июньское солнце пробилось сквозь утренние тучи...

У входа с Мошной поздоровался швейцар.

— Сдается, хороший будет нынче денек, пап Мошна, — добавил он, раскуривая трубочку.

Мошна удивленно посмотрел на него.

— Да ведь война объявлена! — крикнул он нарочно резким тоном, чтобы хоть немного нарушить богоравную невозмутимость швейцара.

— Так что ж, — кивнул тот. — Давненько ее не было, застоялся народушко. Все равно Бенедек надает по шапке пруссакам!

— Неужели вам безразлично? — уже грубо спросил Мошна.

— Ну, по правде сказать, безразлично-то мне не безразлично. Да ведь разве что изменишь? К тому же ни сын, ни зять не пойдут, стало быть, нам беспокоиться не о чем. Да и не всякая пуля убивает, пап Мошна.

— А те, что убивают?

— Что ж, значит, тому не повезло, в кого попало, дело известное! Нам бы вот еще дождичка, чтоб картошка уродилась...

Швейцар преспокойно продолжал дымить трубочкой, и от этого Мошна едва не потерял власть над собой. Взяв себя в руки, он свирепо спросил, кто из актеров пришел.

— Да что вы — викого нету! И не будет нынче, видать, — знающим тоном отвечал швейцар. — Сами понимаете, как какая заваруха, так наши господа по домам сидят. И к чему бы им приходиться? Говорил наперед господин секретарь, мол, если что начнется, то есть война, значит, то, скорее всего, лавочку нашу закроют, потому кто станет в такие времена по театрам ходить?

— Но ведь официально ничего еще не сообщили!

— Что ж, как вам угодно. Хотите — подождите здесь, только все равно домой уйдете. Слыхал я еще, будто господин директор Томе хочет бросить все это дело. И верно — коли война, тут уж не до кувыр-канья!

Однако в театрах продолжали играть каждый день, хотя публики было мало. Во Временном ходили упорные слухи, будто Томе уже несколько раз являлся к земскому маршалу, чтобы сложить с себя функции директора и испросить освобождения от договора. Принял его маршал или нет, оставалось неизвестным, но жизнь в театре скользила как по льду — того и гляди провалишься. Томе уже неделю не показывался.

Между тем газеты начали печатать вести о первых стычках, большая часть которых, конечно же, были «победоносными для наших войск». На все лады восхваляли гений генерала Бенедека. В патриотических кругах возросла лояльность к Габсбургскому дому. Усердно формировали чешские добровольческие отряды.

Южная австрийская армия в Италии победно наступала, приближаясь к Кустоцце.

Начиная с заголовка первой статьи и кончая фельетонами на последних полосах, газеты врали, сочиняли одну героическую историю за другой. Кое-кто из господ военных корреспондентов, особенно те, кто страдал неврастенической расслабленностью, уже разогнали прусские войска и обратили короля Вильгельма в постыдное бегство.

Не только газеты; читатели с удовлетворением покупали «Народни листы», чтобы после обеда прочесть захватывающие рассказы о храбрых капралах и о личных подвигах генералов, чьи имена господа журналисты беззастенчиво высасывали из пальца.

Мошна бросился в Подскалье. День клонился к вечеру. Он свободен, в трактире будет мало народу, там он и поужинает и не двинется с места, пока не увидит Пепичку, не скажет ей решающего слова. Если нужно, он поговорит и с Едличкой, и с его супругой. Попрошту выложит карты на стол, и дело с концом.

Тень от Вышеграда, полуразрушенные стены которого золотило закатное солнце, протянулась уже к самому Подскалью. Пологий берег отделяли от Влтавы бесчисленные баржи, лодки, плоты и паромы, на них, подобные муравьям, перекликаясь, работали загорелые парни, пропахшие солнцем, водой и смолой.

Словно и не было никакой войны. Все здесь казалось Мошне нереальным и бессмысленным.

В распивочной у Едлички сидело лишь несколько подростков; и зале, кроме старичка, помнившего Наполеона, не было никого.

Мошна и рад был этому безлюдью, и как-то оно угнетало его. Он сел с неприятным чувством человека, зашедшего куда-то по ошибке и начинающего понимать это.

Из кухни выглянула старая Едличкова и, увидев Мошну, улыбнулась. «Куда черту не пролезть, туда он бабу сунет», — с опаской подумал Мошна — старуха улыбнулась ему впервые.

— Пива желаете, ваша милость?

Мошна молча кивнул.

— Баталия-то уже началась! — крикнул ему от своего стола воинственный старичок.

Мошна опять только кивнул; старец забормотал что-то бесконечное, из чего Мошна разобрал лишь «мерзавцы... негодяи...».

Едличкова принесла тяжелую пол-литровую кружку, поставила перед Мошной, отерла руки о фартук и посмотрела на гостя взглядом, каким хозяйка смотрит на курицу, готовясь ее прирезать. Она явно ждала, чтоб Мошна спросил, где ее муж; но он молчал, и она заговорила сама.

— Ну и новость, ваша милость! С утра брожу по дому, ровно тень.— Тут она вздохнула.

Мошна никак не мог взять в толк, с чего это его главная противница, ни словечка не проронившая с ним за все время, вдруг пустилась в дружеский разговор, да еще в таком доверительном, чуть ли не родственном тоне. Он взглянул на нее. Гм, на тень она никак не похожа, наоборот — ее можно бы сравнить с подрумяненной булочкой.

А Едличкова все улыбалась:

— Теперь эти ужасные вести из-под Находа — слышали, конечно, — пруссак там просто фарш из наших нарубил, и генерала будто бы в плен взял, а он, говорят, с плачем саблю свою сломал, а теперь на нас походом двинулись, слышали, конечно, — и везде-то деревни жгут, и грабят, и девиц насилуют! Знаете, поди, солдаты — все свиньи, извините. А я тут как тень хожу, и только подумаю о том — все из рук валится...

Это уже показалось Мошне более чем подозрительно — почему Едличкова так странно улыбается, рассказывая столь страшные вещи?

— Хорошо еще, решились мы — вам, пан Мошна, я могу сказать, ведь старик мой, как бы сказать, уважает вашу милость. Когда все началось...

Ее прервали: кто-то из распивочной требовал пива.

— Ничего, подождешь, не помрешь, — пробормотала она, затем громко крикнула: — Сей минут, несу! — А сама, преспокойно повер-

пувшись к Мошне и погладив себя по фартуку, плотно облегающему ее формы, продолжала. — Зять Франтишек написал нам из Добржива, что как идет война, и идет она с севера на Прагу, а Добржив в стороне, подалее, значит, будет и что, мол, боится он за Пепичку... — Тут Едличкова замолчала и затаила дыхание, подстерегая момент, когда Мошна вздрогнет.

А он и впрямь вздрогнул. Когда старуха с ним заговорила, он так и ждал неприятностей. Но в первые минуты сумел не выдать себя — только теперь... Поднял на нее испуганные глаза.

«Притворяйся, притворяйся, голубчик, меня-то не проведешь!» — подумала Едличкова, совершенно хладнокровно готовясь к дальнейшей попытке.

— Бойтся, стало быть, за Пепичку, и что, мол, коли есть у нас что ценного — ну а есть ли, нет ли, это уж наше дело, — тут она легонько стукнула Мошну по плечу, что должно было означать — «знаешь ведь, что есть, парень ты расчетливый, — есть, да не отдадим!», — так чтобы отправили мы все это к ним в Добржив. У зятя Франтишека там хозяйство, трактир, подвалы глубокие — когда-то трактир этот барину принадлежал. Долго мы раскидывали умом-разумом, так и эдак прикидывали, а когда наши под Находом про... гм, проиграли битву, старик мой и говорит — едем! Да и то сказать, зачем нам в такие тяжелые времена за девушку дрожать. Верно говорю? — уже совсем родственным тоном задала она риторический вопрос.

А Мошна все смотрел на нее, как на призрак. Он сразу сообразил, в чем дело. Предчувствовал, знал — и все же каждое слово все глубже и глубже ранило его.

— Конечно, скучать будем по девочке, да что поделаешь, — безжалостно продолжала старуха. — Мы ее как дочь родную держали... Но война есть война, а когда гроза идет — цыплятам лучше дома быть, — с неожиданной человечностью добавила она, видно, все-таки сжалившись над Мошной.

— Пепичка уехала? — спросил он совсем бледный.

— Да я же говорю, отец ее писал, а то ведь тут что: ворвутся, и давай — деньги на стол, а юбку кверху! Без зверств не обойтись, на то и война, верно? Это еще матушка моя рассказывала, раз — во время наполеоновской войны то было...

— Когда она уехала?

— Уехала, уехала, ваша милость, и всем привет пелела передать — всем клиентам нашим, постоянным, а мы и вас таким считаем, ваша милость... Ох, здоров ли вернется мой старик-то? — молола языком Едличкова.

Мошна тупо уставился на окно, за которым уж собирались сумерки. И в душе у него тоже словно смеркалось. Хотелось ему спросить — не передавала ли Пепичка кому-нибудь особый привет, но

смешно было бы спрашивать, это значило бы только подыграть своему учителю.

Приняв весть о войне как нечто естественное и в то же время противоестественное, Мошня так же воспринял и новость об отъезде Пепички. Уехала не простившись, не оставив и словечка надежды... Приехала, побывала тут, побегала между столиками — и вот исчезла...

«Пруссаки вступили в Чехию беспрепятственно, поскольку почти неприступный Находский перевал, носящий название Бранка, не был защищен. Днем 26 июня передовые части Пятого армейского прусского корпуса подошли к Находскому перевалу и овладели им, не встретив почти никакого сопротивления. Говорят, прусские офицеры были поражены столь легким своим успехом, — монотонно звучал голос пани Краусовой, которая, с очками на носу, время от времени делала драматические паузы, главным образом для того, чтобы перевести дух, и передышки эти невольно подчеркивали напряженность повествования. — Небрежность австрийского командования представлялась им до того неправдоподобной, что они сами с трудом верили, что так легко прошли неприступные ущелья. Опасаясь нападения, они тщательно прочесали все окрестные леса. Когда же дело дошло до столкновения, то австрийцы, захваченные врасплох, бросились в атаку, но всякий раз бывали отражены градом пуль. Страшно было видеть, как несчастные наши люди падают на бегу, как редеют ряды наши, а земля все гуще покрывается телами, и это при полной невозможности добиться даже минимального успеха. В три часа пополудни смолкли орудия с обеих сторон. Битва была закончена. Около трех тысяч мертвых и раненых покрыло поле боя...».

Дочитав, пани Краусова посмотрела поверх очков на Мошну, который тем временем, слава богу, заснул.

Пани Краусова была в своей стихии. Наконец-то ее приличный и аккуратный жилец занемог и должен был остаться в постели.

— Да и кого, скажите, не потрясли бы такие удары? Вернулся пamedни под утро, замерз весь, глаза не свои и не говорит ничего — я даже вся перепугалась! Есть перестал, похудел, а потом и горячку схватил... Нет, нет, пани Данцова, ничего серьезного, я-то знаю, это от черных мыслей; ну да уж я его вылечу. Вот пойду в лавки, тогда отдам вам те три яичка-то... С сахаром их собью — увидите, как он съест! — потом кусочек телятины, а главное — тепло и компрессы. Что доктор! Пробормочет что-то на латыни, отдашь ему два золотых, а большему-то еще хуже... Ничего, через неделю будет свеж, как рыбка!

Мошня уже третий день лежал в своей комнате, ничем не интересуясь. Только сначала все спрашивал, нет ли ему письма — да это

он, верно, бредил. Потом перестал. Лежал больной, повернувшись к стене, словно назло всем.

Зачем вставать? Он простудился в ту ночь, когда ушел от Едличини и так, без пальто и шляпы — шляпу он забыл в трактире, — до утра проходил по берегу Влтавы. Переехал на Смиховскую сторону, добрал до вокзала, подсознательно стремясь быть поближе к Рокицанам, хотя и не думал об этом. Он вообще ни о чем не думал. Мысли разбредались у него в голове, как овцы по пастбищу. Забрел куда-то на самый Збраслав, и лишь утром, простуженный, не спавший, вернулся домой.

Уехала... уехала! Черт бы ее взял! Ни слова, ни строчки... Могла ведь написать на театр или передать через Краеча или Калоуса... Ну, ничего! Ладно же! Кто из нас играл?

В первый день его болезни явился театральный служитель Шпачек осведомиться, что с паном Мошной, но пани Краусова не пустила его к больному.

— Куда там — жар у него, бредит, чепуху несет!

— Это он завсегда, это ничего, — заявил Шпачек. — Но уж коли так, то передайте ему поклон от меня да от пана директора. Да пусть не волнуется — я ему первого числа жалованье принесу!

На следующий день, когда новоявленная сестра милосердия пани Краусова вышла за покупками, Мошна не выдержал бездеятельности. Он встал, выбрал в своей библиотечке «Дон-Кихота Ламанчского» с прекрасными иллюстрациями Гвидо Манеса, открыл наугад и привялся читать похождения безумного рыцаря. По крайней мере развлечется, забудет об этом неблагодарном, злом мире...

«Санчо! Что ты скажешь насчет этих волшебников, которые так мне досаждают? Подумай только, до чего доходят их коварство и злоба: ведь они сговорились лишить меня радости, какую должно было мне доставить лицезрение моей сеньоры. Видно, и впрямь я появился на свет как пример несчастливца, дабы служить целью и мишенью, в которую летят и попадают все стрелы злой судьбы. И еще обрати внимание, Санчо, что вероломные эти существа не удовольствовались тем, чтобы просто преобразить мою Дульсиню и изменить ее облик — нет, они придали ей низкий облик и некрасивую наружность этой сельчанки...»<sup>1</sup>.

Дочитав до этого места, Мошна едва не швырнул книгу на пол — черт толкнул его раскрыть именно на этой главе! К счастью, вошла милосердная пани Краусова, неся свежую очищенную редиску, масло и булочки. Увидев книгу в руках больного, она горестно воскликнула:

---

<sup>1</sup> Мигель де Сервантес Сааведра, Дон-Кихот. Перевод Н. Любимова.

— Вам нельзя читать! — и ринулась на «Дон-Кихота». — Да еще такую толстую, тяжелую книжку!

Так был спасен рыцарь Печального Образа, ибо, не будь пани Краусовой, он полетел бы в угол.

Мошне вообще ничего не разрешалось. Все делала сама пани Краусова. Пока она держит его под своим игом, он принадлежит ей и никто не имеет на него никаких прав. Скопившаяся в душе этой женщины страсть служить, вечно живая забота о беспомощном мужчине, память о покойном пане Краусе — все это навалилось теперь на злополучного Мошну в виде неумемной, злостной опеки, пахучих холодных компрессов, поминутного взбивания подушек, яблочного сока, яичек, маслаца, в то время как чтение газет и курение — особенно курение — были строго-настроено запрещены.

Раз ночью хозяйка поймала Мошну у открытого — представьте, у открытого! — окна в одном халате, поныхивающего сигаркой. Она подняла такой шум, что соседи воображали, будто почтенный пан Индржих Мошна в этот самый час испустил дух.

Впрочем, газеты пани Краусова читала ему сама. Так узнавал он все официальные новости, с соответствующими комментариями пани Краусовой, особы несомненно хорошо осведомленной; австро-прусская война на всю жизнь связалась в его памяти с воспоминанием о постели, компрессах, пахнущих уксусом и отваром ромашки, и еще о монотонном чтении пани Краусовой.

По тщательно взбитой перине, которую слабый уже, но все-таки жар помогал превращать в склоны холмов, усеянных войсками, проходили перед прищуренными глазами Мошны колошны кронпринца Фридриха Вильгельма, стекающиеся к Ичину.

Один уголок подушки с поистине беспримерным мужеством оборонял австрийский генерал Клам-Галлас — единственный, который с грехом пополам отстоял честь несчастных беломундирников.

Но перины не хватало для бегства австрийских корпусов, разбитых под Скалицей и Подолом, под Куржи Водой, под Мниховом Градцем и Двором Кралове...

Итак, прусские войска, беспримерный поход которых изумил всю Европу, достигли Градца Кралове; эту битву Мошна пережил, уже сидя в кресле покойного пана Крауса, все еще, однако, заботливо обложенный подушками.

В разгар военных действий произошло еще одно событие, тоже непосредственно связанное с регулярными поражениями злополучного главнокомандующего северной австрийской армией генерала Людвиг Августа фон Бенедика.

Первого июля, незадолго до полудня, к Мошне, невзирая на протесты пани Краусовой, проникло сразу пять визитеров, так что комната мигом превратилась в купе переполненного поезда.

Явилась прославленная Магдалена Гинекова; затем — не менее прославленный Ян Кашка; их сопровождали «красавец» Фердинанд Шамберк и «наши детки» — Йозефина Чермакова с Якубом Сейфертом. Поскольку стульев не хватало, расселись кто на столе, кто на кровати больного.

Паки Гинекова, еще в дверях, воскликнула:

— Ты тут валяешься, голубчик, словно королева Наваррская после родин, а нас тем временем всех выкинули на улицу!

При виде друзей Мошна вскрикнул было от радости, но, вспомнив, что серьезно болен, тотчас понизив голос; старательно хрипя, он что-то просипел и закашлялся. Кашка окинул его профессиональным взглядом и заявил, что научит его так сипеть и хрипеть, что поверит даже окружной медику.

Однако Мошна, не роя чести больного человека, во все время визита хрипел ужасающе и в конце концов в самом деле лишился голоса.

— Что случилось, друзья? — просипел он, кладя себе руку на грудь.

— Что случилось? Вчера, во время «Ревизора», Томе сообщил нам, что под давлением военных событий он, к сожалению, вынужден закрыть театр и немедленно распустить весь штат! — приняв трагическую позу, произнес Шамберк.

— Не может быть! — вскричал Мошна, едва не выскочив из постели.

Все пятеро с удовлетворением смотрели на коллегу, пораженного так же, как были сами они поражены вчера.

— Можно приоткрыть окно? — спросила Йозефина, осматривавшая комнату: теперь она, взяв картинку с Калипсо, прошла к окну.

Ее вопрос остался без внимания.

— Дело обстоит так, — Шамберк по-прежнему сохранял вид и тон вестника несчастья. — Нам грозят голод и нужда!

Все удивленно воззрились на его толстое лицо: эта мысль еще никому не приходила в голову.

— Голод, нужда, невзгоды и долги! — глухим голосом повторил Шамберк. — Если мы сами себе не поможем — погибнем! Томе и слышать ничего не хочет о театре, он ссылается на пункты в договоре, которые позволяют ему в случае войны закрыть театр и рассчитать актеров. Что он и сделал!

— Мерзавец! — добавила пани Гинекова.

— Нам важно, понимаешь, Индра, сохранить театр — и чтобы кто-нибудь взялся руководить им, — объяснил положение старый Кашка, зажигая сигару.

— Я на это не соглашусь! — в ужасе возопил Мошна. — Какой из меня директор!

— Вот была бы потеха, если б ты стал директором, — усмехнулся Сейферт.

— Не бойся, малыш, мы не собираемся предлагать тебе директорство, — материнским тоном утепила Мопшу Гинекова.

Тот облегченно вздохнул и переложил подушку, чтобы удобнее было сидеть.

— Наш старый герой Шимановский помчался к директору Со словного, к Вирссингу — его, видно, Маир науськал, ведь Маир падет первый, — и от имени всех актеров... — начал было Шамберк, но Гинекова перебила его:

— Вот старый негодяй! А об этом никто еще не знает!

После чего она тем же тоном обратилась к Шамберку и Кашке:

— Если вы, братцы, будете курить у бедного Мопшички, я ваши сигарки в окно выброшу!

— Ничего, пусть курят, — просипел больной.

— Да помолчите, дайте сказать! — воскликнул Шамберк. — Так вот, от имени актеров этот Шимановский предложил Вирссингу директорство во Временном. Да куда Вирссингу, он уже обжег себе задницу, он куда попало не сядет. Земский же комитет, особенно пан интendant Ригер, всюду ищут директора — главным образом для того, чтобы сохранить место Маиру, — и никого не пайдут!

— Короче, Индра, мы вот зачем пришли, — засовывая сигару в карман жилета, заговорил Кашка. — Хотим мы учредить комитет — мы, то есть актеры: нечто вроде артели, чтоб взять руководство театром в свои руки. Томе переуступает нам и Новоместский, так что будем играть в обоих, на свой риск! Без директора — понимаешь?

— А где вы деньги возьмете? — просипел Мопша, в ужасе от таких событий — именно этого он и боялся... (А в мыслях опять: уехала! Скрылась! Ни слова, ни строчки...) Так пусть же все идет прахом! Какое-то отчаяние — и легкомыслие вместе с ним — обуяло его. И тогда положение, в котором они очутились, начало его даже забавлять. — Нет, правильно — сами! Соберемся и пойдем приглашать по домам, словно на бенефисы, — практично предложил он.

— А строго говоря, это и будут наши бенефисы! — подхватила Шамберк. — И земский комитет должен выплатить нам часть дотации.

— Может, даже с прибавкой, — сказал Кашка. — Ригера в Праге нет, он в Малеч уехал, а мы его ждать не будем, у земского маршала нынче столько хлопот, что он захочет поскорее от нас отделаться и, пожалуй, ударит с нами по рукам. — Тут Кашка встал в торжественную позу, набрал в легкие воздуху и продолжал: — Итак, мы спрашиваем тебя, присутствующий здесь, хоть и недужный

Индрижих Мошна, с нами ли ты в этот час, решающий — быть или не быть?

— Промажнуться ты никак не можешь, — заметила Гинекова. — Деньги ты не потеряешь по той простой причине, что у тебя их нет, а честь — отважный человек всегда ее отстоит!

— Конечно! — с жаром вскричал Мошна, чуть не забыв о том, что надо хрипеть. — Могу ли я бежать от знамени в такую минуту?

— Тогда подпишись-ка, — Гинекова вытащила из ридикюля бумагу. — Ладно, не смотри — подписывай, — добавила она, видя, что Мошна, со свойственной ему крестьянской осторожностью, заколебался, — что написано пером, того не вырубишь топором!

Однако Мошна внимательно прочитал документ, которым учреждался актерский комитет для временного руководства театром, и, подумав немного, с важностью поставил свою подпись.

Ушли с таким же шумом, с каким явились, унося с победным видом подпись Мошны. То, что они задумали, было актом самопомощи со стороны актеров, которых расчетливость директора Томе оставила на улице в неверные военные времена. Томе, которому Ригер несколько месяцев назад буквально навязал Временный театр, не мог поступить иначе. Средства его иссякли, и возможности избавиться от обязательств, связанных с театром, он ждал как спасения — в противном случае ему грозило полное банкротство.

Между тем актерский комитет — организация временная, вызванная заботой о куске хлеба, — сыграл важную роль, роль мостика к образованию товарищества, которое впоследствии самостоятельно и решительно вело дела чешского театра. Коллективные действия чешских актеров покончили с вечным кризисом руководства, вернее, частного предпринимательства, раз и навсегда отдав театр в руки патриотов и доказав тем самым, что чешский театр можно не только сохранить, но и содействовать его расцвету в интересах народа и искусства.

Естественно, все это не обошлось без борьбы, в которой противник прибегал порой к довольно неприглядным действиям; редактор Ян Неруда, непримиримый в убеждениях, сыграл в этой борьбе яркую революционную роль. Но помимо прямой своей задачи, рожденной грозными бедствиями, комитет исполнил и другую, не менее значительную: он сохранил театр во время прусской оккупации: театр стал прибежищем для чехов, и спектакли, напоминающие о славном прошлом, помогали людям не сломиться духом.

Друзья ушли, и Мошна снова ощутил тоску, которую всеми силами гнал от себя, от которой бежал в ту ночь, когда бродил, разбитый, по берегам Влтавы...

— Одна из дам, что приходили к вам, вернулась, — услышал он голос пани Краусовой. — Впустить ее? А то вы, кажется, вздремнули? Мошна с удивлением возрился на своего ангела-хранителя.

— Которая?

— Молодая — вот я и решила сперва спросить, — с видом человека, проникшего во все тайны, доложила пани Краусова.

Это была Йозефина. Увидев Мошну, такого одинокого, она вдруг страстно захотела поговорить с ним, просто побыть возле него — и вернулась, отстав от товарищей.

Ее душу тоже давила странная тоска. Ведь Мошна был ей милее всех друзей и поклонников. Он так хорошо умел выслушивать все ее жалобы и сам в ответ рассказывал много о себе и своих невзгодах, поверяя их ей одной. В чем-то они были близки, только она не знала в чем. В том ли, что обоим приходилось играть маленькие роли? Ах нет, не так это просто...

Война и на Йозефину действовала угнетающе. Такое было у нее ощущение, словно кто-то ушел...

Быть может, тот, столь преданный, столь трогательно скромный и учтивый юноша в безукоризненном вечернем фраке, с его чайными розами и письмами, полными жаркой любви?

— С тобой что-то происходит, Индра, — заговорила она, потому что Мошна молчал.

А Мошну обрадовало возвращение Йозефины. Он подумал, что, если бы мог поверить ей все, ему бы стало легче.

Ему и в голову не приходило, что все это противоречит его любви к Пепичке; да если б и пришло, он посмеялся бы над собой.

— Нет, все уже в порядке, Фина, — задумчиво ответил девушке Мошна. — Просто порой взбунтуешься — и забудешь, что на тебе нет теплой одежды. Осел и тот ноги протянет, если все время — ничего да ничего... — Он вздохнул. — А у тебя как?

— У меня? У меня тоже как-то все... плохо. — Она хотела сказать «невыносимо», да вовремя сдержалась.

Мошна посмотрел на нее так, словно хотел сказать: понимаю. А ей приятно было, что он так на нее смотрит. И она ждала, чтоб он заговорил, но Индра снова погрузился в молчание.

— Я сама себе в тягость, — с внезапным порывом сказала она. — Если в ближайšie дни чего-нибудь не случится — верю, под поезд брошусь...

Тут она уткнулась головой в подушку Индры и горько заплакала.

Он приподнялся на локте, склоняясь над массой непокорных черных кудрей, рассыпавшихся по белой подушке; глубоко тронутый, он не знал, чем помочь подруге в неведомом горе. Полный со-

страдания и смущения, он тихонько стал гладить ее голову, вздрагивающую от рыданий.

Она постепенно успокаивалась, и еще в слезах, всхлипывая, как маленький ребенок, проговорила:

— Так мне приятно... от твоих рук...

А Мошна и сам чувствовал, как это прикосновение согревает его.

«И почему в жизни все так бессмысленно?» — подумал он. За такую минуту с Пепичкой, за такое доверие ее он отдал бы все, что имеет... Ему самому хотелось зарыться в подушку и плакать, плакать...

— Пепичка<sup>1</sup>!... — прошептал он, глядя куда-то вдаль, — ему хотелось вызвать в памяти серые лучистые глаза Пепички, ее волосы, прикосновения которых он еще не знал. Но запах резеды отгонял этот желанный образ. Ни словечка не оставила, уезжая... Если это испытание — то как же оно жестоко...

Йозефина почувствовала, что рука его, неподвижно лежавшая на ее голове, отяжелела и дрогнула. Девушка поднялась, замянула ему в лицо. Почудилось ей, что он зовет ее — и не ее...

— Кого ты звал? Меня? — нерешительно, со страхом, спросила она.

Лицо ее было теперь так же бледно, как тогда, в Семинарском саду, когда он учил ее целоваться по-театральному, и страстность, с какой она задала вопрос, потрясла его.

— Мы с тобой как двое детей, заблудившихся в лесу, — сказал он вместо ответа и, взяв ее голову в ладони, улыбнулся.

Йозефина прикрыла глаза.

А он привлек ее к себе и поцеловал в обе щеки, соленые от слез.

За дверью раздались шаги — и голос пани Краусовой:

— Пан Мошна, обед готов!

\* \* \*

После поражений, следовавших одно за другим, главные силы австрийской армии, беспорядочно отбиваясь от пруссаков, переместились на север Чехии. Главнокомандующий Бенедек, измученный еще и интригами придворных венских военных, просил императора заключить мир любой ценой, пока дело не дошло до катастрофы.

Но император повелел дать главное, решающее сражение.

Сражение это произошло к северо-западу от Градца Кралове, в междуречье Лабы и Быстрицы. Самые жаркие схватки разыгра-

<sup>1</sup> Одно из уменьшительных от имени Йозефина (*прим. пер.*).

лись у деревни Садовой, по имени которой и вошла в историю эта битва.

Король Вильгельм и Бисмарк лично наблюдали ее.

Стоял знойный день третьего июля. Сначала боевое счастье клонилось на сторону австрийцев — их артиллерия превосходила прусскую, — и только удачный, почти случайный подход к полю боя кронпринца Фридриха Вильгельма, который со свежими силами ударил в спину австрийцам, овладев высотами под Хлумом и Липой, решил судьбу сражения в пользу прусского оружия.

Тем самым была определена и судьба Европы на ближайшие восемьдесят лет. Если бы Австрия, одержавшая в то же время победу над итальянцами под Кустоццей, выиграла и это сражение — достаточно было, чтобы части кронпринца опоздали лишь на несколько часов, — не возникла бы Германская империя под прусской эгидой, когда одиннадцать миллионов немцев осталось за пределами ее границ; поражение пруссаков под Садовой означало бы падение Бисмарка, а с ним и всех прусских империалистических планов.

Битва под Садовой — мать всей прусской агрессивности, столько раз ужасавшей с тех пор Европу. Эта битва изменила и немецкий характер, так что даже немецкие классики обрели более резкие черты. Именно с этого времени Дюрер становится более жестким, Вагнер невыносимым, а слова Гёте: «Я больше люблю порядок, чем справедливость» — звучат уже несколько опасно. Веймар, полный притягательной силы, полный музыки и поэзии, окутывается злыми, непроницаемыми тучами.

В Прагу начали прибывать раненые.

Первые сто сорок пять человек прибыли на пражский вокзал специальным поездом. Их встречал сам земский маршал, и каждый раненый получил по несколько сигар. Светские дамы принесли корзины с булочками, а пражские жители пожертвовали по бутылке мельницкого вина на пятерых. Тяжелораненые, метавшиеся в бреду, в беспамятстве, и те, у которых были оторваны руки или ноги, молча отказывались от сигар, от булочек и вина, так что легкораненые смогли попить вволю. Кое-кто закуривал по две сигары сразу, вызывая веселье окружающих.

Первого из раненых, майора пехотного полка Мюллера, вывел из вагона лично господин маршал — под аплодисменты дам и господ, которые, видно, спутали встречу искалеченных людей с театральной премьерой. Следующий транспорт встречал уже приматор Праги доктор Вельский. Еще раздавали сигары и булочки, только изюму в них было уже поменьше.

Потом раненых принимали уже только санитары да светские дамы, которым это еще не надоело, подавали каждому воину — если у того остались целы руки, — по чашечке жидкого кофе.

Раненые прибывали со всех сторон. Специальные поезда сменились товарными составами — раненые, плохо обихоженные, валялись в бреду на соломе.

Полная нехватка врачей, санитаров и каких бы то ни было медикаментов и перевязочного материала свидетельствовала о том, что никто из австрийского главного командования не рассчитывал на такие огромные потери. Не хватало даже корпии, которую девицы из «лучших семей» нежными пальчиками, а школьники пальцами в чернилах щипали из тряпок и лоскутков, ни для чего иного не пригодных.

В довершение всего не хватало ни фиакров, ни наспех реквизированных телег, чтобы развезти всю эту разорванную, бредящую человеческую плоть туда, где то ли чудом, то ли заботами населения, а может быть, просто благодаря лошадиной выносливости она все-как срасталась, туда, где солдатики могли бы, подобно кошкам,лизать свои раны или сдохнуть, чтоб трупы их потом свезли в братскую могилу на Ольшанах — аминь...

В переполненных лазаретах раненые валялись в коридорах на соломе, уже некуда было девать вновь поступающих, и тогда пракане начали разбирать их по домам — конечно, добровольно. Приматор Праги и военные власти призывали домовладельцев помогать чем можно. Бывало и так, что приезжали родные, забирали своих сыночков домой, где те либо умирали, либо исцелялись непостижимым образом.

А происходило это в те времена, когда в нормальных условиях врачи, как и все граждане, мыли руки только по утрам в тазу или уж если очень пачкались в крови. В военное время, однако, было не до такой роскоши.

Театры все еще стояли закрытыми. Актерский комитет боролся со многими трудностями, но все предвещало успех.

Мошна выздоровел. Кончилась власть пани Краусовой. Он испытывал блаженное состояние человека, который после трудного дня отправляется в баню. И тотчас взялся за работу в комитете. В дни вынужденного безделья актерский комитет заседал, вел переговоры с различными учреждениями, а в свободное время Мошна бродил по Праге. И больше всего притягивала его старая страсть — вокзалы.

Однако то были уже не те вокзалы, что в идиллические дни мира. Часто они напоминали круги Дантова ада.

Но и теперь, хотя сердце сжималось, Мошна смотрел, смотрел, нбирая боль и ужас этих человеческих опметков, этих отходов войны. Он видел, как при незначительной ране человека скоротечно

поражала гангрена, видел, как, словно мясные туши, завернутые и окровавленные лохмотья, перегружали из вагона в вагон безногих, безруких, но в полном сознании людей, видел, как молча, одиноко умирали многие — видел и запечатлевал в душе.

Порой он думал: «Зачем я сюда хожу? Зачем коллекционирую эти ужасные впечатления?» Но некое эгоистическое чувство напентывало ему, что перед лицом таких страданий его собственные переживания смешны и мелки.

С Йозефиной он стал близок, как никогда. Вместе бродили они по городу, и их даже стали считать новой влюбленной парой.

В трактир Едлички заходить он не решался. Не хотел! Некогда столь милый сердцу, он виделся теперь Мошне заколдованным домом с противно усмехающейся хозяйкой.

Зато он привык навещать дом Чермаков, где скоро подружился со всей семьей, особенно с отцом семейства, ювелиром-поэтом. Мастер бронзовых дел часто рассуждал о политике с золотых дел мастером, и каждый вспоминал о своих странствиях.

Сестры Йозефины очень полюбили забавного «дяденьку». Мошна приносил с собой маленькую куклу, которую сам смастерил из тряпки; он надевал ее на руку и, выставляя над локтем левой руки, проделывал смешные фокусы. Аниа, Мария и Клотильда, младшие сестренки Йозефины, прозвали куклу «Мошничка» или «Кабелушка».

— Нет, ты действительно волшебник, — вздыхая, говорила Йозефина при виде того, как оживлялся Мошна, окруженный счастливыми детьми.

Эти часы служили поистине отдохновением от действительности и для него самого, и для Йозефины, да и для всех остальных.

«Таков он весь! Отдается всем существом своим, без всякого притворства, — думалось ей. — Чего же ему еще надо? Чего он ищет? Ведь все — в нем! Насколько труднее мне... Быть может, мое бестолковое актерство и впрямь ошибка, глупость...».

В те дни, наполненные столь противоречивыми переживаниями, Мошна сблизился еще с одним человеком у Чермаков — с учителем музыки, Антонином Дворжаком, бывшим альтистом в театре. Но теперь, когда театры не работали, Дворжак заходил к Чермакам и в неурочные часы. Жил он неподалеку, на Сеноважпой площади, и ему нетрудно было чувствовать себя здесь как дома.

Оба, Мошна и Дворжак, в юности были тружениками, тот медник, этот мясник, один вышел из городской, другой — из сельской бедноты; оба — художники от рождения, не избалованные, не облаканные, оба обладали чувством реальности и хорошо понимали красоту ее; поэтому, не нуждаясь в долгих объяснениях, они скоро отлично сошлись.

Дворжак не хуже детей мог сколько угодно слушать шутки Кабулушки и хохотать, как они — громко и искренне.

Мошна же готов был без конца сидеть у пианино и молча, с закрытыми глазами слушать игру Дворжака.

Духовную близость свою они поняли очень скоро, когда, ведя бесконечные разговоры о войне, о людях, вообще о жизни, всякий раз находили общую точку зрения.

Йозефина чувствовала тайное родство их душ. Это раздражало ее, возбуждало ревность. Их суждения казались ей дерзкими, даже крутыми; порой они напоминали ей двух мальчишек, особенно когда спорили или объясняли что-то друг другу.

Зато какие удивительные минуты духовного наслаждения переживала она, когда Дворжак садился за пианино или когда Мошна, читая стихи, словно волшебством делал ясным то, чего она никогда бы не могла понять без его интерпретации.

Военное поражение разлагало все.

На соседнем вокзале, где теперь днем и ночью царило оживление, отголосками сражений грохотали транспорты с ранеными и поезда, увозящие беженцев.

Перед вокзалом в невероятной толчее толпились вперемешку солдаты и питатские пассажиры. Несколько раз в день вскипало и падало варево из повозок, носилок с увечными, стонувшими и ругавшимися.

Дворжак и Мошна не могли проходить мимо — останавливались, привлеченные, даже как бы против воли, видом несчастья, страданий... Движением толпы их заносило иногда и внутрь вокзала.

— Какое извращение! — восклицал потрясенный Дворжак. — Подумать только: паровоз, этот современный механизм, этот символ прогресса, сближения отдаленных краев и людей — и вот он призван доставлять из ужасного, варварского мира стонущие, искалеченные существа...

Йозефина не желала ходить с ними. Ее охватывал ужас при одной мысли, что она, пусть на минуту, увидит грязных, растерзанных, измученных и огрубевших людей. Она закрывала у себя окна и ставни, ходила в город кружным путем, а ночью, разбуженная свистком паровоза, тряслась от неумолимого страха. Вокзал в ее представлении разрастался до чудовищных размеров.

Но однажды она сама попросила взять ее с собой — как человек, который от ужаса перед бездной сам бросается в нее. Дворжак и Мошна пытались ее отговорить, но она, со злыми слезами на глазах, упрямо стояла на своем. И вот в один душный, жаркий день все трое очутились на перроне, среди сутолоки и суматохи, словно посланные сюда в наказание.

В тот день ждали уже двенадцатый по счету транспорт. Вокзал еще не очистили от предыдущей партии раненых, как прибытие следующей усилило хаос.

Паровоз, запыхавшийся, словно устал тащить свой груз тяжелее камней, остановился у перрона, и тотчас началась страшная беготня. Санитары, измученные службой без отдыха, машинально взялись за свое дело. Подкатив к вагонам тележки, на которых раньше возили багаж, они выкрикивали:

— Только для тех, кто не может ходить! Безногие в первую очередь! Не напирайте! Кто на ногах, пусть идет сам!

Фельдшеры и лекари, грязные, измазанные до неузнаваемости, принимались за работу тут же на месте, а то и прямо в вагонах, — большинство раненых были перевязаны кое-как.

Несколько солдат стаскивали на особую тележку, прикрытую парусиной, тела тех, кто умер в дороге.

Из одного вагона донеслось тихое пение. Йозефина истерически крикнула:

— Послушайте — там поют!

Дворжак взял ее за руку:

— Не поют — плачут, разве не слышите? — Глаза его были полны слез. — Ведь только музыка в состоянии все объяснить, все спасти... — И с каким-то упреком он добавил: — Ради бога, уйдем отсюда!

— Не могу, я еще не могу уйти, зачем вы меня привели! — воскликнула Йозефина, но, вспомнив, что сама упросила их, заставила себя успокоиться, вернее, вся сжалась внутренне, чтобы не закричать от ужаса. И сказала с горькой усмешкой: — Так вот в каких бездонных глубинах родились и греческая трагедия и Шекспир! Вот она и разоблачена. Это ужаснее, чем любая фантазия!

— А по-вашему, могла бы родиться «Героическая» без всех тех, кто пал при Наполеоне? — сжимая ее дрожащую руку, возразил учитель музыки.

Тут в одном из вагонов раздался смех — обыкновенный смех, молодой, радостный, — видно, кто-то из легкораненых вдруг понял, до чего же повезло ему в сравнении с несчастными его товарищами.

Мощна схватился за голову:

— Уйдем! Я ничего не понимаю...

В это время из вагона вывели молодого офицера; грудь его и правая рука были обмотаны грязными окровавленными бинтами. Сам он был бледен до синевы и едва держался на ногах. Фуржетки на нем не было, светлые волосы, взмокшие от жара, слиплись на высоком лбу. Поддерживаемый двумя легкоранеными, он стоял, удивленно озираясь.

Кто-то, уже охрипнув, все толковал, что раненых некуда больше девать, даже коридоры во всех госпиталях забиты...

— Оставьте их пока на перроне, что-нибудь придумаем! А им соломы подстелим...

— Что придумаем? Здесь и без того сумасшедший дом!

— В канцелярии заместника папика, — отозвался еще кто-то, — а пражская комендатура попросу укатила в Будейовицы!

— Кто тут отвечает за порядок? — кричал хриплый голос.

Ответом был смех, злой, полный бешенства:

— Никто! Прага объявлена открытым городом, и все бегут!

— Замолчите!

— Это вы замолчите, да попробуйте найти здесь место! А мы ждем еще не меньше пяти транспортов!

— Господи боже, ведь тут люди! — воскликнула Йозефина.

— А всегда и везде были люди, — проворчал Мошва, невольно сжимая в кармане Кабелушку, которым час назад смешил детей.

Какой-то пожилой офицер в пропотевшем, грязном мундире — видимо, военный врач — кричал что-то на изможденного, с неделю не брившегося железнодорожника.

— Вы на меня не орите, я не солдат, а дежурю вот уже тридцать часов подряд!

В последнем из шестнадцати вагонов, стоявших у перрона, — ибо за недостатком носилок большинство раненых еще не было выгружено, — заиграла гармонь.

Офицер, раненный в грудь и руку, небрежно перевязанные, стоял недалеко от наших друзей, с двух сторон поддерживаемый товарищами. Его горячий взгляд остановился на Йозефине. Бледное, давно не мытое лицо его дрогнуло — он улыбнулся хорошенькой девушке и, видно, хотел протянуть к ней здоровую руку, да не успел — ноги его подкосились, и он, потеряв поддержку своих обессиленных товарищей, рухнул к ногам Йозефины.

Она заметила его тотчас, едва он вышел из вагона. Его же, пока он еще стоял на ногах, так и влекло к этому светлому пятну в общем хаосе.

Когда он упал, Йозефина вскрикнула и наклонилась к нему.

— Ваш знакомый или родственник? — торопливо спросил маленький офицер, старавшийся внести хоть какой-то порядок в прием раненых. — Хотите — можете забрать его домой, только завтра или в крайнем случае послезавтра заявите о нем в ратуше, в отделе размещения раненых по частным квартирам!

И офицерик кинулся к другой группе, крича и размахивая руками.

Дворжак, тотчас опустившись на колено, приподнял раненому голову. Оба товарища его, радуясь, что освободились от забот, молча

удалились. Мошна беспокойно озирался. Никто не обращал на них внимания.

— Вы можете встать? — спросил он незнакомца, увидев, что тот открывает глаза. — Встать можете? — повторил он громче, по-цемецки.

Раненый шевельнулся и, словно подчиняясь приказу, начал с трудом подниматься.

— Ах, помогите же ему!

Возглас Йозефины был совершенно лишним, потому что уже и Мошна и Дворжак поддерживали несчастного в сидячем положении.

— Я сбегая за извозчиком! — вызвалась Йозефина, но Мошна возразил:

— Извозчика ты не достанешь. Отведем его к вам. Всего несколько шагов — наверно, выдержит!

— По-моему, внутренних повреждений нет. — Дворжак осмотрел раненого со знанием дела. — Только рука и плечо, может быть — верхушка легких. Пожалуй, дойдет...

Вдвоем, сильные и ловкие, они подняли раненого и, поддерживая его, шатаясь, как пьяные, пошли к выходу.

Йозефина, вне себя от перенесенного потрясения, побежала вперед, чтобы приготовить все к приему несчастного.

Так Гельмут Кольвиц, юнкер Четвертого пехотного полка, разбитого при отступлении от Садовой, наконец-то попал в милосердные руки.

Нечаянное вторжение это, разумеется, перевернуло в доме все вверх дном. Раненого окружили заботой. Он был голоден, грязен и почти смертельно ослаблен потерей крови. Само же ранение оказалось не опасным: прострелена правая рука, и пуля пробила грудь, застряв, по-видимому, между ребрами.

Его уложили пока в комнате Йозефины. Вечером пришел домашний доктор и, осмотрев пациента, заявил, что дело куда лучше, чем кажется. Грозит, конечно, истощение от страшной потери крови и гангрена — следствие скверной обработки ран.

Вернувшись через час, доктор с помощью Мошны и Дворжака извлек пулю, вычистил и перевязал раны.

Тем временем для больного приготовили мансарду, куда и перенесли его осторожно, всей семьей.

Так у Чермаков возникло собственное военное приключение.

Дети, возбужденные печальным вторжением романтики, с таинственным видом прокрадывались к мансардной комнате.

В первый же день раненому значительно полегчало. Он не понимал еще резкой перемены своей судьбы: после нагромождения

острых, страшных впечатлений от битвы, после ужасных часов в поезде для раненых, где он то и дело терял сознание, — вдруг тишина, чистота, мир и ласковые руки.

Йозефина решительно присвоила его. То был ее человек, она шила его под опеку, она будет его выхаживать, спасет!

Жизнь ее разом обрела новый смысл. И она всей своей растревоженной, не знающей покоя душой предалась уходу за раненым воином, которого — она верила — само провидение бросило к ее ногам как испытание, как урок, как дар.

Часами сидела она у ложа больного, следя за его дыханием, за лихорадочным трепетом его губ, с которых срывались непонятные ей, бессвязные слова о незнакомых людях, о какой-то Маргарите...

Один раз, когда она меняла компрессы на его пышущем жаром теле, он уцепился за нее здоровой рукой, но тотчас застонал, рука его упала, и он расплакался, как обиженный ребенок. Йозефина, поминутно вытиравшая ему лицо прохладным платком, отерла теперь слезы. Он еще всхлипнул несколько раз, затем успокоился и снова погрузился в горячий сон.

Этот знак то ли благодарности, то ли преданности, но во всяком случае — глубокого доверия, порожденного беззащитностью, несканно тронул девушку; такое безмерное доверие проявляет только раненое животное, почувствовав ласковые человеческие руки, старающиеся умерить его страдание. И — впервые, может быть, — Йозефина внимательнее взгляделась в его успокоившееся лицо. Только сейчас, когда он ощутил первое облегчение, могла она как следует его разглядеть. Но смотрела она на него вовсе не так, как смотрела прежде на мужчин, занимавших ее воображение. Ей не важно было, красив ли он, интересен ли, — она смотрела, как рассматривают подарок, не для того, чтобы определить цену его или вид, а просто потому, что там его подарили. Больной показался ей очень молодым, почти мальчиком. Ему могло быть лет двадцать пять — двадцать шесть.

Лица всех страдающих людей похожи друг на друга. Выражение боли мешает даже определить возраст. Несмотря на это, Йозефине казалось, что она различает в его искаженных чертах нечто присущее смелым и даже дерзким мальчикам. Упрямые губы, сдвинутые брови, говорящие о самонадеянности, и высокий лоб, на который в столь юном возрасте можно вписать все добродетели, точно так же как и все пороки. Но большие карие глаза, беспокойные от жара, внушали ей доверие и больше всего привлекали внимание.

Йозефина, с ее богатым воображением, не могла себе представить, чтобы кто-нибудь мог принадлежать ей более безраздельно, чем этот большой раненый мальчик, во всем зависящий от ее забот,

В часы кризиса она молилась со всем жаром, на какой была способна, — молилась за его жизнь как за нечто бесконечно дорогое, вверенное ей самим небом и чего она не имеет права терять. Душа ее раскрывалась во всей полноте, обнажая безграничную женскую нежность. Она сама себе поражалась — ведь она, актриса, умела анализировать сокровенные свои впечатления — и поняла вдруг, что только сейчас чувства ее обрели подливную глубину. И все, что играла она до сих пор, показалось ей теперь таким ничтожным и поверхностным...

\* \* \*

На углах пражских улиц, где еще висел императорский манифест от семнадцатого июня, объявляющий войну и моливший бога не оставить тех, кто упоает на него, шестого июля появилось новое воззвание, взбудоражившее Прагу куда сильнее, чем само объявление войны. И хотя жители, оставшиеся в Праге, следили за быстрым развитием событий и ожидали чего-то в этом роде — воззвание это вызвало возмущение.

Вот до чего дошло!

Бранденбургцы — в Чехии! В Праге!

Люди толпились, молча прочитывая воззвание, и переглядывались, полные стыда и гнева.

«ПРАЖАНЕ!

Войска короля прусского идут на Прагу и могут занять наш город в любой момент. От вас, от вашего поведения зависит спасение Праги от последствий войны. Точным и добросовестным выполнением всех требований, которые будут к вам предъявлены, мирным и достойным поведением своим вы докажете, что счастье города нашего действительно близко вашему сердцу и что вы не хотите принимать на себя тяжкую ответственность, дав повод для применения суровых законов военного времени.

Отцы семейств, хозяева, под началом которых находится люд служивый, рабочий или ремесленный! Ваша первейшая обязанность — воздействовать на подчиненных в этом смысле и принять все меры к тому, чтобы они по возможности оставались дома, ибо в противном случае, в силу легкомыслия их или вызывающего поведения, могут возникнуть неприятности.

Если каждый из нас на попроще своем будет честно исполнять свои обязанности, мы сможем с полным доверием вручить судьбу нашего города гуманности военных властей цивилизованной нации!

Приматор Праги доктор *Бельский*  
Прага, 6 июля 1866 года».

Если в предыдущие дни многие покидали город, то теперь началось повальное бегство перепуганных пражан. Еще за несколько дней до этого скрылись высшие чины всех учреждений. Из храма святого Вита тайно вынесли коронационные клейноты чешских королей и увезли их в Вену. Исчезли все экипажи, прекратилось движение. Улицы смолкали. В полупустой Праге оставались лишь те, кто не мог уехать, да те, кому нечего было терять.

Только архиепископ Пражский и приматор города не покинули свои посты.

Семья Чермака тоже уехала в провинцию к родным. Дома осталась Йозефина со своим раненым, сославшись на долг перед театром, который собирались открыть как раз в эти злополучные дни. Не уехал и сам Чермак, не желая бросать дом на произвол судьбы и, конечно, Йозефину, которую невозможно было уговорить. С ними остался в доме работник мастерской, да в кухне — старая Барушка, няня еще пани Чермаковой.

Чешский театр, тоже предоставленный самому себе, готовился бороться с судьбой в дни, когда люди думали о совершенно иных вещах, чем стихи, огни, звуки. Кого могла бы заинтересовать горстка упрямых актеров, которые, борясь за хлеб и за искусство, поставили эти интересы выше военных бурь? Но именно это и принесло им победу! Когда господа начальствующие вернутся к своим брошенным столам, им придется только примириться с тем, что чешские актеры взяли дело в свои руки.

После отъезда пани Чермаковой с детьми Мопна и Дворжак почти все время проводили в их доме, образовав некий новый семейный коллектив военного времени, главою которого сделался старый ювелир.

Будущее, правда, было темно, однако чувство, которое сближало в те времена людей, навсегда осталось для них дорогим.

Постепенно затих даже вокзал — после того как отошли последние поезда с беженцами. По приказу из Вены железнодорожные власти немедленно отвели весь паровозный и вагонный парк, чтобы он не достался неприятелю.

Между тем Гельмут Кольвиц держался молодцом; он был уже в силах воспринимать окружающее. Всякая опасность для него миновала благодаря неутомимой заботливости всей семьи, и прежде всего Йозефины.

Однако раны все еще держали его в постели, возле которой на маленьком столике всегда стояла вазочка со свежей гвоздикой; ее горьковато-сладкий аромат не мог, однако, заглушить в его памяти запаха резеды.

А в комнате Йозефины на открытом секретере уже несколько дней лежало нераспечатанное письмо с французскими марками и штемпелями.

Жизнь семьи сосредоточивалась теперь почти исключительно внизу, в кухне, где хозяйничала старая Барушка.

— Что будем делать с Гельмутом? — озабоченно спросил однажды Чермак, после того как Йозефина поднялась к раненому. — По законам военного времени он будет взят в плен, когда придут пруссаки!

— Как это — взят в плен? — удивилась Барушка. — Да он, бедняжка, на ногах не стоит — какой уж тут плен, бог с вами!

Мопна, читавший у окна газету, поднял голову. Он уже добрый час старался прочесть в серых полосах «Народни листы» судьбу ближайших дней. И думал о Пепичке. На те места, где она сейчас живет, оккупация, пожалуй, не распространится... Все свидетельствовало о том, что ускоренно готовятся переговоры о мире... Что-то она там поделывает, вспоминает ли хоть о нем? Останется теперь по ту сторону фронта, словно за границей... Когда-то он свидится с ней? И свидится ли вообще? Как он мог убедиться по депешам, полным страха, — а их до сих пор печатали на первой полосе, — Европа была просто ошеломлена стремительностью победного марша пруссаков. Бисмарк стукнул кулаком по ломберному столику — и все карты посыпались на пол... Интересно было тоже наблюдать, как изменился тон милейших «Народни листы». Пруссаков они называли теперь уже не варварами, а прусскими королевскими войсками и полными титулами величали всех прусских генералов, принцев и герцогов. И уже, хотя еще с некоторой застенчивостью, понемножку, но уверенно начали поругивать Вену, манипулируя в каждой статье словами «измена чешским интересам». Измена? Какая?

— Да, но, черт возьми, в доме у нас действительно австрийский военный! — отозвался теперь Мопна на жалостную реплику Барушки.

— Если прикажут сообщить о раненых, — что же, придется и нам о нем сообщать?.. — подумав, проговорил Чермак.

— Может, и не надо: одним больше, одним меньше! У них в плену и без того десятки тысяч. А то еще заберут от нас, и бог

ность что с ним случится. И так он едва-едва из гроба выкарабкался, — ответил Мошна.

— Да чего голову ломать! — решительно вставила Барушка. — Больной и есть больной! Христианское ли дело — выдавать неприятелю человека, который спасся в нашем доме, еле живой!

Больше об этом не говорили.

— Страшные вещи пишут, — после паузы снова заговорил Мошна. — Генерал Габленц пропал без вести. Генерал Гондрекур переметнулся к врагу. Взято в плен еще шесть тысяч австрийцев. Захвачено сто двадцать орудий. Генералам Клам-Галласу и Хеннингштейну грозит военно-полевой суд. Разбитые австрийские войска стягиваются к южной Моравии и к Вене, чтоб оборонять левый берег Дуная и столицу империи. Чехию отдают на произвол неприятеля. Ужас!

— Может ли быть больший ужас, — вздохнул Чермак, — если уж Прагу бросили... После этого все возможно...

Мошна перевернул газету.

— Нет, вот это вы должны послушать! Я знаю, Барушку это сердит, но ничего не поделаешь!

И, набрав воздуха в легкие, он залпом прочитал вслух:

«Командующий войсками, отряженными для оккупации Праги, только что послал из Хвал письмо приматору, в котором просит прибыть, чтобы договориться о порядке вступления войск...»

— Господь будь к нам милостив! — вздохнула Барушка.

«Приматор д-р Вельский вместе с господином архиепископом тотчас отправились в Хвалы, — продолжал Мошна. — Вступление прусских войск в Прагу назначено на десять часов утра завтрашнего дня!»

В это время Йозефина сидела у Гельмута, смущенная первой его улыбкой.

— Какие вы хорошие люди, — тихо сказал он, глядя на девушку, которая сидела против света и луч солнца просвечивал ее прическу, придавая черным волосам бронзовый отлив.

Гельмут говорил по-немецки с непривычной мягкостью в произношении.

— Вы кажетесь мне существом из какой-то древней легенды, — заговорил он снова, потому что Йозефина промолчала.

— Вам нельзя разговаривать, господин Гельмут... Ведь вас зовут Гельмут?

Тот молча кивнул.

— Какое странное, тяжелое имя...

Он опять наклонил голову и усмехнулся.

— Дома меня зовут Мути. А когда я был маленьким, звали «Kögnchen»...

— По-нашему это значит ядрышко, зернышко, — в свою очередь улыбнулась Йозефина.

— Зорнышко, — повторил он все с той же детской улыбкой.

Теперь он казался ей совсем маленьким и беззащитным. «Да, видно, он и сам себе таким кажется, если вспомнил детское свое прозвище», — подумала Йозефина. Попыталась вспомнить, как называли ее в детстве, — и не могла.

— Когда я только увидел вас... Не знаю, где это было — все было так беспорядочно, верно как во сне, — и я сразу понял, что буду жить... — прошептал он, улыбаясь, как улыбаются выздоравливающие: самые благодарные из улыбок, подаренных жизни.

— Хотите, я почитаю, чтобы вы сами не разговаривали?

Он посмотрел на нее с недоумением, но тут же радостно кивнул.

— Какого писателя вы любите? — спросила она.

— Гёте...

— Вы студент?

— Был — да оставил. Мне больше нравится играть на рояле, бродить, беседовать с друзьями...

— Хотите, почитаю вам из «Вертера»?

Он отрицательно покачал головой, потом спросил:

— У вас есть «Фауст»? Часть первая — «Вечер»...

Йозефина сбегала к себе и принесла один из томов с позолоченными корешками.

— Вас не утомит? — забеспокоился Гельмут.

— О, что вы, я могу читать часами, — улыбнулась она, отыскивая нужную страницу. Найдя и приготовившись читать, она вдруг запнулась: в глаза ей бросилось напечатанное жирным шрифтом имя героини Гёте: «Маргарита». Йозефина вспомнила, что имя это раненый выкрикивал в бреду. Сердце у нее сжалось, строчки расплылись перед глазами. Ей очень хотелось спросить, почему он просил читать именно эту часть, но она не нашла в себе сил выговорить вопрос и только тряхнула головой, обычным своим строптивым движением отбрасывая со лба непослушную прядку волос. Зачем разрушать иллюзии? Она — актриса и роль Маргариты читала не менее двадцати раз. Учила ее. Почему бы ей и не сыграть Маргариту, когда он просит? Она — актриса! Скажут — играй, и она играет, и никто не спросит ее...

Гельмут от нетерпения сам начал — тихо, неумело:

— Любимой девушки покой,  
Святилище души моей,  
На мирный лад меня настрой,  
Своею тишиной обвей!

Невозмутимость, тишь да гладь,  
Довольство жизнью трудовой  
Владут на все свою печать,  
Налет неизглядимый свой...<sup>1</sup>

Йозефина слушала его затаив дыхание. Хотела бы остановить его, боясь, что он утомится, — и не могла. Он так произносил слова Фауста, словно молился. Впрочем, декламировал он довольно плохо, нажимая на последние слова строк, — но сколько чувства было в его голосе! И снова сжалось ее сердце. Стихи, выбранные им, относились, вероятно, к его воспоминаниям...

— Будь я поэтом, я хотел бы отблагодарить вас как-нибудь именно так... — тихо закончил он, и опять на губах его появилась улыбка.

Тогда Йозефина склонилась над ним и поцеловала его в лоб.

Он закрыл глаза, и невыразимое счастье разлилось по его бледному, исхудавшему лицу.

\* \* \*

8 июля 1866 года впервые после ста двадцати двух лет в Прагу снова вошли пруссаки.

Около девяти утра через Поржичские ворота, к изумлению караульных — один из них до того растерялся, что даже вытянулся в струнку, — проскакал отряд прусских гусаров. Во главе отряда несся офицер в черном кивере с белым султаном, надетом из удальства несколько набекрень. Большая красная кавалерийская сумка, украшенная серебром, и длинный палаш били его по бедру в такт галопа.

Всадники, серьезные, важные, хранили надменно-гордый вид, подобающий победителям. Не спрашивая дороги, словно давно ее знали, они проехали по Поржичу, свернули через Пороховые ворота на Целетную улицу, а оттуда направились напрямик к ратуше.

Перед ратушей они по команде спешили, и офицер с двумя гусарами подвинулся — снова никого ни о чем не спрашивая, — к приматору. Он поставил в известность доктора Бельского, что, согласно приказу главного командования прусских королевских войск и статуту открытого города, Прага будет занята не полевыми частями, а гарнизоном, специально для того назначенным, и вступление в город гарнизонных подразделений начнется ровно в десять часов.

Приматор Праги Бельский, бледный, с глазами, измученными бессонницей, но тщательно выбритый, только поклонился и вручил офицеру символические ключи от городских ворот.

<sup>1</sup> И.-В. Гёте, Фауст. Перевод Б. Пастернака.

Офицер поблагодарил и, поклонившись в свою очередь, попросил приматора оставить ключи у себя.

Прусским войскам приказано было вести себя в Праге как можно приветливее, чтобы привлечь на свою сторону население. Видимо, этот жест офицера явился первым следствием такого распоряжения.

В то же время три командира добровольческих отрядов горожан — в форме, но без оружия — вывели своих людей навстречу прусским частям. Впрочем, прусское командование такой чести не домогалось.

Мопна, Дворжак и Йозефина с отцом вышли на угол посмотреть на въезд оккупационных войск.

— Вообще-то нечего выставлять для них почетный караул, — бормотал Дворжак. — Но ничего, по крайней мере как следует разозлишься!

— Пусть не воображают, что мы от них прячемся. А платочками махать мы, конечно, не будем, — отозвался Мопна.

— Разве что кулаками, — буркнул неугомонный Дворжак.

— Словно впускаешь чужого в собственную спальню, — тоже как бы про себя проговорил Чермак, хмурый и расстроенный.

Йозефина была бледна и нервна, как всегда, когда волновалась.

Около половины одиннадцатого через Поржичские ворота въехал прусский фельдъегерь в высокой каске, сверкающей на солнце; за ним следовала группа офицеров тех частей, которые составили гарнизон Праги.

Люди, толпившиеся на улицах, не двинулись с места. Кто-то — видно, по рассеянности — поднял было руку, чтобы снять шляпу, — сосед ударил его по руке; рассеянный, не сказав ни слова, лишь виновато огляделся.

Когда голова прусской колонны дошла до угла, где стояли наши друзья, Мопна опустил глаза, с трудом удерживаясь от слез.

Дворжак плюнул.

Стоявший рядом с ним какой-то человек с бакенбардами, слегка приподняв цилиндр, заметил по-чешски:

— Осторожнее, гражданин!

— Не глотать же мне всякую дрянь! — проворчал Дворжак.

За головным отрядом двигался эскадрон гусар в красных ментиках и белых ремнях, в черных киверах с белой выпушкой.

Послышались звуки флейт и барабанов.

У Дворжака раздулись широкие ноздри — он стал озираться прямо-таки со зверским выражением. Музыка была неприятна до крайности — она восходила, казалось, к седой германской древности. Квинты — вверх, вверх, потом кварты — вниз, до самых басов, — неутомимо, до судорог, одно и то же, и барабанная дробь, с треском отбивающая тяжкий солдатский шаг...

Йозефина в изнеможении прислонилась к Мошне, опустив голову ему на плечо...

— О, никогда! — вполголоса произнес тот. — Никогда, никогда не должен так вот чужой сапог топтать нашу землю! Никогда!

А по Поржичской улице, батальон за батальоном — впереди каждого восемь флейтистов и восемь барабанщиков — проходил прусский хеймвер в синих мундирах с полосатыми погонами и странными фартучками у пояса. То были отборные части, здоровенные парни с усами, такими длинными, что их можно было закладывать за уши.

За ними следовала полевая артиллерия; орудия двигались по мостовой со страшным грохотом, на лафетах сидели или шагали рядом с пушками равнодушные ко всему солдаты в касках, надвинутых чуть ли не на нос.

Артиллерийский обоз, полевые кухни и лазареты — и снова батальоны пехоты с их ужасающей музыкой, пронзительной и неотвизной — до одури, до оупения.

— Нет, этого мне до смерти не забыть! — воскликнул Дворжак и опять плюнул, кинув при этом взгляд на господина с бакенбардами, который так и стоял на месте, словно оцепенел, по-прежнему чуть приподняв цилиндр.

— Никогда! — повторил Мошна.

Через час прошли все войска.

Над пражским Градом взвился черно-белый прусский флаг. Прага была во власти неприятеля.

Пруссаки вели себя на удивление мирно, что несомненно давалось им с большим трудом. Чувство неполноценности, владеющее всяким завоевателем и узурпатором, — а ведь именно это чувство и создает завоевателей и узурпаторов — так и рвалось наружу.

Вместо слова «расстрел» употреблялись слова «высшая мера», «строжайшая мера наказания». Грабежи, контрибуции, конфискации именывались «помощью населения королевской армии». Прусское командование волей-неволей вынуждено было издавать необходимые распоряжения, — но опять-таки в такой форме, чтобы не слишком высывались рожки захватчика.

Так, уже 9 июля был издан приказ сдать все оружие, в том числе охотничье. Приказано было также выдать прусским военным властям раненых, размещенных по частным домам. Все подобные распоряжения заканчивались уведомлением, что в случае неподчинения власти вынуждены будут, к собственному сожалению, применить строгие, а то и наистрожайшие меры наказания.

Из всех больниц, из военного лазарета на Карловой площади, из частных квартир начали свозить австрийских раненых — и опять то было зрелище, достойное Дантова ада. Несчастных перевозили на всевозможных открытых повозках, независимо от их состояния; большинство увозили в Градчаны или в Бржевнов. Во время этой акции многие умерли — вследствие чего, с точки зрения провиантского ведомства, сократилось число едоков, а с человеческой точки зрения — число страдальцев. Аминь.

\* \* \*

В первом ослеплении от победы, превзошедшей по своему размаху все его мечты, старый усатый грабитель Гогенцоллерн пожелал аннексировать всю Чехию.

Бисмарк пришел в ужас. Затем король выразил намерение захватить Вену и расчленив Австрию. Бисмарк довольно непочтительно расхохотался в глаза монарху. В конце концов сей последний несколько поумерил свое буйное воображение, но потребовал половину Чехии и всю Силезию. Бисмарк пригрозил подать в отставку.

«Железный канцлер» — быть может, самый умный из всех империалистских политиков, какие только были до, а главное, после него, — отнюдь не хотел ужаснуть Европу, раскрыв свой подлинный замысел, которому со временем суждено было принять куда более страшные формы. Он не хотел в начале охоты распугать крупную дичь стрельбой по зайцам.

Отсюда эта умеренность, эти медоточивые объявления и листовки, вышущенные генералом Розенберг-Груцинским и обещающие чешской нации, что она в свое время «сможет свободно репать свою будущую судьбу» — под эгидой Пруссии.

Как ни странно, чешский народ необыкновенно трезво воспринял все эти заигрывания. К чему менять ошейник, когда привык к старому?

В конце концов Бисмарк добился, чтобы королевский совет отказался от планов захвата — чего, впрочем, Европа, и прежде всего Наполеон III и Россия, и не допустили бы. Отказу от мысли об аннексиях усердно способствовал еще один лис — кронпринц Фридрих Вильгельм, уже готовый надеть на свою голову корону германского императора.

В Чехии не было человека, который не радовался бы тому, что напоминало ситуацию: «двое дерутся, третьему выгода». Впрочем, выгода здесь действительно была: чешский народ окончательно расстался с надеждой когда-либо достичь взаимопонимания с австрийской монархией (хотя впоследствии господства чешские политические

доятели и пытались несколько раз, правда тщетно, добиться его) и отверг какой-либо иной протекторат. 1848 год оказал в этом неопределимую службу.

1866 год ознаменован решительным и широким возрождением национального самосознания. В душе народа вновь пробудился воинствующий протест против иноземного владычества, любовь к свободе — не декларируемая, но живая и осязаемая.

Вот, например, одна из крох с барского стола: прусские оккупационные власти верили пражскую цензуру Йозефу Бараку — вероятно, по той причине, что он сидел в австрийской тюрьме.

— Вот и сказался тяжеловесный прусский юмор! — смеясь, заметил по этому поводу Мошна. — А впрочем, почему бы Йозефу и не взяться за это дело — по крайней мере разрешит все запрещенные пьесы!

Театры были открыты. Прусский королевский верховный властитель, как его называли, его превосходительство генерал от инфантерии Фогель фон Фалькенштейн, необычайно заботился о том, чтобы во вверенной ему стране все выглядело прилично и миролюбиво.

Актерский комитет стал во главе Временного, используя также и сцену Новоместского театра.

И произошло нечто обратное тому, что предполагал господин Томе, — явление совершенно закономерное, которое он в растерянности никак не мог предвидеть. Прага, полупустая, занятая вражескими войсками, находившаяся на военном положении, ежедневно до отказа переполняла театры. Публика была глубоко благодарна за каждое чешское слово, произнесенное со сцены. Тексты приобретали беспрецедентное значение. Аплодировали в тех местах, во время которых прежде царила гробовая тишина. Сосредоточенность и восприимчивость публики были просто трогательны: словно не театральный зал то был, но храм, где собрались люди, верующие глубоко и страстно. Игра актеров, поддерживаемая этой жаркой верой, поднялась до невиданных высот — играли с энтузиазмом, как некогда во времена Тыла: было ради чего. Все, и в зале и на сцене, вдруг поняли истинное назначение театра. И в этой атмосфере естественным было общее совершенство игры.

Да и в общественной жизни произошел примечательный поворот. Теперь повсюду стали говорить исключительно по-чешски, и если кто забывался — ведь привычка вторая натура, — и вставлял в разговор немецкую фразу, все тотчас оглядывались на него удивленно и вопросительно, словно человек ступил во что-то нехорошее. Устраивали даже кружки для очищения чешского языка от германизмов.

Весело ругали Австрию и Габсбургов, не желая и слышать ни о Пруссии, ни о Гогендоллернах. В этом смысле оккупация Чехии обернулась возрождением национального самосознания.

Во Временном театре первым долгом подумали о двух запрещенных пьесах — о «Яне Гусе» Тыла и о «Смерти Жижки» Колара.

— Ты должен пропустить их, Йозеф! — обратился к Бараку как к цензору Франтишек Колар. — А главное — разреши восстановить куклы, сделанные наместником!

Барак прочитал обе драмы, красными чернилами перечеркнул запрещение и жирно, через всю стражицу, поставив в конце восклицательный знак, написал: «Разрешается!»

Театр немедленно стал готовить оба спектакля.

Тем временем в тихом доме постепенно оправлялся от ран офицер разбитого Четвертого пехотного полка Гельмут Кольвиц, заброшенный войной в незнакомый ему город, над которым развевался неприятельский флаг.

Чермак не раз подумывал о том, что надо бы все-таки передать его прусским военным властям, однако, вспомнив рассказы о том, как перевозили раненых, только рукой махнул.

— Мы о нем и австрийским-то властям не сообщали, так что ладно уж...

— Может, внести за него денежный залог... А то еще штраф сдерут, — сказал Мошна.

— Кто донесет, и кто будет судить? Тем более что Йозефина ни за что не согласится, — возразил Чермак. — Правда, он мог бы дать нам хотя бы адрес родителей, они как будто в Вене живут. Хоть написали бы им, а то они и не знают, что случилось с их сыном...

— Дело терпит! Надо быть осторожными. С пруссаками шутки плохи, еще, чего доброго, неприятностей наживете, — с участием ответил Мошна, порой слишком уж осмотрительный в подобных делах.

— Даст бог, все кончится хорошо... Оружие-то я им тоже ведь не сдал!

Мошна наморщил лоб:

— Вот это надо бы хорошенько спрятать...

Так Гельмут жил себе да жил в чешской семье, не подозревая, что он уже вне закона.

Он пробовал уже ходить и радовался как дитя первым своим, таким новым для него, шагам. Он чувствовал, как возвращается к нему жизнь. Его переполняла безмерная благодарность за ласковое отношение и заботу, и прежде всего, конечно, за нежную самоотверженность Йозефины.

Когда он в первый раз, одетый в костюм Чермака, прошелся по мансарде, провожаемый радостным взглядом Йозефины — ведь это был ее успех! — девушка впервые ясно осознала, что Гельмут — не сломанная кукла, не раненый олененок, а мужчина. Да, мужчина, молодой, стройный, с интересным, бледным от болезни лицом и с глазами, чей взор бывал таким же преданным и горячим, как взор Вацлава; только чудилось еще Йозефине, что вспыхивает в глазах Гельмута порой какое-то далекое, то приближающееся, то снова уходящее куда-то вглубь желание, не знающее преград, — тогда ее охватывали страх и стесненность перед чем-то, что обрушится на нее и сожжет ей душу, если не удастся побороть этого.

Гельмут же все яснее чувствовал, что Йозефина каким-то естественным образом стала неотделимой частью всего его существа, что их связывают его страдания и счастье и что это началось с тех дней, когда он умирал, и длится теперь, когда он возвратился к жизни. Слишком часто прикасалась она к нему, слишком явственно ощущал он ее руки на своем теле — нежные, внимательные, трепетные... ласковые руки. Еще не стерлось прикосновение ее губ, когда она запечатлела на его лбу сестринский поцелуй и когда его, в тумане жара, охватило блаженное, неизведанное ощущение ласки. Теперь воспоминание об этом поцелуе выступало все ярче в его памяти, преображая чувство сострадания, с которым он был дан, во всепоглощающее чувство любви.

Настроения человека, вернувшегося к жизни после тяжелого, смертельного недуга, всегда исполнены первобытной, животной силы. Боль заживающих, еще немного ноющих ран сладка, ибо заставляет испытывать радость от возрожденной деятельности организма.

Когда Йозефины не было с ним, Гельмут лежал или сидел в углу старом кресле и бездумно устремлял взгляд в пространство, словно бы мог жить только в присутствии Йозефины. В такие минуты он испытывал смутное желание слушать музыку, и пальцы его здоровой руки шевелились, словно ища невидимые клавиши.

Летний день клонился к вечеру. В открытое окно мансарды видно было небо, казалось, поднятое зноем на недоступную высоту. В дрожащем воздухе, в котором вились рои мелких мушек, звенели высокие, тихие звуки, словно отголоски дальнего небесного перезвона, — то ли призыва к древним языческим богослужениям, то ли набата...

Гельмуту, погруженному в мечтания, вдруг послышалось, будто к этой музыке сфер присоединились звуки пианино, исходящие из недр дома, — сперва робкие, но вскоре перешедшие в быстрые, страстные аккорды.

Он подошел к окну. Да, кто-то играет на пианино этажом ниже — в комнате Йозефины.

Он нередко слушал ее игру. Но сейчас эта музыка, этот взволнованный темп, это *crescendo*<sup>1</sup>, столь не соответствующее настроению этого неба, дрожащего от зноя в недоступной вышине, смутили его душу, и он, подобно мыши, услышавшей дудочку фокусника, вышел из комнаты и стал спускаться по лестнице.

«Это Шуберт — одна из его песен, исполненных странной тоски... Песня бесконечной любви — «*Rastlose Liebe*»...

Он тихо отворил дверь. Йозефина не заметила его, захваченная музыкой песни, которую когда-то принес ей Дворжак и которая особенно в последние дни стала ей такой дорогой и необходимой.

Когда Гельмут остановился на пороге, Йозефина запела своим не очень сильным, но мягким, сладостным голосом, — этим голосом она, бывало, доводила до слез ничего подобного не ожидавших зрителей жалких оперетток.

Пела она по-немецки. Гельмут тихо затворил за собой дверь. Слышала она его или нет — неизвестно, но только теперь она, казалось, играла и пела уже не для одной себя.

Мелодия песни входила прямо в сердце вместе со словами, смысл которых был: «Наперекор всем бурям и невзгодам, наперекор ветрам, туманам бездн, их дурманным запахам — без устали!.. Без отдыха!.. Все дальше...»

Октава зазвучала *fortissimo*<sup>2</sup>, чтобы вслед за тем напряжение спало и мелодия вернулась ко вступлению.

Йозефина, сосредоточенная, пела со страстью, прикрыв глаза, то отклоняясь от клавиатуры, то опять наклоняясь к ней, словно в любовной игре. Очарованному Гельмуту она казалась воплощением песни.

Он неслышно подошел. Заживающие раны отдались слабой болью, и невольно он прижал здоровую руку к забинтованной груди; ему хотелось тихонько застонать, как он бессознательно делал иной раз, чтобы усилить нежность Йозефины.

Теперь Гельмут стоял вплотную за ее спиной.

Она знала, что он тут. На волосах своих чувствовала его дыхание.

Музыка зазвучала еще более страстно, голос певицы затрепетал — теперь то была скорее молитва, чем песня.

«Лучше пробиться через горе, чем жить преходящими радостями жизни. Когда сердце жаждет прильнуть к другому сердцу — о, какая тогда возникает нежданная боль...».

<sup>1</sup> Нарастание (*итал.*).

<sup>2</sup> Очень громко (*итал.*).

Аккорды, спова бурные, наполнены были теперь жаркой мечтательностью — и опять перешли в *crescendo*, и вот — перелом — *dolcissimo*<sup>1</sup>... И снова жестче стала музыка, подняла слово «боль» до *forte*<sup>2</sup> и задержалась на мгновение.

Всей душой отозвался Гельмут на эту песню. Он наклонился к нежным плечам Йозефины, белевшим из-под черных непокорных кудрей, и протянул здоровую руку к ее левой руке — маленькой, с тонкими пальцами, — словно хотел помочь ей сыграть трудный пассаж.

Теперь Йозефина играла в бурном темпе, брала мощные, тревожные аккорды.

«Как увереюсь мне? Бежать? Куда же — в лес? Ах, все, все напрасно...».

Тут Гельмут сам взял аккорды нижнего регистра, и его сильные удары придали музыке напряженность.

Йозефина ничуть не удивилась. Она пела, думая о нем, и присутствие его было таким естественным, так отвечало ее настроению, что она, наоборот, удивилась бы, если б его тут не оказалось.

Нотные знаки расплылись у нее в глазах, дыхание сдавила та блаженная стесненность, которая все чаще в последние дни охватывала Йозефину. Она собралась с силами для заключительных аккордов, но Гельмут положил ладонь на ее пальцы и сжал их, и с последним звуком песни она повернула к нему голову. Слова ее замерли, заглушенные его губами, прильнувшими к ее губам с каким-то скорбным чувством. «*Alles, alles vergebens...*»<sup>3</sup>. Правая рука Йозефины еще скользнула по клавишам — и опустилась бессильно, чтобы тотчас подняться и обхватить голову молодого человека.

Йозефина бежала на вечерний спектакль, и ответ улыбки на ее губах был как забытые после праздника цветы: погруженная в свои переживания, не замечая ничего, бежала она, переполненная новым, негаданным счастьем. В мыслях ее не смолкали звуки «Бесконечной любви»... «*Liebe bist du... Liebe bist du...*»<sup>4</sup>

Были то слова Гельмута или песни Шуберта, нараставшие до *forte*, сопровождаемые страстным, порывистым *staccato*<sup>5</sup>?

Она бежала, боясь опоздать к спектаклю, такому важному, такому значительному сегодняшнему спектаклю. Лишь чувство долга

<sup>1</sup> Очень сладостно (*итал.*).

<sup>2</sup> Громко (*итал.*).

<sup>3</sup> «Все, все напрасно» (*нем.*).

<sup>4</sup> «Любовь — это ты» (*нем.*).

<sup>5</sup> Отрывисто (*итал.*).

оторвало ее от сладостной игры, где музыка сменялась поцелуями, а поцелуи музыкой, вынесло ее из половодья любви, нахлынувшего столь внезапно.

Долг актера — играть, даже если дорогу преграждает смерть или любовь, неумолимый долг — идти, изображать при свете лампы другого человека, даже если душа твоя измучена или томима страстью, — долг актера спас Йозефину от беззаветности ее собственных чувств, которые столь сладостно затмили сознание.

Давно пробило шесть, спектакль начинается в половине седьмого, а ее выход в первом акте...

Два прусских офицера, прогуливавшиеся под руку, громко разговаривая друг с другом — как то в обычае господ, беззастенчиво беседующих при слугах, словно бы те были их охотничьими псами, — печально столкнулись с Йозефиной. Один из офицеров поклонился, по-военному отставив зад.

— Entschuldigen Sie, mein Fräulein<sup>1</sup>, — молвил он с галантной усмешкой.

Йозефина, не подарив вниманием прусских селадонов, поспешила дальше и, лишь отойдя довольно далеко, вдруг подумала: «Как оскорбителен и неприятен немецкий язык!»

И тут же усмехнулась: «А ведь только что он мне звучал так ласково и нежно! Ах, так и все: в руках грубиянов, невоспитанных людей даже цветы кажутся грубыми.»

Тут ей припомнилось, как некоторые приятельницы ее похвалялись тем, что, возмущенные вторжением прусских войск и осквернением Праги их присутствием, выбросили все немецкие книги из своих библиотек. Тогда она над этим не задумывалась — это казалось ей даже естественным. Теперь такое патриотство виделось ей смешным. Разве могла бы она выбросить из дома Гельмута или песни Шуберта только за то, что и тот и другой немцы? Или — книги Гёте, Клейста, Лессинга? А ведь и она возненавидела прусаков в Праге! Их речь, их спесь оскорбляли ее и причиняли боль.

«Дело не в языке, а в людях, которые на нем говорят, и в том, как они говорят!» — решила она, и опять дыхание ее стеснило от счастья, и она прошептала, стараясь подражать мягкому выговору Гельмута: «Liebe bist du... Liebe bist du...»

У входа в театр собралось уже много народу. Йозефину, которая проталкивалась через толпу и в которой многие — по ее уверенности и торопливости — угадали актрису, окликали:

— Барышня, лишнего билетика нет? Ради бога, хоть один билет! Хоть на стоячие места! Барышня, милая, проведите меня какнибудь!..

<sup>1</sup> Извините, барышня (нем.).

Охота за билетами началась тотчас, лишь только расклеили афиши, оповещающие о постановке «Яна Гуса» Йозефа Каэтана Тыла. Ничто не могло быть своевременнее, ничто не могло более точно отпечатать настроениям чешской публики, чем именно эта всем памятная трагедия, вновь разрешенная к постановке после запрета австрийской цензуры.

Люди осаждали театр.

И Йозефина, очутившись среди этих людей, разом отодвинула недавние чувства в самую глубину души и начала думать только о Лупаче.

Лупач был одним из школяров, учеников магистра Яна Гуса, самый ревностный из всех его приверженцев, и играла эту роль она, Йозефина Чермакова.

В тот вечер тесный Временный театрик был набит до отказа. На стоячих местах столпилось столько зрителей, что невозможно было закрыть двери. Добрая половина жаждающих не попала в театр, но они не уходили, стояли на улице, как богомольцы перед переполненным храмом.

Славинская, чье место в гримерной было рядом с Йозефиной, уже надела костюм чешской королевы Софии — богатое платье с глубоким декольте, из которого выступали ее роскошные плечи. (Наконец-то Индржишке досталась значительная роль, — а все благодаря тому, что почтенные героини удрали из Праги!) Вбежала Йозефина и торопливо принялась переодеваться. Индржишка молча ждала восхищенных замечаний подружки, на которые та, из нежной дружбы, обычно не скупилась, когда Индржишка преображалась в королеву.

Но на сей раз Йозефина не сказала ничего! Запыхавшись, натягивала она на себя черный костюм пражского школяра и ловко подкалывала пшпильками непокорные волосы под берет. Вдруг, повернувшись к Индржишке и обняв ее, она поцеловала «королевское» роскошное обнаженное плечо с такой пылкостью, что у Индржишки перехватило дыхание.

— О, как вы прекрасны, королева! — воскликнула она, чмокнув изумленную Индржишку в другое плечо.

— Но, Фина, ты меня задушишь! — отозвалась счастливая Индржишка. — Ты целуешься, как настоящий школяр! Кто тебя научил?

Йозефина остановилась — и вдруг эта обычно такая сдержанная и насмешливая, порой даже полная горечи, даже злая девушка схватила подружку в объятия и, прижимаясь к ее груди, затаенной в парчу, прошептала:

— Я счастлива, Индржишка!..

— Лупач! Лупач! Где, черт возьми, этот Лупач?! — раздался в коридоре тревожный голос помощника режиссера.

Йозефина бросилась из комнаты.

Занавес уже поднимался, а выход Лупача был сразу после первого, очень короткого явления. И начинался этот выход школярской песенкой еще за кулисами: «Епископ Збынек во дворце...»<sup>1</sup>

По знаку помощника режиссера Йозефина запела, и голос ее звучал так необычно и счастливо, что она сама удивилась. «Любовь — это ты!» — пронеслось у нее в мыслях, и она выбежала на сцену.

Наперекор всем законам акустики переполненный зрительный зал — самый лучший и мощный резонатор, ибо он отражает не только голос актера или звуки оркестра. Замерший в ожидании, настроенный на один лад с актерами, стихший от напряжения зал словно впитывал все, что происходило на сцене.

Лупач, миниатюрный, миловидный школяр, захватил зрителей с первых же слов:

Гус — кумир  
студентов чешских! Нам на небосклоне  
страны родной звездой путеводной  
сияет он...

Мать Гуса — ее играла Мария Липшова с глубокой сердечностью, которую она сообщала всем своим ролям, — тоже с необычным волнением ответила:

Ох, только б не упала  
она с небес, как часто видим мы  
в ночи безмолвной... Так магистра чтишь,  
сынко? А может быть, и любишь?

Йозефина улыбнулась — скорее, не по роли, а сама от себя. Вопрос ей показался нелепым, и, снова преобразившись в Лупача, она воскликнула с жаром:

Любишь? Постой!  
Когда б могло вместиться в это слово,  
что предаю я ему душой и телом,  
что все его желанья — для меня  
закол, что я лишь тень его и эхо,  
что за него бы кровь свою охотно  
по капле отдал — вот тогда сказал бы:  
да, я его люблю!

Столько чувства, столько искренности вложила Йозефина в эти слова, содержание которых лишь сейчас постигла в полной мере,

<sup>1</sup> Й. - К. Тыл, Ян Гус. Здесь и далее — перевод Е. Аникст.

что даже Лишова, перестав кивать головой, удивленно воззрилась на нее.

Мгновенная тишина — и взрыв аплодисментов, тех аплодисментов, которые рождает лишь самое непосредственное сопереживание.

Йозефина не привыкла к аплодисментам среди действия, особенно когда ей случалось играть серьезные роли. Пораженная, как юная начинающая, она вопросительно оглянулась на зал, и это простое, такое трогательное движение вызвало новую волну рукоплесканий. Йозефина слегка поклонилась. Так с самого начала она задала горячий, страстный тон всему спектаклю.

Мошна, как всегда, смотрел из-за кулис, чтобы пропитаться атмосферой игры. И он радостно ткнул в бок Карла Полака, готовившегося выйти в роли Степана из Палеча:

— Глянь, Карл, как девчонка-то нынче играет! Ну и здорово!

— И то смотрю, себе не верю! Да еще в роли мальчишки...

Сцена за сценой зажигала зрителей страстностью актеров и содержанием — не просто патриотическим, но борющимся за правду, которая в то время всем казалась подавляемой, за правду, против тех, кто силится остановить ее, задержать, затемнить. Чехи, натерпевшиеся в тисках оккупации, когда иноземные солдаты отбросили невыносимо добродушный тон первых дней и уже показывали когти, когда неопределенность положения уже всем действовала на нервы, когда в переговорах о перемирии за чешские земли торговались, как за отрез полотна на базаре, — чехи воспринимали слова пьесы Тыла как программу, как боевое оружие для защиты неотъемлемых прав своих, во имя правды.

Следующий сюрприз преподнес публике Якуб Сейферт. Он впервые выступил в большой трагической роли Иеронима Пражского. Как и другие актеры в тот день, он с юным энтузиазмом вложил в игру всю душу, доказав, что способен не только на веселые и лукавые роли любовщиков.

Труппа, ослабленная бегством некоторых виднейших актеров, сбившись в тесную семью под началом не директора, а собственного комитета, распределив роли не по привычной традиции или указаниям со стороны, неожиданно открыла новые таланты. А переживаемое время, и такие пьесы, как «Ян Гус», и сама публика были самой благоприятной средой для их роста. И время это, как бы тяжело оно ни было, навсегда осталось самым дорогим, самым незабываемым для актеров, сплотившихся в боевой коллектив.

Диалог Гуса со Степаном из Палеча, а затем Иеронима с Гусом по минутно прерывался аплодисментами.

Сцены второго акта в королевском Вышеградском дворце, оживившие былое величие Чехии, вызвали такой взрыв энтузиазма, какого никогда не видал маленький Временный театр.

Индришка Славинская, обычно скромная даже на сцене, играла королеву Софию со страстностью, озарявшей все, что было связано с ее любовью к великому чешскому художнику. С каким достоинством, как естественно произносила она:

Горжусь я тем,  
что стала королевою страны,  
которая дает людей великих,  
отмеченных столь благородным духом.

И эти слова были покрыты бурей восторга. А растроганная Индришка думала: «Это ему, ему, Манесу, все эти аплодисменты, ибо он один из них, один из гениев нашей прекрасной родины, отпечаток духа которой лежит на его творениях...»

Заключительная сцена Яна Жижки, которого играл Франтишек Колар, весь вечер не выходявший из-под обаяния этой героической, мужественной личности, превратилась в подлинную демонстрацию патриотических чувств.

...Руки

соединим в пожатье крепком. Будем  
мы преданно служить великой цели!  
Жизнь новая по чешским деревням  
подобно вешним водам прокатилась.  
И надо нам теперь воздвигнуть пристань,  
где люди честные могли б спокойно  
свой якорь бросить. Троицею новой  
мы здесь стоим. Так с богом же, вперед!  
И, как отчизны верные сыны,  
мы славу Чехии родной умножим.

Тут публика поднялась с мест, и разразилась невиданная, неслыханная буря: люди хлопали, истступленно кричали...

Занавес упал; Франтишек Колар уже не в силах был сдержаться: слезы текли у него по щекам. Мопша, игравший Мартина Крпиделько, бедного звонаря Вифлеемской часовни, бросился Колару на грудь, ничуть не смущаясь тем, что занавес поминутно поднимали.

Зрительный зал неистовствовал. Люди в партере, на галерке, в ложах — все плакали, все обнимались. Толпа, упорно не расходявшаяся с улицы, следившая за действием лишь по сообщениям тех, кто сумел протиснуться в двери, тоже аплодировала и кричала. Проходившие мимо прусские военные останавливались, недоуменно таранились на маленький освещенный, беснующийся театр и удалялись ленивой, скучающей походкой завоевателей мира.

Итак, представление «Яна Гуса» проходило в необычайно накаленной атмосфере. Все участники получили огромное удовлетворение.

Уже не было больших и малых ролей. Даже эпизодическая роль Мошны, которая в обычное время могла бы показаться ему недостойной, сегодня пришлось ему по сердцу, хотя в ней не было ничего комического.

На сцену, в сопровождении стражников, входит патер Блажей, монах ордена миноритов — превосходно сыгранный Яном Кашкой, который, правда, немного злился, что именно сегодня ему приходится изображать несимпатичный персонаж. Блажей, толстый, обрюзглый монах, начинает проповедовать толпе пользу войны во имя царства божия — и предлагает покупать индульгенции.

В публике, ставшей уже непосредственным участником действия, раздалось шипение.

Звонарь Мартин Кршиделько вступает в ссору с Блажеем. Зал поддерживает Кршиделько. Тогда Мошна, всегда находивший контакт со зрителями, обращается прямо к публике. Та отвечает хохотом, с галерки сыплются реплики.

Стражники хотят забрать звонаря — тут Мошна в ярости кричит:

«Оставь, пусть только попробуют дотронуться до меня! Я не осипа, не задрожу, когда подует ветер из уст бесноватого паписта, угрожающего мне мрачной темницей! Подойдите только, наемники немецких советников, я вам переломаяю ребра так, что вас и хозяин не узнает!»

Это было произнесено со смаком, и зал разразился ликующими криками, способными привести в ужас самого мирного полицейского. Зал вызывал Мошну по имени.

— Не поддавайся, Индра! Так им, так! Дай ему в рожу, Мошна!

После этой короткой сценки Мошна вернулся за кулисы, дрожа от радостного возбуждения, потный, усталый, словно весь вечер ходил на руках и крутил сальто-мортале.

В заключительных сценах, в Констанце, которые прежде игрались довольно мрачно, теперь, во время «оккупационного» представления, прозвучала непримиримость чешского народа к любому иноземному владычеству. Прежде плаксивая, жалостная сцена осуждения Гуса и пленения Иеронима Пражского приобрела теперь удивительную силу благодаря общему тону решимости и стойкости.

Глубокое впечатление произвел диалог Гуса со Штепаном из Палеча. Этот прежний друг Гуса, а ныне предатель, словившись духом, в ужасе от жестокого приговора, является просить у Гуса прощения, которое и получает вместе со справедливым предостережением. Во время этой сцены в зале царил глубокая тишина. Многим зрителям по аналогии приходило на ум не одно имя чешских политических деятелей...

Спектакль, завершившийся монологом рыцаря Гануша из Хлума, которому король доверил охранять Гуса в пути на Констанцкий собор, — эту роль с подлинным героизмом играл Фердинанд Шамберк, — увенчался восторженной демонстрацией публики.

Представление кончилось. Люди выходили из театра и, очутившись на свежем воздухе, осознавали, что возвращаются из царства грёз о героическом прошлом в мир трезвой и унизительной действительности, в мир, где над ними реет знамя оккупантов, которое со временем, правда, опустится, но будет сменено прежним знаменем ненавистой монархии.

Долго еще стояли зрители перед театром, словно им трудно было уйти от места, где звучали столь ободряющие слова новых надежд.

Йозефина не была занята в последнем, пятом акте. Она немного постояла еще за сценой, следя за игрой товарищей, потом вдруг спохватилась, будто что-то разбудило ее, и быстро ушла разгримировываться. Возбуждение ее еще не спало — пожалуй, никогда она не отдавалась роли столь беззаветно, как сегодня. Забыв обо всем, она сидела в антрактах, закрыв глаза и сжав голову ладонями, чтобы ничто не могло вывести ее из образа. И не хотела думать ни о чем другом. Она опасалась, что очнется и тогда вернутся к ней собственные мысли о том, что случилось с ней перед самым спектаклем.

Совершенно одна, она медленно сняла костюм и стала снимать грим, и было у нее такое чувство, словно она постепенно снова находит самое себя. И тогда молнией пронзила ее мысль:

«Нельзя, нельзя без любви ни творить, ни жить. Без нее все, пусть даже искусно выдуманное — все ж выдумано... О, если б Гельмут мог видеть сегодняшний спектакль! Но — Гельмут?.. Ведь он немец! Он не понял бы смысла — не понял бы, почему люди так хлопают, кричат, плачут... Он — чужой...»

Какое-то неприятное чувство отчуждения овладело Йозефиной. Когда загремели первые аплодисменты, те, что адресовались ей, она думала именно о Гельмуте, во всяком случае, думала о нем, произнося «люблю». Теперь ей это показалось кощунством... Но тотчас какой-то внутренний голос крикнул: «Нет! Любовь — одна! Одна великая, человеческая любовь!» Все в зале были ею переполнены, и Йозефина сама тоже была переполнена любовью, которую сегодня познала и которая — лишь частица той, великой, подлинной любви...

Ей вспомнилось, как Франтишек Колар, режиссер спектакля, чтобы дать актерам более полное эмоциональное представление о душевном состоянии магистра Гуса в последние его часы, принес на репетицию текст прощального письма его пражанам из констанцской тюрьмы. Это последнее послание магистра, исполненное любви, заканчивалось фразой, свидетельствовавшей, что в самый трудный час свой он думал обо всех людях, не только о пражанах — думал о люб-

ни всех людей, о любви, которой заклинал всех, кто был ему дорог на родине. И Йозефина вполголоса произнесла эти строки, запечатлевшиеся в ее памяти:

«Еще прошу, чтобы друг друга любили, добрых насилем угнетить не давали и всем бы правды желали.

Дано письмо сие в ночь на понедельник, в канун дня святого Вита, через доброго немца...»

— «Через доброго немца», — повторила Йозефина. Да, добрый немец! И счастливая, что отыскался мостик, да еще какой чудесный, прямой мостик от сегодняшнего, теперь вдвойне ей дорогого спектакля к самым сокровенным чувствам ее, Йозефина торопливо оделась, убрала на своем столике и выскользнула из гримерной, словно спасаясь бегством.

Со сцены доносились последние реплики.

Она постояла, послушала и, тряхнув головой — но не как прежде, не строптиво откидывая непослушную прядку, а словно приняв счастливое решение, — выбежала из театра.

Она еще услышала гром оваций. Оглянулась — и почудилось ей, что это сам театр посылает ей вдогонку свою любовь и благословение...

\* \* \*

По настоятельному требованию Австрии и под давлением великих держав в моравском городе Микулове было подписано перемирие на четыре недели как предварительное условие для заключения мира.

Дышать стало легче, хотя Прага по-прежнему еще была в руках пруссаков. Однако теперь, когда прекратились военные действия и линия фронта определилась прочно, в Чехии еще острее почувствовали бремя оккупации. Нормальная жизнь все не могла установиться. Каждый говорил себе: «Вот после — после...»

Прага так и не привыкла к прусским флейтам и барабанам, ежедневно звучавшим при разводе караулов.

А Мопиу с новой силой охватила тоска по далекой любимой. Он купил карту Чехии, довольно большую и подробную, но лишь после долгих поисков нашел на ней городок Мирошов. Добржива же так и не отыскал. Поставив наугад точку неподалеку от Рокицаи, между Мирошовом и Страшицами, он вывел рядом: «Пепичка». Потом, спохватившись, старательно стер имя и надписал как мог красивее: «Добржив».

Он перестал ходить к Чермакам. С некоторых пор их тихий дом жил обособленной жизнью. Мопиу чувствовал себя теперь там непрошеным гостем, хотя к нему относились с прежней сердечностью. Притих и Чермак, одолеваемый заботами. Старый ювелир считал

себя ответственным за все, что происходило между Йозефиней и раненым гостем и чего он не мог не видеть. Но, с другой стороны, старик испытывал какую-то виноватую радость от той радости, какой жила теперь его любимая дочь.

Йозефина тоже стала тише, мягче; исчезли ее прежние резкие, внезапные повороты мыслей. Ее движения сделались плавными, девушка расцвела новой, трогательной красотой. Глаза ее потемнели, а губы оживляла улыбка — та улыбка, обещание которой освещало уже столько знаменитых стихотворений или женских портретов.

Часто прибегала она на кухню, где отец проводил большую часть времени над газетами, и, обняв его порывисто и пылко, снова убегала.

Быть может, именно поэтому Мошна с новой силой затосковал по Пепичке.

Возобновилось почтовое сообщение между оккупированными частями Чехии и остальным, так сказать, свободным миром.

Мошна напишет Пепичке. Поплет ей длинное письмо, в котором опишет все, что мучает его, скажет, как он по ней тоскует. Если б не ежедневные спектакли, если б он мог покинуть актерскую семью (но он не может, не может!) — помчался бы в Рокицаны, добрался бы до Добржица, и там... Гм! Там было бы видно...

Было часов одиннадцать утра. Августовское солнце передвинулось на противоположную сторону Вацлавской площади, озарив маленькую комнату Мошны.

«Надо бы мне приобрести аквариум с рыбками», — подумал он, когда солнечные лучи заиграли в воде стеклянной вазочки, в которой увядало несколько тюльпанов.

Мошна с серьезным видом сел к столу и начал писать — сначала начерно.

Когда актер пишет, он прежде мысленно с надлежащим пафосом произносит слова. Прочитывая потом написанное, но уже без первоначальной интонации, он видит вдруг, что написал не то чтобы глупо, но просто не сумел выразить, что хотел.

Мошна исписал пять листов — и три из них выбросил. На одном листе он раз пятнадцать варьировал обращение:

«Пепичка!»

«Дорогая Пепичка!»

«Любимая, далекая...»

«Благородная душа» (это было зачеркнуто).

«Любимая, далекая Пепичка!»

«Посмею ли я назвать Вас нежным именем — Пепичка?»

«Посмею ли назвать Вас неж. им. Пепичка?»

«Смею ли Вас назв. Вашим нежн. им. дорогая, любимая, дал. Пепичка?»

«Барышня Пепичка!» (и это было тотчас зачеркнуто).

«Пепча!» (тоже вымарано так, чтобы ни черточки не было видно. «Пепча» или еще «Пепулинька» — такие сокращения начали входить в моду в «лучших домах»).

Прочитав все, что написал, Индра впал в отчаяние. Когда пишется — сердце играет, а прочтешь, хоть плачь со злости.

Индра припомнил даже некоторые фразы из ролей. Но отверг — это было бы подло, да и не имело бы успеха у Пепички...

«Зачем все эти завитушки? Напишу просто о том, что бередит мне душу... Бередит? Уже одно это слово подозрительно... Ладно, возьму и просто начну так:

«Дорогая, бесконечно дорогая Пепичка!»

Тут он остановился, подумав, что у него были уже обращения куда лучше. Начал искать бумажку, на которых они были написаны, но в это время постучала пани Краусова: пришла, мол, та девица, которая приходила однажды. Но Йозефина уже ворвалась в комнату.

Мошна удивленно смотрел на осунувшееся, искаженное лицо своей приятельницы.

Шокированная пани Краусова закрыла за собой дверь.

С минуту Йозефина стояла как бы в столбняке, с расширенными зрачками, но вот она вздрогнула и с горьким, невыразимо горестным стоном упала на стул, уронив голову на стол, на начатое любовное послание Мошны. Все тело ее содрогалось от подавляемых рыданий.

Перепуганный вконец Мошна ничего не понимал. Он склонился к ней, и тогда она заплакала, словно это его движение помогло ей полностью отдаться горю.

— Да что с тобой, что случилось? Fiна, дорогая? — лепетал Мошна, потрясенный таким страданием. Он опустил на колени, взял ее руки, мокрые от слез.

— Что случилось, Йозефина? Кто тебя обидел?

Она не подняла голову и, не закрывая лица, залитого слезами, выкрикнула голосом, прерывающимся от боли:

— Увели!

— Кого?

— Сегодня утром увели...

— Кто?

— Солдаты — пришли, перевернули весь дом и увели...

— Гельмута?

Она только кивнула и снова заплакала, даже не закрывая лица платком.

— Ну, это не так страшно — теперь перемирие! Он вернется, не плачь...

— Хотели руки связать, словно вору! Как они могут, единственную здоровую руку?..

— Связать хотели? — Теперь уж и Мошна удивился.

— Да, как вору... и папу... папу забрали!

— Оружие не нашли? — внезапно спросил Мошна, у которого сердце сжалось от страха — да, от самого обыкновенного страха!

— Не нашли... Но они все что-то искали, это было ужасно, Индра... Индра, помоги! Ради бога, помоги, не оставляй меня! Обоих взяли, обоих...

— Но как же? За что?

— Не знаю, ничего не знаю! — крикнула Йозефина. — Приехали в закрытом экипаже. Стояли на улице... верховые... и увезли, увезли!..

Мошна оцепенел. По ногам побежали мурашки, но голова работала четко — множество возможностей представилось ему вдруг. Он даже удивился, до чего ясны его мысли. Кто-то донес на них. Или это обычный обыск, или кого-то ищут. Но все выяснится. Сейчас перемирие, в течение какого-нибудь месяца заключат мир и обменяют пленных. Раненых вернут в первую очередь. Гельмут почти здоров, он вне опасности. Но кто он, Гельмут? Почему приехали за ним в закрытом экипаже, с конвоем? Зачем обыскивали дом? Неужели из-за какого-то пугача? И почему забрали Чермака?

— Что это были за солдаты? — спросил он.

— Не знаю.

— Прусские?

— Да!

— Был с ними кто-нибудь от полиции или магистрата?

— Нет, только военные. Один из них кое-как говорил по-чешски.

— А куда повезли?..

— Не знаю!

Мошна думал оставить Йозефину на попечение пани Краусовой и бежать разузнавать, но Йозефина ни за что не соглашалась.

Тогда они побежали к ней домой. Им открыла заплаканная Барушка.

— Это была военная полиция, — сказал подмастерье Чермака, тоже бледный и перепуганный. — Я побежал за ними — они проехали через Пороховые ворота к площади. Я до самой ратуши добежал, а там ничего не знают. Один знакомый сказал мне, что экипаж под конвоем переехал через мост — на Малую Страну.

— В Град, значит? — спросил Мошна.

— Наверно... А то куда же еще?

Оставив Йозефину на Барушку, Мошна ушел один.

Он поспешил в канцелярию наместника на Малой Стране, — там ничего не знали. В прусской комендатуре тоже. В Град его не про-

пустили. Он спрашивал во всех военных госпиталях. Ничего! Никто ничего не знал!

Голодный, пробежал он так целый день — ему не хотелось возвращаться, ничего не узнав. Наконец, измученный, потеряв всякую надежду, он бросился к Чермакам.

Йозефина уже не плакала.

— Ничего? Как же так? Не провалились же они сквозь землю?! — воскликнула она, по тут же взяла себя в руки, только повторила тихо: — Где он?.. Где он?..

Мошна стало так тяжело и грустно, как, может быть, никогда в жизни. Не испытанное им доселе сознание своего бессилия, угнетающее душу, сдавило горло. Он слова не мог выговорить. Если б люди погибали от болезни или в битве, — по так, среди бела дня, когда вокруг все тихо и спокойно, увозят двух человек — и никто ничего о них не знает — ни в обычном суде, ни в полевом, ни полиция, ни какие бы то ни было власти! Ни чиновники, ни военные — никто, никто! Только плечами пожимают, одни улыбаются загадочно, другие бормочут какие-то ругательства — и все...

Мошна боялся смотреть на Йозефину. Утром, когда она к нему прибежала, она все еще была Йозефиной, только плачущей. А теперь он ужаснулся — до чего за один день сломалась эта красивая, вчера еще цветущая любовью девушка!

«Господи, только бы она чего над собой не сделала!» — вдруг подумалось ему.

А Йозефину ужаснуло, что думает она не столько об отце, таком любимом, сколько об этом чужом юноше, о котором она, собственно, ничего не знает. Появился — и вот нет его. Тогда, на вокзале, война бросила его, умирающего, в ее объятия — и война же отняла его...

Мошна остался на ночь у Чермаков. Йозефина с Барушкой ведь теперь совсем одни. По счастью, у него сегодня спектакля не было, а Йозефину он заявил больной. Трудно было, однако, удержать Йозефину дома — она рвалась в театр.

Около часу почти кто-то постучал в наружную дверь. Подмастерье открыл со всеми предосторожностями и увидел Чермака.

Отец вернулся, похудевший от волнений, но в общем спокойный.

Проснулся Мошна — впрочем, и спал-то он одним глазом — и спустился в кухню.

Чермак, сидя за столом, ел то, что наспех собрала Барушка. Он не хотел говорить, куда его возили. Рассказал только, что его допрашивали, и он отвечал правду, потому что скрывать ему нечего. Сознался, что не заявил о Кольвице, — впрочем, он не сделал этого и до оккупации. Потом уже не ходил заявлять о нем просто по инерции

и потому еще, что Кольвиц был нетранспортабелен. Он думал, что это не так уж важно. Здесь допрашивавшие немного рассердились, а в общем обращались с ним вполне прилично. Допрашивали его несколько раз, все об одном и том же, разные офицеры и какие-то штатские люди. Он сказал, что раньше Кольвица не знал и документов его не видел.

— Откуда вам известно, что он служил в австрийском Четвертом пехотном полку? — спрашивали его.

— Он так сказал. Да и приехал он с ранеными этого полка.

— Зачем вы дали ему штатское платье?

— Потому что его одежда была изорвана, вся в грязи и до возможности окровавлена.

Чермак отвечал спокойно и дельно, на превосходном немецком языке.

Когда же он дал им адрес родителей Гельмута в Вене, они записали его, а один из допрашивающих, смеясь, заметил:

— Уже пятый адрес!

Далее они выяснили: в Германии Чермак в последний раз был двадцать лет назад и ни с кем там не переписывался.

Потом пришли какие-то другие люди, покричали на него и наложили штраф за то, что он не заявил о раненом. Штраф большой — двести золотых серебром.

— Денег у меня с собой не было. Завтра отнесу, — закончил свой рассказ старый ювелир.

Это было все.

— А Кольвиц? — со страхом, тихо спросил Мошна.

— Нас разлучили сразу, еще в комендатуре. С тех пор я его не видел. В экипаже говорить нам было запрещено — между нами сидели солдаты. Кольвиц только смотрел на меня, так смотрел... Никогда не забуду его глаз. Словно хотел сказать что-то о себе, что-то такое, чем он хотел бы оправдаться... Прощения просить... Казалось, это был совсем другой человек. В лице твердость, только глаза прежние — такой мягкий, такой ласковый взгляд... Когда его уводили, он быстро, тихо сказал: «Передайте привет Йозефине, пусть простит меня, пусть, ради бога, простит...» — Тут его толкнули...

Мошна слушал этот рассказ о чужом человеке как отголосок чего-то тяжелого и злого.

Они с Чермаком разговаривали тихо, сблизив головы, и вдруг услышали позади легкий вскрик. Оглянулись, словно застигнутые врасплох, и увидели Йозефину.

Она неслышно спустилась в кухню и затаив дыхание выслушала все, что рассказывал отец.

Она не смогла даже поздороваться с ним. Лицо ее было бледное и пустое. Хотела было сказать что-то — слова не выговаривались.

Чермак встал, обнял ее нежно. Она без единого слова положила голову ему на плечо.

Долго стояли они так, потом Йозефина подняла голову и, глядя в лицо отцу, почти беззвучно произнесла:

— Я никогда больше его не увижу — я знаю...

Оккупация близилась к концу. Шли переговоры о мире. Местом переговоров пруссаки назначили Прагу. Сюда съехались представители великих держав и немецких княжеств, чтобы встретиться с представителями воюющих сторон, то есть Пруссии, Австрии и Италии.

А Прага словно и не замечала высоких гостей. Переговоры длились несколько дней. Уже было ясно, что целостность Австрии под скипетром Габсбургов будет сохранена.

Во Временном театре снова давали «Яна Гуса» — по требованию публики.

Лупача опять играла Йозефина — исхудавшая, молчаливая. Это приписывали перенесенной болезни.

Мошна оберегал ее; именно он заставил ее вернуться на сцену, ибо это — единственное лекарство, которое может исцелить актера. Йозефина, войдя в свою уборную, молча поцеловала Индржишку и равнодушно принялась гримироваться. Одеваясь, она не промолвила ни словечка.

Индржишка опасливо ходила вокруг подруги. Задав несколько вопросов, на которые та не ответила, она не решалась более ни о чем спрашивать.

Но вот Йозефина пошла на сцену. Мошна следил за ней, глубоко за нее переживая. Она запела свою песенку — голос ее чуть-чуть дрожал, но первые слова роли шли свободно, как было на премьере.

Близилась сценка, которой больше всего опасался Мошна — та, что недавно задала тон премьере. «Если она счастливо минует это место, все будет хорошо», — подумал Мошна, крепко ухватившись за подпорку кулисы.

Вот оно! Мать Гуса спрашивает: «Сынок, а может быть, и любишь?»

Йозефина прикрыла глаза.

«Любишь?» — с трудом произнесла она, и в голосе ее затрепетала такая боль, что у всех сжалось сердце.

Мошна впился поглядами в подпорку и не спускал с Йозефины глаз. Она сделала шаг вперед — или пошатнулась? — и Мошна со-

средоточил всю свою волю, чтобы передать ей свою твердость, помочь ей, словно от этого зависело его собственное счастье.

Нет, она не пошатнулась — просто перешла ближе к рампе, словно рассчитывая найти поддержку у публики.

«Когда б могло вместиться в это слово... что преданна ему... (она сказала «преданна», словно говорила от себя! И никто, кажется, этого не заметил, только Мошна словно ножом полоснуло это женское окончание) душой... и телом... — Йозефина делала странные паузы между словами, ибо каждое слово сдерживало рвущиеся наружу ее подлинные чувства, — что все его... желанья... для меня закон... что я — лишь тень его и эхо... что за него бы кровь свою... охотно по капле отдала — вот тогда сказала б: да, я его люблю!..»

Здесь слова Йозефины звучали уже не как признание — как плач. Ноги ее подкосились, и она упала на колени.

Мошна, схватившись за голову, готов был кинуться на сцену, вообразив, что она теряет сознание. Липшова подбежала к ней.

В зале стояла гробовая тишина.

Мошна, ошеломленный, увидел теперь, как медленно поднимается девушка, держась за руку Липшовой.

«Ты, дорогой, к магистру, видно, близок?» — просила Липшова Йозефину продолжать.

Та провела ладонью по лицу. И тогда опять — как на премьере — публика разразилась аплодисментами. Йозефина непонимающе озиралась, словно очнувшись от сна.

«Вот, вот она, решающая минута, — в страшном напряжении думал Мошна. — Она сейчас или рухнет под этими аплодисментами, или выйдет из них, как из купели с живой водой...»

И он увидел: странная легкая усмешка тронула губы Йозефины. Склонив голову, она чуть поклонилась, благодаря за аплодисменты. Актриса победила женщину, раненую насмерть.

«Спасена! Спасена!» — перевел дух Мошна с невыразимым облегчением, словно сам выиграл тяжкую борьбу с самим собой.

И все отошло, как дурной сон.

Пленные постепенно возвращались по домам.

По Пражскому миру Австрия была исключена из Германского союза. Княжества к северу от Майна объединились в Северогерманский союз под эгидой Пруссии. Ганновер, Кур-Гессен, Нассау, вольный город Франкфурт, Шлезвиг и Голштиния стали провинциями Пруссии, население которой таким образом возросло с девятнадцати до двадцати четырех миллионов. Австрии пришлось отказаться от своих итальянских владений и уплатить военную контрибуцию в сумме сорока миллионов золотом.

В специальном поезде Прага — Берлин сидели король Вильгельм и Бисмарк. Король, пожирая глазами через окна салон-вагона проносившие мимо сады и рощи, утоающие в пышной зелени, уврекнул Бисмарка за то, что мир даи слишком дешево. Бисмарк возразил:

— Ваше величество, вероятно, не знает, в какой мере в такую жару, при недостатке воды и изобилии фруктов в Чехии, в войсках распространилась холера. Она нанесла нам чуть ли не вдвое больше потерь, чем все сражения. Вследствие же распада Австрии, который был бы неминуем в случае аннексии Чехии, в наших пределах оказались бы совершенно не нужные нам, недовольные, готовые взбунтоваться меньшинства — а то, что осталось бы за нашими границами, никто бы не устерег. Так создалась бы почва для революционных элементов, с которыми нам и без того предстоит еще повозиться дома!

Король вопросительно посмотрел на своего канцлера.

— Быть может, ваше величество не знает, что мы раскрыли целую диверсионную сеть в собственной армии... Большинство этих людей имели странные мятежные цели. Ничего серьезного. Однако во всем этом было достаточно наивности или, лучше сказать, романтизма, чтобы стать со временем опасной вещью.

— Наследие вашего друга Лассалья! — хмуро заметил король. — Что же было предпринято против них?

Бисмарк проглотил замечание насчет Лассалья и ответил уверенным тоном:

— Все обошлось довольно гладко. После наших побед, стремительности которых господа бунтовщики, видно, не ожидали, кое-кто из них пытался ускользнуть от нас, переодевшись в австрийскую форму. Большинство их были пойманы и без шума ликвидированы еще по законам военного времени — чтоб не затевать лишней возни с открытыми процессами и запросами в парламенте.

Война кончилась, и все постепенно возвращалось в прежнюю колею.

Чермак по молчаливой договоренности с посвященными в это дело ничего не сказал жене и младшим дочерям об истории, которая стоила ему многих бессонных ночей и двухсот золотых серебром. На вопросы вернувшейся семьи, что случилось с Кольвицем, он отвечал, что тот после излечения был передан в руки военных властей.

Но тайком от всех, мучимый сомнениями, Чермак написал в Вену по адресу родителей Кольвица. Недели через две пришел лаконичный ответ, который Чермак тотчас сжег:

«У нас никогда не было сына по имени Гельмут. Единственный наш сын Карл умер десять лет тому назад в двухлетнем возрасте. Видимо, произошла ошибка, которых так много бывает в военные времена...»

В Чехии начался период, который Ян Неруда назвал годами преследования.

Чешский народ надеялся, что в награду за его лояльность в австро-пруссской войне будут устранены все несправедливости, от которых он страдал, что наконец-то осуществляются некоторые его исторические чаяния, например воссоздание чешского королевства, коронация австрийского императора чешским королем и дарование чехам гражданских прав, на что претендует всякий свободный народ.

На деле же произошло совсем иное. Австрийские немцы, оставшись за пределами Германской империи, почувствовали себя брошенными на произвол судьбы — позиции их ослабляли еще и автономистские устремления некоторой части населения, например тирольских немцев. В Австрии понимали, что теперь государство легко может приобрести совершенно новый характер, определяемый сильным славянским элементом. Февральские выборы в земские парламенты подтвердили такое опасение: не только в Чехии, но и в Тироле, в Краине и Галиции большинство завоевали автономисты.

Венгры угрожали вооруженным мятежом. Венский двор, правительственный аппарат бросились спасать положение, прибегая ко всевозможным политическим махинациям, лишь бы устранить опасность, грозившую превратить Австрию в союз более или менее самостоятельных государств, что означало бы конец германизационных тенденций венского двора, ослабление центрального правительства и немецких кругов, приближенных к императору, и в конце концов превращение немцев, особенно в Чехии и Моравии, в национальное меньшинство.

В эти-то критические времена и родился план разделить империю на две части — австрийскую и венгерскую, — самый приемлемый из всех планов угнетения народов под габсбургским скипетром. Венгрии будет дана широкая автономия — за исключением общеперских министерств иностранных дел, военного и финансов, — с тем чтобы она держала в узде словаков, хорватов и русин.

Таким образом австрийской части империи после обещаний, данных полякам, оставалось только укротить чехов, которые так подняли голову, что это стало опасным, и — особенно после победы на выборах в чешский сейм — не желали больше довольствоваться пустыми обещаниями.

Чешский и моравский сеймы были распущены. В новых выборах, проводимых с помощью угроз и лжи, преданные подавляющей частью чешского дворянства, которое под давлением самого императора отказалось от программы самостоятельного государства, пред-

ставители чешского народа остались в меньшинстве. Тогда депутаты чехи демонстративно покинули оба сейма. Чехи не послали своих представителей и в имперский совет, отношения в котором сложились подобным же образом. Правительственные выборные органы остались без представителей чешского народа, и такое положение длилось двадцать лет.

Чешский народ начал осуществлять политику сопротивления Австрии на свой риск, стихийно, но решительно. Очугившись в изоляции, он начал искать иные источники, из которых можно было бы почерпнуть новые силы. Таким источником был великий русский народ, и все свои упования чехи устремили к нему.

На коронацию императора Франца-Иосифа венгерским королем чехи демонстративно ответили поездкой в Москву на этнографическую выставку. Это означало поворот всей чешской политики в сторону Востока.

Поездка имела и научное значение в области этнографии. В ней кроме таких политических деятелей, как Палацкий, Ригер и Браунер, приняли участие писатель Карел Яромир Эрбен и художник Йозеф Манес.

Главный результат этой экспедиции заключался, конечно, в том, что посланцы чешского народа были сердечно приняты русскими учеными и художниками, с которыми они завязали непосредственную связь. У русских проснулся интерес к судьбам чешского народа, а у чехов — любовь к русскому народу и восхищение, проникавшие с тех пор все глубже и глубже в народные массы — от Праги до глухих деревушек.

Вернувшись домой, Франтишек Палацкий заявил: «Просвещенные русские не стремятся к расширению своих границ за счет нерусских территорий. Их интерес к нам чисто братский! Надеюсь, что чехи станут вернейшими союзниками русских, более того — станут их аванпостом в Европе!»

В Чехии с неожиданной силой возникали различные союзы и общества. Сокольские организации распространялись повсеместно, и красные рубашки воинов гарибальдийцев сделались драгоценнейшим украшением многих чешских юношей. Рука об руку с Соколом повсюду возникали отделения Глагола, патриотические клубы, клубы ремесленников, читательские и студенческие общества, многочисленные любительские кружки. Устраивались празднества, загородные прогулки, представления, митинги, балы и гулянья в национальных костюмах. Народные песни, студенческие песни, смешиваясь со словацкими, русскими, польскими, сербскими, звучали на полянах и холмах, в трактирах и загородных ресторанчиках, в танцевальных и театральных залах, утверждая восхищение и любовь к славянским братьям. Ни одна возможность, ни один юбилей не были

ущепены, чтоб выразить истинный образ мыслей и убеждений чехов.

В августе, через год после войны, под бурным давлением народа, из Вены вернули в Прагу клейноты чешских королей. Специальный поезд, в котором везли корону святого Вацлава, нарочно отправили из Вены так, чтобы Моравию и Чехию он прошел ночью. Но люди знали, что готовится перевозка клейнотов, они сторожили дорогу и вовремя узнали о специальном рейсе. Толпами, с факелами в руках, стекались они к железнодорожному полотну, зажигали костры на холмах вдоль дороги и с ликованием встречали корону своих королей — символ самостоятельности своей страны.

Напрасны были все усилия подавить такой размах — не помогали ни полицейские меры, ни введение чрезвычайного положения. Наоборот, все эти меры только подливали масло в огонь. Чем чаще распускали и разгоняли сходки чехов — тем более бурными и мятежными становились они. Каждый из участников, особенно студенты и вообще молодые люди, считали себя чуть ли не героями.

Патриоты развлекались еще и тем, что громили немецкие казино, если оттуда слишком уж вызывающе неслись песни и воинственные выкрики буршей, и разгоняли загородные компании немцев, главным образом студентов, которые с трогательной неуклонностью собирались именно там, куда направлялись на свои гулянья чехи.

Со рвением изучали и толковали чешскую историю, в которой особо выделяли гуситские времена. Это, впрочем, вовсе не мешало людям чтить память и Яна Непомука — покровителя чешского языка.

Памятные места сделались целью настоящего паломничества. Люди украшали дома и могилы прославленных в истории мужей. В газетах так и мелькали юбилейные статьи и стихи. И всюду поднимались на трибуны пылкие ораторы, восхвалявшие все чешское, все славянское.

Не удивительно, что после всех этих паломничеств, митингов, празднеств и прочее и прочее — весь энтузиазм, все усилия, столь энергично пульсировавшие в жизни нации, увенчались в 1868 году таким торжеством, какого чехи, пожалуй, никогда до тех пор не видывали: торжеством основания Национального театра в Праге.

Чешский театр в те времена тоже оживал, ставовясь в первые ряды борьбы. Актеры его сделались непременными участниками всех празднеств, бесед, балов, вечеринок и представлений. Они становились популярными, они завоевывали любовь. Декламировали стихи, пели, играли отрывки, устраивали живые картины, изображая фигуры Яна Жижки и Яна Гуса при свете магния, под пылкое чтение патриотических строк.

Живи, о родина прекрасная моя!

Чешским театром теперь управляла актерская артель, созданная в сентябре 1866 года. Актерский комитет сложил свои полномочия — он закончил свою деятельность со значительной прибылью, которая была разделена между актерами. Из-за этой прибыли едва не возник судебный спор. Дело в том, что господин Томе заявил на нее претензии, утверждая, что она явилась следствием еще его работы как предпринимателя, приостановленной войной.

Итак, временный актерский комитет во всех отношениях действовал успешно. И успех этот стал как бы приданым для первой театральной артели.

Товарищество находилось в ведении земского комитета, а непосредственно подчинялось интенданту, назначенному из его членов. Этот интендант имел право решающего голоса. Директора театра не назначили. Руководство театром осуществляли главный режиссер и главный дирижер.

Маир и Шванда из Семчиц ушли, на их места были приглашены два человека, представляющие собой крупнейшие величины тогдашней театральной жизни: Йозеф Иржи Колар и Бедржих Сметана.

Огромная задача стала перед чешским театром: заложить основу Национального театра, не только здания, но и репертуара. В этом смысле невозможно было найти руководителей лучше, чем Сметана и Колар. Работа предстояла на многие годы: надо было найти что играть и кому играть.

Народный зритель — единственно подлинная основа всякого национального театра — еще только формировался и воспитывался. Медленно, но верно этот зритель завоевывал первенствующее положение в публике, что особенно проявилось во время оккупации — ведь именно народный зритель занял тогда места в зале; тут-то и выявились сильные и слабые стороны репертуара.

К сожалению, оригинальных пьес — Колара, Галека, Неруды, Пфлегера \*, Ержабека, Сабини, начинающего Боздеха \*\* и Шамберка — было очень немного, хотя и казалось, что их уже достаточно; к тому же уровень их был не всегда высок. Они терялись среди множества переводных или переработанных пьес, среди музыкальных произведений иностранных авторов. Отбор же иностранных пьес при условии, что в год нужно было давать по шестидесяти и более премьер, неизбежно тоже был поспешным и не всегда оправданным. Это относилось и к операм, ставившимся преимущественно в Новоместском театре.

Возникла еще одна необходимость, заявлявшая о себе все больше и больше: построить, хотя бы временный, большой летний театр.

Йозеф Иржи Колар старался увеличить труппу и как можно лучше использовать актеров, чьи скрытые возможности обнаружались в пору коллективного руководства.

Йозефина Чермакова удивительно выросла как артистка и стала одним из самых занятых членов труппы. По-прежнему царила она в ролях наивных влюбленных и покоряла очарованием, о котором не забывала упомянуть ни одна рецензия. Если раньше она отдавала театру все прилежание, то теперь, после тяжелой истории, ворвавшейся в ее жизнь, Йозефина посвятила себя театру целиком, видя в нем единственное прибежище. Без него, без театра, она словно бы и не жила.

Йозефина начала петь, и ей поручали роли субреток чуть ли не во всех опереттах. Здесь ощущалась нехватка актеров, а оперетта в те времена всеми силами пробивалась к солнцу. Для оперетты мало одного голоса. Премьерш во Временном театре было достаточно, поющих актрис — очень мало. Чермакова же обладала очарованием, столь необходимым в оперетте, обладала голосом, небольшим, но выразительным, и умела играть.

— Трагическая любовница... Что ж, может быть... Гм... Единственная в своем роде, нежность в сочетании с твердостью... Да-да, понимаю! — бормотал, скорее про себя, старый Колар, когда Мошна явился к нему, чтобы ходатайствовать за Чермакову, которую совсем замучили в комедиях и опереттах. — Все понимаю, мой идальго, да заменить-то ее нечем, поймите! Героинь, с вашего позволения, у нас... ну... человек пять... ну, четыре... Три хороших, две отличных, а вот Чермакова, идальго мой, у нас, к вашему сведению, одна! А народную оперу — вы понимаете, что я имею в виду, — то есть оперетту, мы ставить должны! Обязаны! Не все же громы да молнии, нужно ведь и солнышко! Вот Чермакова и есть такое... гм... солнышко. Когда-то Неруда писал так о ней, и думаю, что он... гм... не ошибся.

— Да, но она, пан директор... — начал было Мошна.

— Знаю — она уже не кисейная барышня. Я заметил, заметил — это бывает, хотя по-прежнему очень мила. Буточик... — Тут у великого артиста вдруг смягчились черты лица, и чтоб скрыть это, он неожиданно напустился на Мошну: — А вы сами что? Идите к черту! Вы-то, положим, не похожи на буточик, но ведь и с вами произошло нечто в этом роде... Косинский вы этакий!

Итак, Йозефина играла подряд все, что ей давали. Порой Мошне начинало казаться, что она уже отступилась от давней своей мечты — играть трагических героинь.

Ничуть! Она теперь боролась с собой. Оглушала себя — до упаду, до изнеможения. Сделалась молчаливой. И странная улыбка испущенной женщины озаряла ее все еще по-детски строптивое, но бледное, похудевшее лицо.

Мошна, у которого и при новом руководстве тоже не очень-то расширилось амплуа, по инерции продолжал упрямо играть гротескно — так, чтоб сцена ходила ходуном; а публика впадала в неистовство.

Его вставные куплеты, реплики от себя, мимика отдавали теперь насмешливостью, часто горькой, даже злой. Юмор его стал острым, и дал порой в разгар веселья вдруг замирал под холодным душем мошновского сарказма. Он не падал утонченного вкуса публики и первых рядов партера. Зато зрители галерки и стоячих мест выражали ему шумное одобрение. Все больше и больше завоевывал он любовь именно этих зрителей.

Теперь он больше прислушивался к страстным чаяниям этой «своей публики», чем к собственному сердцу, ибо думал, что оно частенько предавало его. Но именно такому положению дел лучше всего отвечала реалистическая манера его игры.

Реализм, уже стучавшийся в двери европейских театров, ателье художников и кабинетов писателей, казался слишком холодным и простым для выражения патристических чувств, переполнявших чехов. Пафос переживаемого времени все еще находил себе опору в старом романтическом пафосе.

И все же на сцены чешских театров уже проникали такие пьесы, как гоголевский «Ревизор», хотя и здесь реализм характеров еще удавалось низвести до уровня карикатуры: соблазнился этим и Мошна, что, в общем, не стоило ему большого труда.

Однако в глубине души он чувствовал, что это — не то. Но, словно заколдованный, он упрямо шел по линии наименьшего сопротивления, то есть подчиняясь прихотям публики и собственному большому умению, как он говорил, «завязать себя в узел на сцене».

\* \* \*

В ту пору в Прагу попала новая русская пьеса, принятая с восхищением, как и все русское. То была комедия Сухова-Кобылина «Свадьба Кречинского».

Комедия? В том-то и загвоздка! Это уж — как сыграть такую «комедию».

Для Мошны, который, помимо собственной воли, придал этому спектаклю особый характер реалистическим исполнением, «Свадьба Кречинского» явилась переломом в его творчестве. В этом спектакле впервые обнаружился новый или, вернее сказать, впервые открылся подлинный характер мошновской игры, развившийся впоследствии столь полно, когда он создал знаменитые характерные образы.

И еще одному человеку принадлежит заслуга в том, что в чешской интерпретации эта «комедия» перестала быть комедией: Йозефине Чермаковой. Она играла в своем амплуа, играла инженерю, по инженерю, кончавшую чуть ли не трагически.

Спектакль носил камерный характер, исполнителей было немного, но старый Колар подобрал их просто мастерски.

Петра Константиновича Муромского, зажиточного ярославского помещика, деревенского жителя, человека лет под шестьдесят, играл Колар-младший, Фраптишек.

Лидочку, дочь его, — Йозефина Чермакова. Вручая ей роль, старый Колар, подняв брови, пробормотал:

— Ну-с, я думаю... Нда... Как комическая актриса, вы найдете в ней удовлетворение!

Анну Антоновну Атуеву, тетюшку Лидочки, пожилую и довольно языкатую даму, играла Магдалена Гинекова — Колар специально пригласил ее, потому что, не войдя в состав труппы, она лишь иногда выступала на гастролях.

Роль Владимира Дмитриевича Нелькина, помещика, соседа Муромских, человека молодого и поклонника Лидочки, доверили новичку в театре, открытому стариком Коларом, — Иржи Битнеру. Этот двадцатилетний стройный юноша прожил уже довольно бурную жизнь: семнадцати лет он бежал в Польшу, сражался там в повстанческом отряде, а потом рядовым солдатом участвовал в недавней войне.

Главную роль Михайлы Васильевича Кречинского, человека примечательного, стареющего красавца и светского льва, отдали стареющему «красавцу Фердинанду» — Шамберку.

Ивана же Антоновича Расплюева, маленького, пожилого, юркого человека, должен был играть Индржих Мошна.

Тишку, швейцара Муромских — Ян Кашка, Федора, камердинера Кречинского, — еще один открытый Коларом артист, Антонин Пульда, родом пражанин, необычайно образованный восемнадцатилетний юноша, а ростовщика Бека — старый Храмоста.

Трудно было подобрать ансамбль, более благоприятный для Мошны. Битнера и Пульду, почитавших себя учениками Йозефа Иржи Колара, старый строгий мастер умел держать в узде, остальные же — Гинекова, Кашка, Шамберк, Колар-младший — уже сами по себе были такой опорой, на которую можно было рассчитывать во всех отношениях.

«Свадьба Кречинского» была одной из тех пьес, на которых можно расти. Живая, правдивая — одной крови с «Ревизором» и «Горем от ума».

Колар раздал роли задолго до премьеры, чтобы дать актерам время как следует изучить их. Он раздавал их лично, вызвав в свой маленький кабинет всех исполнителей. Оглядев их из-под мрачных своих бровей, он проговорил:

— Что бы вам такое сказать об этой пьесе? Это и в самом деле нечто... гм... новое, и довольно будет, если каждый сыграет по своему разумению. Короче — без завитушек и грудных тонов! — произнес он знаменитым своим грудным героическим тоном и поднял брови. —

Это вам не Мольер! Это... как бы вам сказать... Одним словом, детки, театр проклятая штука! — закончил он сердито.

— Тогда зачем же нам ставить ее? — осведомилась Гинекова, которая одна отваживалась задавать такие вопросы страшному Колару.

Тот удивленно глянул на нее:

— Зачем? Да затем, девочка моя, что это превосходная вещь!

Мошна так и не отослал письма Пепичке. Не мог. То, что случилось с Йозефиной, потрясло его. Со времени исчезновения Кольвица Индра еще более сблизился с Йозефиной.

Он снова зачастил к Чермакам и снова проводил приятные часы, слушая игру Дворжака и беседуя со старым ювелиром. С Йозефиной он ходил гулять, провожал ее домой после спектаклей, а главное — умел молчать с ней.

Часто сживали они друг против друга с книжками в руках, а поскольку нередко были партнерами на сцене, то и репетировали вместе — терпеливо, дружески, внимательно. Они сами себе стали школой. Понимали друг друга. Обладая врожденной восприимчивостью, понимали друг друга как люди, соединенные незабываемыми переживаниями. При этом они не избегали и общей работы в театре. Наоборот! В работу эту они, сами того не зная, вносили полезную лепту. Но только старые мастера — такие, как Колар, Кашка, Гинекова, — угадывали, как некогда угадал Крумловский, что здесь рождается нечто новое, что когда-нибудь определит и изменит характер чешской сцены.

О Мошне и о Чермаковой можно было сказать, что, блеснув на мгновение, они снова терялись в обыденном kaleidoscope ролей.

В первые дни, когда горе Йозефины было свежо, Мошна часто порывался уйти, воображая, что ей нужно побыть в одиночестве. Но она всякий раз просила его остаться. И случалось, что порой он просиживал у нее в комнате часами, не обменявшись с ней ни единым словом.

— Не оставляй меня, Индра, хоть первое время! Я словно больна, и мне так нужно, чтобы кто-нибудь был подле меня — чтоб был ты, Индра, понимаешь?

Как было ему не понять! Но тоска по Пепичке — его Пепичке — не покидала Индру.

Однажды зашел к нему в театр старый Калоус.

— Что с тобой, Индра? — спросил он, пытливо взглядываясь в лицо друга.

— А что?

— К Едличке перестал ходить — не надо бы тебе забывать...

— Я не забываю, Йозеф! — довольно резко отозвался Мошна.

— Поступай как знаешь, но — не забывай.

— Это ты о Пепичке?

— О ком же еще! И обо всем, что связано с ней. Нельзя жить только самим собой!

— А что же с ней связано, уж не тетушка ли?

— Нет! Совсем другое — то, в чем ты нуждаешься.

— А, знаю — Доротка и Шванда, — махнул рукой Мошна.

— Я бы так об этих вещах не говорил! Да ты и сам отлично понимаешь, что я хочу сказать.

— А ты знаешь, как она со мной поступила? Уехала — и ничего, ни словечка, ни записки... Вот!

— А ты-то ей писал?

— Писал!

— Не ответила?

— Нет — я, видишь ли, не отправил письмо...

— Видно, некогда было... что ж, бывает. Но теперь уже пора бы! Мошна довольно неласково посмотрел на Калоуса. С какой стати он принял на себя роль его совести?

— Ты напиши — она ждет.

— Откуда ты знаешь?

— Знаю!

— У Едлички, что ли, говорили?

— Да рассказал мне кое-что Едличка. Хотели ее замуж выдать. И парень хорош, и партия хороша.

— Ну и что же? Или я стою на ее дороге? — вскипел Мошна.

— Может, и стоишь, — усмехнулся Калоус.

— Это как понимать?

— А так. Отказалась она. Не захотела. Словно есть у нее какое-то тайное горе, сказал мне Едличка, — причем сказал так, чтоб заставить меня как-то ответить.

— И что ты ответил?

— Ответил — мол, есть у нее кое-кто.

— И кто же, раз уж мы об этом заговорили? — задрался Мошна.

— Да ты! Флюгер!

— Ах вот как. Флюгер, говоришь. Ничего себе придумал! Что же, она написала про это, скажем, по небу или напентала да в ямку зарыла?

— Не хочется мне говорить вроде как в стихах, а то сказал бы я, что записала она это в своем сердце! А ты флюгер и есть!

Мошна темного смутился и явно стал сдавать позиции. Запинаясь, он произнес:

— Я и сам, Йозеф... Трудно бывает... И я...

Он замолчал. Старый Калоус стоял в задумчивости, ожидая, чтоб Индра выговорился.

А Мошна только вздохнул и сказал так, словно только теперь дошел до главного разговора:

— Ты заходи посмотри, Йозеф,— через неделю ставим первую пьесу. Это комедия, но... В общем, тебе понравится. Вот посмотришь, а после я опять готов болтать о чепухе.

— Напишешь?

— Нет!

Теперь уже Мошна обозлился. Чего этот Йозеф пристал к нему?

— Ну тогда прощай, и, если когда повстречаемся, можешь не здороваться,— с такой же злостью вспылил Калоус и двинулся прочь.

— Постой, старый сумасброд!

— Нет, прощай!

— Йозеф!

Обернувшись, Калоус сухо спросил:

— Напишешь?

— Да напишу, черт с тобой! А впрочем, я ведь не выбросил то письмо, надо только перебелить и дату поставить. Во мне ничего не изменилось, Йозеф, поверь!

— А что вы такое играть будете?

— Ага, так кто же из нас двоих флюгер?

— Ты! Вот сейчас как дам подзатыльник, паршивый мальчишка! Своего старого подмастерья ты обязан слушаться — и точка!

— «Свадьбу Кречинского» играем, и ты должен видеть! Договорились?

— Договорились!

— А может, мне и письмо тебе на утверждение принести?

— Не надо. Но когда получишь ответ, очень ты меня порадуешь, коли прочитаешь мне из него пару строк...

Репетиция еще не начиналась.

В полутемном зале сидели журналисты и литераторы, друзья театра. В глубине партера вразброс разместились актеры, не занятые сегодня. Несколько в стороне от литераторов заняли места два художника — Йозеф Манес и Карел Пуркине. Манес недавно вернулся из России, и его интересовала пьеса Сухово-Кобылина, ибо он слышал, что в свое время она произвела большой переворот в московском Малом театре. А вернее сказать, Манес пришел в театр рассеяться. Он страдал головными болями и порой впадал в ужасное душевное состояние, мучившее его все чаще и чаще. Поэтому он с благодар-

ностью принял предложение Индржишки просмотреть русскую пьесу без стеснявшей его публики.

Манес, затаенный в черный сюртук, при темном свободном галстуке, сидел выпрямившись и держа шляпу в руке, словно каждую минуту готов был уйти.

Когда Индржишка оставила его, чтобы идти за кулисы, он стал заметно нервничать, встревоженно озираться.

В ложе на просцениуме, как всегда один, сидел Йозеф Иржи Колар — неподвижный, погруженный в мысли. Его немного раздражали разговоры коллег Неруды.

Сейчас говорил сам Неруда.

— Разумеется, пора положить конец вечной «временности»! Взгляните на наши дневные представления: нельзя же эту публику, состоящую преимущественно из низших слоев и молодежи, отдавать на произвол кассовых интересов да их собственного, далеко еще не развитого вкуса! Согласен, развлечения нужны, но ведь мы еще обязаны образовывать и воспитывать публику. Я вовсе не хочу сказать, что театр должен превратиться в школу, — однако нужен такой репертуар, который бы не только развлекал, но и говорил что-то уму и сердцу! Пожалуйста, не думайте, что такая публика станет скучать на спектаклях, которые правдиво и открыто решали бы социальные и политические проблемы наших дней. Покажите только такие спектакли, и вы увидите!

— Очень интересно, что они сделают с «Кречинским», — заметил Густав Пфлегр, человек болезненного вида, годом старше Неруды, с которым всегда находил общий язык.

— Это и мне интересно, — кивнул Пфлегру Неруда. — Посмотрите — там, кажется, Манес сидит? Он из России приехал, может быть, скажет нам что-нибудь?

В это время Манес, придвинувшись к Пуркине, неторопливо, чуть наморщив брови, говорил:

— У русских богатейшая литература, и театру их есть на чем расти. Наряду со старой школой, с аффектированной декламацией и напряженно-неподвижными позами — что мы видим, кстати, и у некоторых наших актеров — там, особенно в Малом театре, уже появилось нечто... нечто поразительное. Они играют столь естественно, что создается полное впечатление реальной жизни. Их знаменитый актер — кажется, его звали Щепкин, он умер глубоким стариком года три назад и был первым исполнителем, если не ошибаюсь, городничего в «Ревизоре», — так вот этот Щепкин еще двадцать лет назад дал определение, которое благодаря своей простоте прочно засело у меня в памяти: правда и естественность чувств! Как это просто — как просто... — повторил Манес, думая, вероятно, уже о каких-то своих проблемах.

Помолчав, он снова обратился к молодому коллеге:

— Слушай, Карел, знаешь, что интересно? Столь далекие друг от друга миры — Париж и Москва, но и там и тут, не сговариваясь, начинают нечто новое... Я недавно разговаривал с Ипполитом, он вернулся из Парижа и рассказывал невероятные вещи. Там тоже создается такое, что удивит весь мир! — И тут он чуть ли не просто-напросто: — А я каюсь себе таким старым — боже, каким старым!

Он схватился за голову и глубоко вздохнул. Но, быстро овладев собой, продолжал с прежней увлеченностью — видно, его переполняли впечатления, потому что, обычно такой молчаливый, сейчас он почти не понижал голоса, хотя и сидел в зрительном зале.

— Удивительнейшая вещь! Мир вдруг начинает трещать по всем швам, и ты, не понимая даже причины, начинаешь мыслить по-иному. То, что прежде нравилось, теперь кажется ужасно нескладным... невозможным! Как это объяснить?

— А что русская живопись? — спросил Пуркине.

— Живопись? В Петербурге огромная галерея, там собраны шедевры со всего мира — просто чудо! У них самих удивительная старая народная и церковная живопись. Но не в том дело. Я разговаривал там с некоторыми учеными и писателями. Энтузиасты. Они все время словно чего-то ждут. Разговоры — о России, о человеке, о боге... О человечестве... Да, а в их Малом театре — будто сама жизнь под увеличительным стеклом...

— Простите, дорогой маэстро, что перебил, — подсел к Манесу Неруда. — Видели ли вы в Москве или в Петербурге какой-нибудь спектакль? Никто мне ничего толкового не мог сказать, хотя я спрашивал уже нескольких участников поездки...

Манес нахмурился было, но, узнав Неруду, улыбнулся:

— Видел, конечно, видел, мы как раз об этом и говорим. Это было в Москве, в Малом театре, пьеса называлась «На бойком месте», только, к сожалению, я мало понял.

Журналисты постепенно пересели к ним.

— Кто автор?

— Островский? Да, Островский.

— Хорошо?

— Это комедия, но сыгранная с необычайной верностью жизни, — медленно, прищуривав глаз и обращаясь к одному лишь Неруде, отвечал Манес. — Знаете, смотрел я... смысл слов от меня ускользал, но типы — ах, до чего же жизненные! Словно вот пришли на сцену люди прямо с улицы. Этот Садовский — да, его фамилия Садовский — и Федотова, а впрочем, и все остальные, так и просятся на холст! Играли они определенные типы, Садовский — трактирщика, такого старика с бровями к вискам... Словно сама Россия говорила их устами. Ах, как он играл злость! Я сделал наброски — к сожалению... моя

голова... потерял. Вы уже слышали — я там где-то целый чемодан потерял? — внезапно спросил он, опять поднося к голове руку.

Пуркине озабоченно посмотрел на него.

— Интересно... — задумался Неруда, не заметив состояния Манеса. — Кажется, я понял, чего они хотят. Так говорите — как в жизни?

— Но никакого натурализма, ничего похожего! Копия человека! Ничего... Пардон! — вскричал Манес.

— Понимаю — художественная правда. А мы что?

— Как это — что мы? — опять громко воскликнул Манес. — А блуждаем, голубчик, блуждаем!

— Сколько всего вокруг — не успеваешь уловить, — развивал свою мысль Неруда.

— Верно — улавливать мы не успеваем, — резко отозвался Манес.

— Словно в очках каких-то ходим, — добавил Неруда.

Манес странно засмеялся, и только теперь Неруда, удивленный, поднял на него глаза.

— А может быть, и снимаем уже очки-то, — заметил Гут.

— И надеваем другие! — с тем же странным смехом парировал Манес.

— Снимать-то снимаем, а видим не дальше собственного носа! — вдруг взорвался Боздех, до сих пор молча сидевший в стороне.

Неруда обернулся к нему, сделал знак рукой:

— «Алле, начали!» — сказал бы я вам, молодой человек, словами Принципала из «Проданной»...

За кулисами, как это ни странно, все шло спокойно, словно не перед генеральной репетицией. В женской гримерной одевались только Гинекова и Чермакова, да еще пришла Славинская, чтобы помочь подруге; в мужской гримерной каждый сосредоточенно занимался самим собой.

Только Франтишек Колар, режиссер спектакля, переходя от одного актера к другому, осматривал каждого со всех сторон, поправлял грим, давал советы. Для постановки «Кречинского» он раздобыл много картинок, описанией типажей русских людей, взял материал и у Эрбена, привезшего из России много книг. Отличный художник, друг Манеса и Пуркине, с которыми был знаком еще по Академии, Франтишек Колар сам сделал эскизы костюмов и грима для всех действующих лиц, изобразив в ролях конкретных исполнителей.

— Кречинский одевается по парижской моде. Он петербуржец — ты должен выглядеть светским человеком и в то же время русским! — втолковывал он Шамберку. — А Расплюев, — обернулся он

к Мошне, — личность довольно-таки потрепанная, однако следит за своей внешностью. Во втором действии Расплюев возвращается из игорного зала, где его побили, он весь помят и вывалян в пыли.

Сам Колар старался принять облик богатого русского помещика, человека широкой патуры.

Мошна необыкновенно ясно представлял себе внешность Расплюева. Натянув залоснившийся фрак, он примерил несколько шейных платков и выбрал старый, посекшийся, зато — шелковый; надел поношенные туфли, на которых потрескался лак, и потерял спиной о стену — чтоб было похоже, что его только что вытолкали из кабака. Узкое лицо свое он расширил, приклеив бакенбарды, и наклеил шипкообразный нос. Да, это был Расплюев. Старый, добродушный, потрепанный, бывший модник, приживал, опустившийся, несчастный, вечно испуганный и готовый врать так убедительно, что сам себе верил.

Загримировавшись, Мошна вышел в коридор, где стояло высокое зеркало. Внимательно рассмотрев себя, он машинально стал повторять отрывки роли, которой овладел в совершенстве.

«Нет, нет — здесь я не имею права жульничать, здесь я должен освободиться от текста и играть как можно экономнее. Текст настолько естественный и разговорный, что к нему ничего нельзя прибавлять. Он сам ведет!»

Такие мысли приходили Мошне в голову, когда он дома или у Йозефины учил роль. При этом он припоминал все унижения, какие ему довелось перенести... Вспомнил и Крумловского. На того ведь тоже порой находило — он впадал в состояние какой-то гордой подлости, когда начинал философствовать и всех жалеть. Именно отсюда, от таких состояний Крумловского, можно было почерпнуть для Расплюева некоторые наиболее глубокие оттенки.

Стоя перед зеркалом, Мошна читал свой вступительный монолог:

«Боже ты мой, боже мой! что же это такое? Вот, батюшки, происшествие-то! Голова, поверите ли? Вот что... (Тут Мошна потер пальцы друг о друга, как бы пересчитывая деньги, затем изобразил руками, как тасуют карты.) Деньги... Карты... Судьба... счастье... злой, страшный бред! (Мошна широко раскинул руки, завел глаза к небу.) Жизнь... Было времечко, было состояньице... (Мошна помолчал, уставившись в неведомые дали, потом со злобой выпалил.) Съели, проклятые! Потребляли все... Нищ и убог...»

Закончив, он опять долго смотрелся в зеркало.

— Гм... Вот оно какое дело, — сказал он своему отражению — Трагедия? Да нет, хоть и без всякого пафоса, а это больше, чем трагедия. Это... это сама жизнь, раздетая, причем раздетая так, как и в лазаретах не раздет... Комедия? Конечно, но и еще что-то большее! Смотри, осторожно, осторожно — не колдовать! Только смех, все вре-

мя смех! Ты не должен приводить зрителей в ужас, они не должны тебя бояться — пусть смеются и жалеют тебя, пусть смеются так, чтобы слезы потекли — смехом, который не отличишь от плача! Пусть смеются, пока им не станет стыдно за то, что плачут. Пусть смеются над старым безобразником, пьянчужкой и картежником — смеются и жалеют человека!.. Да, это и впрямь больше, чем трагедия. Вот в чем главное! Сумей-ка влезть своим Расплюевым в душу публике, в голову ей! Покажи ей, что, может быть, в каждом есть что-то от зазнайки и спесивца — но только до первого пинка, после которого всю спесь как рукой снимает! Если за тебя платит папаша, если ты благополучен и сыт, если ты просто идешь себе по широкой дороге, на которой никак нельзя заблудиться, — тогда тебе легко смеяться. Но что, если ты не в состоянии в срок оплатить векселя? Ага! Или если ты пропил жалованье, а дома ждут тебя голодные дети, и.. пусть ты даже не пропил, пусть ты просто растранижил на какие-то прихоти свои, просто так, для собственного удовольствия, из подлости — потому что жизнь-то подлая, — но ты еще не совсем погряз, не вовсе ожесточился, не жестокосерд, еще можешь плакать... Вот и начинаешь тут философствовать, сам себя растравляешь, и возмущаешься, бранишь существующий порядок — ты способен даже на героический поступок, до тех пор, впрочем, пока тебя не щелкнут как следует по носу и не забьешься ты в свою нору! Ох, если б в жизни все выплывало наружу, как выплывают наружу грехи при свете лампы, — пожалуй, многие порядочные господа... да ах! — не многие, а все, все очутились бы за рамками закона. Да если бы одно то, что за день приходит в голову человеку, высказать громко, так, чтоб слышали все — самый умеренный прокурор сумел бы составить не менее двадцати обвинительных заключений...

Мощна вернулся в гримерную, сел на свое место, не замечая, что первый акт давно начался. Он неотрывно смотрел в свое маленькое зеркало для гримирования, видевшее уже столько самых удивительных мошновских лиц.

Быть может, и впрямь лучше обезьяной скакать перед публикой, чем при полном свете стирать грязное человеческое белье да заставлять зрителей смехом спасаться от самих себя. Зачем тревожить совесть людей, которые пришли в театр, чтобы судить других? Пусть себе смеются, вообразив себя ненадолго неприкосновенными судьями... Зачем выставлять их к позорному столбу, который и так ждет их на каждом шагу в жизни? Разве у каждого есть достаток, чтобы оплатить долги? Разве так уж хорошо живется людям, что и не приходится им лгать, притворяться, таиться, обманывать, проклинать и бунтовать? Каждый ли может сказать, что он защищен тем, что называют солидной репутацией, условностями, обычаями, нравственными уставами и даже — порядком и правом? Устраните нужду — и исчезнут из

мира почти все исповедные зеркала, останутся лишь чисто человеческие грехи, которые в столь многих трагедиях называют... подвигами...

— Господи, Индра, первый акт кончается, а ты здесь спишь, что ли?! — воскликнул Франтишек Колар, вернувшийся со сцены.

Мошна взглянул на него с некоторым удивлением.

— Не сплю, Франтишек,— изучаю Раснлюева! Антракт будет?

— Только декорации переставим — и дальше тронемся...

Первый акт проходил при более чем благоприятном настроении присутствующих. В первом же явлении Кашка и Гинекова вызвали аплодисменты. Старый Колар громко крикнул из своей ложи:

— Прошу не аплодировать! Это репетиция!

Кашка и Гинекова, два старых, отлично сыгранных партнера, в блестящем диалоге довели до гротеска — но гротеска изящного — эпизод с дверным колокольчиком.

— Смеяться-то нам, надеюсь, разрешается,— буркнул Неруда, вытирая слезы смеха.

Сцена Лидочки с теткой — в истолковании Чермаковой и Гинековой — тоже была маленьким шедевром.

Йозефину близко затрагивали некоторые ситуации пьесы, и она относилась к ним настороженно, играя пленительную молодую девушку, привезенную в Москву для выгодного замужества; с первых же шагов встречается ей прожженный светский лев, и она влюбляется в него без памяти. На вопросы тетки Йозефина отвечала с такой невинностью, с таким чувством, что Манес, который все не мог войти во вкус пьесы, теперь поднялся и, забыв, что, быть может, мешает репетиции, пересел в первый ряд и оперся локтями на оркестровый барьер.

«Понимает она или нет, что говорит? — думал он.— Ведь это до того хрупко, что плакать хочется. Незабудки... Незабудки...».

Выходит Кречинский — Шамберк, представительный мужчина, сквозь самоуверенный вид которого, однако, уже пробивается некоторое сомнение в успехе. Он сразу производит впечатление. Он неотразим и дилличен. Шамберк тоже опирался на личный опыт и играл «своего» бонвивана как бы каллиграфически. Только оставшись наедине с собой, он высказывает то, что все уже угадывают. Так рассуждать не постыдился бы ни один здравомыслящий человек, решая после многих поражений в жизни вступить наконец в честный брак. Однако все эти рассуждения вложены в уста персонажа, задуманного как негодяй. Не удивительно поэтому, что они возмущают порядочно зрителя.

«Эге! Вот какая шуточка! Ведь это целый миллион в руку лезет, Миллион! Эка сила! — Шамберк перешел ближе к рампе и, глядя в

пространство, произнес, пародируя Гамлета: — Форсировать или не форсировать — вот вопрос! — Здесь он протянул руки, словно ощутил перед собой некую бесконечность. — Пучина, неизведанная пучина. Банк! Теория вероятностей — и только. Ну, а какие здесь вероятности? Против меня: папаша — раз; хоть и тупенек, да до фундаменту охотник. Нелькин — два. Ну, этот, что говорится, ни швец, ни жнец, ни в дуду игрец. Теперь за меня: вот этот вечевой колокол — раз; Лидочка — два и... да! мой бычок — три. — Шамберк надел цилиндр и с элегантною небрежностью, присущей ему одному, стал натягивать перчатки. — Как два к трем. Гм! — Причмокнув, как чмокают на лошадей, он хлопнул себя по цилиндру. — Надо полагать — женюсь!»

Кончается первая картина тем, что наш герой после ссоры тетки с отцом, после слез дочери получает наконец согласие Муромского на брак с Лидочкой.

— Ну, юноши, что скажете? — обернулся Неруда к своим друзьям, когда занавес упал.

— В самом деле, превосходная вещь, — кивнув, отозвался Пфлегр.

— А играют как по нотам! Видите — умеют, когда захотят, — подхватил Гут.

— В том-то и дело, — когда захотят, — сказал Неруда.

— Оно ведь и есть что играть, — усмехнулся Пфлегр.

— Что играть?... История-то, в общем, совершенно банальная, зато как написано! И играют они действительно отлично. Очень мне любопытно, как-то покажет себя наш озорник Мошна, — принялся рассуждать Неруда. — Боюсь, сцены для его темперамента не хватит. И что за сумасшедший! Такие способности, а стоит публике засмеяться, и он готов разорваться на куски!

— Мошна — это стихия, это сам театр, — вполголоса заметил Боздех.

— Или сама комедия, — уточнил Неруда. — Хотя видел я его в «Адриане из Ржимса» — сплошной фарс, а он так играл того беднягу, что его становилось по-человечески жалко.

Карел Пуркине подсел ближе к Манесу, который неподвижно устоялся на занавес.

— Домой не хочешь, Пеппи? — спросил он как бы между прочим, чтоб не задеть друга заботливостью.

— Почему? Мне здесь хорошо!

Пуркине был доволен тем, что Манес успокоился, что атмосфера театра даже заинтересовала его. И он спокойно спросил:

— Ну как — в Москве небось лучше играют такие вещи?

— Иначе! Там так играют, словно глубже в душу заглядывают. Мы к себе снисходительнее! — с оживлением ответил Манес. — Кречинский этот, в общем, довольно интересная личность, и я от всей

души желаю ему получить эту девочку. Только человек, как он, в состоянии оценить чистую прелесть девушки. Но он ее не получит, потому что мораль предписывает отдать ее дураку Нелькину. Земли Муромского и Нелькина соединятся, образуется огромное имение, и будет Лидочка кормить голубей, гулять по парку, детей рожать да вспоминать тайком о волнениях, пережитых из-за авантюриста, а Кречинского засадят в тюрьму.

Манес говорил довольно громко, и его высокий голос был слышен даже там, где сидели литераторы. Воздох наострил слух, улыбнулся.

Пришла Славинская, молча села рядом с художниками.

— Как мило, что вы не забыли о нас, — мягко проговорил Манес, погладив ее по руке, которая лежала на оркестровом барьере.

— Вам интересно? — спросила Индржишка.

— Еще бы! Приятельница ваша играет великолепно. Мне даже пришла на ум моя «Незабудки», хотя ей, скорее, подошли бы ландыши.

— Ландыши? Йозефине? — улыбнулась Индржишка. — Надо ей сказать — она-то любит резеду.

— Резеда ароматная, *odorata*, — пробормотал про себя Манес, знавший ботанику, как мало кто. — Резеда иногда пробирается за садовые ограды и дичает. А к нам она пришла издалека — из Африки. Не говорите ей ничего! Играет хрупко... Нет, ей подходят ландыши — нежностью и запахом. Резеда же со временем горчает. Думаю, эта девушка будет еще во многом ошибаться — и не только в выборе цветов...

— Вы правы, Пепи. С ней что-то стряслось. Она изменилась, но с тех пор играет гораздо лучше...

— Передайте ей наше восхищение — так, Карел? — повернулся Манес к Пуркине.

Тот кивнул:

— Обязательно! На сцене она мила. В жизни, вероятно, она иная. Я несколько раз встречался с ней, и она показалась мне невыносимой... неестественной...

— Я ее очень люблю.

— Простите, — деликатно сказал Пуркине. — Я не хотел задеть ваши чувства — я известный ворчун...

Квартира Кречинского. Монолог камердинера Федора. Ничего особенного.

Но вот появляется Расплюев — помятый, обиженный, с синяками на физиономии, словно прямо из драки. И моментально приковывает к себе внимание. После первых же его слов Неруда взглянул на Пфлегра — тот согласно кивнул.

— Кто это? — тихо спросил Манес.

— Боже мой! Мошна!

— Тот комик? Невероятно...

Расплюев жалобно рассказывает, как его избили, уличив в мошенничестве за карточной игрой.

«Бывал я в переделках, — ну, этакой трепки, могу сказать, не ожидал. Бывало, и сам сдачи дашь, и сам вкатишь в рыло, — потому — рыло есть вещь первая! — Мошна говорил небрежно, усталым тоном, но перед некоторыми словами делал паузу и как бы выталкивал их, чтоб они прозвучали сильнее. При слове «рыло» он ткнул рукою в воздух. — Ну нет, вчера не то... нет, не то! У него, стало, правило есть: ведь не бьет, собака, наотмашь, а тычет кулачищем прямо в рожу... — Он снова выкинул вперед кулак. — Ну, меня на этом не поймаешь: я, брат, ученый! Я сам, брат, сидел по десять суток рылом в угол, без работы и хлеба насущного, вот с какими фонарями... — Мошна показал, с какими фонарями. — Так я это дело знаю...».

Входит Кречинский. Он совершенно разорен и весь в долгах. Деньги нужны ему во что бы то ни стало, чтоб сохранить декорум и устроить свадьбу с Муромской. Вот тогда все будет в порядке. Он заплатит долги, переедет жить в деревню — в город будет наезжать, в карты поигрывать — в общем, пойдет такая приличная жизнь с молодой, влюбленной женушкой...

Было бы все — счастье и покой совсем рядом, рукою подать, только бы деньги!

Кречинский посылает Расплюева раздобыть денег, тот, конечно, возвращается без копейки. Кречинский в бешепстве устраивает ему такую выволочку, что с жалкого расплюевского фрачишки отлетают пуговицы.

Расплюев, покорно собирая их с полу, произносит монолог...

Мошна пустил в ход все приготовленные им оттенки — оттенки поведения маленького, битого человека. Ползая на коленях, он иногда обращался в публику — жалобное, расплывшееся лицо, смиренное — и хитренькое... Расплюев жалуется — и издевается, жалея себя...

Сколько раз Мошна вот так ползал на коленях по полу дома, повторяя роль Расплюева, чтоб найти самое точное настроение! Вспомнил, как колотила его тетка Бёмова, как он, так же на коленях, собирал с полу разбросанные листки «Бедного фокусника».

«...Надевать маску безумия ради куска хлеба, который и собаке-то не кинут... О, золотой якорь утешения!» — далеким эхом отозвались в душе Мошны слова тыловского «Фокусника»... И видел он себя подметающим заплеванный, истоптанный пол, когда служил в труппе Прокопа, и слышал его брань... Потом вставал перед ним образ Крумловского — пьяного, сетующего на щипоту, на жалкий жребий... Затем все эти картины сменялись воспоминанием о том, что рассказы-

вал старый Чермак в ту ночь, когда пруссаки выпустили его из своих когтей...

О, Мошне есть из чего с полной достоверностью слепить фигуру жалкого человека! По-прежнему было для него законом: чего не видел, не пережил — играть не могу!

И как он играл! В зале было тихо-тихо...

«Боже мой! Родятся люди в счастье, в довольстве, во всех приятностях жизни и живут себе, могут сказать, пиршествуют. Ну, народится же такой, барабан,— и колотят его с ранней зари и до позднего вечера! Вот как видите! — Обернувшись к публике, он раскинул руки и голову опустил. Заметив при этом на жилете крошки штукатурки, заботливо стряхнул их. Это невольное практическое движение сделало его еще более жалким. — Ну, народись я худенький, тоненький, хиленький, ведь не жить бы... ей-ей, не жить! Вот как скажу: от вчерашней трепки, полагаю, не жить; от докучаевской истории — не жить; от попойки третьего года, в Курске, то есть ни, ни, ни, ни под ка-ким ви-дом! — Мошна рассек эти слова, произнеся их неестественным фальцетом, и тут же вдруг чуть ли не блаженно улыбнулся, опять протянув руки к публике. — И вот — невредим, жив и скажу: ну, дайте только пообедать да задать, что называется, храповицкого, то есть как встрепанный...».

— Кажется, надо нам тут засмеяться, а не то... — педоговорил Неруда. — Вот чертов человек, — проворчал он и оперся локтями на спинку кресла перед собой.

Кречинского осеняет идея — как достать деньги. Он вспомнил, что есть у него модель, по которой он в свое время велел изготовить бриллиантовую булавку для Лидочки. Надо под предлогом пари достать эту булавку, показать ее ростовщику, а потом подменить моделью, запечатав футляр на глазах у ростовщика, и оставить в залог. Женится — выкупит заклад, и честь спасена. Ведь доверие, кредит — только видимость. И ничего не случится, если какое-то время вместо бриллианта полежит в сейфе закладчика простое стеклышко. Благородная уловка.

За булавкой к Муромским послап Расплюев. Он приносит ее, и Кречинский уходит с ней к ростовщику. В замысел свой он никого не посвящает и даже приказывает Федору не выпускать Расплюева из дому, пока сам не вернется, — как бы этот Расплюев не испортил дела. Расплюев же вообразил, что Кречинский попросту сбежал с драгоценностью, бросив его на произвол судьбы. В самом деле — кто выманил булавку у Лидочки? Он, Расплюев!

И наступило самое сильное место в игре Мошны. Он заперт; у двери, скрестив на груди руки, стоит неумолимый Федор.

«Как?! Да это... Это, стало, разбой!.. Измена! Ай, измена!!!» Такой неприятной, пронзительной фистулой выкрикнул это Мошна, с

таким бешенством отчаяния, что старый Колар в ложе удивленно поднял голову, то ли осуждая, то ли одобряя эффект, достигнутый актером. Видно было — пойманная лиса будет кусаться и царапаться, она скорее отгрызет собственную лапу, чем позволит придушить себя. Мошна вне себя от ярости кинулся на Федора. Как же, человек еще более жалкий, низкий, чем он сам, мужик, а стоит на дороге! «Пусти, пусти, разбойник! Пусти, говорю!» Однако Федор, здоровенный верзила, отбрасывает его как щенка и для верности поворачивает ключ еще на один оборот. Собственное бессилие бесит Расплюева. «Ах, батюшки-светы! Режут, ох, режут!.. Караул! Карау...» Крик его уже не так пронзителен, но громок — и вдруг, начав звать полицию, он осекся: полицию? Нельзя, нельзя! И тихо, безнадежно начинает он молить: «Шш, что я? На себя-то? Сейчас налетят орлы... Пусти меня, Федорushка! Пусти, родимый! Тебе ведь все равно; ну что тебе мою грешную душу губить?» Он молит жалобно и сокрушенно, он протягивает руки к онемевшему камердинеру — как ребенок, несчастный пойманный ребенок, — и слезы, настоящие слезы стекают у него по лицу. «Ведь сейчас полиция придет, сейчас хватятся... вот меня этак, — Мошна, взяв себя за ворот, тряхнул, — на буксир, да к генерал-губернатору, да в суд, да и скоман্দуют по нижегородской дороге! Ох, ох, ох!» Запатавшись, Мошна рухнул на чемодан и горько заплакал. Потом вспомнил: нельзя сдаваться, никак нельзя! Кинувшись к Федору, он в отчаянии закричал: «Федор, а Федор! Пусти, брат! Ради Христа создателя, пусти! Ведь у меня гнездо есть; я туда ведь нишу таскаю...»

Все напрасно. Федор невозмутим, он даже зеваает. Ну да, все свалят на него, на несчастного Расплюева, и Федор еще пойдет в свидетели против него! Наверняка! И вот в Расплюеве вскипает чувство справедливости. Он взбунтовался. Ярость его полна отчаяния. Он брызжет слюной, вопит со слезами на глазах, и снова бросается на Федора, колотит его кулачками как рассвиρευевший мальчишка. Здоровьяк Федор в одно мгновение подминает его под себя и, ухватив за горло, стучает головой об пол.

«Ох, ох, ох! Оставь! Смерть моя... смерть!.. Оставь! ах батюшки... батюшки...».

Федор ослабил хватку — Расплюев, вырвавшись от него, на коленях отползает к рампе. Тут он встает, переводит дух, не забывая отряхнуть одежду. Все время это невольное внимание к своей внешности...

«У, ах, тьфу, тьфу! А! — смотрит в публику. — Что бы вы думали?» Это Мошна проговорил своим обычным голосом, так просто, словно вовсе не Федор, а артист Пульда едва его не задушил.

Это вызвало смех — как естественное облегчение. Могло показаться — Мошна вышел из образа, начал комментировать его, как он

умел это делать. Но нет! Просто с врожденной чуткостью он разрядил напряжение, чтобы снять тяжесть с души зрителей и одновременно острее подчеркнуть цинизм Расплюева, который даже после самых тяжелых и унижительных переживаний только встряхнется, как побитая собака, и скачет себе дальше.

Теперь вся игра Мошны становится отчаянным барахтаньем насаженного на булавку, измятого, замученного насекомого.

Вдруг чу! — внизу кто-то открыл входную дверь. Это они, это полиция! Расплюева охватывает паника. Полиция! Конец! В ужасе хватается он за голову и снова падает на чемодан и плачет безнадежно...

Но это был Кречинский. Хитрость его удалась, он принес пачки денег, да еще вытаскивает и булавку, сверкающую, как солнце. От такого оборота дела Расплюев вовсе лишается рассудка. Он трет себе лоб, протягивает руку к деньгам, касается булавки, Кречинского. Чудо — невероятность — счастье! Он хохочет и плачет от радости. Пересчитывает деньги, гладит бриллиант, гладит Кречинского. Солнышко вышло, злые призраки испарились! Все в порядке! Да что за наваждение на него находило? И какое волшебство рассеяло его? До чего же пуглив жалконький человек! Расплюев укладывает булавку в футляр, бережно кладет в карман и, послав Кречинскому воздушный поцелуй, спешит вернуть бриллиант. Федор почтительно подает ему шубу. Только глянул на него эдак сверху... «Подлец!» — вертится на языке Расплюева, но он только плюнул и гоголем вышел за двери.

Йозефина, затаив дыхание следившая из-за кулис за Мошной, бросилась ему на шею.

— Индра! Изумительно! Индра, ты великий артист!

Мошна с улыбкой погладил ее.

— Пойду переоденусь — мокрый до нитки...

Когда занавес опустился, в зале ничто не нарушило тишину. Слишком сильно было впечатление — и слишком мало публики.

Старый Колар встал, вышел из ложи.

Через некоторое время заговорил Неруда:

— Нет, объясните мне вот что: неужели это Мошна?

Манес поднял голову, тронул лоб.

— Что-то происходит... что-то творится... по — что? Неужели не пойму? — вполголоса, не отнимая руки ото лба, словно сисясь что-то вспомнить, проговорил он. — Мне просто хочется взять и сжечь все, что я сделал...

— Пепи, ну что за ерунда! — взял его за руку Пуркине. — Тут ведь совсем иное! У тебя еще многим придется учиться! А то где же поэзия, гармония, элегичность, очарование? Где сельская жизнь с ее солнцем, со здоровыми людьми, с песнями ее? Здесь мы видим изнанку жизни. А ты взгляни на сметановскую «Проданную невесту». Вы

со Сметаной — живой, неистребимый оптимизм, от него исходит жизненная сила, вечная сила радости и красоты!

— Да... да... Но ведь то, что здесь, — тоже искусство! Это раны, жгучие — они велят не упускать за грезами самую жизнь, велят видеть, не забывая беду людскую!.. — порывисто вскричал Манес. — Они напоминают о детстве под градом колотушек, о голоде, квартирных долгах, о нужде — о тюрьме! Да ведь я этого чешского Расплюева знаю! Куда подевались те рисунки? Куда я их засунул?..

Славинская тревожно переглянулась с Пуркине и, заставив себя улыбнуться, сказала:

— Помните, Пепи, вы рисовали картинки из театральной жизни? Открытие Временного, триумф Барвиция — они были так милы... Не порадуете ли нас еще чем-нибудь в этом роде?..

Приспально посмотрев на Индржишку, Манес кивнул:

— Я вас понимаю, Чичерле! Не бойтесь, не надо ничего бояться. — Он виновато улыбнулся; слова друга и присутствие Индржишки успокоили его. Погладив руку Славинской, он спросил:

— Мы еще увидим вашу подругу?

— Разумеется, ведь она завершает спектакль! Извините — мне надо заглянуть к ней, помочь... — Славинская встала. — И смотрите не убегайте, пойдем куда-нибудь пообедать — ладно, Пепи?

Манес кивнул улыбаясь.

Йозефина, уже переодетая, стояла в гримерной — она боялась сесть, чтоб не измять белое, воздушное платье с воланами и широким подолом, с нежными кружевами по глубокому вырезу. Она нервно теребила свиток роли.

— Да ты готова! А я-то спешила помочь! Ты прямо как цветок ландыша! — И Индржишка ласково расцеловала ее в обе щеки.

Йозефину охватил трепет.

— Побудь здесь... Побудь со мной, Индржишка, ради бога... А то я не смогу произнести последние слова....

— Какие слова?

— Ах, не знаю... не хочу ни о чем думать!.. Не могу! — Йозефина тряхнула головой и, помолчав, спросила: — Это — Манес, да?

— Да, и ты очень ему нравишься. Кланяется и просит передать тебе свое восхищение. Я почти ревную! — засмеялась Индржишка.

— Ну что ты! — Йозефина взяла ее за обе руки — ей стало немного легче.

Старый Колар отыскал за кулисами Мошпу.

— Послушайте, старый фокусник, как вы сделали эти слезы, а?

— Какие слезы, пан директор? (Колара все по старой привычке называли директором.)

— Не прикидывайтесь дурачком! Вы ведь разнюнили на сцене, и текли у вас настоящие слезы. Откуда вы их взяли?

Мошна несколько смешался.

— Вам, маэстро, я могу выдать тайну. Видите ли, я... я плакал по-настоящему!

— По-настоящему! Уж не воображаете ли вы, что такого реквизита вам хватит на все представления? — строго осведомился Колар.

— Вот этого я, простите, не знаю...

— То-то и оно, милый мой комик! Надо играть все, в том числе и слезы! Реветь должна публика, а не вы!

— Но в этом месте публике нельзя плакать, — возразил Мошна. — Здесь она должна смеяться!

— Да ведь то, что вы делаете, вовсе не смешно! Вы себя видели? Нет! Сходите-ка посмотрите на себя из зала — увидите тогда, до чего вы все перепутали, Косинский вы этакий!

— Что же мне делать? — растерянно спросил Мошна.

Старый мастер посмотрел на него, похлопал по плечу (высший знак отличия у Колара!) и сказал почти отеческим тоном:

— Выше голову, мой идальго, и не слушайте никого! Играли вы хорошо... гм... даже отлично!.. как это ни странно...

Последнее действие происходит на квартире Кречинского, наспех приведенной в порядок.

Все идет лучшим образом. Муромский с Лидочкой и Атуевой приходят, чтоб отпраздновать нечто вроде помолвки. Счастье вот-вот взмахнет крылами...

Улучив минутку, Лидочка спрашивает у Кречинского:

«— Вы меня любите?»

— Люблю.

— Очень?

— Очень.

— Послушайте, Мишель; я хочу, чтоб вы меня ужасно любили... без меры, без ума... Как я вас люблю...»

Кто-то сказал, что «люблю» — величайшее слово из всех, какие когда-либо могут быть произнесены на сцене. По нему, по этому единственному слову, говорят, узнается настоящий артист. Это — прекрасный звук скрипки, королевы всех инструментов в сценическом оркестре от сотворения театрального мира.

Чермакова это слово пропентала почти неслышно, с такой искренностью, от которой сжалось бы сердце и последнего из зрителей галерки и самого циничного знатока в первых рядах. Сама же Йозефина не старалась понять, откуда взяла она силу и нежность для этого

слова. Нет, она ничего не вызывала в памяти. Наоборот, боялась вспоминать.

Она просто играла, веря в то, что играет.

Но Нелькин, этот порядочный и богатый Нелькин, конечно же, все испортил. Он догадался о мошенничестве Кречинского и привел к нему в дом обманутого ростовщика вместе с полицией. Кречинский разоблачен. Его сейчас уведут, может быть, даже в наручниках. Комедия подходит к концу, мораль торжествует — и тут-то вмешивается Лидочка.

Медленно, приняв решение, во имя которого можно отдать жизнь, Йозефина прошла через всю сцену. В руке у нее злополучная булавка. Она подходит к ростовщику, передает ему эту вещь.

«Милостивый государь! Оставьте его!.. — Тон ее решителен, но она едва держится на ногах, потрясенная роковым поворотом в ее большой любви. — Вот булавка... которая должна быть в залоге: возьмите ее... Это была ошибка...»

Йозефина отдала булавку — у нее вырвалось единственное тихое рыдание, и она, даже не закрывая лица, словно обиженный ребенок, быстро, с болью, повторила:

«Это была ошибка...»

Гробовая тишина в зале. Потом, несмотря на запрещение страшного Колара — он неподвижно сидел в своей ложе, — присутствующим бурно зааплодировали, ибо нуждались в разрядке.

\* \* \*

Отыграли «Кречинского» — и снова покатались для Мошны роли за ролями, непрерывно, под смех публики... Опять — Иеремия Мрквичка, помещик, в оперетте Зуппе «Десять девушек — и ни одного мужчины»; Рампсампрль, наследник имения, в пьесе с куплетами Нестроя под названием «Гвоздичка и рукавички»; Швиторка, директор бродячей труппы, в пьеске Дечанского «Интересность привлекает девушек»; Войтех-разносчик в «Как постелешь, так и ляжешь» Финдайзена; богатый жилец пан Дворжак в оперетте того же Зуппе «После свадьбы, или Неудачи новобрачного»; Гримшпиндель, портной... Бота, слуга... Кониц, слуга... Бамбелый, фокусник... Санкартье, однорукый деячник... Конишек, комедиант... Мелихарек, работник... Сейтварек, фельдшер... Самек, маклер... Кобылка, жокей... Покроутка, кондитер... Карфиоль, официант... и так далее, и так далее — калейдоскоп слуг, половых, глуповатых малых, роли с танцами и прыжками... И лишь изредка, подобно сполохам, взблескивали среди всего этого Расплюев, Воцилка, Принципал...

Йозефина тоже после роли Лидочки играла все тех же легкомысленных дамочек, ядреных служапочек, мелахолических принцесс,

восторженных барышень, непоседливых камеристок, девиц полусвета...

Понятно, что в такой карусели некогда было как следует обдумать образы Расплюева или Лидочки. И Мошна, захлестываемый хохотом, рукоплесканиями, топотом с галерки, часто забывал об этой роли. Наспех переодевался, наспех изменял лицо, лепил носы, выкапывал глаза, натягивал щетинистые парики... Но именно Расплюевы и им подобные охраняли его в пути.

А для Йозефины Лидочка Муромская стала как бы Спящей красавицей, которую она боялась разбудить...

Однажды солнечным осенним днем, вскоре после премьеры «Кречинского», Мошна уселся писать — вернее, переписывать письмо к Пепичке. «Напиши!» — так и слышалось ему слово Калоуса. Все-таки Калоус настоящий друг, думал Мошна, — всегда появляется, когда он больше всего пужен. После премьеры «Кречинского» вот ждал у служебного хода и, увидев Мошну, кивнул ему, счастливый и гордый. Индра тотчас понял, что на сей раз угодил Йозефу.

— Собираешься куда-нибудь? — спросил Калоус тоном, каким спрашивают люди, которые не любят навязываться и боятся нарваться на отговорки.

— Собираюсь похлепать похлебку речников!

Калоус радостно подхватил его под руку.

— Ну а как тебе Расплюев? — спросил по дороге Мошна.

Старый друг вместо ответа порывисто прижал его к себе.

— Это было... Индра, это что-то великое... великое! — не сразу заговорил Калоус. — Я еще должен как следует обдумать, но уже сейчас говорю — великое! Одно только приходит мне в голову...

— Что?

— Такие вещи, наверно, нельзя играть каждый день. Ведь теперь — ты пойми меня! — теперь мне кажется, будто я куда больше люблю всех твоих смешных, а то и глупых персонажей... Понимаешь, сегодняшней ролью ты как бы благословил их... Эх, не умею сказать! Словно ты право им дал... Ну, большее право на существование, понимаешь?

Мошна задумался и очень не скоро ответил:

— Пожалуй, ты прав...

В трактире Едлички все было по-старому. Хозяин непритворно обрадовался возвращению блудного гостя.

— Это он, это он! — в восторге заорал Краеч, едва Мошна появился, и так стукнул по столу своей лапищей, что кружки подскочили.

Все по-старому, только Пепички не хватает.

Воспоминания нахлынули на Мошну — он больше был занят своими мыслями, чем беседой друзей. Чувствовал он себя здесь хорошо, словно дома.

А Калоус уж и не спрашивал про письмо.

Теперь Мошна сидел в своей холостяцкой комнатке над чистым листком и, уткнувшись в ладони, старался вызвать в памяти лицо любимой.

На столе перед ним лежали два рисунка Манеса — карандашный, тонкий, очаровательный набросок деревенской девушки и маленький офорт из серии «Памятки» — потрепанный человечек в мятом фраке, в стареньком цилиндре, опираясь на трость, смотрит на зарешеченное окно тюремной камеры. Под офортом мелким, энергичным почерком подпись: «Чешский Расплюев».

Эти рисунки Мошне подарил Манес, передав их через Славинскую, и Индра страшно был им рад. Он даже не мог понять, чем вызвано такое внимание великого художника.

— Да стою ли я того? Боже, какая прелесть! И как удивительно: Манес, а послал мне... — без конца повторял он.

— Это он на память тебе шлет, Индра. О тебе, о твоём Расплюеве он отзывался с восхищением! Ну, что скажешь? — с горделивой радостью спросила Индржишка, передавая рисунки.

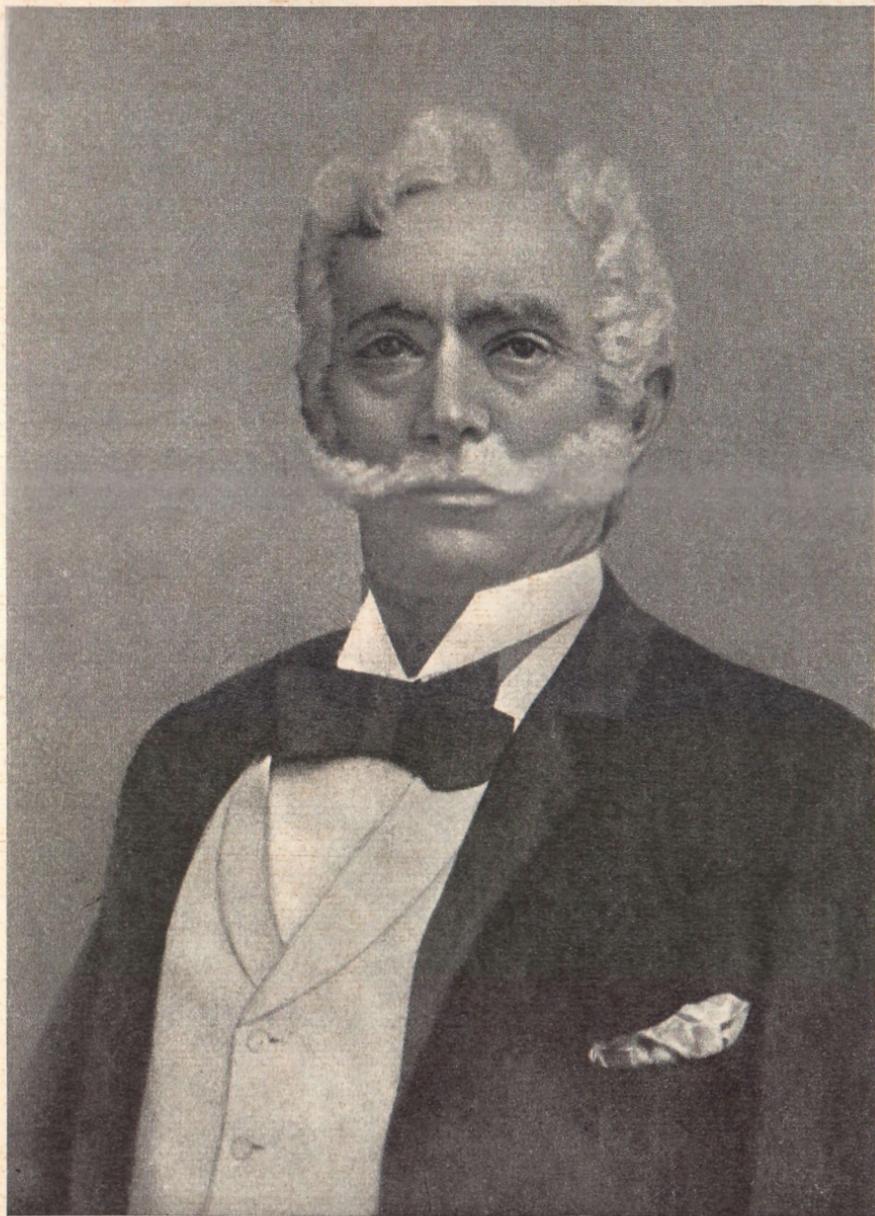
— Ах, какая прелесть!.. — твердил растроганный Мошна. — Этот офорт — до удивления похож на то, как я себе представляю Расплюева! И как точно он назвал его — «чешский Расплюев»... Я ведь действительно в жизни не видел русского Расплюева! И естественно — все иностранные персонажи, будь они неграми или китайцами, в нашем изображении обязательно обретут чешские черты... Как это странно!.. Ну конечно же, наши черты... Раньше я не думал об этом...

— А девушка нравится? Завидую я тебе, — заметила Индржишка, счастливая, что ей даво было стать вестником признания одного ее друга-художника другим.

— Девушка очаровательная, — вернулся Мошна к первому рисунку. — Ты понятия не имеешь, Индржишка, какую радость доставляет мне этот набросок... Как он мог угадать? До чего же чуток... Словно хотел что-то противопоставить этому ничтожеству Расплюеву...

— Сначала он отобрал для тебя офорт, а потом говорит — постой, ладо послать еще что-нибудь. Мошна, как я, пражанин, — пусть же будет у него кусочек нашей деревни. А на хорошенькую девчонку всегда приятно смотреть, добавил он...

— Ах, деревня... — вздохнул Мошна. — Сколько там закопано богатств!



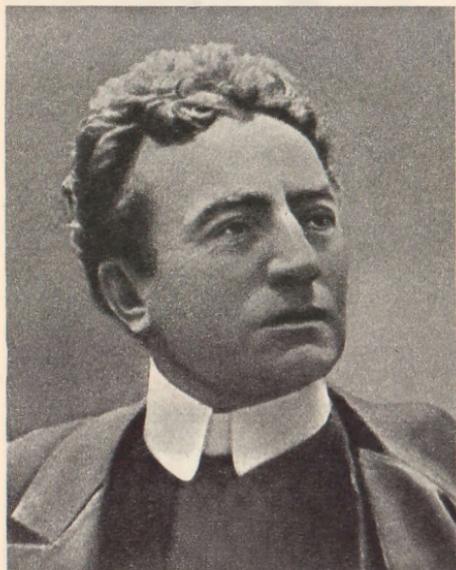
Грибков. «Медведь сосватал» В. Крылова



Ярослав Кванил



Ганна Кванилова



Эдуард Воин



Кырал. «Ян Вырава» Ф.-А. Шуберта



И. Мошна на Международной выставке в Вене. 1892 г.



Адриан. «Адриан из Ржимса»  
В.-К. Клищеры

Перчихин. «Мещане» М. Горького



Сцены из спектакля «Ревизор»  
Н. В. Гоголя. Бобчинский — И. Мош-  
на (слева)





Дивишек. «Отец» А. Ирасека



Михал — И. Мошва, Класкова — М. Гюбперова. «Фонарь»  
А. Ирасека





**Инджих Мошна**

Он долго смотрел на рисунок, напомнивший ему... ну конечно, это похоже на нее — это совершенно она! Подлинные черты Пепички, заслоненные рисованными чертами, исчезли теперь из его памяти. Манес изобразил девушку лет восемнадцати, большеглазую, с округлыми руками, с косами, в вышитой рубашке и фартучке, — она словно выбежала на порог дома да и загляделась куда-то вдаль...

— Помнишь, как бродил ты по деревьям? — спросила Славинская. — Вспоминаешь Пльзень?

Мошна очнулся от задумчивости.

— А, да, Пльзень... Окрестности ее, и девушки из Мирошова...

— Какого Мирошова?

— Ну да, из Мирошова... Разве не помнишь, тогда на ярмарке? — спохватился Мошна.

И вот сидит он теперь над письмом, а сам все поглядывает на рисунок Манеса. Скорее, с этого рисунка списывал он свои чувства, чем со старого черновика.

«Дорогая Пепичка! — начал он, и перо полетело по бумаге. — Я все время думаю о Вас, и такое у меня чувство, словно стоит передо мной Ваш милый образ. Вы исчезли так внезапно — но только не из моих мыслей...».

Недели через две пришел ответ...

Адрес был написан крупным, красивым почерком. Мошна заперся у себя, сел и вскрыл конверт.

«Дорогой пан Мошна!

Первым долгом шлю Вам сердечный привет, и мне очень приятно, что Вы не забыли девушку, которая даже не простилась с Вами. Я тоже вспоминаю о Вас и радуюсь тому, что, когда приеду снова в Прагу, увижу Вас в нашем трактире или в театре, в одной из Ваших чудесных ролей. У нас все время много работы... Я иногда хожу к прудам, вокруг них столько прекрасных цветов. Нынче и грибов много, каждый гриб — с кулак. Вот бы Вам как-нибудь сюда приехать! Здесь очень красиво. Мы очень переживали за вас всех, когда в Праге были пруссаки. Напишите мне еще. В этом году мы наварили много варенья. Как кто-нибудь поедет в Прагу, pošлю Вам горшочек брусничного.

Посылает Вам привет и помнит Ваша  
*Йозефа Едличкова.*

Добржив под Мирошом».

## ПЕРВЫЙ КАМЕНЬ

Наступила весна 1868 года, принеся с собой волнения и хлопоты: все готовилось к торжеству основания Национального театра в Праге. Надо сказать, что торжество это имело вполне самостоятельное значение, когда мысль о театре как таковом отходила на второй план: оно как бы увенчивало борьбу за справедливое решение чешского вопроса в рамках дунайской монархии. Год основания Национального театра был годом мощного протеста против политики национального угнетения, проводимой венским двором. Из-под габсбургского трона сдвинулся еще один краеугольный камень. Общий подъем, требования более справедливого устройства государства, призывы к свободе отдались в умах всех, кто страдал от несправедливости и гнета. Чешские политики и патриоты из интеллигенции и не подозревали, что, распатывая авторитет государственной власти, борясь против национального угнетения, они неизбежно подрывают авторитет власти вообще и содействуют тому, чтобы за первой волной возмущения неумолимо поднялась вторая, более грозная.

Патриотические акции, организуемые и руководимые политическими деятелями, акции, апогеем которых должны были стать торжества в честь основания Национального театра, достигли столь потрясающего успеха только благодаря стихийному участию в них народных масс, всех этих ремесленников, подмастерьев, рабочих первых фабрик, кустарей, крестьян, каменщиков, поденщиков, служанок, батраков... Все они подсознательно чувствовали, что национальное освобождение повлечет за собой если не полное освобождение их от тяжелого труда, страданий и бед, то по крайней мере значительное улучшение условий жизни. Вот почему в тот год столь мощно звучали призывы к свободе, которая облекалась в самые различные одежды.

Вся Чехия и вся Моравия готовились к празднику. Приглашены были представители и других славянских народов, прежде всего словаков, которых оторвало от братьев разделение империи на австрийскую и венгерскую части.

Символом нерушимого единства нации служил уже тот факт, что могучие каменные глыбы, которые лягут в фундамент здания театра, брали по всей стране, из разных памятных исторических мест, таких, как семь гор — Ржип\*, Радгошть, Прахне, Гостын, Туров, Жижков и Бланик\*\*. Когда эти камни — большинство их рабочие вырубали бесплатно — на телегах, украшенных цветами и гирляндами, везли в Прагу, на всем пути их встречали и провожали жители деревень и городов, ликующие, радостные толпы народа. Каждый камень сопровождала почетная конная стража в национальных костюмах, с саб-

лими наголо. А в Праге эти процессии встречали новые толпы, торжественно провожая их к строительной площадке.

Помимо торжественной перевозки символических камней, этих даров земли чешской, было еще множество практичных до трогательности более мелких подарков. Рабочие кирпичных заводов обжигали для театра кирпичи даром, в нерабочее время, и, уложив их на крестьянские телеги, убранные венками, везли в Прагу.

Таким образом, главному торжеству предшествовало несчетное количество местных праздников. То был поистине небывалый — и непредвиденный — подъем всего народа, вылившийся в гигантскую демонстрацию за освобождение от иноземного гнета. И — самое невиданное! — все это сопровождалось песнями, музыкой, танцами, восторженными речами, и участвовали в этом десятки тысяч, и власти были бессильны против такого взрыва энтузиазма.

Шестнадцатого мая на митинг, величайший в истории чешского народа с гуситских времен, в Прагу потянулся стар и млад...

Не удивительно, что в эти бурные и славные дни Пепичка вырвала у отца и тетки согласие на то, чтобы ей вернуться в Прагу к дяде. Однако теперь мысли девушки были уже далеко не те, что одолевали ее, когда она впервые собиралась в столицу. Черты прежнего идеального героя ее грез, которому предстояло совершить поворот девичьей судьбы, давно расплылись, уступив место иному, совершенно конкретному образу. Не трать лишних слов, следует сказать, что образ этот имел чрезвычайное сходство с паном Индржихом Мопшой, актером того самого театра, ради которого вся Чехия поднялась на ноги.

Тетя Анежка проверила корзину Пепички. Зачем девчонка набрала с собой столько вещей? Год, что ли, собирается там жить?

Между тем пражский Едличка хотел видеть у себя племянницу не только потому, что нуждался в помощнице, предвидя огромный наплыв посетителей, но еще и по другой причине.

Калосу непрестанно что-то ему нашептывал, и тот, кому вздумалось бы прислушаться, уловил бы кое-какие цифры.

— Шестьдесят золотых как одна копейка, каждый месяц... И человек хороший, сам видишь — популярный, известный... головой ручаюсь... Счастье двух людей... благодарность... Своих у тебя нет — их детям дедушкой станешь...

А тут еще этот гвалт вокруг театра. Театр — только и кричат что о театре! Ясное дело, отсвет этой ярчайшей славы пал и на актеров, в первую очередь на тех, кто будет работать в новом Национальном. Теперь они вроде как пророки. Где бы они ни показывались — их тотчас узнавали, и тогда — слава, слава, крики, не хуже, чем кричали вокруг камней и кирпичей, украшенных гирляндами и цветами...

В глазах Едлички, который день-деньской слышал в своем трактире одни только разговоры о театре, Мошна возвысился настолько, что трактирщику начало казаться невероятным, что вот один из тех, для которых с таким шумом строят театр, запросто ходит к нему посидеть за кружкой пива...

Подскальские плотогоны и сплавщики, тоже готовившие строительный лес для «своего» театра, прониклись необычайным почтением к «нашему Индре». Пил он теперь из собственной кружки, на которой красиво вывели его инициалы. И стоило ему открыть рот, как все мгновенно замолкали — послушать.

От всего этого до некоторой степени изменилось и отношение пани Едличковой — она, правда, не была «за», но все-таки не могла уж быть и «против», теперь нельзя было даже сказать «ох, уж этот комедиант»... какой комедиант, помилуйте, — глашатай народных чаяний!

\* \* \*

Однажды в субботу после дневного спектакля Калоус подждал Мошну, нетерпеливо прохаживаясь перед входом и время от времени чему-то улыбаясь. Едва Мошна показался, как Калоус завладел им.

— Собираешься куда? — задал он обычный вопрос, но довольно решительным тоном.

— А что такое? — ответил вопросом же Мошна.

— Да нет, ничего... Просто вот жду тебя — не зайдешь ли со мной к Едличке?

Мошна хотел было отказаться, но Калоус не дал ему рта раскрыть.

— Вечером ты не занят — я спрашивал у швейцара.

— Да, но я обещал...

— Пойдем, Индржишек, пойдем, там тебя так ждут! Расскажешь нашим, как продвигается подготовка к празднику. Ребята паготовили леса и вот хотят, чтоб ты был. Нельзя тебе отказываться...

«Что ему опять втемяшилось? Строительный лес будут передавать в следующее воскресенье!» Но Мошна пошел, хотя и не очень охотно: он обещал Йозефине, которой сегодня еще играть, провести с ней время до вечернего спектакля.

У Едлички, как всегда по субботам, было шумно.

Когда наши приятели вошли, Едличка, не отнимая руки от кра-на, заулыбался, кивнул Калоусу, необычно громко приветствовал Мошну и с таким вниманием проводил их взглядом, когда они прошли в заднее помещение, что перелил кружку и пиво потекло на пол. Этого не случилось с ним с незапамятных времен.

Мошну, как всегда, усадили на почетное место.

Прибежал Едличка, неся собственную кружку Мошны — полную, с пушистой пенной шапкой.

— Ужинать будем?

— Дайте, что есть под рукой, мне все равно, — скромно, как всегда — как всегда! — ответил Мошна.

— Ясно дело, все идем, да в национальных костюмах! — говорил меж тем малый с волосами как пакля. — Водники понесут весла на плечах, плотники — пилы, а плотогоны — багры. И — голубые ленты через грудь, да шляпы с блеском!

— А знаете, спросим-ка пана Мошну, что-то он скажет!

— Насчет чего?

— Да насчет лодки!

— Правильно!

— Насчет какой лодки? — спросил Мошна.

— Понимаете, задумали мы поставить на колеса лодку, украсим ее хвоей да флагами, а ребята в нее влезут и вроде веслами-то грести будут, будто по воде, а на корме рулевой...

— Превосходная мысль! — вскричал Мошна.

Он хотел было еще что-то сказать, но, подняв голову, так и замер: в дверь, неся тарелку с супом и не отрывая глаз от нее, входила девушка с раздумявшимся, чуть веснушчатым лицом...

Все в зале постепенно затихало, все с необычайным, радостным любопытством следили, как медленно идет она к столу Мошны.

Позади нее, в дверях, высунула голову пани Едличкова.

Мошна глазам своим не верил. Это была Пепичка. Живая, настоящая.

И он невольно поднялся.

Пепичка поставила перед ним тарелку и только тогда подняла глаза — свои большие, лучистые серые глаза — и улыбнулась.

— Пепичка... — прошептал Мошна.

— Здравствуйте, — шепотом отозвалась она.

— Нет, это вы здравствуйте...

А тут уже подскочил с прибором немного взволнованный Едличка.

— Вилки-ложки — это уж я сам, а то как бы опять не побросала на пол... Известное дело, дуреха наша Пепичка!

— Ну чего, ребята, уставились-то? — на весь зал закричал старикашка, помнивший Наполеона.

Все засмеялись, зашумели, сами не зная, почему им вдруг стало хорошо.

Пепичка же тотчас исчезла и в тот вечер больше не показывалась.

А Калоус радовался, как мальчишка, сыгравший над кем-то первоапрельскую шутку. Он разговаривал и хохотал, как никогда.

Развеселился и Мошна, что не мешало ему то и дело поглядывать на дверь.

«Ну вот, все теперь на своем месте», — думал он.

\* \* \*

В этот день жители Подскалья поднялись в шесть, а то и в пять утра, чтобы к девяти поспеть к Дому инвалидов, где собирались участники гигантского, многотысячного шествия. А вечером в трактире Едлички началось настоящее веселье.

— Ей-богу, больше ста тысяч нас было, черт возьми! — кричал Краеч, по обыкновению ударом мощной длани своей сотрясая посуду на столе. — А костюмы какие, боже мой, а сколько этих разных оркестров, и песни, и крики, и лошади — правильно, черт возьми, нация мы или нет! Мясники, солодовники, трубочисты, пекари, меховщики, суконщики, студенты, барышни — в общем, кого только не было — ну и, ясно дело, мы, подскальские влтавцы, парни что цвет! И каждый цех, каждое ремесло, общество несли старинные свои привилегии — некоторые даны были еще при Карле Четвертом! А конная баландерия — ну, красота!

— Не баландерия, а бандерия, — поправил его Едличка, усердно разливавший пиво по кружкам.

— Ну, пусть бандерия, только лошади у них, что у твоих императорских рейтаров. Нет, ребята, славный был денек, самый славный в нашем веке, так и те господа у камня говорили. А без нас, конечно, не обошлось, верно говорю, ребята?

Подскальцы, разряженные парадно, с лентами через плечо, в блестящих твердых шляпах, радостно встретили его речь; праздничное настроение владело всеми в этом трактирчике, разубранном флагами, хвоей, гирляндами цветов.

Старый Калоус помогал на кухне: резал хлеб, раскладывал по порциям колбасу, ветчину, сосиски — и делал все с таким радушием, словно раздавал свое добро. Он тоже был в приподнятом настроении: о Национальном театре мечтали ведь и рабочие. Он понимал, что это будет в первую очередь их театр — театр самых малых и самых многочисленных, которые в конечном счете и составляют ядро нации.

У них в мастерской или, вернее, на заводике Бёма тоже собирали на театр, как повсюду. Давали даже ученики — по крейцеру, по пятаку, и эти деньги были самым ценным вкладом. Пан Бём отвалил десять золотых и обещал выполнить для театра любые работы.

Сегодня Калоус ходил смотреть шествие. Прагу нарядили, как невесту: флаги, вымпелы, гирлянды, хвоя, венки, ленты, ковры из окон, цветы... Лишь редкие дома, принадлежавшие немцам, стояли небурные, и шторы в их окнах были демонстративно спущены.

Шествие не имело конца: в нем приняло участие тысяч двадцать, да сотни тысяч стояла вдоль улиц. А кликов, а ликования...

Теперь, нарезая хлеб и колбасу, Калоус бормотал под нос: «Для себя строим, для себя!»

В углу, на древке знамени речников, увядал букет сирени. Под знаменем сидели музыканты, поминутно промачивая горло после трудов праведных. Каждый рассказывал так, словно один он присутствовал на торжестве, между тем как все они участвовали в шествии. Их разукрашенную лодку встретили восторженно. Парни в ней усердно работали веслами, словно проплывая водопады... Да это и были водопады ликования, радости, восхищения...

У стойки рослый голубоглазый подскалец, тот, у кого волосы были как пакля, размахивая кружкой, кричал:

— Поднимается нация своею силой, и, черт возьми, если кто осмелится стать у нас на дороге, будет иметь дело с нами!

— Как это сказал пан Палацкый?

— «Благослови, боже, святыню сию!»

— И благословит, ясно дело, ведь тут кровь и пот всех нас, честных людей! — перекрикивали гости друг друга.

Кто-то затянул любимую песню подскальцев, ее тотчас подхватили, и вот уже запел весь трактир. Музыканты один за другим похватили свои инструменты, сложенные было под знаменем, и стали аккомпанировать:

Эй, ребята из Подскалья,  
очень мы старинный род!  
И храбры, и постоянны,  
без чужих затей и мод!

Все, что передали нам отцы,  
сбережем с любовью, молодцы!

И как древняя Влтава  
свой не изменила бег,  
был и будет наш подскалец  
верный и надежный чех!

Что бы ни встретилось в жизни,  
не изменим своей отчизне  
ни-ког-да!

— Да живет наш Национальный театр! — гаркнул от стойки Краеч.

Кружки взлетели — трактир заходил ходуном.

Едличка трудился так, что пар от него шел. Ему помогали за стойкой жена и племянница. Сейчас, войдя в азарт, он так откликнулся на здравицу:

— Эй, Краеч, помоги-ка мне пиво разнести! Давай каждому за мой счет, во славу нынешнюю!

— Батюшки, совсем свихнулся! Экую гибель пива даром! — ткнула его под ребра пани Едличкова.

— Эх, старуха, такой денек раз в жизни бывает! Пускай нынче ребята угощаются!

Тут-то и появились Индржих Мошна со старым Кашкой. У обоих на голове были «подебрадки», а Мошна вдобавок надел синюю суконную куртку с белым галстуком и серебряными пуговицами — новую форму актеров Национального театра, эскиз которой сделал Йозеф Манес.

Мошна долго не мог решить, куда пойти — на официальный банкет или в Подскалье. В конце концов верх одержала любовь — и не только к Пепичке. Что ему делать за официальным столом? А здесь, среди простых людей, и есть настоящая, неподдельная радость! Он даже уговорил пойти с собой Кашку, который тотчас согласился, хотя был не совсем здоров и устал, целый день просидев на трибуне для почетных гостей.

Подскальцы устроили обоим актерам шумную встречу. Краеч бросился к «нашему Индре» и, растолкав окружающих, схватил его руку своей огромной лапой и тряхнул изо всей силы.

— А, наш Индра! Дай-ка, я его поцелую! — орал он, так сжимая актера в своих медвежьих объятиях, что у того дыхание сперло.

А Мошна озирался, ища самые милые, самые прекрасные на свете глаза. Сегодня — да, именно сегодня — он должен поговорить с Пепичкой!

Пепичка выглянула из кухни, улыбнулась Мошне, которого все еще тискал Краеч, и помахала ему рукой.

Сдвинули столы, и во главе их усадили актеров.

Мошна был торжествен и серьезен, старый Кашка — растроган. Только здесь почувствовали они настоящую, непосредственную радость.

— Не говорил ли я вам, маэстро, что здесь вы отдохнете душой и порадуете сердце?

— Это великое счастье, сынок, — с волнением отозвался Кашка. — Ох, если б только дожил Каэтан Тыл — а мог бы дожить, ему ведь нынче исполнилось бы всего шестьдесят...

Тут все стали просить Мошну что-нибудь спеть, что-нибудь веселое, как он умеет. Он отказывался. Не такое было у него сегодня настроение — ему не хотелось дурачиться.

— Знаешь что, сной им ту песню — помнишь, мы сочинили? — шепнул Кашка.

Это Мошне понравилось: они с Кашкой в свое время придумали

другие слова к той песенке, которую некогда спасли на Смиховском вокзале.

Калоус, узнав, что пришли Мошна с Кашкой, бросил свои кухонные дела, схватил спортук и выбежал к ним. Мошна с жаром ответил на объятия друга.

Калоус постучал по кружке, требуя тишины, и поклонился старому Кашке:

— Великая честь для нас, что пришли сюда двое из самых популярных и знаменитых наших артистов — как бы сказать, артисты двух поколений, которых мы с вами давно знаем. Ян Кашка и Индржих Мошна — оба из народа, оба, попросту сказать, были рабочими, а теперь это — художники, любимые народом. Они могли сейчас сидеть на праздничном банкете, а пришли к нам. И особенно приятно, что взглянул к нам известный актер еще тыловской гвардии, наш Кашка, и вот я от души его приветствую, так же как и нашего — нашего Индру!

Волна приветственных криков поднялась и никак не хотела улежаться. Когда восстановилась относительная тишина, встал Кашка и, волнуясь, заговорил глубоким своим голосом:

— От души благодарю вас, друзья дорогие, верные чехи! Сегодня мы только первый камень положили в фундамент Национального театра, но и то уже великое дело — мы начали его строить! Были времена — тяжелые времена! — когда мы жили из милости, играли на чужой сцене, но и тогда мы верили, что когда-нибудь создадим собственный театр. И не могла погибнуть эта вера, потому что жил наш народ и будет жить вечно! Быть может, я не доживу до открытия Национального театра, но уже то, что я дожил до этого прекрасного дня, есть великое счастье! И если вы порой подумаете о нас, о том, как трудно, как тяжело было нам вначале, если когда-нибудь не будете вы знать, что делать дальше, — вернитесь, оглянитесь, — и, вспомнив, от чего все мы пошли, вы найдете правильный путь вперед. Путь этот указали нам великие патриоты, великие любимцы муз — наш незабвенный Йозеф Каэтан Тыла...

Кашка не в силах был закончить — его душили слезы, да и у всех этих грубых, простых людей влажными стали глаза.

Пепичка в дверях утирала глаза концом фартучка.

— Пусть живет и расцветает чешский театр! — разрядил напряжение Калоус, поднимая кружку.

Мошна обнял старого друга Тыла:

— В вашем лице, маэстро, я чту все то, что есть — наш театр!

И, поднявшись с места, обращаясь ко всем — а люди тоже начали вставать, — он воскликнул:

— Да здравствует верный сподвижник Тыла, великий артист и патриот Ян Кашка!

И опять задрожал трактир от бури возгласов.

Все теснились к Кашке, каждый желал пожать ему руку, чокнуться с ним...

Кашка, высоко подняв полную кружку, улыбался, и крупные, тяжелые слезы стекали по его щекам.

— Зачем мне стыдиться моих слез... — пробормотал он как бы в извинение.

Тут к столу приковылял старичок, помнивший Наполеона, и начал со всеми чокаться.

— Эх, ребятки мои, такой уж нынче день чудесный, чудеснее не бывает — нате-ка вот, примите от меня пару пяточков, надо ведь в самом деле достроить театр-то...

Дед выгреб из карманов горсть медаков и высыпал их на стол перед Кашкой. Тот обнял старика, вызвав новый взрыв восторга. Тогда встал Мошна, сделал знак музыкантам и вскричал:

— «За наши миллионы» — знаете?!

И, вскочив на стул, зашел:

Видите — заря сияет,  
солнце над страной встает,  
новый день нам обещает...  
Строит для себя народ!

Последние две строчки, повторяя их, подхватили ближайшие соседи. Мошна, дирижируя песней, начал второй куплет:

Будем, равные средь равных,  
из своих бокалов пить!  
Без чужих мы будем славно,  
как хотим, и петь, и жить!

Со слов «без чужих» к Мошне присоединился уже весь трактир, а он, улыбаясь, энергично взмахивал рукой, указывая такт.

Нам ни наша знать, ни Вена  
не помогут и грошом!  
Собственным трудом и рвением  
храм искусства возведем!

— Да здравствует наш театр! — закричали снова подскальцы, поднимая кружки.

Песня выбралась меж тем на улицу, и ее подхватили те, кто не вместился в трактир, и девушки, и подскальские хозяйки, подошедшие посмотреть, что там такое творится. Пела уже вся улица...

Перед тем как начать четвертый куплет, Мошна вынул золотой, снял шляпу с одного из близстоящих и, подбросив монету, поймал прямо в шляпу.

Вот мой честный грош — в придачу  
отдаю свою любовь!  
Улыбнется нам удача,  
будет наш театр готов!

Он еще не кончил куплета, а в шляпу уже посыпались монетки — медные, никелевые, и даже не один золотой звякнул, падая в общую кучу.

Пусть враги чивят препоны —  
разорвем мы эту сеть!  
И за наши миллионы  
мы по-чешски будем петь!

Последний куплет пели уже совсем дружно — песня гремела по всей улице, а может быть, и по всему Подскалью.

Сгустились тени майского вечера, весело шумел над Влтавой трактир Едлички, и звуки эти разносились далеко, достигая противоположного берега реки.

По Влтаве проплывали лодки с китайскими фонариками. Сверху, со стороны Браника и Хухле, к плотине у Нового Моста, собиралось все, что только держалось на воде: люди, которые не могли попасть на Стрелецкий остров и Жофин, хотели хоть издали, с реки посмотреть на праздничную иллюминацию, которая была как бы продолжением вчерашнего Иванова дня.

Пепичка спустилась к берегу, накинув теплую кацавейку. Там она зажгла свечку и вставила в бумажный фонарик, заранее прикрепленный на носу лодки. Помедлив немного, то и дело оглядываясь на трактир, она наконец села на весла.

В эту минуту из двери трактира выскользнула худощавая фигура. Пепичка — вроде она никого и не ждет — сделала вид, что собирается оттолкнуться от берега.

Мошна подбежал:

— Возьмете меня с собой?

Пепичка подняла голову; по лицу ее было видно, что она довольна успехом своего замысла.

— А вы грести умеете?

— Я все умею! — с некоторой лихостью ответил Мошна и, вскочив в лодку, оттолкнулся от берега. — Как же вам удалось убежать?

— Дядя не любит, чтоб я была в трактире, когда гости уже под хмельком. И потом теперь они и без меня справятся.

— Хорошо, что вы не пропустите такой чудесный вечер... — начал Мошна в виде предисловия к некоему лирическому пассажию, но Пепичка перебила его, проговорив обыденным тоном:

— Вы-то что, вы к праздникам привыкли...

— Как это — привык?

— Очень просто; а для меня, деревенской девушки, это — как сказка...

Разноцветные отблески лодочных фонариков и отдаленных огней иллюминации пробегали по лицу Пепички, а в глазах ее — так казалось Мошне — отражались звезды.

— Думаете, такие праздники часто бывают? Такого даже Прага еще не видывала!

— Для вас это особенный праздник — наконец-то будет большой театр... — помолчав, произнесла Пепичка и вздохнула.

— Ах, это все еще мечта, — вздохнул и Мошна. — Пока построят, много воды утечет во Влтаве...

— Но строить ведь уже начали?

— Легко сказать, строить — тут миллионы нужны, — объяснил Мошна. — Теперь нам надо играть, как никогда! Откроем летний театр на Градбах<sup>1</sup> — это будет вроде нашей копилки. Комедии, оперетты, чтоб зал битком, чтоб выручка побольше! Вот и вы приходите...

— Что я, много ли от меня проку... — с несколько наигранной скромностью ответила Пепичка, глядя, как наклоняется к ней и снова откидывается, работая веслами, ее спутник.

Вспомнился ей их последний разговор — вот уж почти год прошел с тех пор... Сколько передумала она об этом там, дома, сидя в одиночестве у пруда! Порой ее охватывали опасения: актер... забудет... что ему какая-то деревенская девушка?

Теперь сидит она в лодочке, и «пан Мошна», то наклоняясь, то откидываясь, смотрит на нее — да, смотрит именно такими глазами, какие она всегда себе представляла, глазами, полными преданности и желания... Смотреть-то смотрит, да как бы он за этим занятием грести не забыл, а то ведь скатятся с плотины, ой, мамочка!

И слышит она его тихий голос:

— ... А я все думал, все думал о вас, все вспоминал... Ведь я еще тогда — боже мой, чуть ли не год назад! — сказал, что не могу без вас жить...

— Вот видите — выдержали год, и ничего не случилось, — ответила она, хотя собиралась сказать нечто совсем иное.

— Вы мне тогда обещали, что тоже не забудете...

— А разве я забыла? Одно только хочу я знать — вы уж меня простите, может, я и впрямь дуреха, — но что вы во мне увидели — нет, постойте, дайте договорить, и гребите, пожалуйста, а то на плотину попадем!.. Ну кто я такая — простая крестьянка, что я против всех барышень и актрис, окружающих вас... таких красивых, образован-

<sup>1</sup> Hradby — стены, городьба (чешск.).

ных, умных... Вы с ними на сцене играете... Пожалуйста, не смейтесь и отгребите немного вверх, плотина-то уже близко... И вы там, на сцене, признаетесь им в любви, целуетесь с ними... В кафе ходите, домой провожаете — где же тут мне-то место? Нет, не настолько я все-таки глупа, чтоб подумать...

Мошна сильно ударил веслами. Ему давно хотелось разразиться какими-нибудь очень убедительными заверениями, но он сдержался — нельзя впадать в патетику, а то Пепичка не поверит.

Она же, склонив голову, водила пальчиком по воде, по которой скользили красные и желтые отражения фонариков, и ждала — что он ответит. То, что она высказала сейчас, больше всего мучило ее весь этот долгий год.

— То, о чем вы говорите, — это ведь только игра, это театр. — Начав тихо, Мошна с жаром закончил: — Эх, знали бы вы, до чего же такому человеку, как я, необходимо чистое, бесхитрое сердце...

Пепичка, счастливо удивленная, подняла на него глаза — его искренность глубоко тронула ее.

— Не верите? На сцене можно сто раз сказать «я тебя обожаю», но в жизни только раз скажешь «люблю»...

Пепичка тихонько вздохнула. Прикрыла глаза.

Издали, заглушаемая шумом плотины, доносилась музыка.

— Я ведь и сам простой человек, ремесленник, — взволнованно продолжал Мошна, — и мне так нужно, чтобы был рядом со мной кто-нибудь... у кого такие глаза, как у вас... такие честные, открытые... Пепичка...

Они замолчали. Мошна неторопливо выгребал против течения. Фонарик их слегка раскачивался, освещая вопрошающие глаза молодого актера и опущенные веки задумавшейся девушки.

Потом она подняла голову и пытливо заглянула ему в глаза.

— Я еще хочу вам что-то сказать, только боюсь немножко...

Мошна, не отпуская весел, наклонился к ней:

— Чего вы боитесь?

— А вдруг все, что вы мне сказали... здесь... сегодня... при этой музыке, огнях, на реке, в такой праздник... Ах, легко говорить красивые слова!

— Вот вы говорите — праздник... Да разве в такой день мог бы я солгать?

Она посмотрела вдаль, туда, где сверкал огнями Стрелецкий остров, но огней она не видела.

— Ну, может быть, сегодня и пет — когда столько надежд... Но ведь потом опять начнутся будни, и тогда все, быть может, окажется таким... — Она махнула рукой, и в этот миг со Стрелецкого острова взлетел к небу ослепительный фейерверк, озарив спокойную гладь Влтавы.

Ракеты вспыхивали с треском и снова гасли, чтобы тотчас снова с грохотом взметнулись новые, расцветая в небе тысячами огненных цветов. Ликующие крики сопровождали каждый залп. По небу рассыпались бесчисленные звезды и кометы.

Когда час спустя Мошна привязывал лодку, а Пепичка гасила фонарик, оба чувствовали, что стали еще ближе друг другу, но что последняя преграда, пусть совсем уже ничтожная, еще не преодолена...

Пепичка не могла понять — радуется ей или печалит то, что она сдержала обещание, данное самой себе, — «не бросилась ему сразу на шею». Вдруг она показалась себе действительно глупой и упрямой деревенской девчонкой. Конечно же, он ее любит — если б не любил, с какой радости было ему ждать целый год?

«Я не могу без вас жить... Вы мне нужны...» — повторяла она про себя, когда наконец легла, усталая от кухонных дел — ей пришлось еще до поздней ночи помогать тетке мыть посуду. Уткнулась в подушку — и тысячи разноцветных огней вспыхнули перед ее мысленным взором... а Мошна, склонившийся к ней, уже расплывался в тумане... в шуме плотины... — и Пепичка уснула здоровым, крепким сном.

\* \* \*

Итак, фундамент Национального театра был заложен с великим торжеством, ибо событие это действительно явилось для чехов одним из важнейших и самых знаменательных за все столетие. Это был символ, выражение протеста, программа!

Однако много воды утечет, прежде чем театр будет построен. А пока жизнь шла дальше, и чешской Мельпомене приходилось стряпать из того, что было под рукой. Надо было играть на сцене Временного, и в Новоместском, и в «Арене», летнем театре-варьете, построенном на Градбах.

И актерам Временного, пока они не стали труппой Национального, предстояло отыграть еще много-много спектаклей, порой очень низкого уровня, порой при самых неблагоприятных обстоятельствах. Увы, это было необходимо... Ведь, чтобы добыть один грамм золота, сколько перебиваешь грязи...

В июне прибыл в Прагу с официальным визитом сам император Франц-Иосиф. Визит должен был носить парадный, пышный характер — то была особая милость монарха беспокойным чехам.

В Праге поставили триумфальные арки, и лидеры партии старочехов накупили себе белых перчаток.

Молодежь же, особенно студенчество и молодые ремесленники, демонстративно устраивали в дни августейшего посещения загород-

ные прогулки, да вдобавок созывали на Стрелецком острове и в университете большие митинги за равноправие языков. Кроме этого собирались люди и на Староместской площади, возлагая цветы на место, где в 1621 году немецкие победители казнили двадцать семь чешских вождей\*. В те же дни началось настоящее паломничество на Белую гору, в заповеднике которой опять-таки возложили венки в память жертв последней злополучной битвы чехов против Габсбургов. Такие действия, конечно, не могли быть расценены официальными властями как проявление гостеприимства и вежливости по отношению к государю императору.

А чехи в газетах, в театрах и вообще где только могли всячески выражали свои русофильские и германофобские настроения.

Венский двор, хотя и желал всячески проявить свою либеральность, увидел себя вынужденным показать зубы непокорным чехам.

За всякий, даже малейший, намек против правительства на редакторов чешских газет налагали взыскания. Арестовывали организаторов митингов и сходок. Людей наказывали даже за пение русских песен. В Праге была учреждена государственная полиция, и все дела наместничества были доверены грубому солдафону, генерал-подмаршалу барону Коллеру.

Затем, когда и эти меры оказались бесплодными, отменили свободу печати и собраний, в центральной части Праги ввели чрезвычайное положение, распространив его на сей раз — для верности — на рабочие районы, Карлин и Смихов. (Это чрезвычайное положение было снято только через год.)

Не удивительно после этого, что театры — единственное место, где могли собираться чехи, — опять были переполнены. Публика с бурным удовлетворением принимала малейшие намеки со сцены, если они хоть как-то затрагивали сложившееся положение.

У Мошны, как, впрочем, и у других «неосторожных» актеров, было такое ощущение, будто он все время находится на полпути между сценой и новоместской тюрьмой. Тут уж, конечно, было делом ловкости — прыгать невредимым через завышенные препятствия. К счастью, остроумие публики и актеров, как всегда, было несколькими кирпичиками выше, чем та стена, за которой сидели в засаде полицейские власти.

Такие времена необычайно оттачивают чувство юмора у публики, а в комедийных актерах воспитывают такую ловкость, какую не в состоянии были бы дать им никакие уроки и натаскивания. Достаточно было сделать маленькую паузу, несколько сильнее акцентировать то или иное слово, даже просто чихнуть, запнуться, подмигнуть в том или ином месте — и все мигом понимали намек.

Мощна умел осмотрительно маневрировать своими политическими намеками и замечаниями, однако тонкости эти заглушало неотра-

вимое балагурство комика, отлично находящего общий язык с публикой.

Если бы полиция вздумала что-то против него предпринять, пришлось бы запретить ему играть вообще. А такого пункта не было в приказе о чрезвычайном положении. И нужен был очень опытный и умный полицейский чиновник, чтобы доказать вину Мошна, которому достаточно было появиться на сцене — и публика разражалась хохотом.

— Чему они смеются? — недоумевал первичающий полицейский комиссар.

— Ничему!

— Поразительно! Малый еще рта не раскрыл, а все уже хохочут — вызывающе, провокационно...

Мошна, вечный исполнитель ролей слуг, батраков, людей подчиненных, держался на сцене со своими хозяевами так, как не полагается держаться с господами. И над его «дерзкими» ответами надсаживались в хохоте и галерка и партер. А ответы сами по себе были совершенно невинны...

Разве это политическая провокация, когда половой говорит о трактирщике:

«Даст он тебе, как же! Коли сам не ухватишь, то и останешься с носом!»

Или такая реплика, сопровождаемая вздохом:

«Такого и при покойном хозяине не бывало, а тоже ведь кормушку высоко держали!»

А чего стоили такие весьма почтительные замечания об Иосифе II, о котором Мошна, по тексту роли, говорил, что он, «как и всякий император, хорош — так уж хорош, до того хорош, что сил нет!».

И вообще при чем тут Мошна, если люди хохочут так, что зал ходуном ходит! Сам он, позвольте заметить, никогда хорошенько не понимал, чему эти люди все время смеются...

Однажды, когда его в который раз вызвало начальство для объяснений, он ответил с невинным видом:

— А может быть, они потому смеются, что у них совесть чиста!

В летнем театре «Арена» ставили исключительно легкий репертуар, порой даже слишком легкий, за что его и корила критика — как это у нее в обычае, когда публике что-нибудь уж очень нравится. Однако задачу свою «Арена» выполняла — она, как выразился Адольф Чех, помогала «сколачивать публику».

Чрезвычайное положение уже было, правда, снято — свирепые меры гражданского министерства все равно не достигали цели, и с лояльностью к венскому двору дело в Чехии обстояло все хуже и хуже, — но привычка ходить в «Арену» посмеяться осталась. Крутость господина барона Коллера научила пражан регулярно посещать театр. Театр сделался потребностью.

Как ни странно, «Арена» не конкурировала с Временным и Новоместским театрами, наоборот — она способствовала их полным сборам, а выручка ее спасала товарищество от дефицита, так как Временный, даже при полных сборах, был убыточен. (Пан доктор Ригер знать ничего не желал о бюджете Временного, за который он столь яростно ратовал в свое время. А за двадцать лет своего существования театр этот обошелся куда дороже, чем стоил бы большой театр.)

«Арену» построили на том месте, где некогда, от Конских до Житных ворот, тоже уже снесенных, тянулась городская стена. Летний театр представлял собой просторное деревянное строение, приятное на вид, с башенкой на каждом из четырех углов, и над каждой башенкой развевался флаг. Флаги были не просто украшением: их поднимали в знак того, что театр открыт. Сцена и галерея, под которыми расположился удобный ресторан, были крытыми; партер, где зрители сидели за столиками, и оркестр находились под открытым небом.

«Арена» сделалась как бы воскресным клубом пражан — конечно, в ясные дни. Как только начинался дождь, флаги спускали. Вошло в обычай спрашивать: «Флаги подняты? Значит, пойдём!»

При переменной погоде иной раз флаги поднимали и опускали по несколько раз в день, и они сделались чем-то вроде барометра для пражан. Иной раз, однако, дождь начинался и во время представления, но чаще всего спектакля не прерывали: зрители не трогались с места. Просто раскрывают зонтики, и дело с концом. Труднее в таких случаях приходилось оркестрантам, но и тут был найден выход: одни музыканты продолжали играть, другие держали над ними зонты. Конечно, музыка от этого страдала, но зрителей ничто не смущало. Хуже всего было дирижеру: он-то не мог укрыться под зонтик.

«Арена» стала главным доприцем Мошны, на ее сцене завоевал он широкую известность и сделался чуть ли не самой популярной

фигурой тогдашней Праги. Веселый, легкий репертуар, состоящий главным образом из оперетт, предоставлял ему роли, в каких Мошна мог превзойти самого себя перед благодарнейшей на свете публикой.

Другой на месте Мошны под бременем такой славы погиб бы как артист, превратился бы в скомороха. А Мошна прошел через этот огонь соблазна и шумного успеха и сумел не только вернуться из такой ослепительной и опасной экспедиции, но добыть в своей душе то великое сокровище, которое делает великого артиста артистом подлинно народным.

Конечно, он не один играл в «Арене»: Шамберк, Франковский, Сейферт, Франтишек Колар, Тереза Ледерер, Элишка Пешкова, Сак, Хваловский и все прочие артисты драмы и оперы, включая старую пани Гинекову, выпущены были «паясничать» в «Арене».

Цирковой манеж идет на пользу великим артистам, маленьких губит! Это так же справедливо, как то, что овации в «Арене» только пагуба побуждали задирать нос, а провал там прибывал к земле только малодушного!

Однажды чудным воскресным августовским днем в «Арене» играли «Принцессу Транезундскую» Оффенбаха.

Мошне досталась роль Кабриолы, принципала маленького цирка и наноптикума восковых фигур. Эта роль взбудоражила ему кровь и вознаградила за все, от чего его заставили отказаться в «Проданной невесте». Тут он развернулся вовсю. Ходил колесом и на руках, крутил сальто-мортале, жонглировал тарелками и факелами, глотал огонь, сыпал остроты и намеки, от которых так и подскакивал в своем кресле полицейский комиссар — то ли от хохота, то ли из служебного рвения. Кабриола Мошны в те поры пользовался куда большей известностью, чем приматор Праги.

В партере за столиками разместилось больше зрителей, чем полагалось. Задолго до начала спектакля оркестр наяривал популярные марши, не имевшие никакого отношения к Оффенбаху. Официанты с гроздьями пивных кружек в обеих руках так и летали между столиками с виртуозностью, которой позавидовал бы сам Кабриола.

Занавес, на котором художник изобразил панораму Градчан, слегка сбрызнув ее тонкой позолотой, еще был опущен. За ним, на сцене, теснились актеры, разглядывая публику через глазок — одни просто из любопытства, другие отыскивали знакомых, большинство же делали так из чисто профессиональной потребности увидеть публику, своего противника, с которым предстоит поединок и которого полезно рассмотреть прежде, чем это сделает он; заглянуть в лицо противнику, пока он еще не готов... Потому что потом уже некогда бу-

дет, потом уже смотреть будет публика, и это будет самым мощным ее оружием.

— Гляди-ка, что там за важные господа явились! — воскликнул Франковский, игравший в тот день князя Казимира.

— Где? — отозвался Мошна, уже одетый в костюм Кабриолы — белое трико, короткие штаны и жилет из черного бархата, отделанные серебряным галуном.

— Вон, слева, в первом же ряду — видишь?

— Для этого ты должен поддуть меня к глазку!

Франковский отодвинулся.

— Посмотри, до чего же спесивы, особенно дама!

За столиком, на который показывал Франковский, и в самом деле с важным видом восседала немолодая, выглядевшая чрезвычайно благополучно супружеская пара. На muže — белый шелковый жилет, поперек которого тянулась золотая цепь такой толщины, что любой мясник играючи подтащил бы на ней теленка; его краснощекое лицо затеняли поля летнего цилиндра — одним словом, господин фабрикант! Рядом с ним возвышалась супруга — толстая, рослая, роскошная, величественная, да с лорнетом, с золотым лорнетом! На голове ее сидела, а вернее, лежала или даже чудом держалась колоссальных размеров соломенная шляпа, украшенная целым райским садом. Золотые браслеты с камнями охватывали оба ее запястья — одним словом, госпожа фабрикантша!

А с ними, что было вовсе непонятно, сидел старый Йозеф Калоус. Выглядел он в такой компании совершенно невероятно, и если бы временами он не обмешивался с ними словечком-другим, можно было подумать, что к почтенному пану Бёму присоседился какой-то случайный нахал.

Конечно же, слава «Индржишка» (теперь он вдруг стал Индржишек!) привлекла в «Арену» добрых родственников. Калоуса они прихватили с собой как удобного посредника.

Увидев их, Мошна несколько опешил: их появление отнюдь его не обрадовало. В последнее время, когда слава его вздувалась, подобно вешним водам, Бёмы стали «набиваться в родню». Один раз, после многократных приглашений, Индра согласился наконец прийти к ним на чашку кофе. Когда же он увидел, что тетка пригласила «на него» всех своих кумушек, чтобы продемонстрировать его живьем, в натуральную величину, в нем мгновенно взбунтовались те четыре унижительных года, что он провел у них в ученье. И в самый разгар беседы Индра внезапно встал, поклонился дамам и пробормотал, что ему надо немедленно домой, так как он забыл захватить средство от поноса, что он с величайшим удовольствием посидел бы еще в столь приятном и благородном обществе, но не может за себя ручаться... И, оставив тетку раздушенный «девичник» в полном оцепенении, он быстро

удалился. Тетка побагровела, потом побледнела, однако у нее хватило присутствия духа сказать разочарованным дамам: «Бедный мальчик, он переутомился!»

С той поры Мошна уже не был зван, но слава ведь могущественнее репутации...

И вот сегодня чета Бёмов сама явилась к нему.

— Ну, что скажешь? Правда, спесь так и прет? — спросил Франковский.

— Видишь ли... конечно, ты совершенно прав! Только муж вполне приличный человек, — ответил Мошна, высматривая тем временем куда более приятных зрителей — приглашенных им друзей из Подскаля.

— Так ты с ними знаком? — не отставал Франковский.

— Нет! — отрезал от родни Мошна. — Куда мне с такими важными особами знаться... Просто с первого взгляда видно!

— Да ты психолог...

— Отвяжись ты, ради бога, не видишь, я кое-кого ищущу!

Наконец он нашел «кое-кого»: эти «кое-кто» сидели у него под носом, тоже в первом ряду, за средним столиком: пан Едличка с племянницей. Пани Едличкова осталась дома — не запирать же ради театра трактир!

Пепичка, что называется, прифрантилась.

— Ишь как наряжается! — ворчала пани Едличкова, когда племянница приколола к поясу розу. — Видали деревенщину, розу ей падо, ну да уж я-то понимаю, в чем дело!

Пан Едличка не сказал ничего, но, желая поддержать племянницу, воткнул и себе розу в петлицу. Тетка только руками всплеснула.

И вот сидит пан Едличка здесь, восхищаясь, как профессионал, ловкостью официантов. Вместе с дядей и племянницей пришел Франтишек Краеч — еще один мостик к Индре. Краеч весело озирался, то и дело потирая свои лопаты, словно ему не терпелось произвести свои знаменитые аплодисменты, звуком напоминающие грохот сваливаемых бревен.

Мошне, пригласившему Едличков, довольно долго пришлось упрямить Пепичку: ему очень важно было, чтоб она увидела, как любит его публика, как царит он на сцене.

— Я буду играть для вас одной, милая Пепичка! Пусть это будет словно тайное свидание...

— Какое там свидание? Просто приду посмотреть вас, как ходят тысячи людей, — трезво прервала его Пепичка. — А играть-то вы все равно для всех будете — не запретите же вы людям смотреть!

Не нравились Пепичке такие разговоры. Это было похоже на то, как бывало у них в деревне: закажет какой-нибудь богатей музыку

для себя, и только потому, что он бросил музыкантам золотой, никто, кроме него, не имеет права танцевать...

Но, несмотря на это, от слов Мошны ей делалось тепло на сердце.

Очувившись теперь среди большого, шумного сборища, среди людей, с нетерпением ожидающих начала спектакля, Пепичка почувствовала такое волнение, словно ей самой предстояло выступить. Уже и роза эта у пояса вызывала в ней досаду. Ко всему прочему она так затянула корсет, что едва могла дышать. Насколько приятнее было бы побродить по опушке леса за околицей... Ах, то все — сказки, а настоящее-то — именно эта бессмыслица...

Мошну оттеснили от глазка Сейферт и Тереза Ледерер. Сейферт играл сегодня шута Тремолини, Тереза — Регину, сироту благородного происхождения, которая ищет и никак не может найти своего знатного отца.

— Не прогляди глаза, Индра! — прикладываясь в свою очередь к глазку, пошутил Сейферт. — Знаю, ты ищешь Фигу, но что поделать, мы с Терезкой тоже хотим взглянуть, какова-то гидра сегодня... Смотри-ка, Тереза, вон сидят наши!

Тереза прижалась щекой к его щеке, засматривая в глазок.

— Вон, справа, видишь? Три грации и лорд!

Действительно, за так называемым актерским столиком сидели пани Гинекова, одетая просто и со вкусом, хотя и у нее шляпа была немислимых размеров. Она сидела с видом герцогини, как бы покровительствуя двум молодым своим товаркам — Индржишке Славинской и Йозефине Чермаковой. Индржишка была в атласном белом платье в голубую косую полоску, так что все время казалось, что она клонится налево; на Йозефине был черный шелковый туалет с узкими рукавами из черных кружев, а глубокий вырез платья вплоть до самой шеи был закрыт таким же черным кружевом. С ними был единственный кавалер — Франтишек Колар, с неизменным своим блокнотом в руках.

Йозефина сегодня не играла, но, вместо того чтобы отправиться на прогулку куда-нибудь в парк, пришла в театр, словно никак не могла им насытиться.

Индржишка наклонилась к ней:

— Недавно я встретила у Манеса Фердинанда Шульца. Он сейчас ратует за то, чтобы изображения месяцев на башенных часах, написанные Манесом, заменили копиями — оригиналы портятся от дождя и ненастья.

— Пан Шульц уже вернулся из-за границы?

— Давно! Он приехал еще до закладки фундамента Национального...

— И Коунц с ним?

— Кажется, да. Он тебе передает привет и рад был бы встретиться с нами...

— Кто?

— Шульц! А ты что подумала?

— Да, конечно, Шульц... — спохватилась Йозефина. — Благодарю за привет, а если он желает меня видеть, то это не так трудно: достаточно взглянуть на программу, в каких спектаклях я занята...

— Ах, слушай, Фина, я теперь вспоминаю — ведь когда-то Коуниц за тобой ухаживал?

— Немножко... — сказала Йозефина досадливо, как о вещи неприятной. — Но это прошло, когда я дала ему понять, что я... не создана для развлечения графских сынков! — почти резко закончила она.

— Ну конечно, а то ведь что бы сказал Мошна, — улыбнулась Индржишка.

— При чем тут Мошна?

— Да ни при чем. Я знаю, между вами просто дружба, но все же...

— Как ты наивна, Индржишка! — отрезала Йозефина.

Она сжала губы, и между бровей ее пролегла маленькая злая морщинка. О Коунице она давно уже не думала, хотя порой ей не хватало его покорных признаний. А он и писать перестал. Последнее письмо пришло еще во время оккупации Праги. Тогда она как-то даже не осознала, что он больше не пишет — до того ли ей было! Ее переполняли куда более непосредственные переживания. И только со временем, когда вокруг нее образовалась пустота, когда уже ясно стало, что Гельмут не вернется — а она долго надеялась, что как-нибудь, по какой-нибудь счастливой случайности, совершенно неожиданно он все-таки появится, — тогда страстно захотелось ей получить еще одну весточку издалека — знак, что хоть кто-то думает о ней...

Как обычно, начали с опозданием, но не оттого, что играли в летнем открытом театре, а просто тогда редко у кого были часы, да и большинство зрителей являлось в зависимости от того, кто как выспался после воскресного обеда.

Галерка, куда зрители набились гораздо раньше, чем в партер, от скуки и от сознания своего численного превосходства время от времени принималась скадировать:

— Мош-на! Мош-на! Мош-на!

Выкрики эти превращались обычно в ужасающий рев.

— Ах, какая слава! Какая слава! — изрекла пани Бёмова, снисходительно лорнируя орущую галерку. — Прямо слезы набегают, как подумаю, что если бы я не поддерживала Индржишка, никогда бы не попасть ему в театр...

— Я-то это хорошо помню, — сухо отозвался Калоус.

Пан Бём только вскинул и снова нахмурил брови.

Пани Гинскова с известным удовлетворением толкнула Колара: — Видал, Франтишек, как оно нынче-то? Генерала какого и то так не чествуют!

Колар, который немного ревновал — не только к Мошне, но и к «Арене» вообще, хотя и старался скрыть это, — тряхнув головой, про- бормотал:

— Дешевая популярность...

А Йозефине, которую крики эти вырвали из задумчивости, ка- залось — это ей напоминают, что есть у нее друг. Ну конечно, есть ведь у нее верный Мошничка! Ей сразу стало весело, и она нарочно возразила Колару:

— Публика отлично знает своих кумиров!

Занавес наконец поднялся.

Спектакль поистине принадлежал Мошне. Ему отлично подыг- рывали Шамберк в роли воспитателя юного князя и бескорыстный, скромный Франковский, третий в этом ансамбле.

В первом же явлении Мошна превзошел все ожидания.

Сцена представляла маленькую площадь, где перед бродячим цирком и паноптикумом толпились зеваки. Через всю сцену, на вы- соте примерно пяти футов, была натянута проволока. Вот зазвучала музыка, и на сцену, танцуя, входят комедианты во главе с Тремолини и Занеттой; пока они танцуют, над ними вдруг появляется канатохо-дец в белом трико, черных штапишках и жилетке; канатоходец под- прыгивает на проволоке, поворачивается во все стороны, кланяется, балансирует на одной ноге...

Публика затаив дыхание следит за смелым номером. Смотри- ка, настоящего канатоходца наняли, вот это здорово!

Канатоходец сделал оборот назад и, ухватившись за проволоку руками, браво соскочил с переметом и встал на ноги у самой рампы, где, отвесив поклон публике, воскликнул:

— Честь имею приветствовать почтенную публику на нашем представлении!

— Господи, да это Мошна! — в ужасе воскликнула Пепичка.

К счастью, не она одна была поражена — весь зал дружно выдох- нул: «Мошна...» — и загремела овация.

— Вот чертов парень, — плюнул Калоус.

— Пусть-ка кто попробует сделать так же! — орал Краеч. — Вот это артист, черт возьми!

— У меня прямо душа в пятки ушла, — перевела дух пани Гиле- кова.

Пани Бёмова самодовольно озиралась:

— Наш племянник-то!

— Если он такое будет вытворять, я уйду домой, — прошептала Пепичка, которой было очень не по себе.

— Он должен повторить этот номер у нас в Подскалье! — гордо заявил Едличка. — У этого человека великое будущее!

Между тем на сцене открыли паноптикум и стали видны восковые фигуры.

Кабриола заводил их большим ключом, одновременно представляя публике, которая каждое такое представление встречала взрывами хохота и криков.

Фигуры пришли в движение, зазвучала музыка, начался балетный номер. Среди фигур — Наполеон с разбитым глобусом в руках; застреленная в 1848 году, во время боев в Праге, графиня Виндишгрец; слепой малый, которого Мошна представил как автора передовиц одной крупной чешской газеты; замураванная монахиня Барбара Ульбрих, изображавшая в данном случае чешскую оппозицию в венском парламенте; барон Тренк, который «был с венскими господами штрентг»<sup>1</sup>; Белая Дама, бывшая Перхта из Рожмберка, а ныне — императорско-королевская цензура... Под конец Кабриола вытащил за ухо белую лошадь — ее изображали два тащора.

— А мы и эту тварь приручили, из рук жрать станет! — крикнул Мошна, подстегивая «лошадь» кнутом.

Публика уже выла от смеха. Галерка топала, редела:

— Дай ей! Смотри лягнет! На колбасу ее!

«Лошадь», скача по сцене, разбивает фигуру принцессы Трапезундской. Мошна чуть не плачет:

— Ах, где же взять мне теперь такую прекрасную деву?

При этих словах он метнул взгляд к столику Едлички. Пепичка встревоженно потупилась.

Тут Регина — Тереза Ледерер предлагает занять место разбитой фигуры, пока ее не починят.

— Живая девушка — все-таки живая! — вскричал Мошна, снова адресуясь к столику Едлички.

Он понимал, что так заигрывать с публикой, как он заигрывал с Едличками, не принято, нехорошо, но, ослепленный самим собой, он поддался увлечению и, словно привороженный, не мог уже играть иначе; на несчастной Пепичке было сосредоточено все его внимание. Эта игра достигла апогея в сцене, когда владетельный князь Казимир спрашивает Кабриолу, откуда тот родом, и Кабриола, ничтоже сумняшеся, мгновенно отвечает, что родом он из Подскалья. И, дав знак оркестру, Мошна занел куплет...

Не важно, что играли Оффенбаха, — тогда такие шуточки на сцене были в ходу. И вот в «Принцессе Трапезундской», типично французской оперетте, зазвучала такая отнюдь не французская песенка:

---

<sup>1</sup> От нем. «streng» — строг.

Прага — вот моя отчизна  
и с Подскальем Вышеград,  
мне они дороже жизни,  
здесь мне каждый — друг и брат!

Я — Праги сын, люблю Влтавы воды,  
люблю я вольность и цветы свободы...  
Прекрасен Град наш, горделивый замок,  
и нет прекрасней девушек-пражанок!

При последних словах Мошна опять до того многозначительно посмотрел туда, где сидели Едлички, что уже и непосвященные могли кое-что заподозрить.

Франтишек Краеч, восхищенный песенкой, хлопал так, что земля содрогалась, и орал, словно его резали. К счастью, он был не одинок — галерка и партер подхватили припев; они приняли песенку, сделали ее своей.

А Пепичка, вместо того чтобы испытывать благодарность — ибо песенка действительно посвящалась ей, — сидела как на иголках. Дядя едва удержал ее за руку — она готова была убежать. Он вообще перестал понимать девчонку!! Что это на нее накатило? Сам он был в восторге от того, как прославляли его родное Подскалье и отличали племянницу перед столькими людьми.

Пани Бёмова поднесла лорнет к глазам:

— Кто эти люди, Калоус? Кажется, они знакомы с нашим Индржишеком?

— Еще бы не знакомы, когда эта барышня — его невеста! — нарочно сказал Калоус, предвосхищая события.

— Невеста? — надулась от удивления пани Бёмова. — Aber, Anton, послушай — у него невеста, а мы ничего не знаем! Что же они за люди?

— Он — трактирщик из Подскалья, она — его племянница. Иногда помогает дяде, — с важным видом объяснил Калоус.

— Как — девчонка из трактира?! Unmöglich!<sup>1</sup> Такой великий артист, Прага по нему с ума сходит, мог бы выбрать лучшую из лучших семейств! Aber, Anton, здесь надо вмешаться!

Калоус решительно перебил ее:

— К вашему сведению, Пепичка Едличкова — девушка честная и славная. У ее отца тоже трактир и мясная лавка, а Пепичка — единственная дочь. В Прагу ее послали, чтоб привыкала к делу, потому что дядя ее бездетен. По моим подсчетам, она получит в приданое тысяч десять золотых — да, десять тысяч!

Большую часть этих сведений Калоус тут же и выдумал, чтоб допечь хозяйку; а впрочем, все это могло оказаться правдой.

<sup>1</sup> Невозможно! (нем.).

За актерским столиком тоже, конечно, заметили внимание Мошны к достойной племяннице пана Едлички.

— Сдается мне, все эти комплименты наш Индржишек адресует вон тому столику, — бросил Колар.

— А она сердится, посмотрите, — показала головой пани Гинекова.

— Вы разве не видите, что он просто забавляется? — грянула головой Йозефина. — Он развлекается — смотрите, девчонка уже сама не своя!

Йозефина все более возбуждалась. Она хлопала изо всех сил, кричала, посылала Мошне воздушные поцелуи. А про себя злилась, что так себя ведет. Но ее раздражала незнакомая девушка за столиком в первом ряду, и все это Йозефина делала, собственно, только назло ей. И это злило Йозефину больше всего.

Пепичка же, наоборот, сидела мрачная и нарочно не смотрела на сцену.

Бедняга Индра словно ничего этого не видел. Он вытворял такое, что и впрямь мог бы «убиться до смерти», как заметила, изнемогая от смеха, Гинекова.

А Пепичка, склонив голову, платочком вытирала глаза. Да, она плакала, плакала от огорчения, причины которого не понимала. Ей жаль было Мошну. Но — почему?! Ведь у него такой успех! Но именно эти слезы лишили Йозефину покоя. В эту минуту и ей Индра стал как-то особенно дорог.

Колар наклонился к Гинековой:

— По-моему, это уж чересчур. Пора бы Индре остепениться. До чего он публику довел — я такого в жизни не видывал.

— А я так знаю один превосходный спектакль, — вместо ответа сказала Гинекова, — где Мошна играет тоже Принципала, но там он играет совсем не так, как этого сумасшедшего Кабриолу!

Колар вопросительно посмотрел на старинную свою приятельницу.

— Я имею в виду роль Принципала в «Проданной невесте», — добавила та.

— Боюсь, Магдушка, он и там пересаливает. Сметана все еще не закончил некоторые переделки, и, думаю, у него нет никакого желания дать эту роль Мошне в новом варианте оперы!

— Не может быть! — воскликнула пани Гинекова. — Что бы там ни говорили — лучшего Принципала не найти! И как это — после стольких спектаклей отнимать роль у актеров?! Да знаешь ли ты, что это для актера значит? Не могут они так с ним поступить!

— Я говорю то, что знаю. И я бы не удивился.

Оперетта подошла к концу. Публика уже только визжала и топала. Мошна был властителем вечера. Его осыпали цветами и

множеством маленьких подарков: пачка сигар, бутылка вина, коробка домашних сладостей, даже красиво перевязанный ленточкой пакетик, в котором оказались две пары носков — практичные знаки признательности простых людей. Другой бы, пожалуй, обиделся, но Мошна знал, что все это дарят с любовью. Сегодняшний успех делал его особенно счастливым, ибо он думал, что, завоевав сердца тысяч, он тем вернее завоевал одно-единственное сердце, столь дорогое ему.

После спектакля множество зрителей и друзей ожидали актеров, особенно Мошну. Пепичка все время порывалась уйти, но Краеч не пустил ее. Дядя же попросту не обращал внимания на поведение племянницы. Одно слово — деревенская дуреха! Сам он был доволен чрезвычайно, никогда он так не веселился, и он был горд тем, что его приятель так знаменит. Вот ведь — все эти люди здесь только и ждут, как бы хоть дотронуться до него! А он, Едличка, пойдет с ним домой и ужин ему подаст, и он может не только дотронуться до Мошны, а даже похлопать его по плечу, и вообще...

Едличка, Краеч и Пепичка стояли немного в стороне от толпы. Подошедшая Йозефина встала так, чтобы хорошенько рассмотреть Пепичку.

«Что за капризы у этого Индры, ведь в девчонке ничего такого нет, ну ничегошеньки привлекательного... Сильный подбородок, непокорные волосы, жесткие, выгоревшие от солнца, и фигура не очень изящная, и...»

Тут Пепичка подняла глаза и встретила взглядом Йозефины. Та вздрогнула.

«Да, глаза у нее красивые — лучистые такие, и взгляд твердый», — нехотя признала актриса.

Пепичка же, не смущаясь, рассматривала Йозефину, словно та была предметом, выставленным в витрине.

«Да, глаза у нее красивые, ясные, — повторила про себя Йозефина. — Такая не отступится, пойдет за тем, что ей нужно, хоть в самое пекло... Да это Доротка! — вдруг осенило Йозефину. — Ну конечно, Доротка, невеста Шванды-волышника... В таком случае я — капризная принцесса Зюлейка...» — пронеслось у нее в голове, и она вспомнила, как когда-то попрекнул ее этим Мошна — давно, в Семинарском саду...

— Идем же, чего ты ждешь? — окликнула задумавшуюся Йозефину Славинская. — Еще опоздаем на вечерний спектакль...

Йозефина посмотрела на нее отсутствующим взором. Ах да, вечером играть... Очнувшись от мыслей, она движением головы отбросила со лба непослушный локон.

— А где же Сейферт? Подождем его...

— Он давно ушел с Терезкой. Пойдем, Фипа!

Йозефина взяла Славинскую под руку и, ни с кем не прощавшись, стремительно двинулась прочь.

— Что с ней такое? — недоуменно пробормотал Колар.

— Ах, да просто сама не знает, чего хочет, коза сумасбродная... — ответила Гинекова.

В это время к ожидающим подошли супруги Бём — не хотели упустить случая повидаться с дорогим племянником. С ними был и Калоус.

Мошна выбежал, еще разгоряченный, сияя от счастья, и, увидев Пепичку, бросился к ней.

— Ну, а нас-то даже не замечаешь? — окликнула его тетка.

— Простите, тетушка, я и впрямь не заметил!

Пришлось познакомить важных родственников с подскальскими друзьями, причем тетка, сейчас же сообщив всем, как они любили милого Индржишека, благосклонно протянула руку Пепичке.

Девушке все это было до крайности противно.

Тетка же, желая испытать свою притягательную силу, с ходу пригласила знаменитого племянника поужинать в ресторане «Английский двор» (где сама еще ни разу не бывала).

Мошна почтительно поцеловал ей руку и довольно бесцеремонно заявил, что не пойдет, поскольку давно приглашен в другое место.

— А, понимаю, понимаю, — с неизменной благосклонностью кивнула Бёмова, словно была любимой наперсницей Индры; этот благосклонный тон стоил ей больших усилий, потому что охотнее всего она обломала бы свой шелковый зонтик об милого племянника, а заодно и об его невесту.

Дядя Бём с сожалением смотрел им вслед — вот они уходят, видимо, в свой подскальский трактирчик, а он с такой охотой пошел бы с ними, посидел, поболтал с артистами, они ведь такие веселые...

Откланялись и Колар с Гинековой, и папи друзья, ни слова не говоря, отправились все вместе в Подскале.

Теплый августовский день клонился к вечеру. Из сада Эмаузского монастыря потянуло запахом зреющих абрикосов. Калоус, проведив немного Бёмов, догнал компанию и теперь вместе с Краечем увлек вперед пана Едличку, чтобы дать возможность Мошне с Пепичкой немного отстать. Правда, Едличка из приличия то и дело оглядывался на племянницу.

На темнеющем небе появился смутный еще, бледный серпик месяца. На улицах стихло; кое-где в домах зажглись огоньки.

Мошна, в восторге оттого, что все ему сегодня так хорошо удастся, говорил не умолкая, стараясь подвести разговор к одному заветному, решающему слову. Ему немного мешало присутствие тех троих

впереди, потому что заветное-то слово следует подкрепить приятным образом... А этот Едличка поминутно оглядывается...

Пепичка шла молча. И чем больше болтал Мошна, тем упорнее молчала она.

— Понимаете, некоторые коллеги меня недолюбливают, — усердствовал Мошна, — но мне это репительно все равно! Для меня главное — зрители. Знаете, у меня иной раз бывает такое ощущение, словно я купаюсь в их смехе. Тогда я нередко совершенно невольно выхожу, как мы говорим, из роли и откалываю такое, что сам удивляюсь. Тогда я сам себе не принадлежу и мне уже все нипочем. Вообще-то я хотел перейти на более серьезное амплуа, понимаете, это так заманчиво — характерные роли! Я накопил уже много образов — людей, которых видел на улице, в трактире, на базаре и вообще, — и потом еще серьезные образы, крестьяне к примеру, удивительные типы... Но публика хочет смеяться, ей нужно веселье, шутка, и чем больше дурачиться, тем больше хотят они видеть во мне...

— Шута! — вырвалось у Пепички.

— Шута?.. — Мошна точно с неба упал и не сразу собрался с мыслями, чтобы ответить. — Ну... не так уж буквально... в этом, впрочем, и приятели мои стараются меня убедить, но ведь народ-то, понимаете, все эти маленькие, простые люди, самые благодарные зрители — им после целого дня труда и забот хочется отдохнуть, забыться, и я...

— В трактир моего отца, — сухо перебила его Пепичка, — или вот в трактир моего дяди они тоже ходят и пьют, чтоб забыться!

Мошна так олешил, что не мог и слова выговорить. Эта девушка совсем сбила его с толку. В ее твердых и таких неожиданных словах он почуял — пока еще очень неясно — некую далекую, горькую истину, ту истину, которая может выбить почву у него из-под ног. Целая буря поднялась в его душе. Как же так?! — хотелось ему кричать. — Неужели могут ошибаться тысячи, сотни тысяч людей, ошибаться спектакль за спектаклем? Как спасение вспомнились ему и слова Кашки; после долгого молчания он заговорил:

— Не забывайте, что смех освобождает! Это вам не алкоголь, смех — самое драгоценное, что только известно людям. Смехом можно бороться, можно радовать сердце, — речь его текла теперь плавно, и он уже думал, что одержал верх. — И потом возбуждать смех и быть смешным — огромная разница!

— А вам и до этого недалеко! — холодно прервала его Пепичка. Она с трудом владела собой, до того ее разбирала злость.

Все отчаянные попытки Мошны объяснить, убедить ее — даже те доводы, в которых он был совершенно прав, — разбивались о какое-то злое, мелочное чувство Пепички. Йозефина никак не пла у

нее из головы... Как она аплодировала, эта актриса, как неприлично посылая ему воздушные поцелуи! Так это он ее хотел порадовать? Пепичка досадовала, что все сказанное ею Мошне и не имевшее ничего общего с той барышней в черном вызывающем туалете, сказанное искренне, от душевной тревоги за него,— что все это отступает перед чувством ревности, которого она не знала ранее,— больше того, теперь ей даже казалось, что именно это чувство и рождает всю эту горечь, злость и опасения за Мошну.

Так они дошли до дому. Едличка с приятелями уже вошли в трактир, где их довольно неприветливо встретила пани Едличкова.

— А девка где? — спросила она их еще в дверях.

— За нами идет, — ответил Калоус.

Едличкова выглянула на улицу и, увидев на углу Мошну с девушкой, захлопнула дверь.

— Старик им мирволит, да потом наплачется, — ворчала она про себя. — Пусть он порядочный, и шестьдесят золотых в месяц, а все, как ни кинь, — актер! Побалуется с девкой, да и бросит. Как я тогда деверю в глаза погляжу!

Не хотелось Мошне заканчивать вечер в таком настроении. Теперь-то он ясно видит — Пепичка не такая, как все, она совсем другая! Свои у нее суждения, и прямота душевная, но — не понимает она театр! Не понимает, что такое дыхание публики. Но тут поднялись в нем давние сомнения. Припомнил он своего Расплюева, и восхищение Манеса и старого Калоуса... Подумал о Манесе — в памяти мелькнул его набросок крестьянской девушки. Этот образ потянул за собой воспоминание о «Проданной невесте», и увидел Мошна себя балансирующим на канате, кувыркающимся, кокетничаящим с публикой... Неужели же, черт возьми, прав этот проклятый Неруда? Как тут разобраться?

Подойдя к двери, они остановились. Вдруг Пепичка подняла голову — в ее серых глазах было столько невыразимой преданности и вместе с тем тревоги и укора...

Мошна хотел взять девушку за руку, но та отдернула ее и сказала довольно резко:

— И недостойно это мужчины — в шутах ходить!

Опять словно ударила! Мошна едва собрался с духом и спросил:

— А другие-то как же? Разве я один играю комедийные роли?

— А они... а мне до них дела нет! — чуть не со слезами крикнула Пепичка и мгновенно скрылась в дверях.

Мошна протянул ей вслед руку... Потом растерянно оглянулся и, не зайдя в трактир, повернул к реке.

Медленно шел он к Влтаве, спокойной как небо над нею. Дойдя до причала, к которому привязывали лодки, он лег грудью на

перила и в глубокой думе наклонился над зеркальной гладью воды. Отражение его лица покачивалось между лодками. Оно удлинялось, извивалось, кривилось... Мошна поднял камень и со злобой швырнул его в свое отражение.

— Шут, опять шут!

Отражение разбилось на тысячи изменчивых бликов. Мошна замер с поднятой рукой — и вдруг огромная радость пронзила его, он поднял голову, пробормотал про себя последние слова Пепички: «Мне до них дела нет!» — и чуть не закричал:

— Зато до тебя ей есть дело! Ведь она тебя, дурень, любит!

\* \* \*

Вернувшись домой после вечернего спектакля, Йозефина чувствовала себя усталой и измученной. В голове у нее немного шумело, какое-то тягостное чувство владело ею, доводя чуть не до слез. О том, чтобы уснуть, она и думать не могла.

В доме все уже затихло — как всегда, когда она возвращалась из театра. Лишь временами из кухни снизу доносился стук двери — Барушка еще возилась по хозяйству.

День сегодня был для Йозефины трудным — он нес с собой какое-то решение. Но — какое? Отчего ей так тяжело? Ведь ничего не случилось! Может быть, все оттого, что сегодня сначала смутно, а постепенно все четче и четче она осознала, что она, собственно, одинока? Мысленно Йозефина видела себя стоящей у выхода из «Арены» — кругом множество людей, и каждый куда-то спешит, уходит под руку с друзьями, уходит обнявшись влюбленные, только она... если б не Индржишка, так бы и осталась одна как перст.

Йозефина села к пианино, машинально открыла крышку. Почему она так проигрывает в жизни? Ведь захоти она только — была бы окружена такой любовью, что и унести не под силу...

Положив руки на клавиши, вспоминала, как впервые играл ей Дворжак любимую папину песенку — «Liebe bist du! Liebe bist du!..». Сколько было в этом любви... и верности! Дворжак все еще ходит к ним, продолжает занятия музыкой, правда, теперь уже почти только с одной Аннинькой; но — ходит. Неизменно внимательный, неизменно... быть может, любящий.

Йозефина прикрыла глаза. Эта песня словно молнией высекала воспоминание о другом, о песне любви — любви, рожденной тем, что она спасла жизнь рабеного. Кто он был? Явился откуда-то, куда-то исчез... Ах, кем бы ни был он — то была любовь... да, любовь...

Если б суждено ей было еще раз пережить всю горечь и сладость такой любви — да за единый день отдала бы она остаток жизни!

Вдруг ее затопило чувство несказанной благодарности к этому, такому близкому и такому не узанному человеку, который прошел через ее жизнь на своем неведомом, затерянном пути. Никто не принадлежал ей полнее, чем он — он, находившийся между жизнью и смертью, — и вот он исчезал, удалялся...

И тогда всплыло перед ней другое лицо — покорное, любящее, преданное — и тоже исчезнувшее, тоже замолкшее. Только любовь способна понять любовь! О, теперь-то Йозефина знает, что такое тоска — не та неясная, смятенная тоска, которая сопровождает девичьи мечты, а ясная, определенная... Ах, почему она так страшно одинока?!

Йозефина подошла к своему секретеру, вынула письма Коуница. Рассеянно стала перебирать — писем должно было быть семь. Вдруг ей показалось, что их не семь, а восемь. Она пересчитала: да, восемь! Откуда же восьмое? Вертя конверт в руке, чуть не испугалась: он не был вскрыт. Как же так? Йозефина торопливо разорвала конверт. Письмо было помечено концом июля 1866 года.

Это было как привет из прошлого. Прикрыв глаза, Йозефина старалась сообразить, когда же она его получила. И смутно припомнила, что это было... да, это было, когда уже появился Гельмут. Да, она тогда отбросила письмо — как мертвый, как ненужный предмет.

Подобно заблудившемуся путнику, нашедшему внезапно прежнюю свою тропу, подседа Йозефина к лампе и привялась читать:

«...Это письмо будет последним. Я посылаю Вам его с болью в сердце — неужели не дадите мне хоть какой-то знак, что вы по крайней мере читаете мои несчастные послания? В безумии своем я полагал, что мне будет достаточно писать Вам без надежды на ответ. Теперь же вижу — это выше моих сил! Я сам себе кажусь блуждающим в пустыне собственных чувств... К этому прибавляются опасения, что я становлюсь навязчивым, что Вы вправе просто со страдальческой усмешкой выбрасывать мои чувствительные излияния, — а может, даже и этого их не достаиваете. Но знайте: одного Вашего знака, одного слова будет довольно, чтоб я появился возле Вас, где бы Вы ни были...»

За строчками письма все яснее и яснее вставало перед Йозефиной лицо Вацлава — покорное, преданное, ждущее...

— Нет! Никогда! — вполголоса воскликнула она, отгоняя эти ожившие воспоминания как некую измену. Никогда не забыть ей трепетной руки на клавишах рядом с ее собственной, маленькой, напрасно старающейся ускользнуть — и не забыть любимого лица, склонявшегося к ней... Словно очнувшись, Йозефина воскликнула:

— Да был ли он вообще? Или то — обман чувств?

На сей раз уже Мошна поджидал Калоуса у заводика Бёма. Калоус долго не появлялся. Из чугунных ворот вышли уже, кажется, все рабочие Бёма, и только этого Калоуса, как назло, сегодня нет как нет. Мошна опасался, чтоб его не увидели дядя с теткой. Наскучив ожиданием, он сердито повернулся и побрел прочь — зайдет, пожалуй, к Чермакам, а там и в театр пора...

— Вот так штука! Индра? — раздался за его спиной знакомый, немного хриплый голос старого друга. — Ты откуда взялся?

— Да так, мимо проходил, — ответил небрежно Мошна. — Слушай, Калоус, зачем ты, работая в Карлине, живешь в Подскалье?

Калоус улыбнулся:

— Не для того же ты пришел, чтобы спросить об этом? Что случилось? Пепичка?

— Да нет... то есть — да! Как ты догадался?

Калоус только усмехнулся.

Мошна помолчал, шагая рядом с другом, потом взял его под руку и постепенно открыл ему душу, пересказав весь свой последний разговор с Пепичкой.

— Понимаешь, так и сказала: шут! Верить ли? Шут! Если бы я собственными ушами не слышал — никогда бы не поверил. При всем том, Йозеф, я убежден, что ко мне она относится исключительно честно, просто нарочно пугает — кажется, не верит мне, что ли... И потом определенно она меня... ну, это я тебе после скажу. Я теперь задумал одну вещь, и ты должен мне помочь, Йозеф! Надо, чтобы Пепичка увидела меня в другой роли! Господи, не одних же я шутов играю! Я ведь сначала был любовником и хотел им остаться! А тут все хором заголосили: ты комик, прирожденный комик! И вот теперь шутом называют...

— Ну, скажу я тебе, — начал Калоус мягко, стараясь не очень задеть болезненное место Мошны, — ведь, кажется, что-то подобное, только другими словами, говорил тебе и Сметана — да и я вроде того толковал... А ты, как упрямый мул, все по-своему... Впрочем, что ж, у тебя большой успех — может, ты и прав... Конечно, я, видя твоё... этого... Сасплю... в общем, в той русской песне, — я могу сказать, что ты не только шут, это было бы несправедливо...

Долго молчал Мошна, потом вдруг чуть ли не со слезами у него вырвалось:

— Может, вы и правы, черт вас возьми! Но ведь теперь-то дело о Пепичке идет! Она должна увидеть меня в другой роли! Во Временном возобновляют «Волынчика из Стракониц». Я, правда, играю там уже не Шванду, но я попрошу эту роль. И Пепичка должна прийти, я покажу ей, шут я или нет!

Наконец-то и объяснилось, зачем Мошна поджидал Калоуса: тот должен пригласить Пепичку в театр, в случае необходимости — притащить силой, пусть увидит Индржишка в серьезной роли и поймет, до чего несправедливо ее суждение!

Мошна разыскал Франтишка Колара и напрямик заявил ему, что хочет и должен играть Шванду.

Колар собрался было возразить, да осекся. Последнее время Мошну словно подменили. Он стал раздражительным, неуживчивым и даже, чего с ним никогда не случалось, отказался от одной комедийной роли, в которой имел большой успех.

«С ним что-то произошло. Лучше не раздражать его, выждать, пока он успокоится», — рассудил Колар и согласился отдать ему роль Шванды.

На другой день, встретив в театре Йозефину, Мошна поторопился крикнуть ей:

— А я опять тряхну стариной в Шванде, Фина! Хотя бы все лопнули от смеха или ярости!

Йозефина улыбнулась.

— Чему ты смеешься? — вскипел он.

— Ничему; я ведь тоже играю в «Волынщике».

— Знаю, принцессу Зюлейку.

— Все ты видишь во мне только принцессу Зюлейку, — с легкой грустью ответила Йозефина. — Разве не могла бы я сыграть и Доротку?

— Доротку? — поразился Мошна.

— Ну вот — и ты такой же, как все... Если ты не против, я буду играть Доротку! Но тебе ведь все равно, ты же играешь Воцилку, — как ни в чем не бывало ответила Йозефина.

— Да говорю же тебе, что я Шванду играю! Ты что, не слушала меня? — чуть ли не с угрозой вскричал Мошна. — Постой, а ты, говоришь, кого будешь играть?..

Только теперь до него дошло, что Йозефина будет его партнершей.

— Доротку; а что тут удивительного? — опять с некоторой печалью улыбнулась актриса.

Случай тоже порой разыгрывает свои комедии — вчера Йозефина зашла в канцелярию, и там между прочим узнала, что Скленаржова заболела и ищут ей замену на роль Доротки. Там же она увидела в расписании, что Шванду будет играть Мошна. У нее даже дух захватило.

Да в этом — перст providения! И она сама вызвалась заменить Скленаржову.

— А что я играю Шванду — это разве удивительно? — взъялся на нее Мошна, который от раздражительности во всем теперь видел усмешки да намеки в свой адрес.

— Ну что ты, Индра, я ведь потому и попросилась на Доротку, что ты играешь Шванду, — с непривычной для себя прямою призналась Йозефина. — А тебе это неприятно?

— Нет, Фина, напротив, — вдруг смягчился Мошна. — Я знаю, ты одна тут настоящий мой товарищ. Ты меня понимаешь, ..

— Понимаю? Ты отлично знаешь, что я тебя люблю...

Мошна был тронут. Да, славная девушка Йозефина, и действительно только она его и понимает. Чтоб сделать ей приятное, он сказал:

— Вот и отлично, ведь мы с тобой, собственно, никогда еще не играли — вернее, играли, но не влюбленную пару. Ах, Фина, ты не представляешь, сколько связываю я с успехом этого спектакля. Но это я тебе открою после, вот тогда-то ты порадуешься!

\* \* \*

Молодой Коуниц еще в прошлом году вернулся после долгого пребывания за границей, но тотчас уехал в Вену, чтобы закончить юридическое образование. Каникулы он чаще всего проводил в Моравии, в Прагу же наезжал лишь в исключительных случаях и ненадолго. Она слишком напоминала ему о том, как обманула его любовь, и он по-прежнему жил, можно сказать, на чужбине.

Теперь Коуниц уже с неделю как приехал в Прагу к матери, вызвавшей его. Большую часть времени он проводил дома, делая лишь необходимые визиты да иногда выезжая в коляске за город — один или с Шульцем.

Открытая коляска, запряженная двумя хорошо подобранными по масти гнедыми, неторопливо покачивалась по збраславской дороге. Под обрывом, вдоль дороги, тихо струилась Влтава меж берегов, заросших тростником и старыми ивами.

Коляска въехала в аллею молодых тополей.

— Что ты делаешь нынче вечером? — спросил вдруг Шульц задумавшегося Вацлава.

— А что?

— Не хочешь пойти па «Волынчика из Стракоиц»?

— Да нет...

— Спектакль обещает быть интересным. После долгого перерыва Шванду снова играет Мошна, — заметил Шульц, имея в виду, однако, нечто иное.

— Вот уж поистине будет потеха,— сухо ответил Вацлав.— Слышал я, Мошна обрел наконец себя — переворачивает своим паясничаньем «Арену» вверх ногами, даже по проволоке ходит — что ж, это на него похоже!

— Мошна-то? Нет, не так-то это просто,— возразил Шульд.— Он, правда, частенько за рампу заезжает, однако недавно разговаривал я с Манесом, и тот, поверишь ли, превозносил Мошну до небес. Он видел его в «Свадьбе Кречинского» и говорит — потрясающая игра. Хороший актер, большой актер — явление куда более сложное, чем кажется непосвященному. Я в последнее время хожу в театр и думаю — с Мошной что-то происходит.

— С каждым из нас происходит что-то,— заметил Коуниц.

— Да, чуть не забыл,— Шульд повысил голос, умышленно подчеркивая тоном важность того, что собирался сообщить.— В студии Манеса я встретил Славинскую, причем уже два раза, и знаешь, что она мне сказала?

Коуниц повернул к нему голову.

— Она просила передать тебе привет от ее приятельницы, Йозефины Чермаковой.

Коуниц вздрогнул и быстро взглянул на друга. Хотел было спросить о чем-то, но удержался и только вцепился пальцами в подушки сиденья, чтоб скрыть свою взволнованность.

Пепичка с Калоусом сидели в середине четвертого ряда. Перед началом спектакля Калоус рассказал ей, как почти двадцать лет назад смотрел эту пьесу в Сословном театре.

— Тогда играл еще сам Каэтан Тыл, и было это одно из его последних выступлений в Праге. А Индра тогда представлял там арапчонка — и господи, как же ему досталось, когда об этом провела Бёмиха, наша пани хозяйка!

— Вы знали Индру мальчиком?

— Как не знать — славный был всегда парнишка, веселый, никого-то, бывало, не огорчит. А театр очень любил и играл с малых лет.

Пепичка благодарно посмотрела на старого рабочего.

— Индра был тогда бедный, вечно чумазый ученик — и вот теперь он один из первых артистов нашего театра. Видите, Пепичка, — был рабочим, стал художником. В этом — сила! Вот за что я его люблю — сумел пойти своей дорогой, доказал, всем нам доказал, что это можно, что когда-нибудь все мы...

Спектакль развертывался перед глазами напряженной, взволнованной Пепички, как сон. На этот раз Мошна играл для нее уже всерьез, сам захваченный и полный страсти. Но и Доротка глу-

боку тронула Пепичку; она все время представляла себя на месте Доротки, хотя все-таки ревновала к ней. И когда Доротка очутилась в объятиях Шванды, Пепичка простодушно спросила Калоуса:

— А они по-настоящему целуются?

— Так же по-настоящему, как и убивают на сцене,— сухо ответил Калоус.

Ее и раздражала и немного сердила именно искренность, с какой Йозефина играла Доротку. Но если не считать этого, она глубоко переживала историю Шванды и Доротки, словно собственную. Конечно же, Мошна был сродни этому бродячему вольтнику. Люди любили его — он нес им радость и смех. Теперь она поняла то, что он так напрасно старался объяснить ей, когда они шли домой после «Принцессы Трапезундской». Вот ведь, стоит ему захотеть — и так чудесно играет, без всяких кувыркков и хождения по проволоке...

В антракте Мошна сказал Йозефине:

— Господи, как же славно играется, когда играешь для кого-то, когда думаешь о том, кого любишь...

Йозефина поблагодарила его взглядом.

Мошну вызвали на сцену, а к Йозефине подошел Сейферт, игравший принца Аламира:

— Как тебе нравится невеста Индры?

— Какая невеста? — не поняла Йозефина.

— Разве ты не заметила, что все свои признания Индра обращает в четвертый ряд?

Йозефина бросилась к глазку в занавесе и беспокойно пробежала взглядом по четвертому ряду.

«Опять эта девчонка! Значит, все-таки... Или это игра случая? Неужели я так ошиблась?»

Сердце ее сжалось.

В следующем антракте она спросила Мошну — будто мимоходом, нарочито равнодушным тоном, в котором, однако же, непосвященный уловил бы оттенок опасения:

— Как зовут твою знакомую в четвертом ряду?

Мошна, весь вечер думавший только о Пепичке, улыбнулся и мягко ответил:

— Пепичкой! Правда, мила?

Йозефина не ответила. У нее потемнело в глазах, и она невольно ухватилась за Мошну.

— Что с тобой, Фина? Тебе нехорошо? — воскликнул он.

Но она уже взяла себя в руки. Так вот оно что! Пепичка! Вот о какой Пепичке думал он все время! Об этой веснушчатой девчонке — не о ней, не о Йозефине! Мысли ее стремительно понеслись назад, к прошлому. И эта глупая, эта дурацкая ошибка одним ударом разрушила всю ее дружбу с Мошной. Вот и еще одна иллюзия

утрачена... Неужели же все это было только... игрой? Нет! Нет, тут просто ошибка — и ошиблась она сама, из-за собственного высокомерия, ослеплявшего ее. Мошна не стал бы ее так обманывать. Он ведь всегда относился к ней нежно, дружески, всегда поддерживал ее в самые трудные минуты... И все-таки, все-таки...

Ей хотелось плакать, хотелось убежать, быть одной, но ее уже звали на сцену...

Это была как раз та картина, в которой Доротка, печальная и усталая, возвращается вместе с Калафуной домой, оставив Шванду на чужбине. Йозефине не надо было даже притворяться — она и так едва удерживалась от слез.

Затем появляется Шванда и просит прощения у Доротки.

«Взгляни же на меня, Доротка, выслушай!» — просит Шванда — Мошна с горячностью, тоже под влиянием своего настроения.

«Что тебе надо? — отвечает Доротка, не поднимая глаз. — Наша сказка кончилась...».

«Прости, я так ошибся...».

«Замолчи! Ты мог бы спокойно смотреть, как я умираю на твоих глазах!» — с укором говорит Доротка.

«Нет, не думай так, я всегда тебя любил!» Мошна воскликнул это с такой искренностью, что Йозефина посмотрела на него пораженная. «Ах, ну прости же меня, и все опять будет хорошо!»

В зале стояла тишина: зрителей увлекла искренность диалога. Даже актеры из-за кулис с интересом следили за простой и трогательной сценой, которую без тени притворства разыгрывали Мошна с Чермаковой.

«Ступай своей дорогой и не думай обо мне; я не для тебя рождена! Ступай! А я стану молиться за тебя и, если когда-нибудь услышу о тебе доброе слово, спокойно закрою глаза...».

Просьбы Шванды не смягчили Доротку, и, рассерженный ее упреками, он убегает. Видя, что снова теряет его, Доротка в страхе за любимого кричит ему вслед:

«Шванда!..»

И тут голос актрисы ломается... Огромного труда стоило Йозефине не крикнуть: «Индра!»

Возвращаясь за кулисы после конца спектакля, Йозефина схватила Мошну за руку:

— Помнишь, Индра, как мы с тобой репетировали «Магелону»?

Тот не сразу сообразил, о чем она, но потом кивнул. А Йозефина тихо, словно про себя, проговорила реплику Магелоны:

«И если вы перестанете любить меня — тогда... тогда останьтесь мне хотя бы другом...»

Мошна прикрыл глаза, чтобы разобраться в воспоминаниях. И блеснула у него нежданная догадка.

— Йозефина?! — потрясенный, воскликнул он — он не хотел понимать, он отгонял эту догадку, а она не уходила.... — Но, Йозефина, я ведь люблю тебя, как мало кого люблю! Мы были и останемся друзьями. — Он взял ее руку. — Может быть, я эгоист, но сегодня — сегодня я по-настоящему счастлив и хотел бы, чтоб ты тоже... Да у тебя слезы на глазах! — Он наклонился, погладил ее и мягко закончил: — Чего бы я только не отдал ради твоего счастья!

Она порывисто повернулась к нему.

— Я понимаю, понимаю, — ответил Мошна на ее волнение.

Йозефина опустила голову, едва сдержав рыдание. Потом выпрямилась, сжав губы, и знакомым движением тряхнула головой.

— Верю, Индра... Верю... Это я, я одна все порчу... прости! Но и так хорошо, так даже лучше!

И, вырвав у него свою руку, она скрылась за кулисами.

После спектакля Пепичка опять заупрямилась — не хотелось ей стоять у артистического входа.

— Надо подождать Индру! — твердил Калоус. — А то он всерьез на вас обидится!

— Ну ладно, — согласилась она наконец, — только, ради бога, не будем торчать тут, отойдем немного!

Стали выходить актеры.

Мошна мелькнул в дверях, но тотчас вернулся и вышел уже вместе с Чермаковой. Пепичка, увидев их вдвоем, хотела было убежать, но Калоус остановил ее. Мошна, который поддерживал Йозефину под локоть — видно, для того, чтоб и она не убежала, — подошел к друзьям и, сняв шляпу, стал знакомить их:

— Вот это и есть Пепичка, а это — мой самый старый и верный товарищ Йозеф Калоус. А это наша Йозефина, тоже Пепичка, моя лучшая подруга в театре.

Йозефина подала обом руку. Она не могла справиться с волнением — в последнее время у нее по малейшему поводу обнаруживалась склонность к слезам; и сейчас она готова была заплакать. Она не понимала, как могла согласиться на простодушное желание Мошны познакомиться ее с этой злополучной, роковой для нее Пепичкой. Но она была в таком смятении чувств, так беззащитна, что согласилась. Заставив себя улыбнуться, она через силу спросила:

— Ну, как вам понравилось наше представление?

— Очень, очень понравилось! Вы, барышня, и Индра играли чудесно! — с жаром вскричал Калоус, стараясь рассеять напряжение — он один, быть может, понимал всю сложность ситуации.

Пепичка, хоть оробевшая, улыбнулась, как бы желая порадовать Йозефину. Вся ее прежняя злоба к «нарядной барышне» мгновенно

венно испарилась. Йозефина казалась ей теперь совсем иной: то была уже не та вызывающего вида актриса, какой она представлялась Пепичке в «Арене», а, скорее, беззащитная, готовая расплакаться девочка. Видно, у нее какое-то горе... Да ведь она просто несчастна! — догадалась Пепичка, и ей стало жаль актрису, хотя она и понятия не имела, какое именно горе та переживает. По доброте души Пепичке захотелось сказать ей что-нибудь ласковое, доставить немножко радости.

— Вы играли очень... очень трогательно, барышня, — тихо сказала Пепичка. — Я чуть не плакала...

— Позвольте мне за это поцеловать вас, — растроганно проговорила Йозефина и, приблизившись, поцеловала ее в щеку. — Ну, спокойной ночи, и желаю вам всего самого лучшего!..

Она хотела добавить что-то еще, но лишь нервно тряхнула головой и внезапно побежала обратно к театру. Мошна только и успел, что повернуться ей вслед. Калоус машинально снял шляпу.

Все трое молчали, растерянные. Потом Мошна вздохнул. Калоус, покачав головой, изрек:

— Ну, пойдем?

Йозефина остановилась на углу, не доходя до театра. Ей было невыразимо грустно. Хотелось убежать домой, выплакаться, услышать папину песню, хотелось, чтоб хоть Дворжак был сейчас с нею, хоть кто-нибудь, с кем бы можно поговорить.

Круто обернувшись, она так и замерла от удивления: перед ней со шляпой в руке, с преданной, умоляющей улыбкой стоял... Вацлав Коуниц.

Калоус молча прошел еще часть дороги с Мошной и Пепичкой, потом вдруг протиснулся, пробурчав, что он-де устал, не выспался, что ли... Не успели молодые люди ничего возразить, как он уже махал им рукой с противоположного тротуара.

Мошна с Пепичкой, отправившись дальше, долго не начинали разговора. Из головы у Пепички не выходила Йозефина. Что-то ей здесь было неясно. За несчастным выражением лица, за влажными глазами актрисы Пепичка угадывала какое-то горе, которое каким-то образом затрагивало и ее... Внезапно она подняла голову и проговорила чуть ли не против воли:

— Правда, вы ведь нарочно хотели, чтоб я видела, как вы целый вечер увиваетесь вокруг другой?

Мошна пылко стал уверять, что он все время думал только о Пепичке...

— О которой? — вырвалось у нее.

Мошна невольно улыбнулся. Теперь тождество имен не будет давать покоя другой Пепичке...

— Но вы не могли не чувствовать, что все — для вас! Ради вас и выпросил роль Шванды. Если вы этого не чувствовали — значит, и играл плохо! — с некоторой горечью закончил он.

— Да, а сами целовали другую! — уже несколько мягче, но все еще с упреком возразила Пепичка.

— В этом и есть искусство! Делается это так — не бойтесь, я вам покажу — полное впечатление, что люди целуются, а между тем я и не коснусь вас!

Они были уже в Подскалье. На улицах ни души, только подмигивал фонарь на углу. Пепичка остановилась, с удивлением и любопытством поглядывая на Мошну. Он обнял ее как бы в танце и крепко прижал к себе. Она невольно попыталась оттолкнуть его.

— Да вы не бойтесь, смотрите лучше, а то я не сумею доказать, — начал он решительно, серьезным голосом. — Вот так, теперь отвернуться от публики — представьте, что она там, где фонарь, — теперь наклониться, — голос его звучал теперь еле слышно и горячо, — и губами вот так...

Пепичка закрыла глаза. Трудно сказать, хорошо ли она его понимала. Губы ее задрожали.

\* \* \*

— Наконец-то! Рассказывайте же, как было? И где повобрачные? — забросали актрисы вопросами пани Гинекову, едва она с объемистым узлом в руке появилась за кулисами.

— Ох, дайте сперва сяду, а то меня всю растрясло. Я ведь прямо с вокзала... Хорошо, захватила в дорогу капельку шанса, не то как пить дать заболела бы морской болезнью...

— Да как же свадьба?..

— Ну, девоньки, свадьба была прямо как в «Проданной невесте». Какая прелесть — эти национальные костюмы, и все такое живое, настоящее, красочное. А вот вам и гостинцы... Такие пироги, девоньки, сами во рту тают! И скажу я вам вот что — этот Индра, бездельник, право слово, не мог лучше жениться. Ну, да от души ему желаю!

Все, кроме Йозефины, набросились на гостинцы.

Как всегда во время больших аптрактов, актрисы расположились в своей комнате поудобнее, отдыхая от корсетов и всей сложной системы шнуровок, застежек, крючков, пуговиц, от тяжелых платьев, шляп и париков. Они читали, вязали на спицах и вели невиннейшие беседы о свойствах и жизни своих друзей, а главное, подруг, у которых, к собственному удивлению, не оставляли ни одной не перемытой косточки.

Возвращение пани Гинековой, ездившей на свадьбу Мошны, и запах пирогов вдохнули в артистическую уборную атмосферу домашнего уюта.

Все сбились вокруг Гинековой, только Йозефина держалась в сторонке; она слушала, подперев голову рукой и прикрыв глаза. Сельская свадьба, со стрельбой и музыкой волюнок, с обилием еды и питья, с ядреными шуточками являлась ей чем-то вроде любительского спектакля, слишком шумного и маловразумительного. Что ж, такая свадьба — вполне в духе Мошны. Наверняка он сам уж постарался, чтоб гости посмеялись вволю...

И злилась Йозефина на своих товарок за то, что они так жадно слушали Гинекову и всему удивлялись. Особенно Славинская то и дело расспрашивала о подробностях, непрестанно восклицая:

— Восхитительно! Как это трогательно!

Йозефине хотелось уйти — хоть на улицу, под дождь, — но она поборола себя и осталась: пусть никто не говорит, что женитьба друга огорчает ее или выводит из равновесия. В последние дни она нарочно при всех встречалась с Коуницем, но злые языки утверждали, что делает она это только назло Мошне.

— Как была одета невеста? — хотела знать Славинская.

— Невеста? О, это и было главным сюрпризом! — пани Гинекова перевела дух, словно готовясь к долгому повествованию. — Как вам, может быть, известно, по тамошним обычаям, жених перед свадьбой почти не видит невесту. Она все время сидит в своей горнице с подружками, готовит приданое, а главное — подвенечный убор. Так что Мошна ночевал не у них... А впрочем, дел у него было по горло. Надо было обойти всех с приглашением, самому в гости ходить, и всюду его ждали, кормили, возили с места на место, — в общем, деревня желала знать до точности, за кого выходит Пенчикка Едличкова. Ее Пенчикой звать, знаете?

— Как не знать! — воскликнула Славинская. — Правда, Йозефина?

Йозефина только помрачнела и тряхнула головой.

— За день до свадьбы, — продолжала Гинекова, — собрал Мошна музыкантов — волюнщика, флейтиста и скрипача, — и явился петь серенаду под окошком невесты. Такой уж там обычай. Мы со старым Едличкой сидели в трактире, — у него там трактир, у невестина отца-то, — вдруг слышим: музыка, поют... Старик сейчас приготовил пиво, холодец, пироги...

— А что пели-то?

— Ну, вы знаете Индру — он сразу в тон попал. И пел он, конечно, не арию Ромео из оперы Гуно, а старую чешскую: «Под окошком я стоял да на скрипочке играл...»

— Но вы так и не сказали, как была одета невеста?

— Да ведь говорю же — это был сюрприз! — пани Гинекова многозначительно подняла брови. — На другой день, в день свадьбы, Мопна появилась в полном параде — в черном сюртуке и галстукe, белом как свежесвыпавший снег, и вот, с дружкой впереди, со всеми гостями, идут они к Едличкам, а у тех дверь на запоре...

— Не может быть!

— Да нет, это у них так всегда: дружка должен постучать в дверь и попросить, чтоб хозяева впустили. После долгих уговоров и разговоров хозяин наконец согласился и впустил всех в дом. Ну, а сами-то, конечно, давно уж из окон смотрят — идет ли жених. Как слышали стук в дверь — ох и кавардак поднялся! Девчонки забежали, на стол носят — опять студень, пиво, пироги, колбасы, и тут тебе готовят ленты и банты для дружки, для жениха, для всех его гостей. А в горнице тем временем спешно заканчивают туалет невесты. Я им помогала как умела. Зашнуровали мы Печичку — ее Печичкой звать, кажется, я уже говорила, — и стали юбки на нее напяливать, господи, в жизни не видела столько юбок на одной девчонке!

— Сколько же?

— Да штук двенадцать, а то пятнадцать — и одна другой красивее. Парень уже несколько раз стучался в дверь горницы, а девки только и визжат — подождите, мол. Наконец растворили мы дверь и вывели красну девицу. Вот теперь-то я вам и скажу, в чем она была. Сама-то — ну просто загляденье. Хорошенькая, кругленькая, побледнела, правда, немножко, да что ж, так и полагается невесте... А вы не хихикайте, девчонки! — прикрикнула Гинекова на слушательниц, подталкивавших друг дружку исподтишка: Тереза не выдержала, прыснула в кулак. — Так вот, невеста была в великолепном старинном костюме Рокицанского края — и было это то самое платье, в котором, говорят, шли к венцу и мать ее, и бабка, и прабабка. В волосы у нее были вплетены ленты, прикрепленные к такому серебряному кокошнику; была на ней белая рубашка с пышными накрахмаленными рукавами, на шее чудесная алая косынка, затканная золотыми цветами. Корсаж тоже алый, расшитый, а жилетка, девочки, черная, шитая золотом и по краям обшита золотой тесьмой и бисером. Юбок, как я уже сказала, целая куча — и все короткие, чуть ниже колен. Нижние — попроще, а три самые верхние — шелковые, широченные, в пышных складках... Печичка в них была что твоя луковичка. И все это — в голубых бантах, шитых шелком и золотом.

— А чулки какие?

— Чулки красные, туфельки черные на высоком каблучке, и завязки на них зеленые, с зелеными бантиками. Ах, какие у нее ножки! Красивые, сильные — понятно, что у многих молодых го-

ловы закружились... Подружки невесты прикрепили к шляпе Мошны веточку розмарина, оклеенную золотой бумагой и обвязанную алыми, голубыми и белыми ленточками... А когда Пепичка вышла к ним — все так и остолбенели, особенно Мошна. Видно, и не думал он, что такой красивой, такой нарядной будет его невеста! Страшно он разволновался, да и мы все тоже... А Пепичка стояла потупившись, как оно и прилично невесте. Потом подружки расстелили цветастый платок перед родителями — то есть перед отцом и теткой невесты, да перед Калоусом, который был Мошне вместо отца, и мной, заменявшей мать. Мошна с Пепичкой опустили на колени на этот платок, и мы их благословили...

У пани Гинековой блеснули слезы в глазах. Актрисы притихли. Липшова, легко поддававшаяся чувствам, глубоко вздохнула. Помолчав, Гинекова продолжала:

— Мошна поблагодарил, потом они с Пепичкой поцеловали нам руки. «Ты знаешь — ты мне как сын», — только и сказала я, а больше, старая дура, слова выговорить не могу. Подумала, дети, обо всех вас — и только перекрестила лоб Индры и Пепички. А музыканты играли, а девушки пели. — И Гинекова, глотая слезы, пропела дрожащим голосом:

Бог над вами будь, милый батюшка!  
С вами расстанюсь,  
низко кланяюсь,  
что меня растили...  
Бог над вами будь, родная матушка!  
С вами расстанюсь,  
из дома уйду,  
покидаю вас...

Ну вот, а потом поехали в Мирошов, в церковь святого Иосифа, там их обвенчали, и опять домой — в повозках, в колясках. Парни стреляли в воздух, а по дороге заставы были, откупались мы пирогами, студнем... Очень мило! Потом в трактире Едлички плясали, пили, ели до поздней ночи...

— А где спали новобрачные? — нетерпеливо спросила Славинская.

— Ох, Индряжишка, ты невозможна! — не выдержала Йозефина.

— В кровати спали, где же еще, — деловито заметила Тереза и тотчас смешалась, покраснела.

— А вот и ошибается, девоньки! — воскликнула пани Гинекова. — По тамошним обычаям, новобрачные ложатся вместе спать только уж в своем доме, куда перевезено все приданое. Там на другой день после свадьбы все приданое грузят на возы и торжественно везут в дом жениха — или туда, где будут жить молодожены. Мош-

на, в общем-то, спокойно мог уже почевать у Едлички — все-таки трактир,— да не стоило: зачем давать повод ко всяким разговорам!

— Бедный Индра, ведь живет-то он в Праге! — вздохнула Славинская.

— Ничего, дождется своего, не беспокойся,— улыбнулась Гинекова.

— Значит, приданое везли до самой Праги? — поинтересовалась Тереза.

— А как же — да, верно, еще и везут. Нынче утром выехали на двух телегах, пожалуй, только к вечеру будут.

— Знаете, девочки, надо бы сказать нашим да устроить вечером серенаду под окнами новобрачных! — вскочила Славинская.

— Э, оставьте вы их, они и без того устали, рады будут, что наконец-то одни! Меня вон и то всю ломает,— вытягивая ноги, возразила Гинекова.

Йозефина между тем оделась: ей захотелось пройтись. Угнетало ее многолюдье, все ее сейчас угнетало. Надевая пальто, она пробормотала как бы про себя:

— Каждый получает то, чего хочет...

— Ты права, доченька,— кивнула пани Гинекова.

## ПРИНЦИПАЛ

В жизни Мошны будто ничего не произошло. Все те же мелкие роли обычного репертуара, лишь изредка перемежающиеся более серьезной и интересной ролью.

Обедал он теперь дома, а на первых порах супружеской жизни и по вечерам не ходил никуда, кроме театра, после спектаклей торопился домой, не обращая внимания на шуточки добрых друзей.

Казалось, спрятались куда-то и творческие метания — жизнь словно входила в спокойные воды, где уже ничто не может сильно измениться. К сорока годам, верно, каждый человек помаленьку отказывается от скачек с препятствиями, делаясь спокойным, честным туристом. Вершины берут не бегом — иа них взбираются медленно и трудно.

В Прагу время от времени приезжали директора немецких театров — поискать подходящего исполнителя для той или иной роли. Приезжали из Берлина, Веймара, Дрездена, ездили из Вены и даже от герцога Мейнингенского, театр которого начинал приобретать известность. Иногда они обращались не только к немецким, но и к чешским актерам, и не без успеха.

А чешскому театру жилось еще неважно. Новоместский театр и «Арена» держались лишь в летние месяцы, так что бремя основного театрального сезона нес маленький Временный, по-прежнему убыточный, все больше и больше страдающий от недостатка оборудования. За несколько лет непрерывной эксплуатации в театре нагромодились неразрешимые проблемы. Нехватка складов, мастерских, помещений для репетиций, гримерных, умывальных, комнат администрации, коридоров, ежедневная необходимость привозить и увозить декорации — все это беспорядочно напирало одно на другое, а вечные реорганизации вносили в этот хаос еще больший беспорядок. Смешение драмы, оперы, балета создавало невыносимые условия. Так идея пана депутата Ригера о временной сцене обернулась пыткой для актеров и бездонной прорвой для жалкой кассы.

Нехватка средств влекла за собой отсутствие хороших пьес. Театр почти не выплачивал авторам проценты со сборов. Хорошо удобренная почва для отечественного репертуара оскудевала и истощалась. Театру приходилось довольствоваться переводными пьесами. Между тем национальный, серьезный театр немислим без серьезного репертуара, а серьезный репертуар теряет всякую ценность без отечественной драматургии.

Да и политическая ситуация после двух лет торжеств и ликований, рассеявшихся, как чад свечей после бала, оставалась до утомительности неизменной и неясной.

Оказалось, что интеллигенция способна в лучшем случае устраивать торжества и даже демонстрации, но, после того как угасали огни, раздутые патриотическими речами, становилось видно, что интеллигенция по-прежнему изолирована от народа, представлена самой себе, внутренним раздором. Мелкие буржуа считали, что, отдав в пользу Национального театра ненужный хлам из своих квартир, они достаточно потрудились на ниве отечества и прогресса, чтобы, сладко вздремнув после обеда, сходить вечером во Временный на французскую оперетку или водевиль.

Обострились и социальные отношения. Рабочие терпели все более сильную нужду. Застойность чешской политики пагубно сказывалась и на промышленности в Чехии, которая после успешного начала стала переживать первые свои кризисы. Фабриканты беспощадно отыгрывались за счет не организованных еще рабочих. Тем не менее дело уже доходило до забастовок.

Все это, естественно, отражалось и на чувствительном пульсе театра. Немало пришлось побороться актерам, чтоб отстоять свои не слишком жирные гонорары — а в Чехии по традиции, несмотря на великий шум вокруг театра, эти гонорары оставались одними из самых низких в Европе.

Не удивительно, что кое-кто из актеров не устоял и перебрался за границу, одни — на время, другие — навсегда.

Йозефине Чермаковой снизили плату на несколько золотых: мол, барышня из состоятельной семьи, в театре играет, скорее, себе в удовольствие, она и не почувствует снижения жалованья! Вообще в делах оплаты экономисты театра придерживались принципа: с кем как выйдет.

В отеле «Английский двор» остановился интендант придворного Веймарского театра барон Лозн. Как все немецкие театральные деятели, он заглянул и во Временный и занес к себе в блокнотик заинтересовавшие его фамилии.

И вот Йозефина Чермакова получила однажды визитную карточку с баронской короной и с просьбой о встрече.

В то время Бедржих Сметана готовился ставить «Проданную невесту» в окончательном варианте. Надо сказать, что уже и предыдущие поправки внесли существенные изменения в оперу.

Теперь спектакль делился на три действия, в него были введены танцы и новые партии. В третье действие ввели народный танец «скочная» — балетный номер комедиантов. Почти вся опера подчинена была дирижерской палочке.

Из окончательного варианта Сметана убрал разговорную часть, заменив ее речитативами, и органично, крепко скомпоновал хор. Таким образом была устранена возможность импровизаций и вставных номеров, и для каждой картины, особенно для сцены с комедиантами, время было точно ограничено партитурой.

Мошна чувствовал себя обойденным — у него отняли возможность импровизировать. Он требовал для себя свободы действий и в конце концов поссорился со Сметаной.

Опера, страдавшая от недостатка голосов, вынуждена была прибегать к помощи драматических актеров. Это смешение драматического элемента с оперным особенно заметно было в оперетте, через которую многие драматические актеры перешли в оперу.

Так был открыт бас-буфф Сак; но и Колар-младший, и Шамберк, и Франковский, и Хваловский нередко исполняли серьезные партии в опере.

Настала очередь и Сейферта — с большим успехом начал он обучаться пению у Адольфа Чеха и отлично спел партии Фальскаппо в «Бандитах», Альфреда в «Летучей мыши», Ромула в «Похищении сабинянок», а главное — Маркассу в «Браконьерах».

Молодой темпераментный певец понравился Сметане, и он попросил Чеха попробовать Сейферта на роль Принципала в новой постановке «Проданной невесты».

Однажды после дневного спектакля Йозефина Чермакова разыскала Мошну, хотя со времени его женитьбы вовсе перестала с ним встречаться и держалась довольно холодно. Мошна ждал об этом, но тоже не навязывался. Брак свой он считал личным делом и полагал, что из-за него нет нужды менять отношения с приятелями и приятельницами.

Поэтому он искренне обрадовался, когда она появилась у него в примерной.

Йозефина выглядела бледнее обычного, а черные глаза на ее осунувшемся лице горели более нестерпимым блеском. По-прежнему она сияла молодостью, однако красота ее сделалась как бы более опасной и для нее самой и для окружающих.

— Что собираешься делать, Индра? — спросила она с былой непринужденностью, столь приятной для него. — Не хочешь пройтись немного?

Он охотно согласился.

Сначала шли молча. Мошна думал, что Йозефина идет домой и хочет, чтоб он ее проводил.

Внезапно, словно невольно выдавая занимавшую ее мысль, Йозефина спросила:

— Слушай, Индра, неужели ты так и будешь все позволять им?

Мошна искоса взглянул на подругу. Он угадывал, что позвала она его с какой-то целью, и потому решил промолчать, ожидая, что она скажет.

А она молчала, задумчиво глядя себе под ноги. И вдруг у нее вырвалось:

— С меня, например, довольно этого прозябания!

У Мошны мелькнула мысль, что они похожи на ссорящихся влюбленных, — прохожие уже начали на них оглядываться.

— Представь, — с жаром продолжала Йозефина, — мне опять снизили плату! Ну ладно, я без куса хлеба не останусь, но они приводят причину, унижительную даже для любителя, не то что для актрисы, безотказно играющей в самых дурацких пьесах, которые они бесстыдно включают в репертуар! Мол, это для меня не необходимость! Мол, я играю для собственного развлечения, не ради денег! Как будто настоящий актер может играть либо ради одного, либо ради другого! Уйду я! Не останусь там, где художника заставляют пачкаться разговорами о деньгах, а потом называют выживгой! Они погубят мой вкус, здоровье, отнимут последние остатки гордости!

— И куда ты пойдешь? — спросил Мошна, ощущая в груди какую-то неприятную тяжесть.

— Куда? В придворный Веймарский театр! — ответила Йозефина, уже погаснув. — Жалованье у меня будет такое, какого никто здесь не получает. Но не это главное — это только знак признания. Наконец-то я буду играть то, для чего я рождена, — трагические, героические роли!

Мошна не ответил — горько ему стало. Он понимал, что теряет Йозефину, и понимал, что она права... И все же — нет, не права! Вспомнился ему давний разговор с Лигертом. То, что он сказал тогда директору, не утратило силы и сейчас. Да, с нами здесь обращаются как с людьми, которых можно прижимать без конца. Заставляют делать вещи, переварить которые можно, только если у тебя очень уж здоровый желудок, да еще называют это патриотической обязанностью, национальной миссией... Всякое доброе слово, естественное где угодно, только не здесь, стараются хорошенько сдобрить горечью... Упрекают же за всякую мелочь. Да, артистами гордятся, при каждом удобном случае выставляют их напоказ народу, а сами считают их людьми легкомысленными, ненадежными, недисциплинированными, которых не следует принимать всерьез. Стараются надеть на них узду старочешской или младочешской политики,

впрямь в свою партийную повозку, превратить в рупоры своих политических лозунгов... И называют это служением национальному делу; по горе артисту, попавшемуся на удочку одной или другой партии! Тогда противоположный лагерь освистывает, обвиняет его в продажности... Все это правда, — мелькали мысли в голове Мошна, — и все же — все же это не главное, не решающее! И все же мы останемся здесь, не сбежим, потому что только здесь, только на родине мы — то, что мы есть: чешские артисты! Да, наш хлеб горек и труден, но только им можем мы кормиться! На чужбине, даже за роскошным столом, жизнь наша будет прозябанием, вот там-то мы и изменим себе, искусству своему, своему народу, которому мы нужны! Здесь же — и обида, и непонимание, и неудачи — все наше! Бежать нельзя, надо оставаться здесь, потому что только здесь — почва, на которой мы можем расти!

— Ты, верно, знаешь, что у тебя отнимают роль Принципа-ла? — спросила Йозефина, видя, что Мошна не отвечает.

— Знаю, ее Сейферту отдали, — ответил Мошна довольно неохотно, не желая смешивать вопрос принципиальный со своим личным неудовольствием.

— И тебе это безразлично?

— Нет. Но дело не в этом. «Они» и «они» — между ними большая разница. «Они», вроде Ригера с компанией, которые пьют нашу кровь, — это вовсе не те «они», что Сметана и другие! — решительно сказал Мошна.

— Хорошо, но, если ты не находишь ни признания, ни защиты даже у тех, кто с нами, кто должен бы понимать нас, что тебе остается? — резко возразила она. — Послушай, Индра! Я сейчас иду к Лозну, интенданту придворного театра в Веймаре. Он говорил мне, что ему нужны актеры твоего амбуа. Он видел тебя на сцене, и ты ему понравился. Он просил привести тебя. Хочет с тобой договориться. Условия предлагает блестящие. Хочешь?

— Не хочу, Йозефина! — не раздумывая, ответил он.

— Но ведь даже твой Сметана вынужден был бежать отсюда в Швецию, чтоб заработать на жизнь и добиться признания!

— Это другое дело. При всем том он оставался чешским музыкантом: вот великое преимущество музыки. А если я уеду в Германию, то должен буду стать немецким актером. Актерское искусство, как и язык, нельзя перенести на чужую почву! Можно ездить с гастрольями, можно даже играть в чужой стране, но нельзя, не утратив характера, преподносить наше искусство на чужом языке, чужому зрителю, в чуждом нам духе!

— А как же переводы?

— Переводы и есть переводы — это не оригиналы. Нельзя, говорю тебе!

- Да ты же сам играл в Вене на немецком языке!
- Играл — и бросил. Я чешский актер и останусь здесь. Что бы ни было!
- Но здесь нельзя жить!
- Может быть — трудно, может быть — больно, но жить можно только тут и нигде больше!
- А если тебя попирают ногами?
- Ну, когда-нибудь перестанут — да и попирают-то не всегда. В конце концов признают, не могут не признать, потому что ты им нужен, потому что ты — их! Случается ведь, и в семьях дерутся, срамят друг друга, и все таки держатся вместе, одной семьей. Горе блудным сынам!
- Но разве не уходят люди в чужие страны, чтоб попытать счастья?
- Уходят — но возвращаются. Ты же, Йозефина, дезертируешь и меня к тому же склоняешь!
- А если не выдержишь, сдашься?
- Сдаются слабые. А в конечном итоге мы победим, потому что мы сильнее. Только выдержать, Йозефина, выдержать. Искусство вечно, как сам народ, которому необходимо искусство, который рождает искусство! А все остальное — второстепенно... и переходяще.
- Значит, не хочешь?
- Нет.
- Завтра у тебя отберут твою любимую роль! — вызывающе проговорила Йозефина.
- Я сделаю все, чтобы мне ее вернули!
- Тем временем они подошли уже к отелю «Английский двор», и здесь Мошна схватил руку Йозефины:
- Фина, не делай этого! Подожди — все уладится, и снова нам будет светить солнышко!
- Не могу — нет сил, и не хочу!
- Хорошо! Тогда обещай мне, что контракт заключишь только на время, а потом вернешься к нам...
- Не понимаю, чего ты от меня хочешь! Мне надо уехать, не могу здесь жить, я задохнусь здесь! — почти в отчаянии вскричала она.
- Мошна сжал ей руку, и Йозефина немного успокоилась. Не отпуская ее руки, он спросил:
- А как же сердце твое, дорогая?
- Ты на Коупица намекаешь? — Она усмехнулась. — Ах, он... Ну, этот тоже раздумает...
- Что раздумает? — угрюмо спросил Мошна, чувствуя, что задел болезненное место.

— Тебе-то я могу сказать: я долго боролась, сопротивлялась — не ему, нет! Все это происходило у меня вот тут... Ах, знал бы ты, до чего маленькую роль играл и играет Коуниц во всех моих бесконечных метаниях...

Она говорила быстро, словно спешила избавиться от гнетущей тайны. Вдруг осекшись, она подняла глаза на Мошну, строптиво вздернула голову и сказала просто:

— Я с ним живу... Ну, не смотри так! — И поспешно добавила: — И стоит мне захотеть — он женится на мне, хотя бы весь мир восстал против этого!

Мошна прикрыл глаза, как в ожидании удара. Но удар уже был нанесен. Посмотрел на Йозефину. Прежняя Йозефина — а все-таки... Вдруг ему стало чего-то бесконечно жаль. Вот теперь, только теперь потерял он что-то. Что? Быть может, иллюзию? Может быть! Может быть! Мошна взял себя в руки и, стараясь выдержать тон старого друга, спросил:

— Почему же вы не поженитесь?

— Потому что я пока не хочу! Потому что хочу играть в театре, и так играть, как душа велит! А не под чью-то дудочку. Никто не имеет права мешать мне! Вот уеду и, если обманусь и там, тогда... А пока что это сильнее меня. В Веймаре я буду играть, играть большие роли, на большой сцене! И лучше мне умереть, чем отказаться от этой попытки! Понимаешь ты, понимаешь ты меня, Индра?

— Я тоже не мог бы жить без театра, но — без чешского театра. В этом нам друг друга не понять... Видимо, разные мы люди...

— Это твое последнее слово?

— Последнее, Йозефина...

\* \* \*

В театре репетировали «Проданную невесту» в новой постановке, особенно — третий акт. Мошну на репетицию не пригласили. Правда, сам Сметана принес ему свои извинения, да что в том проку...

— Вам, пан Мошна, вряд ли эта роль теперь доставила бы удовольствие, — сказал Сметана, моргая за стеклами очков своими ласковыми глазами. — Вы привыкли к свободе, вам пужно место для ваших импровизаций, и теперь, когда все так строго расписано, вам было бы просто трудно с нами...

Мошна ничего не ответил, но пошел в зал и опустился в крайнее кресло, глубоко вдавился в него, но еще глубже, казалось, погрузился в себя. Закончилась увертюра, спел свою арию Вашек, и вот раздался марш комедиантов.

Мошна совсем съежился в кресле, закрыл глаза.

«Так мне и надо, так и надо!» — думал он, и горло у него сжималось от жалости к самому себе.

Сейферт, в его, мошновском, costume, возглавлял выход комедиантов. Он старался подражать Мошне — прошелся колесом, подпрыгнул — на большее он не был способен. Но вот комедианты на месте, и Принципал начал свое обращение к публике. Хорошо поставленным голосом, с вдохновением исполнил Сейферт речитативом сокращенный, точно вымеренный текст, в который вошла только одна шутка Мошны. Все это звучало чисто и четко. Адольф Чех улыбнулся. Сметана, довольный, кивнул головой.

Мошна должен был признать — Куба Сейферт ведет свою партию отлично, по-оперному чисто.

Колар-младший, режиссер спектакля, остановил репетицию и начал расставлять комедиантов для танца.

Сметана наклонился к Чеху:

— Этот Сейферт играет очень хорошо, вот только если б мог он еще выкинуть какие-нибудь акробатические штучки... Помните, как Мошна?.. А то очень уж причесанно...

Начался помер комедиантов. Сейферт делал что мог. Сметана постучал палочкой по своему попитру, прерывая репетицию:

— Прошу вас, пан Сейферт, побольше акробатики и в этом роде... Музыка — балетная, но вы должны в ритм с ней жонглировать тарелками, что ли, на руках ходить... Пан Колар, пожалуйста, соблаговолите показать пану Сейферту, каким должен быть Принципал!

Колар пожал плечами:

— Простите, маэстро, я ничего такого не умею...

— Ну, хоть посоветуйте ему что-нибудь. — И Сметана стал терпеливо ждать, чтобы режиссер объяснил нужное исполнителю.

Сейферт только руками развел, подойдя к рампе:

— Прошу прощения, не умею я жонглировать или глотать шпаги, как требует режиссер; в лучшем случае могу подбросить одну тарелку, да и то не ручаюсь, что поймаю...

— Я с удовольствием показал бы вам, пан Сейферт, — сказал Сметана, — да ведь и сам не умею. Тогда, пожалуйста, сделайте хоть одно сальто, этого будет достаточно, и потом поднимайте гири, только поднимайте их так, чтоб смешно было, как делал пан Мошна! — Это имя не выходило из головы Сметаны. — Ведь это балетный помер! Вы же танцуете в самом центре, так что попрошу — пусть все будет совсем по-балетному!

— Простите, маэстро, но я в жизни еще не делал сальто, — ответил Сейферт.

— Ну хоть попробуйте, сделайте что сможете или как-нибудь намеком, что ли!.. — воскликнул Сметана.

Репетиция двинулась дальше, Сейферт с грехом пополам сделал неуклюжую стойку, и Сметана снова застучал палочкой.

— Господа, увы, это совсем не то! Искры нет — это не комедианты!

Мошна уже не ежился в своем кресле. Он выпрямился, с трудом оставаясь на месте.

Сметана растерянно оглянулся в зал. Сцена, прежде самая оживленная и веселая, получалась теперь — хотя и под плясовую музыку — вялой, ей не хватало жизни.

Тогда Мошна встал и подошел к Сметане:

— Если позволите, пан дирижер, я покажу ему, могу даже разучить с ним кое-что...

Сметана с благодарностью взглянул на него через очки.

— В самом деле, вы готовы взять на себя труд?.. Это чудесно с вашей стороны! — с некоторым смущением проговорил он.

Мошна поднялся на сцену, взял Сейферта за руку и повел его, показывая на ходу, что тот может делать, исходя из своих возможностей. Потом повторил под оркестр. Сцена вышла куда живее.

— Что нынче так рано, Индржишек? — спросила Пепичка, обычно готовившая обед часам к двум.

— Да так! Не было репетиции, вот я и пришел, — ответил Мошна, с трудом скрывая досаду.

— Что-нибудь случилось?

— Ничего! — Он улыбнулся, поцеловал жену. — Сегодня четверг — ты не забыла? Дружья придут...

Дожидаась обеда, Мошна взялся наводить порядок в своих театральных фотографиях — работа, которую он постоянно откладывал. Искал недавно портрет Кашки, чтоб вставить в рамку, и тогда обнаружил образцовый беспорядок в своем «альбоме» — то есть в трех больших коробках из-под сахара.

После обеда Пепичка подседа помогать ему и вскоре увлеклась — временами она испытывала настоящее волнение. Ей казалось, что она открывает какие-то удивительные тайны из прошлой жизни своего мужа. Загримированный Мошна, Мошна во весь рост, групповые снимки и даже — даже Мошна в объятиях женщин! Смешные, а порой гротескные образы Мошны разбередили ей душу — весь этот театральный мир был окутан туманом каких-то своих интимных отношений, подлинных и поддельных чувств и всегда непонятной для нее жизни. Там где-то, в этом хаотическом мире притворства, живет ее Индржишек, приходит домой обедать и возвращается туда... Театральные поцелуи? Да кто этому поверит! — И Пепички сжалось сердце.

— Почему здесь столько девчонок? — спросила она вдруг с такой резкостью, что сама удивилась.

— С тем же успехом ты могла спросить, почему здесь столько мужчин! Мы всегда обмениваемся фотографиями. Моя физиономия в свою очередь маячит в коллекциях многих моих товаров, — постарался он объяснить, почему у него в самом деле собралось много снимков актрис, причем не только пражских.

— А эта кто?.. Что играла вот эта?.. Откуда ты ее знаешь? Почему у нее такое декольте? — так и сыпала вопросами бедная Пепичка.

Мошна только смеялся; в конце концов он обнял ее, громко воскликнув:

— Да ты ревнуешь, воробышек, как это чудесно! Значит, любишь!

Пепичка, несколько успокоенная, снова набросилась на грудь фотографа.

— Надо бы время от времени сопоставлять все эти снимки, — скорее, про себя пробормотал Мошна. — По ним изучить все подробности, чтоб увидеть, в чем ты повторяешься, где ты манерен, где будничен и механичен... Смотри, — наклонился он к Пепичке, — как я во многих ролях совершенно одинаково поднимаю брови, растягиваю губы и глаза выкатываю — это плохо! В жизни-то ведь у каждого характера свое особое выражение — лица могут быть в чем-то сходны, но всегда есть различие. Не только это — один и тот же человек в разных жизненных ситуациях меняет лицо свое в зависимости от обстановки, от движения мысли, настроения...

— И это делают с помощью грима и париков?

— Грим, парики, борода, накладные носы — все это помогает, но основное — это собственное лицо актера, надо уметь работать им — вот что, как бы сказать, играет решающую роль в мимике. Чаще всего о лице своем не думаешь... Если сумеешь возбудить в себе подлинные чувства, лицо уж само правдиво отразит их. Взгляд, выражение глаз, улыбка, слезы — этого не подстроишь!

— Ах вот как, подлинные чувства! — вскричала Пепичка.

— Конечно, подлинные, — с жаром подтвердил Мошна. — Как могу я правдиво сказать на сцене «люблю тебя», если не знаю, что такое настоящая любовь?

— Вот-вот, настоящая любовь! Значит, ты ее любишь! — слово обличая Мошну в давнем обмане, подхватила Пепичка.

— Не ее люблю — вообще люблю! Например, — он ласково посмотрел на нее, — люблю свою Пепичку! Тогда я могу играть любовь и говорить о ней на сцене другим!

— Смотри-ка — Шванда-волынщик!

Мошна взял карточку в руку.

— Ну, это не последний мой Шванда — не тот, которого я играл для тебя...

— Но очень похожий на него, — ласково сказала Пепичка, поглажив руку, державшую карточку.

Потом ее внимание привлекла серия снимков из «Принцессы Трапезундской».

— А вот несчастная «Трапезунда»! — печально проговорила Пепичка.

— Почему несчастная? — Мошна быстро поднял голову, как от внезапной боли.

— Не помнишь?

У Мошны углубилась морщина меж бровей. Приблизив к ней голову, он тихо спросил:

— «Шут»?..

Она покраснела до слез. Он смущенно улыбнулся и нежно привлек ее к себе.

— А знаешь, тогда ведь ты была права!

— Забудь об этом, Индржишек!

— Забыть я об этом не могу, потому что тогда, именно тогда-то, я и понял, что ты меня любишь, — горячо проговорил он. — И я понял еще, что ты додумалась до того, до чего мне давно следовало додуматься!

— Нет, Индржишек, я была не права, — покачала головой Пепичка. — Нет! Я дура была!

— Ты показала мне черту, которую нельзя переступать! А ты знаешь, что это такое? Каждый человек обязан знать, где эта черта, за которую нельзя переходить, за которой становишься эгоистом, самовлюбленным, хвастливым, опасным и для себя и для других — это относится ко всем, а к художникам и артистам тем более! Если сам он этого не понимает и нет у него друзей, которые любят его и достаточно чутки, чтоб вовремя предупредить, — он отдаст во власть самому себе! Тогда он собьется с дороги, заблудится! — Мошна говорил очень горячо, освобождая душу от тяжести, которая так давила его, особенно после того, как у него отобрали роль Принципала...

Пепичке, заметившей его душевное состояние, стало вдвойне жаль мужа и захотелось как-то его утешить.

— Люди тебя любят! Ты им приносишь радость! Господи, если бы ты знал, как они ловят меня — на улице, в лавках, как говорят: «Ваш муж замечательный! Мы так смеялись, смеялись еще и дома! Ах, какая вы счастливая! Такой человек никого не может огорчать; мы всегда ходим в театр, когда он играет, и нам так хорошо...» А я и не знаю, что им отвечать, понимаешь, я ведь тобой горжусь!

— Ах, да что в том проку! Мне бояться давать серьезные роли и даже...

Не договорив, он вздохнул и взъерошил себе волосы.

— Что с тобой? Тебя что-то мучает, скажи мне.— Она взяла его лицо в ладони, пристально заглянула ему в глаза.

— Нет-нет, ничего...

Освободившись из ее рук, он встал, кренко прижал ее к себе и с жаром воскликнул:

— Не оставляй меня, Пепичка, будь моей Дороткой! Ты должна помочь мне — твоим неиспорченным чувством, твоими чистыми глазами! Понимаешь, я все ищущу, ищущу верную дорогу — и твои глаза как огоньки, на которые я иду...

Раздался стук в дверь.

Пепичка вырвалась из объятий мужа и машинально взглянула на часы.

— Господи, уже три часа — пришли!

Торопливо снимая фартук, она побежала отворять. Не успел Мошна убрать фотографии, как в комнату ворвались Шамберк с Франковским.

В популярной комической троице Мошна — Шамберк — Франковский последний был младшим. Довольно поздно поступив во Временный, Франковский скоро сошелся с коллегами не только на сцене, но и в жизни. Из всех них он был «самый грустный». Природная чувствительность помогала ему создавать прекрасные образы комических неудачников, которые в сочетании с темпераментным юмором Мошны и интеллектуально-властным комизмом Шамберка производили настолько смешное впечатление, что зрители в ту пору нередко заключали пари — кто из троих смешнее. А в жизни был Франковский человек добрый, чуткий, дружелюбный и нежный.

— О, здесь, как мне кажется, углублялись в воспоминания! — воскликнул Шамберк, входя.

Пепичка, извинившись перед гостями, побежала на кухню готовить кофе и кекс.

Мошна убрал фотографии и выложил на стол миски, записную книжку и фишки для игры в тарок.

— А где Франтишек? — спросил оп.

— Его на репетиции задержали. Там в сцене комедиантов были с Сейфертом... — начал было Франковский, но Шамберк остановил его убийственным взглядом и громко, чтоб замаять пеловкость Франковского, спросил:

— Да, знаешь новость? Наша Фина уходит!

— Что ты говоришь?! — поторопился изобразить удивление

Франковский, прекрасно осведомленный об этой новости. — Замуж, что ли?

— Не знаю, может быть... Но она переходит в Веймарский театр!

С этими словами Шамберк уселся за стол.

Мошна молчал, царапая что-то карандашом в записной книжке. Шамберк, оглянувшись на дверь, заговорщически шепнул:

— Это тебя расстраивает?

— Почему ты думаешь? — вяло возразил Мошна, даже не стараясь притворяться: ему бы все равно не поверили.

— Потому что... Йозефинка прелестна и мила, и, мо-моему, многие тебе завидовали!

— Чепуха! — буркнул Мошна, махнув рукой.

— Да я что, я ничего! — ухмыльнулся Шамберк.

— Слушай, Ферда, если ты будешь так гнусно хихикать — ей-богу, оплеуху схлопочешь! — полусуто пригрозил Мошна.

— Какая жалость! — вздохнул Франковский. — Чешский театр теряет прекрасную актрису...

— Наконец-то догадались, — проворчал Мошна, словно Франковский был повинен в непризнании Йозефины.

— Господи, как хочется удрать куда-нибудь! — воскликнул Шамберк.

— В чужую-то страну! — бросил Франковский.

— Нет, этого я бы не мог... От тоски бы помер, иссох бы весь! — с непритворным чувством ответил Шамберк.

— Здорово сказано, — заметил Франковский. — Хотел бы я видеть высохшего Ферду.

— Ей не дали развернуться. Совсем девчонкой, восторженной, шестнадцатилетней, ее заставили играть французские штучки, — серьезно сказал Мошна. — А Йозефина — талант куда многостороннее всех тех, что появлялись у нас до сих пор.

— Да вот, раз уж мы о Йозефине заговорили, я вам еще новость доложу, — с важным видом вставил Франковский. — Известно ли вам, что наш первый альтист Дворжак женится на ее младшей сестре?

— На ком — на Анвиньке? — вырвалось у изумленного Мошны.

— Ты с ней знаком?

— Я знавал всю семью, — пробормотал Мошна. — Но ведь Анвинька еще ребенок...

— Ну не сказал бы — ей, кажется, восемнадцать лет, — сказал Франковский, вопросительно поглядывая на Мошну.

— Такая большая любовь... — тихо произнес Мошна.

— Что ты бормочешь?

— Ничего, это я так... Значит, Аншинька выходит за Дворжачка... Странная разновидность верности — думаю, на его небосклоне вечно будет сиять Йозефина.

Вошла Пепичка с подносом. Посреди кофейного сервиза царственно расположился золотистый кекс. Пепичка шла осторожно, как некогда, подавая на стол в трактире дяди.

— Где же пап Колар? — спросила она, накрывая кофе на маленьком столике, чтобы не мешать карточной игре.

— Да он весь день репетировал Принципала с Сей... — выпалил было Франковский и осекся, когда Шамберк толкнул его ногой под стол.

Мошна лишь с ужасом взглянул на него.

Франковский, понерхнувшись, пробормотал что-то и находчиво начал распространяться о том, как он обожает яичный кекс. Однако гастрономические восторги его увяли от тягостного молчания.

Шамберк начал свирепо тасовать карты. Пепичка обвела всех глазами и остановила вопрошительный взгляд на муже. Тот смущенно улыбнулся.

— Ну, подождем Франтишека или втроем начнем? — спросил Шамберк, мечая ужасные взгляды в сторону злополучного Франковского.

Они сыграли несколько конов, когда явился Колар с Калоусом, встретившимся ему в подезде. Старый Калоус в качестве друга дома заботился о Мошне просто отечески. Он все устроил для его семейной жизни, новую квартиру подыскал, все, что нужно, раздобыл, обставил, покрасил, прибил — с любовью и радостью. По четвергам, когда он бывал свободен, он тоже приходил к Мошне, но не играл — сидел, смотрел, как играют. И только если вспыхивали ссоры, выступал в роли арбитра.

— Слава богу, пришли! — с облегчением воскликнул Мошна.

— Простите, что задержался, но, по-моему, дело того стоило! — отозвался Колар, здороваясь со всеми.

Пожал всем руку и Калоус, сияющий, словно он выиграл миллион.

Снова уселись за карты.

— Смотри, Индра, не вздумай нас обчистить, как в прошлый раз! — проговорил Колар, выкладывая на стол мелочь.

— Да, тогда дорого обошелся нам ваш кекс, — грубовато по привычке подхватил Шамберк и тут же, посмотрев на Пепичку, улыбнулся ей.

— Ах бессовестный, ведь Пепичка десяток яиц в тот кекс вбила! Правда, Пепичка?

— Ну что ты, Индра, — одернула она его и, усевшись в сторонке, взялась за шитье каких-то крошечных нежных вещичек.

Шамберк, заметив это, собрался было отпустить шутку, но Пепичка взглядом остановила его. Она долго не могла привыкнуть к свободным манерам господ артистов.

Калоус блаженно улыбнулся.

— Весь выигрыш — в кассу Национального театра, — напомнил Франковский, который проигрывал больше всех, хотя играл заинтересованно и вдумчиво.

— Ну, знаете, это строительство все никак от земли не подыметя, — проворчал Шамберк, сдавая карты. — Пожалуй, нам троим играть в новом театре придется старичками!

— Тише едешь — дальше будешь, — бросил Колар, изучая свои карты.

— Играю! — объявил Мошна.

Шамберк, всегда готовый к бою, кинул на стол карту.

— Что ж, сударь мой, мы еще посмотрим, кто кого, — не торопясь, ответил Колар. — Играю на трефах!

Мошна, поняв из этого, что играть ему выпало с Коларом, так и подпрыгнул.

— Да я наобум игру объявил — на трефах у меня не выйдет! Эдак выиграешь ты, Франтишек!

— Отлично, господа, договаривайтесь, а еще лучше просто покажите друг другу карты, — проворчал Франковский, углубившийся в свои карты, как в молитвенник.

Пепичка то и дело вставала, подливала кофе в чашки, потчевала кексом и тихо садилась на свое место.

— Хотел бы я знать, у кого на руках этот козырь? — бормотал Мошна.

Колар приподнялся и торжественно открыл последнюю карту:

— На тебе, Индра, твоего козыря — держи туза или, если хочешь, Принципала!

И он бросил на стол старший козырь.

При слове «принципал» Франковский попытался толкнуть под столом Колара ногой — мол, не говори о веревке в доме повешенного! Вздрогнул и Шамберк, а Мошна зло посмотрел на Колара: он видел в нем сейчас не приятеля, а беспощадного режиссера «Проданной невесты». Подняла голову Пепичка, угадывавшая, что у Индры какие-то неприятности с этой ролью. Один Калоус улыбался безмятежно.

— Я этого туза, этого Принципала, парочно под конец оставил! Ну-с, а теперь, Индра, я тебе кое-что скажу. — Колар торжественно повысил голос. — После того как ты сегодня ушел с репетиции, мы еще добрых два часа бились с этим несчастным Кубой. Да нет, он не так уж плох, бедняга старался всюю, но потом... Потом взял его Сметана под ручку, поблагодарил, по плечу похлопал да и гово-

рит — мол, простите великодушно, мы вам дадим что-нибудь другое, но... — Тут Колар сделал драматическую паузу.

Все так и впились в него глазами, Пепичка побледнела немного. У Мошны начал подергиваться уголок рта.

— Потом поворачивается Сметана к нам, — продолжал Колар, — и говорит, как он умеет, таким своим сердечным тоном: мол, как хотите, а Принципал папа Мошны — все равно лучший из Принципалов! В общем, Индра, придется тебе немного ужаться, из рамок не выходить, ничего не поделаешь, но двадцать пятого сентября Принципала играешь ты!

Пепичка радостно вскочила, обняла мужа и горячо его поцеловала.

— Штраф! — закричал Шамберк. — Платите штраф! На глазах у публики целуются по-настоящему!

Прошло долгих десять лет.

Стоял весенний взбалмошный день: гнались по небу тучи, дождь со снегом стегали повое здание Национального театра на набережной Влтавы — и тотчас яркое солнышко расчищало небосклон, и под его лучами сверкал желтизной великолепный фасад театра.

Дважды воздвигалось это здание, и второй раз — еще прекраснее первого. Когда оно было закончено в первый раз — только успели провести в нем одну генеральную репетицию, как тяжкое испытание обрушилось на весь народ: сторел театр, возведенный с таким трудом. И вновь восстал из пепла, подобно — невозможно найти иного сравнения — сказочной птице Феникс.

С тех пор разрослись на набережной молодые липки, и теперь набухали почки на них.

И стоял перед зданием мужчина лет сорока пяти, невысокий, с живыми глазами, с сигарой, зажатой в губах, и задумчиво рассматривал вновь отстроенный театр.

— Ну вот ты и вырос, а я... гм... Я тоже малость поумнел, — бормотал он про себя.

Да, это уже не молодой, несколько провинциального вида щеголь — это стоит зрелый человек, любимый народом актер Индржих Мошна.

Критики давно сбавили тон и теперь обычно писали о нем: «Пан Мошна, как всегда, согрел свою роль оригинальным, ему одному присущим юмором...»

И стоит Мошна — в темном пальто, в черной широкополой шляпе, — стоит тихий, улыбающийся. У глаз морщинки веером да складка меж бровей придают лицу его выражение мудрой снисходительности к людским слабостям, которые он каждый день, вечер за вечером, показывает со сцены. Стоит он, любитесь новым зданием, а воспоминания проносятся в голове, как тучи по небу над ним. Двадцать лет...

Чей-то голос вырвал его из задумчивости:

— Наслаждаешься, Индра?

Мошна обернулся: это Франтишек Колар, уже немолодой, раздавшийся вширь, но к фамилии которого по-прежнему прибавляют «младший», стал рядом со старым другом и положил ему руку на плечо.

— Ну вот — стоит, наперекор судьбе, назло всем пессимистам и недругам! И осенью наконец-то откроем наш Национальный!

— А сегодня «Проданной невестой» закрываем... гм... тоже наш Временный! — в тон Колару отозвался Мошна.

— Закрываем — но радостно!

— Конечно, радостно. И все же — это ведь мы завершаем целую эпоху, которая, как сказал старый Кашка, тем дороже нам, чем была труднее... А как внутренняя отделка? — перебил себя Мошна, желая, может быть, отвлечься от потока воспоминаний. — Не хочется сейчас смотреть — пусть будет для меня сюрпризом... Говорят, все будет еще красивее, чем до пожара?

— Ну, там еще уйма работы, но зрительный зал уже совсем готов. Сегодня будут проверять освещение.

Мошна поднял голову:

— Но что же мы будем играть в нем — что нового, нашего? Всякой временности пора положить конец! Разве Сметана — не вся опера?

— Будет инструмент — и музыкант сыщется, — оптимистически ответил Колар.

— Не в музыканте дело: партитура, партитура нужна, Франтишек!

Колар молча вынул из кармана пальто толстую тетрадь.

— Эту рукопись прислал мне наш молодой драматург. Прочитай!

— На обложке было написано:

«Ладислав Стронуежницкий\*. Наши удальцы».

Мошна взвесил тетрадь на ладони.

— Хорошо? — спросил он.

— Почитай — увидишь. А все-таки давай-ка войдем в театр! Думаю, твое первое впечатление не испортится. Сегодня впервые зажгут огни. Такой случай нельзя упустить!

Мошна, поколебавшись, согласился, и они, взявшись под руки, собрались уже перейти через улицу к театру, как по набережной подъехал открытый экипаж. На козлах восседал ливрейный кучер, рядом с ним — лакей. Выезд слишком бросался в глаза, чтобы наши приятели не обернулись ему вслед. Экипаж завернул за угол и остановился.

Дама и господин сидели в экипаже. Господин, в плаще и черном цилиндре, производил впечатление человека солидного, уверенного в себе; ему могло быть лет около сорока, у него была аккуратно подстриженная окладистая борода. Дама, в цветущем возрасте зрелой женщины, ослепительная красавица, была одета не по-пражски элегантно. Черные глаза ее, несколько запавшие, смотрели с невыразимым очарованием.

В это время дня солнце ярко освещает угол, где остановился богатый выезд, и весь он — господа, слуги, экипаж — казался явлением из другого мира. Вероятно, какие-нибудь чужестранцы, не смущаясь прохладной погодой, выехали в открытой коляске осматривать Прагу...

Колар пристально, насколько позволяло приличие, разглядывал их — и вдруг схватил Мошну за локоть:

— Возможно ли? Да ведь это Йозефина!

Мошна вздрогнул.

— Откуда ей тут взяться, она теперь в Веймаре — знаменитая Финна Цермак<sup>1</sup>! — брюзгливо ответил он, не спуская глаз с чужестранцев.

— Нет, она, она, и с нею — граф Коуниц, ее супруг! — стоял на своем Колар, а сам уже спинал шляпу.

Господин в экипаже приподнял цилиндр, дружески отвечая на приветствие. Потом он наклонился к даме и что-то сказал ей. Та только сейчас внимательно взглянула на актеров и в ответ на их поклон с улыбкой кивнула им.

Колар, взяв Мошну под руку, приблизился к экипажу.

То была Йозефина.

У Мошны сжалось сердце.

— Боже мой, да это Мошна! Колара я сразу узнала, — произнесла Йозефина приветливым тоном великосветской дамы, которую ничто не в состоянии поразить.

— Я постарел? — с некоторой язвительностью спросил Мошна.

— О нет, все тот же веселый добрый взгляд, — быстро ответила она, и ее прекрасное, непрístupное лицо чуть дрогнуло.

Йозефина нервно улыбнулась. Какое-то новое — по крайней мере так показалось Мошне — выражение покорности судьбе, а может быть, и презрения легло тенью в уголки ее губ.

Коуниц вежливо вмешался:

— Мы приехали взглянуть на Национальный театр. Наконец-то он готов! Да, это стоило огромных трудов... Вы, конечно, рады, господа?

— Они превзошли даже Веймар — там нет такого прекрасного большого театра! — с уважением молвила графиня.

— Осенью начнем играть, — гордо заявил Колар.

— Доведется ли и мне еще играть... — вздохнула красавица.

Коуниц счел, что они стоят на улице дольше, чем то позволяют приличия. Он поклонился и с улыбкой, приподнимая цилиндр, сказал:

— Желаю много счастья, господа!

Йозефина протянула руку — Колар поцеловал ее, Мошна только пожал. Долгим взглядом посмотрела на него Йозефина — а он стоял со шляпой в руке и смотрел на нее своими все еще мальчишескими глазами, ничуть не заботясь о том, принято это или нет в об-

---

<sup>1</sup> Превращение чешской фамилии Чермак в немецкую Цермак достигается простым удалением галочки над заглавной буквой «С» (прим. пер.).

ществе, смотрел, словно хотел разглядеть хоть одно движение ее лица, которое выдало бы ее давние чувства...

— Будь здоров, Индра,— шепнула она ему прежним дружеским тоном и еще раз протянула руку — то ли проститься, то ли коснуться его...

Экипаж тронулся. Йозефина обернулась еще, помахала рукой.

Колар и Мошна следили глазами за удаляющимся экипажем; заметнее всего были ливрейные слуги, неподвижные на козлах...

Колар был растроган.

Мошна молчал, уронив одно слово со вздохом:

— Принцесса...

Потом оба переглянулись, улыбнулись друг другу, как солдаты, которых застигли на посту в полной боевой готовности. У нас — все в порядке! И вот ждет нас чудесный наш театр...

Они вопли через главный вход: внутри пахло лаком, деревом, только что законченной работой.

В темном зале горели пока только боковые лампы. Мошна и Колар стояли молча, подобно верующим в храме перед торжественным богослужением.

В ложах на ярусах еще возились драпировщики, маляры, монтеры. Слышались удары молотков, голоса работающих.

Кресла еще не были установлены. На полу валялись обрезки досок, клочки обивки... Люстра, огромная, золотая, увешанная хрусталем, покачивалась под вогнутым потолком.

Раздались отдаленные удары в гонг, означающие перерыв на обед.

— Ну вот, перерыв, мы ничего не увидим.

Рабочие оставили свои дела, шум смолк. Многие спустились в зал; они разговаривали друг с другом, что-то показывали, объясняли и не уходили, словно ждали чего-то.

— Наоборот, кажется, мы попали вовремя,— возразил Колар.— Говорили, освещение испробуют как раз в полдень.

— Батюшки, какие к нам гости! — весело закричал один из рабочих в синей застиранной блузе.

— Господи, ты, Йозеф! А я-то и не узнал тебя в этой темноте! — Мошна радостно взял его руку.— Пу говори, как подвигают-ся работы?

— Пан управляющий, можно мне уйти на обед? — подошел к Калоусу маленький, растрепанный, чумазый ученик в фартуке, который был больше него самого.

— Лучше подожди, малыш: увидишь такое, о чем когда-нибудь расскажешь детям! — тронул его за подбородок Калоус.

Мошна посмотрел на мальчика, потом на старинного друга и, растаяв, тряхнул головой. Калоус понял, усмехнулся:

— Да, Индра, — жизнь, она, брат, вечная штука!

На сцене появились инженеры и старший монтер. Показывая друг другу что-то руками, они поговорили между собой, потом один из инженеров вышел вперед и хлопнул в ладоши:

— Внимание! Прошу приготовиться!

Через минуту он крикнул наверх, где расположены софиты:

— Готовы?

Ему ответили с разных сторон голоса:

— Есть! В порядке!

— Тогда прошу включить логи!

И, словно от прикосновения волшебной палочки, в ложах и над ложами зажглись огни.

Некоторое время стояла тишина. Все смотрели на десятки горящих ламп.

— Хорошо! В порядке! — крикнул инженер и, обернувшись к монтеру, что-то стал ему говорить.

— Теперь балконы и галерею! — прозвучал снова голос со сцены.

И засветились плафоны на ярусах, озарив пышно расписанный потолок.

Опять все безмолвно озирали просторы зала.

Подойдя к рампе, старший монтер крикнул:

— А у вас наверху все в порядке?

— В порядке! — словно с неба отозвался голос.

— Тогда давайте главную люстру и потолок!

И вот зал засверкал во всей своей красе. Восемь муз в овальных медальонах, кисти Женишека\*, словно вели хоровод вокруг пылающей люстры. А люди, стоявшие внизу, пораженные делом своих рук, запрокинув головы, все смотрели на сотни источников света, отражавшиеся в их глазах.

Мошна, стиснув руку Колара, с трудом сдерживал слезы.

— Какая красота!.. — Потом он поймал руку Калоуса. — Отлично сделано, ребята, отлично!

Зал сверкал великолепными бронзовыми изделиями; они были везде — на светильниках, на люстре, на стенах... Бронза имеет ту особенность, что походит на золото — там, где нужно, чтоб горело золото. Старое ремесло Мошны словно приветствовало его сотнями маленьких шедевров...

Калоус, чтоб справиться с волнением, тихонько пропел Мошне на ухо:

Этот глянец мы наводим,  
медники, краса цехов...

— Честные руки, Йозеф, чистая работа! — повторял в экстазе Мошна; вдруг, схватив Калоуса за плечо, он крикнул:

— Туда смотри!

Над порталом сцены сияли золотом слова:

«НАРОД — СЕБЕ»

— Ясное дело, себе! Для себя и строили, — без всякой сентиментальности молвил старый рабочий.

— Франтишек, это... это поразительно! Я... у меня дух захватывает! — обернулся Мошна к Колару. — Неужели здесь — здесь нам позволят играть?..

\* \* \*

Пепичка собиралась на последний, прощальный спектакль во Временном. Она заканчивала свой туалет в спальне, перед зеркалом, по бокам которого стояли два изящных бронзовых подсвечника — свадебный подарок Калоуса. Стянув полный стап корсетом, зачесав кверху пышные волосы, еще более похорошевшая после замужества, она пытливо разглядывала себя: женщина во цвете лет — жена, возлюбленная, мать, хозяйка, — она дышала жизнью, силой и нежностью.

Пепичка надела новое платье из серого шелка, с кружевом вокруг выреза, из-за которого едва не поссорилась недавно с Индрой.

— Ни у одной женщины на свете нет таких роскошных плеч, как у тебя! — воскликнул он тогда восторженно.

Тем не менее она велела портнихе прикрыть вырез кружевами. А платье ей заказал сам Индра у пани Фишевой, которая шила на всех театральных дам. Это был его подарок жене в благодарность за первый зубик их третьего сына. Пепичка даже мысленно боялась признаться самой себе в счастье — не сглазить бы...

Мошна уже час тому назад отправился в театр — он решил прийти туда пораньше, чтобы как-то проститься еще раз с местами, где и сам начинал и где начинался чешский театр.

«Нынче зал будет битком набит, — думал он по дороге. — После «Проданной» состоится торжественное закрытие Временного... Франтишек Колар подготовил живые картины из сцен лучших спектаклей, сыгранных за эти двадцать лет... Скленаржова будет читать «Послесловие» Элишки Красногорской\*, а перед этим оркестр исполнит увертюру Антонина Дворжака «Моя родина»... Этот Тонда Дворжак работает всюю! И с Аннинькой он счастлив. — Мошна мысленно одобрил старого приятеля, усмехнулся. — Как странно оборачиваются судьбы людей! Когда Дворжак впервые появился у Чермаков, Аннинька была еще ребенком, и вот теперь она мать не-

скольких пострелят... А ее блистательная сестра? О, она и вправду блистательна, ничего не скажешь...»

Было еще светло, когда Мошна подошел к Временному — теперь он стал как бы задним фасадом, пристройкой Национального театра. У входа стояли актеры, собиравшиеся на спектакль. Выход Мошны был только в третьем акте — времени хоть отбавляй. Он стоял перед афишей:

14 апреля 1883

БЕДРЖИХ СМЕТАНА  
«ПРОДАННАЯ НЕВЕСТА»

В ЗНАК ПРОЩАНИЯ С ВРЕМЕННЫМ ТЕАТРОМ

Итак, это правда, — кольнула Мошну внезапная жалость — он вдруг понял, что любит этот маленький, неудобный, невозможный театрик, как любит мать своего пегучного, никем не любимого ребенка. Двадцать лет — это все-таки двадцать лет... Тысячи спектаклей, необозримая вереница ролей...

Мошна тряхнул головой — почти как Йозефина.

«Эх, что было, то сплыло, надо идти вперед, вперед...».

Он погасил сигару, как делал всегда, прежде чем войти в театр, и аккуратно спрятал остаток в длинный кожаный портсигар.

Старый швейцар поздоровался с ним через окошко — тот самый швейцар, который когда-то остановил новичков Мошну и Сейфферта... На белой теперь голове старика по-прежнему красовалась фуражка с горделивой, золотом, надписью. Эта фуражка уже тоже принадлежала истории.

— Ну что ж, в последний разок, пан Коварж! — подал ему руку Мошна.

— В последний, маэстро, в последний, — сожалеюще отозвался старик, как бы в недоумении развел руками и добавил со вздохом. — Теперь уже и меня, видать, на свалку...

— Напротив, старина, напротив! Как можно? Только теперь-то и начнем по-настоящему — и вы с нами! — похлопал его по плечу Мошна.

Хотя времени впереди было много, Мошна начал не торопясь переодеваться. Белое трико, черные штанишки, алая лента через грудь, жилетка, борода, лентой схвачены длинные волосы парика... Оглядел себя в зеркале, сделал несколько упражнений — скорее, по привычке — и сел к гримировальному столу. Долго рассматривал себя в старом зеркале.

Сколько лиц отражало оно... Все они скрыты где-то в его глубине. Сколько беззвучных жалоб, упреков, замыслов, сколько поис-

ков нужного выражения хранит его уже немного потускневшая по-  
верхность...

Вошел гардеробщик Шпачек — тоже часть старого реквизита.

— Нынче вы что-то раненько, маэстро!

— Да вот хотелось побыть здесь подольше — завтра ведь уж свосить начнут...

— Ничего, зато в новое перейдем! Вы, конечно, радуетесь? — ответил Шпачек, вешая на плечики обычный костюм Мошны и приготавливая для него утварь Принципала — тарелки, ножи, картонные гири...

— Да, чуть не забыл! — И Шпачек вынул из кармана небольшой сверток. — Пан Сметана, бедняга, все еще за городом, и вроде бы хуже ему стало. — Шпачек покачал головой. — Он вам вот это плет — утром принес пан Срб, он сам только что из Ябкениц.

— Сметана? — Удивленный Мошна бережно принял аккуратный продолговатый сверточек, пошухал его. — Да это сигара, Шпачек, он мне сигару прислал! Нет, какое внимание... От Сметаны, от самого Сметаны... — повторял обрадованный Мошна.

То была действительно прекрасная виргинская сигара, и к ней был приложен листочек бумаги, на котором круглым мелким почерком было написано:

«Принципалу — к последнему спектаклю в нашем Временном! С.».

Лишь после ухода Шпачека до Мошны вдруг дошел намек старого театрального служителя на состояние Сметаны. Ну да, об этом уже ходили слухи — страшно было не только то, что Сметана оглох: говорили, он страдает душевным расстройством...

«Уходят... уходят! — с внезапной горькой болью вскрикнул про себя Мошна. — Почему так: все уходит, и никто этому не удивляется? Только головой покачают, вздохнут, и опять все идет, как шло... Конечно, появляется новое... лучшее.. более совершенное — но Сметана?! Сметана, измученный, умирающий где-то в глуши... Манес, бедняга, умер сумасшедшим... Новое, лучшее? Конечно! Иначе можно ли было бы жить? Лучшее ли? Ведь что важно? Важно, чтоб люди не умирали в сумасшедших домах, не бросались из окон, не стрелялись, оставленные всеми, не подыхали в канавах... и какие люди!»

Напрасно старался Мошна отогнать тяжелые мысли — они осаждали его как рой назойливых мух. Вспомнил Тыла, его белую дрожащую руку на фоне темного занавеса, последнее «прости» великого артиста... А бедняга Крумловский? С ясностью необыкновенной послышался Мошне голос Крумловского, который когда-то, в ту странную ночь, взывал ко всем, в чьи лавры жизнь вплела столько терний... Крумловский... Лишь недавно узнал Мошна, что, обесси-

левший от голода, кончил свою жизнь в канаве где-то под Простей-овом этот человек, один из величайших артистов, князь Бржетислав, чешский Ахилл...

И невольно пришло еще одно воспоминание: недавно рассказал ему Ладислав Квис, как однажды вечером прогуливался он с Нерудой по улице и подошел к ним за милостыней оборванный нищий — Карел Сабина...

Из зала донеслись рукоплескания, — публика приветствовала бессмертную оперу, для которой этот самый Сабина написал либретто.

Мошна вскочил.

— Кому рукоплещут? — вскричал он, словно в какой-то непостижимой, бессвязной пьесе.

Махнул рукой — быть может, отгоняя тени, заполнившие узкую гримерную театра, завтра обреченного на снос. Рука сама потянулась к подарку Сметаны — словно стремилась ухватиться за что-то прочное, как за доказательство, что люди живут с людьми, думают друг о друге из одной лишь радости помочь, поддержать — пусть самым маленьким, незначительным знаком внимания... который дороже всякой славы...

Мошна держал коробочку с сигарой, и слезы стояли у него в глазах.

«Я сберегу эту сигару как самый почетный лавровый венок, но сначала — сделаю хоть одну затяжку, зажгу ее, как тихую жертву в честь того, что уходит, — но живет вечно...»

И опять долетели аплодисменты из зала.

«Конечно — всегда, всегда будут аплодировать тем, кому овации не вскружили голову, кого свист не поставил на колени...».

Мошна повернулся к двери; через нее теперь доносились приглушенные звуки самой радостной музыки, какая когда-либо звучала в этом тесном здании.

«Бои были — и будут! Были и будут победы! Без усилий, без борьбы и жертв, без сомнений и поисков нельзя жить! Но жить нельзя и без веры в великое искусство — в искусство вечное и неизменное, от которого тысячам людей спится спокойнее и радостнее, чьи закономерности не в силах изменить ни обманы, ни вопли, ни ученийшие, хитроумнейшие трактаты! В то искусство, которое на века вечные останется хранителем человеческого счастья и мира на земле... Без веры в такое искусство невозможно сделаться не то что большим, но даже и крошечным художником! Да будет же дано мне, всего лишь комедианту, после всех пройденных дорог стать хоть смиренным служителем его к вящей славе чешского театра, перед которым наконец-то, после всех страстей и мук, кажется, открывается новое, более прекрасное будущее...».

Словно молился Мошна перед старым, потускневшим зеркалом — древним символом шутов и свободных художников, чья единственная обязанность — держать свое зеркало пред лицом общества, говоря в глаза ему правду и более чем правду!

Послышался новый взрыв аплодисментов...

Явился старый Шпачек предупредить Мошну: скоро его выход...

Зал опять успокоился. Притушены огни, полумрак... Осветилась снизу рампа, магическим светом озарив славный замок на занавесе.

Адольф Чех, в черном фраке, окинул взором оркестр и постучал палочкой по пульту. Грянула увертюра.

Зал, набитый до отказа, заволновался, захваченный ликующей музыкой.

Во втором ряду актерской ложи сидела старая пани Гинекова. Больная, она все-таки вышла сегодня из дому, чтобы увидеть последнее представление — быть может, последнее в ее жизни. Рядом с ней был Шамберк — тучный, сильно раздавшийся вширь господин, в котором давно никто уже не видел «красавца Фердинанда».

В ложе прощениума сидела Пепичка с Яном Нерудой, пятидесятилетним уже, седобородым, давно оставившим привычку стоять во время спектаклей в партере. Был с ними и седой Ферда Напрстек, чьи глаза горели, однако, прежним воодушевлением. Позади них, тихий и скромный, поместился Калоус — он долго отговаривался, стесняясь занять столь видное место, но делать было нечего, все билеты были проданы, вот и пришлось ему, как он выразился, «пойти на выставку». А устроил это все Мошна, желавший, чтобы старый друг был поближе к нему.

Когда зазвучал марш комедиантов, Пепичка обернулась и посмотрела на Калоуса взглядом, полным благодарности и воспоминаний.

Тем временем Мошна, готовый к выходу, в последний раз оглядел своих комедиантов, во главе которых стояли «индеец» — Сейферт и Эсмеральда — Тереза Ледерер: прежний состав! Но вот все собрались, и Мошна, подбрасывая картонные гири, шагнул на сцену.

И тотчас зал взорвался аплодисментами. Мошна шел упругой атлетической поступью — и вдруг подпрыгнул, метнул свое знаменитое сальто!

— Чертов парень! — пробормотала пани Гинекова. — Никак успокоиться не хочет!

А Принципал уже начал свое обращение к публике:

«Извещаем почтенных зрителей, что сегодня, на этом прекрасном празднике, будет разыграна превосходная, невиданная доселе

комедия — на канате, на копе и на земле! В каковой комедии особо отличится мадемуазель Эсмеральда Саламанка, которая совершит великолепные, невероятные прыжки, после чего настоящий индеец с Отайти, с островов, удаленных отсюда на пятьдесят тысяч миль, будет глотать пилки... то есть вилки с ножами! Затем вы увидите наш самый исключительный номер — дрессированный американский медведь покажет публике свое искусство, а потом в паре с мадемуазель Эсмеральдой Саламанкой станцует танец, специально привезенный из Гишпании! С глубоким почтением и уважением приглашаем благородную публику на наше представление! А сейчас вы увидите небольшую репетицию...

**АЛЛЕ — НАЧАЛИ!»**

## ВЛАСТЕЛИН НАРОДНЫХ СЕРДЕЦ

...Итак, Национальный театр поднял свой занавес. Отгремели торжественные звуки праздничной увертюры на его открытии. Наступили будни, наполненные борьбой, борьбой за духовные ценности чешского народа, за истинное назначение Национального театра.

Еще в 1875 году, в период его строительства, передовая интеллигенция в лице чешских писателей обратилась к руководству Национального театра с горячим призывом:

«Национальный театр должен быть самостоятельным, чешским по духу, театром — носителем художественной правды, средоточием всего лучшего в сценическом, драматическом и музыкальном искусстве. Он должен быть не тусклым отблеском жизни чужих народов, а зеркалом, отражающим картины героического прошлого и настоящего народа, его духовное развитие, его национальные и гуманистические устремления»<sup>1</sup>.

В период настойчивой борьбы демократической общественности за изменение репертуарной линии в Национальном театре Мошна принадлежала важная роль в утверждении реалистических пьес на сцене. Дарование актера не только способствовало проникновению в театр пьес, отражающих правду жизни. Сам Мошна просто и скромно, избегая деклараций, стал последовательным поборником реализма на чешской сцене.

В период упадка реалистического репертуара Мошна одним из первых выступил на его защиту. За несколько месяцев до открытия Национального театра, в декабре 1882 года, он ставит в свой бенефис «Женитьбу» Н. В. Гоголя, не шедшую до того на чешской сцене. В 1885 году, во второй год существования «Золотого дома» — так называл народ Национальный театр — Мошна снова выбирает пьесу Гоголя, не ставившуюся еще в чешском театре, — «Игроки».

Такой выбор актера, очевидно, не был случайным. Гоголь был наиболее близким автором для демократической части чешского общества. С его именем в Чехии связывали понятие «реализм». «Именно Гоголь учил нас реализму... Ни Бальзак, ни Диккенс, ни другие западные мастера не являются отцами чешского и словацкого реализма. Мы узнали их позднее, когда влияние Гоголя уже пустило у нас глубокие корни»<sup>2</sup>.

Вот почему выбор Мошной пьес Гоголя был воспринят демократической критикой как призыв к обращению театра воспитать и

<sup>1</sup> F. A. Šubert, Dějiny Národního divadla, Praha, 1908, s. 41.

<sup>2</sup> З. Неedly, Великий учитель реализма. — «Правда», 1952, 2 марта.

просветить народ посредством реалистического отражения жизни. И. В. Фрич горячо приветствовал эти постановки пьес Гоголя. О спектакле «Игроки» он писал: «Нам была показана жемчужина, и это дает надежду, что впредь реалистическому направлению будет уделено больше внимания. Прошедший спектакль порадовал бы и русского зрителя»<sup>1</sup>.

Одна из пражских газет писала о постановке «Женитьбы»: «Как многому мы могли бы научиться у не оцененного еще до конца Гоголя! Сколько классических примеров душевной вялости и внутренней пустоты существует у нас и просится на сцену под бич сатиры!»<sup>2</sup> Другая утверждала: «Одно сочетание имен Гоголя и Мошны несомненно сумеет наполнить театр снизу доверху»<sup>3</sup>.

В том же 1885 году Мошна сыграл роль, исполнением которой как бы выдержал экзамен на творческую зрелость. Это был Гарпагон в «Скупом» Ж.-Б. Мольера. «Выступление Мошны в «Скупом» принадлежит к высочайшим достижениям не только актерского искусства Национального театра, но и чешского сценического искусства вообще», — писал один из современных актеру деятелей театра.

Многое пришлось преодолеть Мошне, чтобы настоять на получении этой роли. Только упорство и мужество подлинного художника помогли ему работать над ней в атмосфере всеобщего недоверия. Мошна выступил как большой зрелый мастер, в совершенстве овладевший искусством переживания. Впервые в истории чешского театра с такой глубиной проявилась сила реалистического искусства. Перевоплощаясь в мольеровского скупца, раскрывая социальную сущность мира богатеев, он показывал любовь Гарпагонов к деньгам как самоцель, всепожирающую страсть, являющуюся пределом собственности. Точно следуя Мольеру, Мошна в образе Гарпагона подчинял все его основной страсти — скупости. Она выражалась каждым движением, жестом и взглядом актера. То, как торопливо он задувал огарок свечи, чтоб не сторело лишнего, то, как при разговоре с собеседником, будь то сын, дочь или посторонний человек, ощупывал его маленькими, острыми глазками, допытываясь, не украли ли тот чего, не догадался ли, где у него спрятаны деньги; то, как он невелил ценкими пальцами, привыкшими пересчитывать золотые, — во всем без слов жил скупце, раб золота.

Маленькая, сухощкая фигурка Гарпагона в узких панталонах и короткой куртке неумоимо двигалась по комнатам в поисках вообразяемого грабителя. Вся внутренняя жизнь его была заполнена болезненной подозрительностью и осторожностью. Это ощущалось по-

<sup>1</sup> «Jevišťe», 1885.

<sup>2</sup> «Divadelní listy», 1882, N 18, s. 9.

<sup>3</sup> K. Engelmliller, O slávě herecké, Praha, 1947, s. 52.

стояино, даже когда Гарпагон вел беседу об обеде и гостях. Он был все время насторожен: не слышно ли шороха или лая собаки, не крадется ли кто к его добру, не собираются ли провести его домочадцы?

В том, как Гарпагон в разговоре с дочерью о найденном для нее женихе смаковал слова «без приданого», красноречиво выступал все тот же скупец.

«Произнося впервые: «Он берет ее без приданого», Гарпагон — Мошна с улыбкой, даже с любовью рассматривал дочь, словно впервые ее видел, млея от восторга, что его денежки останутся целы. И снова с наслаждением повторял он эту фразу, поглаживая от удовольствия подбородок и еще более расплываясь в улыбке. В третий раз Мошна произносил ту же фразу, усиливая голос, не в силах сдержать охватившего его восторга и стараясь втолковать это не разделявшим его радости Валеру и Элизе. В последний раз слова «без приданого» звучали по-деловому, как нечто бесповоротно решенное; быть может, он смаковал бы эти слова гораздо дольше, но лай собаки неожиданно выводил его из восторженного состояния; настороженность и подозрительность его удваивались, и Гарпагон — Мошна мчался со всех ног проверять свое добро»<sup>1</sup>.

Раскрывая образ Гарпагона, Мошна исходил из мольеровского метода построения характера, но в то же время не ограничивался только изображением скупости, а подчеркивал ее огромное общественное зло. Гарпагон — Мошна был груб и бесцеремонен с окружающими, потому что был богаче их. Он не считал зазорной женитьбу на невесте собственного сына, потому что имел деньги. Он хотел пользоваться всеми земными благами, но за чужой счет и считал это своим правом именно потому, что был богат.

Пропажа денег была для Гарпагона — Мошны самой страшной жизненной катастрофой. Именно эту сцену, как и у Мольера, актер делал кульминационной. Изображая отчаяние Гарпагона, Мошна достигал вершины актерского мастерства. Эта сцена отличалась особенно глубоким психологизмом, в зале смолкал смех и наступала напряженная тишина.

Но волнение зрителя рождалось не сочувствием к Гарпагону. Оно выражало смешанное чувство страха за человека, потерявшего человеческий облик, и отвращение к нему и к его стенам.

«Можно было сойти с ума от его крика, — вспоминает современник актера, — когда Гарпагон, ломая руки, неистово кричал: «Держите вора! Грабителя! Убийцу!.. Эй, палача сюда! Всех перевешаю, а если денег не найду, повешусь сам!» Эту сцену Мошна проводил на грани комизма и трагизма, потрясая всех глубокой психологической разработкой образа»<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> F. A. Subert, J. Mošna, Praha, 1902, s. 67.

<sup>2</sup> Там же.

Мошна в этой пьесе превосходно осуществлял то, что Станиславский называл перспективой роли. Не один современник актера отмечал, что как в этой картине, так и на протяжении всего спектакля «Мошна не потерялся ни в одной сцене и держал зрителей от начала до конца, сообщая им ощущение полной жизненной иллюзии»<sup>1</sup>.

Гарпагон Мошны был жизнен и правдив, потому что актер полностью входил в образ. Он серьезно, без какого-либо желая смешить жил в этой роли, и потому его комизм был действительнее и сильнее, так как «воспринимался зрителями через противоречия между скупцом и окружающей его»<sup>2</sup> семьей.

«Комизм произведения, сатира,— говорил К. С. Станиславский,— сами собой вскрываются, если отнестись ко всему происходящему с большой верой, серьезно.

...Без веры и серьезая нельзя играть комедию»<sup>3</sup>.

Игра Мошны в роли Гарпагона выражала это. Так, в сцене Гарпагона с Фрозиной Мошна принимал всю лесть Фрозины искренне и доверчиво. Выражение настороженности и подозрительности постепенно сменялось на его лице блаженной старческой улыбкой, и он произносил: «Ты находишь, что я недурен собой?»

«Этот переход одних черт в другие, совсем противоположные,— вспоминает современник,— был необычайно интересен»<sup>4</sup> и вызывал гомерический хохот зрительного зала.

Мошна был первым и лучшим исполнителем роли Гарпагона в чешском театре. Благодаря его искусству «Скупой» Мольера стал одной из любимых комедий демократического зрителя. Ярослав Врхлицкий, впервые переведший «Скупого» на чешский язык, писал в предисловии к переводу: «...наш прекрасный характерный актер, комик Индржих Мошна достиг в «Скупом» блестящего успеха, и именно благодаря его выступлению эта пьеса привлекает самые широкие слои нашей публики»<sup>5</sup>.

Элементы критического осмысления окружающей действительности, проявившиеся в этой роли, свидетельствовали также и об идейной зрелости актера, о его сознательном, вдумчивом отношении к своему искусству.

По настоянию демократической общественности в репертуар Национального театра была включена пьеса Й.-К. Тыла «Дочь поджигателя» и поставлена не шедшая ни разу на сцене пьеса Ф.-В. Ержабека «Слуга своего господина». Несмотря на то, что роли Мошны

<sup>1</sup> K. Engel m ü l l e r, O slávě herecké, s. 52.

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> К. С. Станиславский, Собрание сочинений в 8-ми томах, т. 1, М., «Искусство», 1954, стр. 112.

<sup>4</sup> F. A. Subert, J. Mošna, s. 67.

<sup>5</sup> Там же, стр. 69.

в этих пьесах были невелики, образы, созданные здесь, оставили в памяти современников неизгладимое впечатление. После многолетних выступлений в водевильном репертуаре актер мог снова обратиться к воплощению на сцене людей из народа, к чему его неустанно призывал в своих статьях Я. Неруда.

В небольшой роли домашнего учителя Дробечека («Слуга своего господина»), неслышными шагами входящего в дом фабриканта, Мошна взволнованно передавал бесконечную робость скромного труженика, которому все дают понять ничтожность его общественно-го положения. В то же время всем поведением Дробечека, сдержанным благородством его манер, его честным, открытым взглядом актер стремился подчеркнуть внутреннее превосходство бедного учителя над его хозяевами. Вот это стремление противопоставить труженика миру хозяев, показать его внутреннее богатство становится все более осязаемым в творчестве Мошны.

Поэтому и в небольшой роли деревенского могильщика Мелихара («Дочь поджигателя») у Мошны на первое место выступали мудрость, чуткость и душевное благородство маленького человека.

Все эти образы, созданные Мошной в национальной драматургии, представляют собой типы из чешской действительности. В них не было ничего исключительного, их можно было без труда увидеть в повседневной жизни. Именно потому жизненно правдивое раскрытие Мошной душевных качеств этих незаметных людей было важным этапом в истории чешского театра.

Мироощущение художника, служащего своему народу и глубоко болеющего за его невзгоды, все отчетливее выступало в искусстве Мошны, особенно ярко выявляясь в сочувствии актера униженному и оскорбленному простому чешскому человеку, жизнь которого была тяжела и безрадостна.

Честь и слава поэту, муза которого любит людей на чердаках и в подвалах! — восклицал В. Г. Белинский.

Но, раскрывая правдиво и глубоко судьбу рядовых людей, Мошна не только вызывал к ним сочувствие, но заставлял говорить о социальной справедливости, которой они были лишены.

Именно благодаря тому, что Мошна даже в эпизодической роли отыскивал волновавшие его мотивы, отстаивая право каждого человека на счастье, социальная направленность его искусства ощущалась во всех создаваемых им образах. Показательной в этом отношении была сыгранная Мошной роль старика Петра Дубского в комедии Л. Струпежницкого «Наши гордецы». Постановка этой пьесы в 1887 году на сцене Национального театра явилась выдающимся событием в истории чешского театра.

Строупежницкий, написавший до «Наших гордецов» ряд пьес в которых стремился овладеть реалистическим методом, создал на этот раз пьесу на основе внимательного изучения жизни. В ней оформляются художественные принципы Строупежницкого, которые он настойчиво проводил в жизнь в качестве драматурга<sup>1</sup> Национального театра. Это правдивое, реалистическое отображение действительности ознаменовало поворот чешских авторов к родной тематике, к отражению важных вопросов современной действительности.

«Мы знаем из театралных постановок мельчайшие подробности быта аристократических и буржуазных салонов, жизнь французской семьи, политические и социальные отношения во Франции, ателье французских художников, жизнь клубов, но как выглядит наша собственная чешская жизнь, и особенно жизнь деревни, находящейся даже в нескольких часах езды от Праги, об этом пражский житель не имеет никакого представления»<sup>2</sup>, — писал Строупежницкий.

Готовя постановку «Наших гордецов», актеры впервые в истории чешского театра работали так тщательно и глубоко, стремясь создать на сцене атмосферу подлинной жизни. Режиссер Йозеф Шмага, воспитанный на пьесах русских драматургов, отнесся к новой пьесе Строупежницкого как к важному событию, открывающему дорогу национальным реалистическим пьесам. Шмага специально ездил в деревню Цергопицы, изображенную в «Наших гордецах», изучал обычаи и нравы ее жителей. Он пригласил для оформления спектакля лучшего чешского реалистического художника Микулаша Алеша, увлек актеров жизнью и событиями, описанными в пьесе. Превосходный актерский состав (Бушек — Й. Шмага, Габришперк — Ф. Колар, Блага — Й. Франковский, Дубский — И. Мошна) и тщательная постановка создали ощущение подлинной жизни на сцене.

Но буржуазная публика была шокирована столь «обнаженным» показом современной ей деревни, неприглядным изображением ее верхушки и невежества крестьян. Буржуазная критика возмущалась «грубостью» и «грязью» спектакля. «И деревня и крестьяне показаны в пей неслыханным образом...»<sup>3</sup> — писал рецензент «Гласа народа».

И, несмотря на то, что демократическая часть общества горячо выступила в защиту Строупежницкого, высоко оценив и пьесу, и постановку, и игру актеров, премьера была провалена, а пьеса снята с репертуара. Объяснялось это тем, что хозяином Национального театра, как раньше хозяином Временного, все еще был состоятельный

<sup>1</sup> Драматургом в чешском театре назывался заведующий литературной частью, отвечающий за формирование репертуара.

<sup>2</sup> «Nástin českého divadla», Praha, s. 76.

<sup>3</sup> «Hlas národa», 1887, květen.

буржуазный зритель, предпочитавший ласкающие глаз балетные спектакли.

В 1889 году, через два года после провала премьеры «Наших гордецов», Мошна нашел в себе силы поставить эту комедию в свой бенефис. Актер не желал приспособляться к вкусам буржуазного зрителя. Его искусство все определеннее обращалось к демократической публике. И хотя роль Петра Дубского, которую исполнял Мошна, не являлась ведущей, большое содержание, которое вкладывал в нее актер, сделало комедию Струпежницкого одной из самых любимых пьес демократического зрителя и утвердило ее в репертуаре Национального театра.

«Чтобы быть поэтом истинно народным... — писал Н. А. Добролюбов, — надо проникнуться народным духом, прожить его жизнью, стать вровень с ним, отбросить все предрассудки сословий, книжного учения и прочего, прочувствовать все тем простым чувством, каким обладает народ»<sup>1</sup>.

Образы, созданные Мошной, были проникнуты поистине народным духом. Этика народа была этикой актера. Поэтому даже в небольших ролях он мог взволнованно и глубоко раскрыть судьбу людей из народа. Яркое реалистическое дарование Мошны способствовало проникновению в репертуар реалистических пьес и вдохновляло чешских драматургов на создание образов специально для его исполнения: «Среди тех, кто раньше всех оценил необыкновенный художественный талант Мошны, были чешские драматурги...»<sup>2</sup> — писал директор Национального театра Ф.-А. Шуберт.

Один из выдающихся борцов за реализм конца XIX века, продолжатель демократических традиций Неруды в эстетике, Отокар Гостинский еще в 1881 году писал, что именно творчество Мошны будет во многом способствовать утверждению реализма в театре<sup>3</sup>.

«Чешские драматурги, — писал в одном из писем к Мошне Алоиз Ирасек, — с благодарностью помнят Ваши огромные заслуги не только перед чешским актерским искусством, которое Вы прославили, но и перед нашей драматургией. Вы создали своим великим искусством ряд характеров нашего народа, которые радуют, глубоко волнуют и никогда не исчезнут из памяти тех, кто их видел, так же как сохранится о них память в истории нашего театра»<sup>4</sup>.

Совсем иначе, чем передовые деятели чешской культуры, смотрели на искусство Мошны представители буржуазии. Актера

<sup>1</sup> Н. А. Добролюбов, Собрание сочинений в 3-х томах, т. 1, М., 1950, стр. 314.

<sup>2</sup> F. A. Šubert, J. Mošna, s. 76.

<sup>3</sup> См.: Teichman, Mošna, s. 76.

<sup>4</sup> «Národní divadlo», Praha, 1951, roč XXVI, č. 28, s. 13.

презрительно называли «коженкаржем»<sup>1</sup>, то есть носителем сермяжной правды<sup>2</sup>. И не случайно большая часть тогдашней критики стремилась снизить значение творчества Мошны, замалчивала социальную направленность его искусства, искажала истинный смысл образов, раскрывавшихся актером в ролях людей из народа. Буржуазная критика объявляла Мошну актером интуиции, неспособным работать над ролью и что-либо обобщать. Оценивая игру актера в ролях маленьких людей, буржуазная критика объясняла их жизненность и правдивость народным происхождением Мошны, уверяя, что актер играет только самого себя.

Что касается жизненности и правдивости созданных Мошной образов Гарпагона, а также Лизала (в «Марише» Мрштиков), то эти критики вульгарно объясняли их скупостью самого актера.

Против таких ложных измышлений горячо выступала демократическая критика. «Тот, кто глубже всматривался в Мошну,— писал Индржих Водак,— кого захватывали его небольшие роли (особенно недооцененные критикой типы бедняков), кто внимал этому правдивому голосу, выражению говорящих глаз, тот знал, что разговоры об интуитивной игре и о том, что Мошна-де сам не знает, почему это так, а не эдак, являются пустыми фразами...»<sup>3</sup>.

Творчество Мошны было близко и понятно широкому демократическому зрителю и находило горячий отклик в его сердцах. Именно потому было очевидным, что борьба передовой интеллигенции за глубоко содержательный реалистический репертуар, который давал возможность раскрывать глубину дарования актера, неразрывно связывалась ею с борьбой за демократического зрителя. Прогрессивные деятели чешской культуры все настойчивее выдвигали идею о необходимости давать спектакли для народа по сниженным ценам, ратовали за создание театра для рабочих. Обострение классовой борьбы в 1890-е годы, усиление рабочего движения, первомайские события 1890 года активизировали общественную жизнь, в том числе и театр. С 1893 года в Национальном театре начали два раза в неделю показывать спектакли народному зрителю по сниженным ценам. Общественная роль театра все более возрастала. Писатели-романисты обращаются к драматургии.

Шимачек, Прейсова, Стрoупежницкий, Ирасек, братья Мрштики своими пьесами возродили забытые было традиции Тыла и заговорили с народом на близком и понятном ему языке. И новый зритель

<sup>1</sup> Koženkař (от слова «koženku») — кожаные штаны, которые в то время носили труженики, особенно в деревне.

<sup>2</sup> См.: J. Průcha, Realistické herectví Mošnovo.— «Divadlo», 1951, roč. 2, č. 34, s. 346.

<sup>3</sup> J. Vodák, Tři herecké podobizny, Praha, 1953, s. 17.

способствовал укреплению в репертуаре их пьес. Мошна играл в этих спектаклях ведущие роли. Силой своего искусства он содействовал укреплению этого репертуара, обеспечивал его успех. Не случайно основные роли Мошны — Лизала в «Марише» братьев А. и В. Мрштиков и Дивишека в «Отце» А. Ирасека — были написаны специально для него. С особой силой обличение бесчеловечности капитализма прозвучало в поставленной в 1894 году пьесе братьев Мрштиков «Мариша» благодаря созданию в ней Мошной центральной роли. Опасаясь провала премьеры «Мариши», дирекция Национального театра сначала показала пьесу зрителю утренних спектаклей, после чего она прочно вошла в репертуар.

В образе кулака Лизала, созданном Мошной в этом спектакле, искусство актера достигло огромной обличительной силы. Мошна страстно и беспощадно рисовал мир корысти и чистогана, показывая, как собственничество извращает человека, убивает всякое проявление добрых чувств. Благодаря его искусству критический реализм Мрштиков вошел в чешскую жизнь активной силой.

Мошна не делал Лизала черствым, бессердечным человеком, равнодушным к судьбе своей дочери. Он показывал, как крепко укоренился в Лизале собственник, для которого сила денег ни с чем не сравнима. Это было основой его натуры.

Лизал ни во что не ставит человека, если он беден. Поэтому он искренне возмущен «наглостью» Франтишека, добивающегося брака с его дочерью. Когда Франтишек перед уходом в рекруты идет у всех на виду прощаться с Маришей, Лизал, захлебываясь от негодования, замахивается на него палкой и долго не может успокоиться, бранясь ему вслед.

Деловито и обстоятельно торговался Лизал — Мошна со своим будущим зятем, мельником, о приданом Мариши, словно совершал обычную продажу. И как при любой удачной сделке, оставшись один, он, довольный собой, злорадно хохотал: «Хочешь иметь Маришу, имей, но с деньгами я подожду... Деньги — есть деньги. И кто их ценить умеет, того деньги ценят. Я — пан, ты — пан. Но у кого есть деньги, тот еще больше пан. А у кого их нет — вечно нищий...»

Деньги — единственная сила в мире капитала. Страсть к ним стала плотью и кровью Лизала, в образе которого Мошна показывает классовую сущность прижимистого богатея чешской деревни.

«Пусть гольтыба идет, откуда пришла. Пусть ищет нищих, а не лезет на готовенькую землю!» — задыхаясь от гнева, вопил Лизал, взбеленный отказом дочери идти замуж за мельника. И неумолимо, прищурив свои холодные колючие глазки, Лизал кричал: «Будешь делать так, как я прикажу!»

Казалось, не было никаких преград для этого властного старика с жесткими чертами неприветливого лица. Самоуверенно и важно,

чуть прихрамывающей походкой проходил он по деревне, едва отвечая на поклоны односельчан.

Молча, ни с кем не разговаривая, сидит Лизал в деревенском трактире и пьет вино. Ни слова не отвечает он на сожаление односельчан о тяжелой доле Мариши, а только все ниже наклоняется над кружкой, продолжая упорно молчать.

Всем своим поведением Мошна при этом показывал, как тяжело старому Лизалу сознавать вину перед дочерью, как, привыкший повелевать, он не желает показывать свое страдание.

И все-таки Лизал — Мошна не выдерживает. Сначала он упрямо пытается доказать свою правоту. Но вот трактирщица восклицает: «Эх, ты! рассуждаешь как младенец. Ведь мог бы уж иметь разум, седой дед!..», «...Твердит то и дело — «деньги имею, участок земли, еще участок», — а дочь загубил...»

Молча отворачивался Лизал, тихонько вытирая слезы платком. Тихим, несвойственным ему голосом говорил: «Что же делать? Взять ее домой?..» и затем, обратившись к матери Франтишека, скорбно и безутешно шептал дрожащими губами: «Ведь он ее бьет. Мое дитя бьет. Деньги, все время деньги за нее хочет — и бьет ее. Вот какая жизнь у моей Мариши!» — и беззвучно, горько плакал.

«Кто мог еще сыграть так эту роль, — вспоминает современник, — как играл ее Мошна, со всею силой растерзанного сердца, с льющимися потоком слезами, наполнявшими его маленькие глазки и заливавшими его печальное морщинистое лицо.

На сцене появлялась подлинная жизнь...»<sup>1</sup>

Но тут же человеческое «я» Лизала снова скрывалось за прижимистостью богача. Он смеялся холодно и уверенно, когда узнавал, что зять требует приданое через суд. Когда же в последнем акте Лизал — Мошна, навещая свою дочь, предлагал ей бросить мужа и вернуться домой, зритель чувствовал, что над состраданием к дочери возобладала выгода: вернись Мариша к отцу — тот не обязан будет платить деньги мельнику.

Так и уходил Лизал, уверенный в своей правоте и силе, «заставляя покориться себе всякого, кто против его воли осмеливается поднять голову к небу»<sup>2</sup>.

Образ Лизала, созданный Мошной, был типическим характером кулака, укрепившегося в то время в чешской деревне.

Авторы пьесы с благодарностью писали актеру, что, хотя эту роль они и предназначали ему, но он превзошел все их ожидания: «Ваш Лизал навсегда останется в моей памяти, — писал один из них, — именно таким я его себе и представлял. Как удивительно вер-

<sup>1</sup> K. Engelmüller, O slávě herecké, s. 53.

<sup>2</sup> F. A. Subert, J. Mošna, s. 64.

но Вы его воплотили... Как хочется без конца благодарить Вас за столь превосходную, совершенную игру...»<sup>1</sup>.

Исполнение Мошной роли Лизала раскрыло со всей глубиной народную сущность его искусства, способность актера оценить явления с позиций человека труда.

Лизал Мошны явился образцом глубокого проникновения исполнителя в авторский замысел и истинного перевоплощения его в создаваемый образ.

Мошна был также блестящим интерпретатором пародийных ролей. Сила его пародии заключалась в умении найти для осмеяния наиболее типические черты, подчеркивание которых приводило к пародийному, а подчас и сатирическому изображению персонажа.

Одной из популярных ролей Мошны этого плана была роль рыцаря Адриана из комедии В.-К. Клицеры «Адриан из Ржимса», которую актер играл в течение почти всей своей сценической деятельности.

«Комик Мошна привел меня прямо в восторг исполнением заглавной роли в пьесе «Адриан из Ржимса»<sup>2</sup>, — вспоминала М. Г. Савина, видевшая Мошну во время своих гастролей в Праге.

Одаренность Мошны позволяла ему блистать не только в драматическом спектакле. Одной из популярных и любимых его ролей была роль Принципала — директора бродячей труппы — в опере Б. Сметаны «Проданная невеста». «Какие это были замечательные певцы и между ними — комедиант из комедиантов, неповторимый Мошна. Мошна — драматический актер, но как неподражаем он в опере. Это бесспорно выдающийся художник»<sup>3</sup>, — писали венские газеты о Мошне в «Проданной невесте» во время пребывания Национального театра в Вене на Международной выставке 1892 года.

Простой и ясный художник, сочно воспроизводивший жизнь в каждой своей роли, он умел и глубоко печалиться и смеяться открытым, бодрым, заразительным смехом.

Внимательное изучение жизни, умение подметить в ней типическое, способность в конкретном театральном образе отразить социальные и психологические черты характера и, наконец, непосредственная, искренняя и яркая передача на сцене подмеченного в жизни делали искусство Мошны подлинно реалистическим.

Несмотря на большие творческие достижения, к которым пришел Мошна в девяностые годы, несмотря на его постоянное стремление к глубоко содержательному репертуару, поддержки со стороны театральной администрации актер не получал. Напротив, его постоянно

<sup>1</sup> Цит. по кн.: L. Páleníček, J. Mošna — herec realistický, Praha, 1954, s. 119.

<sup>2</sup> «Русское сценическое искусство за границей», Спб., 1909, стр. 94.

<sup>3</sup> Цит. по кн.: J. Kvařil, O sém vím, Praha, 1947, s. 152.

занимали в балетных спектаклях, которые очень часто шли в Национальном театре. Мошна должен был танцевать партию Китайца в балете Манзотти «Совершенство» («Ehelsior») и Флика в фантастическом балете Тальони «Флик и Флок». В то же время роль Дивышека в драме А. Ирасека «Отец», написанную автором специально для него еще в 1894 году, Мошна смог сыграть лишь в последнюю пору своего творчества — в 1907 году.

В 1890-е годы, в период наиболее упорной борьбы чешских прогрессивных деятелей за реалистическое искусство, необычайно возрос интерес широких слоев общества к русской литературе и искусству. Отакар Гостинский, Вилем Мрштик, Ян Ладецкий, продолжая дело Неруды, призывали чешских художников учиться мастерству у русских писателей, драматургов. Поддержкой и руководством чешских писателей в их борьбе за реализм служили статьи Белинского, Добролюбова и Чернышевского, переводы произведений которых, как и пьес Островского, Гоголя и Л. Толстого, появились в Чехии в эту пору. В 1900 году Мошна исполнил роль Акима в драме Л. Толстого «Власть тьмы». Еще до постановки в театре «Власть тьмы» сыграла важную роль в борьбе чешских писателей за реализм. Передовые чешские критики обращались к этой пьесе при разборе пьес отечественных драматургов, советуя им учиться созданию образов у Толстого.

Лучшая пьеса братьев Мрштиков «Мариша», ставшая классическим произведением чешской драматургии, была написана под непосредственным воздействием пьесы Л. Толстого. Вилем Мрштик, переведший «Власть тьмы» вскоре после ее написания, двенадцать лет настойчиво боролся за ее постановку в Национальном театре.

Премьера «Власти тьмы», состоявшаяся 26 октября 1900 года, вызвала большой интерес чешской демократической общественности. Прогрессивные журналы уделили много места анализу драмы и оценке ее значения для чешского сценического искусства.

«Впечатление, производимое драмой Толстого на публику, — потрясающее»<sup>1</sup>, — писал пражский корреспондент русского журнала.

Спектакль, поставленный Й. Шмагой, был правдив и убедителен. Никиту играл Э. Воян, Петра — Й. Шмага, Матрену — Л. Данзерова, Акулину — М. Гюбнерова. Огромное впечатление произвел на зрителя Мошна — Аким.

Основной идеей, из которой исходил актер в создании этого образа, были поиски правды жизни. «В полный голос говорил Мошна в образе Акима о духовной красоте, благородстве и нравственной чистоте простого человека»<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> «Театр и искусство», 1900, № 44, стр. 702.

<sup>2</sup> J. V o d á k, Tři herecké podobizny, s. 10.

Аким — Мошна не был благостным старцем. Философская концепция Толстого — непротивление злу насилием, выраженная наиболее полно в образе Акима, — отступала на задний план. Однако нравственное превосходство Акима — Мошны над окружающими его людьми, удивительная душевная чистота, жажда справедливой жизни, в сущности, ни к чему не вели. Аким со всей своей жаждой добра был одинок в окружающей его непроглядной правственной тьме и потому казался одновременно и невероятно трогательным и невыразимо жалким.

В 1901 году Мошна сыграл роль Телегина («Дядя Ваня» А. П. Чехова), в 1902 году — Перчихина («Мещане» М. Горького) и в 1907 году — Ферапонта («Три сестры» А. П. Чехова). Каждый из этих образов поражал своей неповторимой точностью. В образе Перчихина Мошна наряду с высокими душевными качествами человека из народа сумел отчетливо выделить ноты социального протеста и требования социальной справедливости, намеченные им уже в образе Акима. Именно благодаря Мошне — Перчихину и Вояну — Тетереву «Мещане» Горького получили широкий резонанс. Горький и до того был известен чешской общественности, но после постановки «Мещан» он стал популярным, любимым автором.

В 1902—1905 годах вышло первое издание сочинений М. Горького на чешском языке. Для Чехии «Мещане» являлись чрезвычайно актуальной пьесой. Мещанство имело здесь большую силу. Чешский буржуа накладывал печать филистерства на все, что выходило из его рук.

«Мещанин не любит ни больших страстей, ни больших чувств, — и больше всего не любит больших мыслей в жизни и в искусстве, — писал Юлиус Фучик о чешском мещанине. — Все великое ему претит: оно либо раздражает его, и тогда он призывает начальство вмешаться, либо, если оно ему импонирует, он начинает его приспосабливать, кроить по своей мерке, мельчить...

...Обыватель... не мог, да и не хотел принять... явления жизни, вносящие переворот в его размеренное бытие»<sup>1</sup>.

Каждый чешский прогрессивный писатель-демократ нес в своем творчестве разоблачение филистерской сущности чешского буржуа. «Исчезни с нашей земли, которую ты оскверняешь и позоришь», — восклицал, обращаясь к мещанину, в своей знаменитой сатирической повести «Путешествие пана Броучека в XV век» Сватоплук Чех.

Вот почему постановка «Мещан» Горького была встречена передовыми чешскими деятелями как исключительно радостное событие. Этим же объясняется и то, что в спектакле больший акцент был сделан на обличении буржуазного мира и связанного с ним ми-

<sup>1</sup> Ю. Фучик, Избранные очерки и статьи, М., 1950, стр. 230.

ра мещанства, чем на провозглашении революционных идей Горького.

Обличительный пафос горьковских «Мещан» нарушил спокойствие чешского буржуа и вызвал протест с его стороны. Несмотря на превосходный актерский состав (Бессеменов — Й. Шмага, Тетерев — Э. Воян, Татьяна — Г. Квапилова, Нил — Я. Вавра, Перчихин — И. Мошна) и глубокое, взволнованное исполнение, спектакль выдержал в Национальном театре всего два представления. Буржуазный зритель не хотел видеть своего собственного разоблачения. Буржуазные газеты стремились снизить революционное звучание пьесы Горького, свести большой социальный конфликт, показанный в ней, к раздору между отцами и детьми. Орган либеральной буржуазии «Национальная газета» («Národní listy») писал, что пьеса представляет «русский вариант на излюбленную в наше время тему спора поколений. Отцы и дети расходятся во взглядах на жизнь... При этом все несчастье детей Бессеменовых в том, что они научились думать, а это лишает человека способности действовать...»<sup>1</sup>. Этим «жертвам образованности» рецензент противопоставляет «грубое дитя природы» — Нила, а выразителем идей автора считает... Тетерева.

Но широкий зритель увидел в Горьком своего писателя, выразителя затаенных дум и чаяний трудового человека. Не случайно поэтому в 1903 году в день празднования 1 Мая социал-демократы потребовали постановки для рабочих именно «Мещан» Горького. Спектакль не состоялся, но благодаря настойчивым требованиям рабочих организаций все же был показан в июне 1905 года.

Орган социал-демократической рабочей партии «Право лиду» писал о премьере «Мещан» в Национальном театре: «Горький видит спасение своей родины в промышленном рабочем, пролетарии. Фраза: «хозяин тот, кто трудится» — утверждается как лозунг пьесы».

Объясняя, что выразителем идеи автора является не Тетерев, а Нил, газета пишет: «Кому не понятно символическое значение образа машиниста Нила? Кому не понятно, что этим Нилом... автор... хотел выразить свою веру в класс, из которого вышел сам, в миллионы трудового народа, творящие ту питательную почву, на которой вырастет единая, новая, свободная Русь... Наши буржуа в зрительном зале, смотря на буржуа на сцене, едва ли могли примириться с чисто революционными, пролетарскими взглядами автора»<sup>2</sup>, — заключает «Право лиду», определенно связывая неуспех спектакля с враждебным отношением к нему буржуазии.

Одним из лучших образов спектакля, взволнованно и гневно обвиняющим филистерскую сущность буржуазного мира, был Пер-

<sup>1</sup> Цит. по кн.: «Národní divadlo», Praha, 1949, s. 10.

<sup>2</sup> «Právo lidu», 1902, 18 říjen.— Цит. по кн.: «Národní divadlo», s. 11.

чихин Мошны. Искатель правды жизни, его Перчихин нашел для себя выход из жизненного тупика в природе. Он был прежде всего дитя природы. Этим определялась его детскость, его беспредельная наивность и непосредственность. Свободным Перчихин — Мошна чувствовал себя только на природе, среди птиц. Поэтому свой рассказ о ловле снегирей он произносил не восторженно, не самозабвенно, а с большой задушевностью, с тихим, просветленным взглядом, поглядывая на собеседников, которых неожиданно для себя ввел в дорогой ему мир. Несмотря на глубокую симпатию актера к своему герою, Мошна был далек от его идеализации. Внешне его Перчихин выглядел чужаковато. Седая борода и свисающие над ней усы, светлые, немного вытаращенные добрые глаза, длиннополый поношенный зипун, подпоясанный веревкой, придавали его облику вид сказочного деда. Сцену, в которой Перчихин узнавал о браке Поли с Нилом, Мошна наполнял глубоким подтекстом. Он потрясен столь неожиданным для него сообщением именно потому, что давно разуверился в возможности простого человеческого счастья в мире, где господствует бессеменовщина.

Духовное превосходство Перчихина над миром стяжателей и нескрываемая ненависть к мещанству красной нитью проходили через образ, созданный Мошной.

С восторгом и одобрением глядя на Нила, его Перчихин говорил, сожалел: «Мне с ним — не по дороге...» Не по дороге не потому, что он против Нила, а потому, что он никогда не поспеет за ним. Уход птицелова в природу хотя и был уходом от прямой борьбы, но не означал у Мошны, что Перчихин не помог бы таким, как Нил, в столкновении с их общим врагом — не сумел бы помочь сам, так помог бы через свою дочь.

В Перчихипе Мошны угадывался представитель народа, жизнь которого в эти годы не была еще активизирована, но который все-таки вышел в январе 1905 года на улицы Праги, чтобы вместе с чешскими трудящимися продемонстрировать свою солидарность с русской революцией.

В образе Перчихина реалистическое искусство Мошны достигло большой обобщающей силы и подлинной народности. Исполнение этой роли доставляло актеру ощущение огромной творческой радости. «Милая моя, как сегодня было чудесно»<sup>1</sup>, — говорил обычно Мошна после окончания спектакля своей партнерше и постоянной ученице Ганне Квапиловой.

Произведения Толстого и Горького позволили Мошне в последние годы жизни прийти к творчеству своего современника и соотечественника Алоиза Ирасека.

<sup>1</sup> H. Kvařilová, Literární pozůstalost, Praha, 1946, s. 247.

Одна из лучших пьес Ирасека — «Отец». Пожилой крестьянин Дивишек мечтает прибрать к рукам усадьбу своего соседа Конецкого. Тайно скупив все его векселя, Дивишек в самый затруднительный для Конецкого момент требует их немедленной оплаты. Оказавшись в безвыходном положении, семья Конецкого вынуждена отдать Дивишеку свою усадьбу.

Во время выезда Конецких из усадьбы сын Дивишека, Бобеш, принудил к драке сына Конецкого, Вацлава. Обороняясь, Вацлав смертельно ранит Бобеша.

Дивишек рассчитывал отдать все хозяйство своему любимцу Бобешу. Для этого он насильно отправил в монастырь дочь, а чтобы освободиться от второго сына, Яна, принудил его поступить в духовную семинарию.

Смерть Бобеша мешает осуществлению намерений Дивишека. Несмотря на просьбы отца остаться с ним и взять хозяйство в свои руки, нелюбимый сын Ян возвращается в семинарию. Дивишек остается один.

Образ Дивишека решен Ирасеком с замечательным психологическим мастерством. Рисуя его, автор имел в виду целый класс; он мечтал о времени, когда капитал обернется против самого мира собственников.

Дивишек — Мошна появлялся, глубоко поглощенный своими мыслями. Его жесткое лицо с тяжелым, выдающимся вперед подбородком выражало непоколебимую решительность. Холодные, светлые глаза спокойно поглядывали вокруг, как бы прощупывая собеседника и выясняя, сможет ли тот быть ему полезен. Осторожно выспрашивал Дивишек о делах Конецкого, пытаясь узнать, наступил ли для него момент действовать или следует подождать. Поучительно и строго читал он деревенским мальчикам наставление о том, что непременно надо ходить в костел.

Но вот, оставшись наедине с Бобешем, Дивишек, перейдя на шепот, с нескрываемым злорадством сообщил сыну, что усадьба Конецких скоро будет в их руках. А через минуту с вкрадчивой любезностью расспрашивал расстроенного Конецкого о его денежных делах. Когда же тот, подкупленный участием Дивишека, нерешительно произносил: «Если бы вы, сосед, помогли мне. Я сейчас в большом затруднении. Мне надо платить по векселям», Дивишек — Мошна бесстрастно отвечал пораженному Конецкому: «Эти векселя у меня».

На мольбу Конецкого подождать с их оплатой Дивишек с какой-то особенно льстивой мягкостью медленно произносил: «С удовольствием, дорогой сосед, но мне ведь самому нужно платить» и степенно удалялся. Нарочитая мягкость, с какой Мошна проводил эту сцену, помогала актеру раскрывать в Дивишеке беспощадную силу жесто-

кого хищника, хотя, по словам современника, «льстивая вкрадчивость ни одним намеком не выдавала его фальши»<sup>1</sup>.

Но вот наконец Дивишек — Мошна на пороге дома Копецких. С лампадой и образом девы Марии в руках останавливается он в раскрытых дверях и, еле сдерживая охвативший его восторг, оглядывает свои новые владения. Затем, осторожно став на колени, старательно молится и только затем переступает порог. Повесив образ на стену, он начинает тщательный осмотр дома и, освещая себе путь лампадой, направляется в соседнюю комнату, но вдруг внезапно там останавливается и, наклонившись над чем-то, растерянно восклицает: «Что это! Человек!» Медленно опускаясь на колени, цепenea от ужаса, произносит: «Пресвятая дева! Бобеш!» Затем, вскочив на ноги, он исчезает в глубине комнаты, где лежит его раненый сын. «Бобеш! В крови!» — раздается отчаянный крик Дивишека — Мошны, прерывающийся хриплыми рыданиями.

В отличие от других исполнителей роли, проводивших эту сцену сдержанно, Мошна не боялся искренним переживанием Дивишека вызвать к нему на мгновение сочувствие зрителей. Глубокая жизненность образа, правда его чувств делали в их глазах Дивишека еще более страшным и ненавистным.

«Трудно забыть сцену, в которой Дивишек, громко стелая и мечась по своему новому пустому дому, звал людей на помощь раненому Бобешу, — писал один современник. — Мы невольно были растроганы отчаянием жестокого крестьянина, к которому, однако, вообще не испытывали сочувствия»<sup>2</sup>.

Именно в этом умении вкладывать жизненную правду в каждый исполняемый образ заключалась сила реалистического искусства Мошны.

В последней сцене Дивишек — Мошна появлялся скорбный, но не сломленный, такой же, как и прежде, спокойный, уверенный, такой же беспощадный. В круглой черной шляпе, добротном, старинного покроя темном костюме, с черным шелковым платком вокруг шеи, он был мало похож на сельского жителя и казался чужаком среди крестьян.

Но когда Дивишек слышит непоколебимое решение Яна снова вернуться в семинарию, уверенность оставляет его. «Я отец! — грозно начинал он, по тут же, показывая на разросшееся хозяйство, растерянно добавлял: — Для кого же я все это собирал?»

Твердый ответ сына выводил Дивишека из себя. Захлебываясь от ненависти, он обвинял сына и в смерти Бобеша, и в равнодушии к родному дому, а затем гневно заключал: «Я прокляну тебя!» От-

<sup>1</sup> «Rozhledy», 1907, roč. XVII, s. 393.

<sup>2</sup> Там же, стр. 393—395.

талкивая протянутую для прощания руку Яна, он яростно кричал ему вслед: «Иди, иди, проклятый!»

Но вдруг Дивишек — Мошна замолчал, только сейчас понимая, что значит для него уход единственного сына. Не веря, что это уже произошло, он машинально произносил: «Ушел!» Затем с уже закравшимся в его душу смятением добавлял: «А я один! Без детей! Во всей усадьбе — один!» — и бессильно опускался на скамейку возле дома. Веселая музыка и танцы деревенской молодежи заглушали его последние слова.

Следуя за автором, Мошна хотел показать бесполезность стяжательства Дивишека, подчеркивал, что одиночество — это отсутствие будущего у мира хозяев.

Это был суровый приговор глубоко солидарного с автором актера-демократа. Поэтому как среди образов, которые создал Мошна в пьесах Ирасека, — обаятельного деревенского музыканта Грушки («Войнарка»), искрящегося народным юмором водяного Михала («Фонарь»), сдержанного поручика Шрамека («Одиночество»), — так и среди его лучших ролей в пьесах других драматургов Дивишек занимал важное место.

Созданием этого образа, по существу, заканчивается деятельность Мошны. Тяжелый недуг — рак языка принудил еще полного творческих сил актера покинуть сцену. В 1909 году Мошна выступил в последний раз в Национальном театре, исполнив роль Бартоломея Пецки в «Одиннадцатой заповеди» Ф.-Ф. Шамберка.

8 марта 1911 года Индржих Мошна умер.

Значительную роль в том, что традиции, заложенные Мошной, так прочно утвердились в чешском сценическом искусстве, сыграли спектакли Московского Художественного театра, впервые посетившего Прагу в апреле 1906 года.

Эти гастроли заставили современников по-настоящему оценить искусство Мошны. Спектакли МХТ убедили деятелей чешской культуры, что искусство Мошны ближе всего к творчеству и принципам этого театра. Более того, именно игра Мошны во многом подготовила чешских сценических деятелей к тому, чтобы так горячо принять и так глубоко почувствовать правду искусства МХТ: «Выступлениями Мошны, воспитавшегося на русском реализме, была подготовлена почва для понимания нового сценического искусства «москвичей»<sup>1</sup>.

Пример творчества Мошны вселял во многих молодых актеров надежду на возможность приблизить свое искусство к недостижимому, казалось, для них искусству МХТ. И в этом было огромное воспи-

<sup>1</sup> O. Fischer, Dějiny Národního divadla, díl. IV, s. 246.

тательное значение деятельности Мошны. Было очевидно, что творческий метод МХТ может легко привиться на чешской национальной почве, ибо основы его были крепко утверждены в Чехии театральным искусством Мошны. «Мошна уже тогда, собственно,— вспоминал современник актера,— творил по системе Станиславского, хотя ее и не знал»<sup>1</sup>.

Именно эту близость искусства Мошны к МХТ имели в виду современники, когда говорили о его сходстве с А. Р. Артёмом, игравшим те же роли, что и Мошна.

«Помещика (Телегина.— Л. С.) играл г-н Артём. Уже в «Царе Федоре» он несколько напоминал нам Мошну. Во время второго действия я не сводил глаз с сидящего в театре актера. Впервые в жизни я увидел изумленного и словно застигнутого врасплох Мошну. Как будто в эту минуту он увидел свой портрет. Этот актер был комичен по-другому, он все проводил иначе, но у них все-таки было что-то общее. Их искусство шло из самого сердца, от того, что так глубоко волнует, из души, в которую природа вложила все свои богатства»<sup>2</sup>.

Гастроли МХТ помогли закрепить творческие достижения Мошны в области реалистического искусства и дали огромный толчок творчеству выдающихся чешских актеров — Ганны Квапиловой, Эдуарда Вояна и Марии Гюбнеровой.

Искусство Мошны оказало влияние не только на творчество чешских актеров. Оно оставило неизгладимый след в сердцах народного зрителя. «Самой большой для меня наградой,— писал Мошна в своих мемуарах,— была чистая любовь чешского народа к моему искусству, любовь, которую я неизменно ощущал с самого начала до конца моей творческой деятельности»<sup>3</sup>.

Глубокая связь актера с народом вызывала презрительные замечания буржуазной критики в его адрес. Мошне с самого начала сценической деятельности приходилось слышать насмешки над тем, что на его «бенефис придут одни ремесленники»<sup>4</sup>, или что он «добивался лавров от галерки и воскресной толпы»<sup>5</sup>, или что он «не может положить предела своей изобретательности только потому, что забавляет верхнюю галерею»<sup>6</sup>.

Мошна чаще и охотнее других актеров выезжал из Праги в провинциальные города Чехии и выступал здесь перед широким зрителем. «Более всего Мошну любил парод,— вспоминает театральный врач Цислер-Именко,— без преувеличения — народ, так как не было

<sup>1</sup> «Národní divadlo», J. Mošna, s. 10.

<sup>2</sup> «Kurýr», 1906, 8 dubna.

<sup>3</sup> J. Mošna, Jak jsem se měl na světě, díl. II, Praha, 1911, s. 101.

<sup>4</sup> Там же.

<sup>5</sup> F. A. Subert, J. Mošna, s. 72.

<sup>6</sup> «Maj», 1911, č. 33, s. 410.

захолустной деревушки, где не знали бы имени Мошны. Его любили тысячи тех, кто всю жизнь вспоминал светлые минуты, которые благодаря своему чарующему таланту доставил им Мошна, заставив их поплакать и посмеяться». «Я не знаю актера, которого бы так любили широкие слои народного зрителя, как любили они Мошну»<sup>1</sup>, писала актриса Ружена Наскова.

«Мошна был самым популярным и самым известным актером в свое время,— вспоминал Ярослав Квацил.— Его знали в Чехии люди, которые ни разу не были в театре.

В западных частях страны, откуда в Прагу не было дорог и куда нередко годами не проникали новости, знали Мошну.

В свои молодые годы, когда я жил в родном городке, я уже тогда слышал легенды о Мошне.

И если к нам приезжал кто-нибудь из Праги, то перво-наперво у него спрашивали: видел ли он Мошну»<sup>2</sup>.

Такая колоссальная популярность говорила о том, что искусство Мошны было доступно и понятно различным слоям чешской публики. Они видели в Мошне своего актера, гордились им, горячо и искренне выражали свою признательность его правдивому искусству.

«Вышел он из народа и остался в нем и с ним... актер без котурн, художник без ложного пафоса — живое доказательство того, что настоящее искусство выходит из жизни, которая полностью его создает»<sup>3</sup>.

Появление книги о творчестве легендарного чешского актера на русском языке, в серии «Жизнь в искусстве»,— естественно и закономерно. Как и другие книги данной серии, она названа по имени главного героя, хотя по-чешски именуется «Комедия исполнена любви». Автор этой книги Франтишек Рахлик — известный чехословацкий писатель. Его перу принадлежат повести, романы, пьесы и статьи по искусству. В романе «Комедия исполнена любви» он сумел увлекательно рассказать о важной вехе в национальной культуре Чехии. При этом Рахлик передал и свою любовь к родному театру, которую сумел пронести через всю жизнь.

С самого детства — родился Франтишек Рахлик 16 сентября 1904 года — театр, как говорил когда-то о себе Й.-К. Тыл, был его «змием искусителем». Что бы ни делал он в жизни — помогал ли в ранней юности отцу в красильной мастерской, учился ли в реальном училище, слушал ли лекции в Пражском университете или писал романы уже как известный литератор,— мир театра неизменно притягивал его к себе.

<sup>1</sup> R. N a s k o v á, Jak šel život, s. 50.

<sup>2</sup> J. K v a p i l, O čem vím, s. 251.

<sup>3</sup> К. В. М., Мошна.— «Zlatá Praha», 1911 č. 34, s. 411.

В 1954 году в нескольких номерах журнала «Кветен» была напечатана повесть Рахлика «Единственная любовь» об актере-демократе и о любви народа к театру. Она явилась своеобразным конспектом вышедшего в том же году романа «Комедия исполнена любви». Эта книга прошла серьезное испытание временем: была переиздана несколько раз на родине и в 1959 году впервые вышла за рубежом.

В 1954 году современный чехословацкий исследователь Людвиг Паленичек выпустил книгу «Идржих Мошна — актер-реалист», в которой убедительно определил значение творчества замечательного артиста и его роль в борьбе деятелей чешского театра за реализм. Одновременно с ним Франтишек Рахлик, основываясь на документах прошлой эпохи, воспоминаниях самого актера, записанных его товарищем по сцене Карелом Желенским в книге «Как мне жилось на свете», вышедшей в 1911 году, монографии о Мошне, написанной его современником, первым директором Национального театра Франтишком Адольфом Шубертом, изданной при жизни актера в 1902 году, предложил нам литературное произведение, в котором, воссоздав дух эпохи, показал любовь народа к родному театру, его способность в условиях политического бесправия отстаивать жизнь национального искусства.

Издание такой книги на русском языке даст возможность самым широким кругам советских читателей познакомиться с важным этапом становления чешской театральной культуры и воспринять деятельность Идржиха Мошны как творчество одного из корифеев мировой сцены, посвятивших свою жизнь прославлению национального искусства.

К стр. 4 \* *Сословный театр* — театр в Праге. Был основан графом Франтишеком Антонином Ностицем и открыт 21 апреля 1783 г. 10 января 1786 г. на его сцене была поставлена первая чешская драма В. Тама — «Бржетислав и Итка, или Похищение из монастыря». В 1798 г. театр был куплен чешским сословным сеймом и получил название Королевского сословного театра.

К стр. 6 \* *Пражские события 1848 года* — вооруженное восстание в Праге в июне 1848 г., ставшее кульминацией революционных событий в Чехии. 12 июня в Праге начались уличные бои. Народ с оружием в руках выступил против австрийского абсолютизма. На улицах сражались рабочие, студенты. Впервые в чешской истории в авангарде борьбы за интересы нации выступил новый общественный класс — пролетариат. Революция потерпела поражение. Но она показала, что пролетариату суждено принять участие в деле национального освобождения.

К стр. 7 \* *Немецкие пиаристы* — приверженцы ордена иезуитов.

К стр. 9 \* *Предмартовская эпоха* — время революционной активности народных масс наций, угнетаемых Австрийской империей. Конец XVIII — начало XIX в. связаны с пробуждением национального самосознания народов и усилением национально-освободительной борьбы угнетаемых наций. Это время получило наименование национального возрождения, достигшего кульминации в период марта — июня 1848 г.

\*\* *Театр Каэтана* — театр, организованный Йозефом Каэтаном Тылом из любителей-энтузиастов, игравших свои спектакли в здании монастыря св. Каэтана в период с 1835 по 1837 г.

К стр. 17 \* *Йозеф Каэтан Тыл (1808—1856)* — «отец чешского театра», театральный деятель эпохи национального возрождения, создатель национального репертуара, актер, режиссер и театральный критик, родоначальник реалистической театральной эстетики.

К стр. 18 \* *«Волынец из Страколиц»* — пьеса-сказка Тыла, написанная им в 1847 г. и ставшая классическим произведением чешского репертуара.

К стр. 22 \* *Франтишек Ян Шкroup (1801—1862)* — чешский композитор, автор первой романтической оперы, «Дротарь», и музыки к пьесе Й.-К. Тыла «Фидловачка» (1834), песня из которой стала впоследствии государственным гимном Чехословакии.

\*\* *Ян Кашка (1810—1869)* — чешский актер, соратник Й.-К. Тыла, создатель образов людей из народа в его пьесах, один из основателей чешской национальной актерской школы.

\*\*\* *Франтишек Крумловский (1817—1875)* — чешский актер романтической школы, один из сподвижников Тыла в его борьбе за постоянный национальный театр. Прославился в героических ролях европейского репертуара, пьесах Й.-К. Тыла и Й.-И. Колара.

\*\*\*\* *Ян Лапил (настоящее имя — Розиллапил; 1816—1867)* — чешский актер тыловской школы. Получил известность благодаря исполнению ролей в пьесах национального репертуара, играл на сцене Сословного, а затем Временного театров.

\*\*\*\*\* *Карел Шимановский (1825—1898)* — чешский актер времени становления национального театра. Популярный исполнитель главных ролей в трагедиях Шекспира, культивировавший на сцене патетическую декламацию. Особенно известны созданные им образы Ромео, Петруччо, Гамлета, Отелло, Кориолана, Макбета, Ричарда III, Шейлока, Юлия Цезаря. Во время торжественного открытия Временного театра в Праге (1862) Шимановскому было предоставлено право начать эту церемонию. В конце жизни актер был удостоен звания почетного гражданина города Праги. В течение ряда лет он являлся председателем Центрального единения чешских актеров.

К стр. 23 \* *Йозеф Иржи Колар (1812—1896)* — чешский актер, режиссер и драматург. Сторонник патетической манеры в театре. Исполнитель основных ролей в шекспировском репертуаре (король Лир, Макбет, Ричард III), в трагедиях Гёте (Эгмонт и Мефистофель). Написал четырнадцать пьес и перевел ряд пьес Шекспира, Шиллера и Гёте. Наибольшей популярностью пользовались его драмы «Смерть Жижки» (1850) и «Пражский еврей» (1871).

К стр. 31 \* *Ян Жижка из Троцнова (1360—1424)* — чешский полководец и политический деятель времен гуситских войн, национальный герой.

\*\* *Ян Гус (1369—1415)* — вождь реформации в Чехии, вдохновитель чешского национально-освободительного движения, магистр Пражского университета (1402—1403, 1409). Читал проповеди на чешском языке вопреки церковной католической традиции, требовавшей употребления латинского языка. 6 июля 1415 г. по приговору церковного собора в Констанце как «нераскаявшийся еретик» был сожжен на костре. Его именем было названо антифеодальное национально-освободительное движение, развернувшееся после его смерти.

К стр. 36 \* *Театр Франца-Иосифа, или Позештадттеатр* — старейший театр венских предместий. Открыт в 1788 г., был перестроен в 1822 г. В этом театре наряду с драматическими шли музыкальные спектакли.

\*\* *Бургтеатр* — крупнейший австрийский театр. Открыт в Вене в 1741 г. и назывался — Королевский театр при дворце (Бургтеатр). С 1776 г. был переименован в Придворный и национальный театр и с тех пор становится центром культурной жизни Австрии. Первым руководителем театра являлся актер И.-Ф. Брокман, затем — режиссер И. Шрейфогель, собравший в труппе крупнейшие дарования Австрии. Театр на протяжении XIX столетия утверждал в репертуаре пьесы Шекспира, Гёте, Шиллера, Лессинга.

\*\*\* *Ф. Бекман, Л. Лёве, К. Ла Рош, Ф. Крастль* — австрийские актеры, игравшие в первой половине XIX в. на сцене Бургтеатра и в театрах венских предместий.

\*\*\*\* *Йоганн Непомук Нестрой (1801—1862)* — австрийский драматург и актер, крупнейший театральный деятель демократического театра, продолжатель традиций народного искусства Австрии. Ярче всего актерское дарование Нестроя раскрылось в его собственных пьесах, которые в 40—50-е гг. XIX в. стали основой репертуара театров венских предместий и особенно Леопольдштадттеатра. Нестрой мастерски пользовался импровизацией, откликаясь на злободневные общественно-политические события. Он написал свыше пятидесяти пьес, в которых продолжил традиции народного театра с его юмором, сатирической направленностью.

\*\*\*\*\* *Венцель Шольц (1787—1857)* — австрийский комик, для которого Нестрой специально писал роли.

\*\*\*\*\* *Карл Тройман (1823—1877)* — австрийский комедийный актер, игравший в театрах венских предместий вместе с И.-Н. Нестроем и В. Шольцем. В 1861 г. Нестрой передал ему комические роли, которые играл сам.

\*\*\*\*\* *Октябрьский декрет* — издан 20 октября 1860 г. императором Австрии после военных поражений 1859 г. Вошел в историю под названием «Октябрьского диплома». В нем содержались принципы новой структуры Австрийской империи, которые давали некоторые возможности для активизации политической и общественной жизни угнетенных народов, в том числе чешского.

К стр. 37 \* *Новоместский театр* — театр в Праге, построенный в 1859 г. Использовался в коммерческих целях и вмещал четыре тысячи зрителей. В середине 1870-х гг. деревянное здание театра было разрушено.

\*\* *Йозеф Алоиз Прокоп (1809—1862)* — соратник Й.-К. Тыла, создатель и руководитель первой странствующей труппы в Чехии, талантливый актер.

\*\* *Павел Шванда из Семчиц (1825—1891)* — театральный деятель, во многом способствовавший организации и развитию в середине XIX в. профессиональных чешских трупп. Возглавлял драматическую труппу Временного театра, сконцентрировав в ней лучшие актерские силы Чехии. Открыл затем несколько легких театров в Праге и на ее окраинах («Арена» и др.). В 1881 г. создал на Смихове постоянно действующий театр, получивший потом наименование Театра Шванды на Смихове.

К стр. 41 \* *Карел Гавличек Боровский (1821—1856)* — чешский поэт и общественный деятель, выступавший против габсбургского абсолютизма и чиновничьего бюрократизма. Активный участник революционных событий 1848 г. в Праге. Подвергался жестоким преследованиям за политическую деятельность. Его основные произведения — «Крещение св. Владимира» и «Тирольские элегии». Боровский — первый переводчик произведений Н. В. Гоголя на чешский язык.

К стр. 52 \* *Франтишек Покорный (1833—1893)* — актер, режиссер и педагог. Один из лучших создателей народных образов в пьесах Й.-К. Тыла. Имел свою передвижную труппу, которая давала спектакли в Чехии и Моравии (с 1866 г.).

К стр. 56 \* *Божена Немцова (1820—1862)* — чешская писательница, представительница национального возрождения в его лучшем проявлении, автор многочисленных рассказов и повестей из жизни народа, участница Пражского восстания 1848 г. Ее роман «Бабушка» стал настольной книгой не только ее современников, но и последующих поколений.

\*\* *Богуслав Матей Черногорский (1684—1742)* — чешский композитор, автор органичных произведений. Много лет жил в Италии, где стал известен как падре Бозмиус.

\*\*\* *Иржи Мацоурек (1815 — дата смерти неизвестна)* — чешский композитор, автор оперы «Дуб Жижки» (1847) на текст В.-К. Клицперы.

К стр. 59 \* *Будители* — от «buditelè» (чешск.) — так назывались в Чехии деятели периода национального возрождения.

К стр. 61 \* *Бржетислав* — имеется в виду герой пьесы В. Тама «Бржетислав и Итка».

К стр. 63 \* *Карел Гилек Маха (1810—1836)* — чешский поэт-романтик, автор прославленной поэмы «Май» (1836), в которой выражены бунтарские стремления автора и его любовь к родному народу. Эта поэма являлась настольной книгой современников Махи.

\*\* *Франтишек Ладислав Челаковский (1799—1852)* — поэт, переводчик и критик. Деятель чешского национального возрождения, положивший начало традиции использования народного творчества в чешской литературе.

\*\*\* *Августин Сметана (1814—1851)* — чешский философ, бывший священник, враг церкви. Последователь диалектики Гегеля, изучал труды о социализме, принимал участие в революции 1848 г.

К стр. 65 \* *Франтишек Палацкий (1798—1876)* — один из лидеров национального возрождения, историк, политик, руководитель либеральной партии, автор «Истории чешского народа».

К стр. 66 \* *Пандур Тренк* — имеется в виду барон Франтишек Тренк (1711—1749), возглавлявший пограничные войска австрийской королевы Марии Терезии. Он усилил мощь пограничных отрядов, держа в страхе соседние государства.

К стр. 69 \* «*Дочь Славы*» — произведение поэта, деятеля национального возрождения, духовного вождя словацкого народа Яна Коллара (1793—1852), своеобразный гимн славянам. Построенное как аллегория страданий и возрождения славян, это произведение призывало к единению народов-братьев, воспевало их монополитное содружество.

К стр. 77 \* *Кутногорские рудокопы, или Кровавый суд* — пьеса Й.-К. Тыла, написанная накануне революционных событий 1848 г., посвященная историческому событию — восстанию чешских рудокопов в 1496 г.

К стр. 84 \* *Йозеф Штандера* — театральный предприниматель, оставивший о себе дурную славу. Был связан с передвижной группой Жольнеровых, где в качестве режиссера работал Й.-К. Тыл.

К стр. 85 \* *Сокольское общество* — спортивное общество, организованное по национальному принципу в знак протеста чехов против политического бесправия.

\*\* *Далибор* — герой одноименной оперы Б. Сметаны (1867, поставлена в 1868 г.), рассказывающей о рыцаре Далиборе, вступившем в смертельную борьбу с бургграфом и королем, казнившими его друга — музыканта Зденека.

К стр. 87 \* *Ян Неруда (1834—1891)* — чешский литератор, поэт, прозаик, театральный критик, журналист, оказавший большое воздействие на духовное развитие своей эпохи. Один из основоположников реалистического направления в чешской литературе.

К стр. 88 \* *Якуб Сейферт (1846—1919)* — чешский актер, прославившийся в опереттах Ж. Оффенбаха и И. Штрауса и в некоторых оперных ролях. Играл героев в драматических спектаклях западноевропейского репертуара (Ромео, Гамлет, Дон Карлос, Сирано де Бержерак). Обладал чрезвычайно красивым голосом.

\*\* *Индришка Славинская (1843—1908)* — чешская актриса, исполнительница ролей героинь в салонных пьесах, королев и фей — в сказках и легендах.

\*\*\* *Временный театр* — театр в Праге, построенный в 1862 г. Назван Временным в связи с выполнявшейся им задачей создать крепкую профессиональную чешскую труппу и объединить вокруг театра отечественных авторов, способных пополнить национальный репертуар, пока осуществлялось строительство Национального театра.

\*\*\*\* *Вацлав Климент Клицнера (1792—1859)* — чешский драматург периода национального возрождения, автор большого количества комедий и исторических драм, учитель Й.-К. Тыла.

К стр. 90 \* *Вitezслав Галек (1835—1874)* — чешский поэт, прозаик, драматург, редактор газеты «Народни повины» с момента ее создания (1864). Организовал вместе с Нерудой литературный альманах «Май», вокруг которого была сосредоточена литературная жизнь прогрессивных сил Чехии в 1870-е гг. Автор шести драматических произведений, из которых «Король Вукашин» был поставлен в день открытия Временного театра в 1862 г.

\*\* *Карел Сабина (1813—1877)* — чешский поэт-сатирик, писатель, критик и политический деятель, активный участник Пражского восстания 1848 г. После поражения революции был осужден на восемнадцать лет тюремного заключения, но в 1857 г. попал под амнистию. Автор научных трудов, социальных ро-

манов, а также либретто опер Б. Сметаны «Бранденбургцы в Чехии» (1863) и «Проданная невеста» (1866).

К стр. 91 \* *«Дебора»* — пьеса немецкого драматурга С.-Г. Мозенталя.

К стр. 93 \* *Йозеф Манес (1820—1871)* — чешский живописец, основатель школы психологического портрета в живописи.

К стр. 99 \* *Йозеф Секира (1812—1864)* — комедийный актер, исполнявший разнообразные комические роли на сцене Временного театра с момента его открытия.

К стр. 108 \* *Пражский Град* — Пражский кремль, центр чешских земель. Основан как городище в IX в. чешскими князьями на высокой горе, над рекой Влтавой. Местопребывание чешских королей, с 1918 г. — резиденция президента республики.

К стр. 118 \* *Элишка Пешкова (1833—1895)* — чешская актриса, вместе с Й.-К. Тылом боролась за существование профессионального чешского театра. В 1850 г. вышла замуж за Павла Швапду. Оба они отдали много сил воспитанию актеров для национальной сцены.

\*\* *Магдалена Гинекова (1816—1883)* — чешская комедийная актриса, соратница Тыла по Театру Каэтана, непревзойденная создательница образов женщин из народа в пьесах Тыла, постоянная партнерша Яна Капки.

К стр. 119 \* *Эдмунд Хваловский (1839—1934)* — чешский актер, исполнитель эпизодических ролей в драматических и оперных спектаклях. Первый режиссер опер Б. Сметаны. Боролся с рутинной на сцене. При создании в 1894 г. первой актерской школы Национального театра стал ее педагогом.

\*\* *Франтишек Колар (1829—1895)* — актер Временного, а затем Национального театров. Мастер яркой характерности и большой психологической глубины. Играл короля Вукашина, Шейлока, Мефистофеля, Хлестакова, герцога Альбу и Фальстафа.

\*\*\* *Франтишек Фердинанд Шамберк (1838—1904)* — чешский комедийный актер, автор многочисленных салонных комедий и пьес, посвященных героям национального возрождения.

\*\*\*\* *Отилия Малая, впоследствии Скленаржова-Малая (1844—1912)* — чешская трагическая актриса, властительница дум современников. Играла ведущие роли в пьесах мирового и отечественного репертуара. Умела донести до зрителя красоту чешской речи. Воспитала целое поколение актрис чешских театров. Для нее создавали роли Я. Врхлицкий и Ю. Зайер. Й. Манес написал ее портрет. Б. Шалюк создал ее статую, которая помещена в саду Ф. Челаковского в Праге.

\*\*\*\*\* *Моника* — героиня одноименной пьесы Й.-И. Колара.

К стр. 120 \* *Эсмеральда* — имя артистки труппы бродячего цирка в опере Б. Сметаны «Проданная невеста».

К стр. 126 \* *Королева Кристина* — шведская королева (1626—1689), дочь короля Швеции Густава Адольфа. Вступила на престол в шестилетнем возрасте.

К стр. 133 \* *Рефлекторий* — от «refektorium» (латин.) — трапезная.

К стр. 152 \* *Ян Эвангелист Пуркине (1787—1869)* — чешский биолог, отец художника Карела Пуркине. Открытые им особые волокна сердечной мышцы и первые клетки мозжечка носят его имя. Был известен широкой культурно-просветительской деятельностью.

\*\* *Вацлав Влчек (1813—1877)* — чешский писатель, журналист, критик, драматург, автор первого труда по истории словацкой литературы.

\*\*\* *Йозеф Добровский (1753—1829)* — филолог, создатель новой чешской грамматики, автор ряда книг по чешской филологии, в том числе «Истории чешского языка и литературы».

\*\*\*\* *Павел Йозеф Шафаржик (1795—1861)* — деятель национального возрождения, основатель словацкой археологии, автор «Истории славянского языка и литературы во всех наречиях», «Славянской этнографии» и др.

К стр. 158 \* *Карел Шебор (1843—1903)* — чешский композитор, автор пяти опер, одновременно с Б. Сметаной и Я.-Н. Маиром был дирижером Временного театра.

К стр. 159 \* *Карлов тын* — древняя крепость в окрестностях Праги.

\*\* *Вышеград* — старинная крепость в Праге, замок первых чешских князей.

\*\*\* *Каролина Светлая (1830—1899)* — чешская писательница, единомышленница Б. Немцовой, автор романов и повестей из жизни деревни, в которые она умела ввести философскую трактовку.

К стр. 160 \* *Бедржих Сметана (1824—1884)* — композитор, дирижер, общественный деятель, ярчайшая фигура национального возрождения. Автор произведений, составляющих украшение не только национального, но и мирового искусства. Сметана написал девять опер, из которых «Проданная невеста» стала символом национального искусства, большое количество симфонических произведений, в том числе симфоническую поэму «Моя родина».

К стр. 161 \* *Франтишек Венцеслав Ержабек (1836—1893)* — чешский драматург реалистического направления, автор пьес, содержащих социальную проблематику.

К стр. 166 \* *Антонин Дворжак (1841—1904)* — чешский композитор, автор двенадцати опер, девяти симфоний и многих других произведений. Начал деятельность в качестве оркестранта Временного театра. Его увертюра «Гуситская», как и «Либуше» Б. Сметаны, была исполнена на торжественном открытии Национального театра.

К стр. 177. \* *Адриан* — герой комедии В.-К. Клицеры «Адриан из Ржимса».

К стр. 181. \* *Жельмир* — персонаж той же комедии В.-К. Клицеры.

К стр. 185 \* *«Бранденбуржцы в Чехии»* — первая опера Бедржиха Сметаны, написана в 1863 г. Посвящена борьбе чешского народа с чужеземными поработителями. Премьера состоялась в 1866 г. на сцене Временного театра.

К стр. 187 \* *«Беседа»* — краткое наименование «Умелецкой беседы» — клуба, объединявшего чешских писателей, художников и музыкантов, основанного Б. Сметаной в 1863 г. и сыгравшего большую роль в издательском деле.

\*\* *«Глагол»* — краткое наименование «Пражского глагола» — мужского хора, созданного Б. Сметаной в 1861 г. В основу его деятельности был положен девиз «Песней — к сердцу, сердцем — к родине».

К стр. 191 \* *Йозеф Барак (1833—1883)* — чешский писатель, редактор ряда газет, в том числе первой в Чехии рабочей газеты.

К стр. 192 \* *Адольф Чех (1842—1903)* — чешский дирижер, хормейстер, оперный певец и переводчик опер, друг и соратник А. Дворжака.

\*\* *Карел Эрбен (1811—1870)* — чешский поэт, представитель романтической школы, уделявшей большое внимание собиранию и изучению произведений народного творчества. Был главным архивархусом города Праги, помощником Ф. Палацкого в общественной деятельности.

К стр. 193 \* *Карел Пуркине (1834—1868)* — чешский художник-живописец, один из активных пропагандистов реалистического искусства в портретной живописи.

К стр. 203 \* *Франтишек Дитрих (1801—1875)* — представитель чешского национального возрождения, основатель Чешской матицы — общества, объединявшего видных деятелей национальной культуры. Активный помощник Й.-К. Тыла в период создания Театра Каэтана, участник сбора средств на строительство Национального театра.

К стр. 220 \* *Плювиалы* — траурное облачение духовных лиц.

К стр. 245 \* *Белая гора* — плато на западной окраине Праги. 8 ноября 1620 г. здесь произошла одна из самых важных битв Тридцатилетней войны, исход которой решил судьбу Чехии. Антигабсбургское восстание чешского дворянства было подавлено, битва проиграна, Прага капитулировала, чешские земли очутились в положении габсбургской провинции.

К стр. 301 \* *Густав Пфлегр-Моравский (1833—1875)* — чешский прозаик, драматург, поэт реалистического направления, один из создателей социального романа.

\*\* *Эммануил Воздех (1841—1889)* — чешский драматург, автор салонных комедий, изображающих жизнь французского и австрийского двора.

К стр. 326 \* *Ржип* — гора вблизи города Роуднице. Согласно легенде, глядя с нее, праотец Чех восхитился красотой земли, на которую привел свое племя.

\*\* *Бланик* — гора близ города Влашими. Согласно легенде, в этой горе скрыто войско во главе со святым Вацлавом, которое выйдет в самый трудный для Чехии момент, чтобы ее защитить.

К стр. 339 \* *Двадцать семь чешских вождей* — руководители антигабсбургского восстания чешского дворянства, которое потерпело поражение (1620). Были публично казнены на Староместской площади в Праге.

К стр. 387 \* *Ладислав Стронежницкий (1850—1892)* — чешский драматург, сыгравший важную роль в утверждении сценического реализма в чешском театре. Первый заведующий литературной частью Национального театра в Праге.

К стр. 390 \* *Франтишек Женишек (1849—1900)* — чешский художник, принимавший участие в росписи интерьера Национального театра.

К стр. 391 \* *Элишка Красногорская (1847—1926)* — литератор и общественный деятель, автор большинства либретто опер Б. Сметаны («Поцелуй», 1876; «Тайна», 1878; «Чертова стена», 1882), переводчица произведений А. С. Пушкина, А. Мицкевича, Дж.-Г. Байрона.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРОЛОГ . . . . .	4
КРУМЛЛОВСКИЙ . . . . .	30
ПОСТОЯННОЕ МЕСТО . . . . .	84
ИСКУССТВО ИЗ ИСКУССТВ . . . . .	107
ЮЗЕФИНА . . . . .	151
ПЕПИЧКА . . . . .	198
ИНТЕРМЕДИЯ . . . . .	223
БРАНДЕНБУРЖЦЫ В ЧЕХИИ . . . . .	244
РАСПЛЮЕВ . . . . .	298
ПЕРВЫЙ КАМЕНЬ . . . . .	326
ШУТ . . . . .	341
ПРИНЦИПАЛ . . . . .	370
ЭПИЛОГ . . . . .	386
<i>Л. СОЛНЦЕВА. ВЛАСТЕЛИН НАРОДНЫХ СЕРДЕЦ</i> . . . . .	397
КОММЕНТАРИИ . . . . .	418

